

НОВЫЙ Журнал



НЬЮ-Йорк

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)
Г. Андреев, Л. Ржевский
1976 – 1981 редактор Роман Гуль
1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Е. Магеровский
1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Ю. Кашкар, Е. Магеровский
1986 – 1990 Редакционная коллегия
1990 – 1994 редактор Юрий Кашкар
1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Восемьдесят третий год издания

Главный редактор – Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Ренэ Герра, Елена Дубровина, Мария Рубинс, Александра Смит,
Марианна Тайманова, Михаил Эпштейн.

Ответственный секретарь – Наталья Бернадская

Редакция: Владимир Гандельсман, Наталия Гастева, Рашель Миневич

The New Review, Inc.:

T.Chebotareva; G.Glinka; S.Kishkovskaya, P.Khlebnikov; G.Mesniaeff;
A.Neratoff; N.Sluchevsky, P.Tcherepnine; V.Torchilin, L.Vulfina,
Y.Vulfin, M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 321, декабрь 2025

© 2025 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» онлайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y.
10001. Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680.
POSTMASTER: send address changes to The New Review, 1216 Broadway,
2nd floor, New York, N.Y. 10001

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

<i>Григорий Складов</i> – Человек и вертолет. Повесть	5
<i>Ольга Андреева</i> – В проломе стены. Стихи	28
<i>Кира Османова</i> – Стихи	32
<i>Андрей Красильников</i> – Семнадцатый год. Роман. Часть 2	37
<i>Валерий Черешня</i> – Стихи	127
<i>Томас Венцлова</i> – Стихи (<i>Перевод с лит. – А. Гальберштадт</i>)	132
<i>Слава Сергеев</i> – Чтение и чувства. Главы из романа	142
<i>Владимир Салимон</i> – Стихи	164
<i>Борис Кокотов</i> – Аварийная ситуация. Стихи	168
<i>Сергей Шабалин</i> – Стихи	172
<i>Алексей Уморин</i> – Стихи	177
<i>Елена Дубровина</i> – Ленинградский ноктюрн. Повесть	183
<i>Инна Киннер</i> – Клязьма: Autumnus Altus. Стихи	243
<i>Марина Эскина</i> – Стихи	248

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

<i>Максим Макаров</i> – Вдова. Ольга Николаевна Мечникова	251
<i>О.Н. Мечникова</i> – Переписка (<i>Публ. – М. Макаров</i>)	276

К 100-ЛЕТИЮ НАУМА КОРЖАВИНА (1925–2018)

<i>Наум Коржавин</i> – Эпоха длиною в жизнь. Интервью. 2005	303
<i>Наум Коржавин</i> – Поэма греха. 1972–1974	311

ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА

<i>Лариса Вульфина</i> – Художник Федор Рожанковский	316
<i>Людмила Пружанская</i> – Эльза Триоле. Между Буниным и Цветасвой	342
<i>Михаил Эпштейн</i> – Рассудок против разума, или Грабли и зеркало в самопознании интеллигенции	352
<i>Гари Сол Морсон</i> – Мизантропология зла (<i>Перевод с англ. – М. Эпштейн</i>)	364

БИБЛИОГРАФИЯ

- Петр Черёмушкин* – *Надежда Ажгихина, Катрина ванден Хювел.*
Мы всё-таки верим. Статьи, эссе, интервью 374
- Книжная полка Юлии Баландиной* – *Lesley Chamberlain.*
The Mozhaisk Road. Russian Heart of Darkness. Роман 380

Уважаемые читатели!

Вы можете приобрести отдельные архивные номера журнала, начиная с 1953 года. Цена экземпляров определяется годом выпуска. Все подробности вы можете узнать в редакции НЖ, написав нам:

newreview@msn.com
newreviewinc@gmail.com

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Григорий Складов

Человек и вертолет

Мне девяносто восемь лет, и мои рецепторы уже давно не воспринимают никаких внешних перцептивных намеков. Когда старый козел, вроде меня, утверждает, что мороженое раньше было вкуснее, это всего лишь новизна и девственность его нейронов девяносто лет назад. Теперь ничего этого не осталось, нет всей этой транзиттерной избыточности, припухлости губ, розовых сосочков языка, как ни скреби себя ложкой по утрам. Я прибит к себе своим телом в инвалидной коляске и единственное, что я еще воспринимаю, так это водку с колодой, хотя дозы, с которыми может справиться моя печень, до головного мозга не доходят. И память становится острее и падает произвольно вспять, как тень

вишневого
сада.

Память, наверное, находится всё же не в этом мире, а в том, если так можно выразиться, и это именно смерть моя проецирует мои воспоминания, а не прожитая, туманная жизнь собирает себя по крупичкам рассыпанных облопов, как крошки пирожного. Это вовсе не горизонтальная распространенность воспоминаний в рельефе, запахах и наклоне солнца, но точка света. Вернее, негатив света опрокидывает на твою жизнь воспоминания, и тебе они кажутся настолько неправдоподобными, что ты, вздыхая, вынужден признать: жизнь – это сон.

И всё болит! Раньше, когда я еще был дома, а не в клинике, я просыпался в восемь и до девяти лежал в постели. Я слышал, как приходят мои юные друзья из организации помощи таким, как я, и готовят завтрак. Мы завтракаем вместе и потом до четырех часов я – по настроению – либо пишу, либо рисую. В четыре я выпивал свой первый стакан водки с колодой и потихоньку нагружался к вечеру. Я становился счастливым и сентиментальным, боль уходила. Спирт – уникальная формула, растворим как в жирах, так и в воде, никакие мембраны ему не преграда, он легко проходит через любой гематоэнцефалический барьер. Но теперь мне всегда больно, и всё жжет внутри, и я уговариваю себя, что это похмелье. Разница лишь в том, что в молодости похмелье проходит к обеду, а в старости это твое постоянное состояние; но если ты в молодости тренировался и жил с упоением, то это не страшно. Тем, кто себя не берег, кто до утра вставал и кто бродяжничал, спал на

циновке из опавших листьев и пил из ливнёвки, брал в долг и умел дружить, тем старость привычна и не страшна. А те, кто все вечера пропадал в спортивном зале, стимулируя перманентное воспаление в мышцах, то так вам и надо, мучайтесь теперь в своих могилах, потому что вы постарели и ушли раньше меня. И это несмотря на мою страшную и длинную жизнь. Я ведь пережил войну. Именно пережил, потому что для многих она стала самым ценным событием в жизни, самым большим, самым эмоциональным, а я ее *пережил*. И стал жить дальше. И дальше уже жить я не хочу. Сейчас всё расскажу...

В клинике мне разрешают выпить только вино, совсем маленькую бутылочку с железной пробкой. Ну и черт с ними, будь они прокляты. Они думают, что я желчный старик, который не хочет умирать, но это не так. Да, я вру, но только потому, что не всегда могу правильно вспомнить. Иногда мне кажется, что медсестры хотят меня отравить. Когда кружится голова или я не узнаю лицо своего лечащего врача, у меня может начаться паническая атака. И я бы смирился со своим положением, если бы случилось чудо, такое чудо, как я мечтал в юности: Генри Миллер в старости попал в больницу и вдруг узнал, что в той же больнице лежит любовь его молодости Анаис Нин. Генри Миллер весело вкатился на своем инвалидном кресле к Анаис в палату, они смеялись и шутили, вспоминали и были рады видеть друг друга. Мне было бы легче, если бы я узнал, что мои любимые тоже лежат где-нибудь на другом этаже этой клиники, что я могу к ним приехать. Но такая больница есть, наверное, только в раю. И поэтому я сижу одиноко в своем кресле напротив окна и смотрю в него. Из-под карниза мощным прямоугольником вписывает себя в более темную часть палаты солнечный свет. На фоне этой стерильности и белизны солнечный свет – желтый. Я сижу в нем, как в камере, не спеша переезжать в стерильную часть комнаты, хотя смотреть в окно тоже нет смысла, потому что я уже почти ничего не вижу. И в этом солнечном желтом кубе, как планктон, мерцает взвесь пылинок, но я-то понимаю, что это всего лишь царапины и точки на старой кинематографической пленке. Эти царапины проходят по моему лицу, рукам и спине. И я говорю этот текст, и вы видите уже из-за этих штрихов меня несовременным, потертым, музейным, требующим реставрации, но на самом деле это всего лишь признак классики. Вы так думаете, потому что считаете, что жизнь – это светлая полоса между двумя одинаково черными полосами. Ваша проблема заключается в том, что вы не слушаете стариков вроде меня и поэтому не знаете, что этот черно-белый рояль существовал не всегда, а был придуман Иоганном Себастьяном Бахом. И вы просто не заметили, как эта баховская цивилизация закончилась еще в моей молодости. И если вы думаете, что крышка этого рояля поднята для того, чтобы дать больше звука, должен сказать, что это не так: просто он ждет ваш труп, чтобы закрыться уже крышкой гроба. И цветы, которые вы несете таперу, высадят на ваших могилах. Вы просто упустили тот момент, как

наступили новые времена, которые придумал я с моими друзьями или современниками.

Мы не искали рая в детстве; мы всегда хотели побыстрее вырасти, потому что именно тогда – мы так верили – наступит настоящая жизнь. Так оно и случилось: жизнь моя приключилась вовсе не в период от детства до сегодняшнего дня, а представляет собой небольшой отрезок времени, когда гормональный трамплин вынес меня в космос головного мозга, а потом я приземлился, как вы уже заметили, в инвалидное кресло. Жизнь – не отрезок света между двумя одинаково черными полосами, между рождением и смертью, – это солнечный отрезок между двумя закатами. И только во время заката глазам не больно смотреть на солнце, так что я знаю о нем больше, чем те, кто еще живет в зените.

Я еще знаю, что мне из кресла больше не подняться, а через неделю мне сделают эвтаназию. Я бы не стал ждать целых семь дней, но у главного врача этой клиники есть принцип, что он должен поговорить и попытаться переубедить пациентов без явных медицинских показаний, но и сил нет. На самом деле, этого требует законодательство: врач должен получить санкцию чиновника, чтобы его действия не считались убийством.

Я не могу сильно выдохнуть, на спирометрии шарик в диагностической трубке едва колышется, как пенка на шарах кипящего бульона, то есть вхолостую, и не может сосредоточиться в одном направлении. Вчера я со злостью бросил этот прибор в угол комнаты. Медсестра спокойно подняла его с пола и вышла, а я смотрел, как дрожит моя рука на подлокотнике кресла, и капелька пота на кончике моего носа подвисает.

Ты еще не передумал делать эвтаназию, спрашивает меня врач, а я говорю, что не передумал, что если бы не условие о бестолковых метафизических рассуждениях, что назад с того света не вернуться, если бы не благоволение государства, я бы и сегодня это сделал. Я ему говорю: а куда возвращаться? Ты всегда возвращаешься в это тело, как в поезд; каждое утро, как просыпаешься. И если в начале жизни это какой-нибудь *интерсити*, *ласточка*, *сапсан*, то теперь это какой-то советский плацкарт боковой на Феодосию, со всеми его ногами и носками в проходе на уровне головы; лук, перегар и яичная скорлупа, и каждой ночью, пока ты спишь, тебя кто-то всё ближе переносит к туалету. И ладно бы попутчиком был Мандельштам, так нет же!

Я – ученый, он мне говорит, – я как врач оцениваю смерть очень просто: остановка дыхания и сердца, гибель клеток головного мозга – и всё; назад пути нет, и там ничего нет. Но откуда он это знает, если он такой ученый, ведь нет же данных о том мире, неизвестно, существует ли он или нет. Границы науки ограничены, и на этих границах появляется обитель веры или неверия. Более того, дорогой доктор, мы и при жизни можем почувствовать присутствие Бога. Например, каждый раз, когда вступает в игру какая-то иррациональная сила,

которая меняет всё в лучшую сторону. Доктор, Сталин был тот еще гад, но ведь он выиграл войну, потому что надо было прекратить это безумие убийства евреев, хотя шансов победить у него объективно было мало.

– Немцы были хорошо подготовлены.

– У немецких танков были узкие гусеницы, – говорит мне доктор.

– Ну, может быть, – отвечаю я доктору.

Для наших таких разговоров мы выходим в сад ресторана. Вернее, сперва приходит ко мне санитарка, смазывает все складки моих одряхлевших чресел кремом против пролежней и одевает мне памперс. Для некоторых этот опыт травматичен, им кажется всё это унижительным, а мне нравится; мне нравится, когда мне стригут волосы, вернее, белесый птенчиковый пух, за мной ухаживают. Потом она вывозит меня на каталке в сад, а доктор приходит сам. У него правило: одна экзаназия в неделю, одну неделю он общается с мертвецом.

– Удалось ли вам, доктор, кого-нибудь переубедить?

– Нет.

Доктор, вы не понимаете смысла смерти. Если вы такой ученый муж, то скажите, почему эволюция придумала смерть, ведь всё биологическое является торжеством жизни, противвесом энтропических сил физического мира. Весь физический мир стремится к равновесию, мере, залеганию в пластах, уравниванию температур, а живое нарушает этот порядок. Ведь эволюция могла бы пойти и другим путем, обеспечить вечное существование. Вот видите, вы не знаете ответа, а я знаю. Жизнь человека темпорально ограничена не для генетической устойчивости популяции, а для того, чтобы человек хотя бы что-то сделал. Эволюция – как стремление к вечному росту и развитию – сразу поняла, что обезьяна без осознания смерти на вершине пищевой цепочки ничего делать не будет. Введя смерть, эволюция заставила человека хоть что-то делать, хоть что-то оставить после себя. Вселенная ввела в механизм эволюции индивидуальную смерть, чтобы осуществлять свое развитие. Без смерти обезьяна бы просто ловила блох на шкуре соседа и размножалась до тех пор, пока не покрыла бы метровым слоем своих особей всю сушу. Вместе с ужасом смерти мы испытываем неизбывное наслаждение, когда думаем, что после нас останется книга, скамейка на проселочной дороге и дети в мире.

И моя жизнь уже схлопнулась, а вы еще тешите себя иллюзиями, что я жив, из-за моего оптического присутствия. Я уже некоторое время назад всё понял. Это было зимой. Снега не было, но были заморозки с большой влажностью, всё вокруг облепил иней, как будто вся природа и моя одежда, и открытые участки моей кожи – это одна сплошная рельефная эбонитовая трубка, как будто всё наэлектризовано, потому что ветер потерялся по верхам и плоскостям, и острые ледяные иголки покрыли всю планиметрию; так металлическая стружка встает на магнит, но только черного цвета. Я хотел съездить за продуктами, стал открывать дверь машины, но ключ не поворачивался в замке. Странно, но видимо, замок за ночь замерз. Я вернулся домой, набрал

в садовую лейку горячей воды и позвонил сыну. Ойген, говорю ему, я не могу открыть замок машины, он замерз. Я сейчас приеду, отвечает Ойген. Но пока он ехал ко мне, я вышел снова на улицу и стал поливать дверь машины теплой водой. Через пару минут Ойген был уже на месте и говорит: папа, ты поливаешь машину соседки! Хорошо еще, что соседи не видели, что я перепутал автомобили. А машины пожоие; в том смысле, что обе синего цвета.

А еще один раз я занимался сексом с китайкой. И вдруг она меня начала душить; тогда я взял ее в охапку и бросил с лестницы на первый этаж. Сбежал вниз и стал бить ее ногами, чтобы она не поднялась, как вдруг я проснулся от того, что мне холодно. Стал искать одеяло, но его нигде не было – ни на кровати, ни возле. Я стал бродить по квартире и нашел его внизу на первом этаже, возле лестницы...

И вы, доктор, считаете, что это жизнь? Так что давайте на сегодня завершим нашу беседу, я хочу свою порцию вина и лечь на террасе.

После обеда меня вывозят на верхнюю террасу, чтобы я принимал солнечную ванну, укрывают пледом и ставят на подносе стакан вина. И я почти что засыпаю, мне кажется, что мои морщины разглаживаются, и я проваливаюсь в те времена, что я называю жизнью. Мой эмоциональный квадрат жизни очерчивался четырьмя прямыми: отчаяние, любовь, здравый смысл и ирония. Теперь эти прямые расположены в кругах воспоминаний.

Господин, говорит мне доктор, но если вы религиозны, тогда вы тем более должны сторониться эвтаназии как одной из форм суицида. Из-за фикуса подкрался доктор и спрашивает. За распахнутым белым халатом видна хирургическая тишотка ядовито-зеленого цвета с сексуальным треугольным вырезом.

Слушай, доктор! – меня злит, не потому, что я старый, – меня злит, когда он втискивается в мои воспоминания. Ну и что, что я всё это проговариваю в полудреме вслух, – другие жидкости организма тоже не очень охотно держатся во мне. – Слушай, доктор! Если тело больше не работает – так зачем оно нужно?

Но вы же верите в Бога.

Я еще раз повторяю, трагедия этого мира заключается в том, что нам не дано непосредственно видеть Бога. Если брать только христианскую концепцию, то совершенно очевидно, что с этим миром что-то не так. Рай разрушен еще во времена Адама и Евы, и совершенно очевидно, что в рай никто после смерти не попадает, равно как и в ад, потому что он, судя по всему, разрушен тогда, когда Христос после распятия спустился в ад, развалил его врата и проповедовал там грешникам. Вы манипулируете, доктор. Вы сами утверждаете, что не верите ни в какой метафизический мир, а только в физический, а в то же время мне предлагаете не соглашаться на эвтаназию.

Да, я предлагаю, и здесь нет никакого противоречия, потому что я считаю, что хода назад не будет. И после смерти ничего там нет, а не вечная жизнь, как вы, возможно, полагаете.

Но как вы не можете понять, что просто всё надоело, мне скучно. Я уже всё знаю, что только можно узнать. Мне надоело. Так же, как и наш разговор.

– Неужели никаких тайн? – спрашивает доктор, поправляя мой плед.

Никаких, которых бы мог узнать в человеческом теле. Разве что – нет, не лицо – но голос ваш мне кажется очень знакомым. Я еще хотел бы узнать, где я его слышал. Вы, доктор, какого года рождения?

Я немного младше вас.

Должен признать, вы даже лучше сохранились, чем я. А где вы были во время войны, вы же были уже призывного возраста? Судя по вашему грассирующему «р», вы из Баварии.

Под Мюнхеном.

О как! А где именно?

В Дахау.

И тоже врачом?

Нет, ассистентом.

И вас совесть не мучит? Я тоже был в Дахау, но в бараке.

Меня судили, и суд меня оправдал.

Доктор, принесите мне еще вина. Воспоминания одолевают меня, когда я встречаю свидетеля моих военных дней. Давайте выпьем. С вами я могу выпить, потому что если суд вас оправдал, то вы не виноваты. Ведь закон не имеет обратной силы. Даже закон природы. Я расскажу вам свою историю, посмотрим телевизор. Приходите вечером, может, вам удастся меня отговорить от эвтаназии, сказал я ему не искренне, а только для интриги.

Я вам расскажу немного из своей истории, а вы – из своей. Мы включим телевизор на новостной канал, но без звука. Перед телевизором сядем мы, а между нашими креслами – небольшой столик с вином и двумя фужерами. За телевизором расположено окно с альпийским пейзажем, со скалой цвета Парижа, по этой скале стекает горная вода в изумрудное озеро, а по диагонали это окно пересекает красный вертолет. В Швейцарии всё сделано для стариков; открывается вид на горы, вырастающие из озера, плитой лежащего между икрами горных кряжей. И моя медицинская страховка на сегодняшний день такова, что если я на прогулке сломаю ногу, то за мной полетит этот вертолет, его поднимут в горы, на красивых носилках меня понесут молодые ребята в палату, сразу несколько человек будут за мной ухаживать. Я, как человек, переживший плен и концлагерь, обладаю способностью быть благодарным просто за то, что жив. А в то время, когда пришли к власти нацисты, моя жизнь не стоила ничего. А это значит, что мое здоровье стоило меньше жизни. После войны моя жизнь и здоровье постоянно повышались в цене в зависимости от моего заработка и тарифа страховой компании; при нацистах всё было наоборот: с каждым годом моя жизнь удешевлялась по независимым от меня причинам.

Из-за того, что мой отец был чистокровным немцем, а мать – еврейкой, меня классифицировали как *Geltungsjude*; в моей судьбе всегда присутствовала некоторая юридическая амбивалентность, которую я не желал и не просил, но она была неотвратимой правовой данностью: немцы считали меня евреем, а советские солдаты (впоследствии) – немцем. Мой папа, впрочем, профессор классической филологии в Кёнигсбергском университете, на это не обращал никакого внимания: большой любитель философии Артура Шопенгауэра, он экзистенциально принял политические нововведения без должной рефлексии. Он был дружен и с Конрадом Лоренцом, когда тот в сороковом году получил место профессора. Еще до начала войны выучил китайский язык и целыми днями беседовал о Лао-Цзы и Конфуции. Мать также бежала от реальности, стала чаще заниматься скрипкой и играла сонаты Моцарта со знакомым пианистом. Я же остался в пубертатном одиночестве, окруженный томами энциклопедического словаря Мейера, руководствуясь отсылками «см. женщина», «см. роды», «см. половой акт», «см. вагина». Кстати, когда в девяностых появились на телеэкранах якобы умные философы с надбровными дугами и стали вещать пастве, что с появлением интернета появился и гипертекст, в котором человек тонет, переходя от одной ссылки к другой, – я смеялся им в лицо, я хохотал в экран этой дремучей глупости, потому что я мог бесконечно переходить от одной ссылки к другой уже в тридцатые годы, потому что энциклопедии после эпохи Просвещения стали привычным делом и только этим напыщенным медиадуракам было это невдомек.

Каждый из членов нашей семьи сидел в своей комнате и занимался своим делом, отвлекаясь от дел уличных. Встречались мы, в основном, на кухне за столом. Прочитав статью о фаллопиевых трубах, я выходил в коридор, где сталкивался с отцом, только что занимавшимся переводом Бхагават-Гиты – белая рубашка с манжетами, домашний халат и какой-то справочник под мышкой.

За обедом отец, игнорируя окружающий набухающий национал-социалистический контекст, негодовал о том, что отопление не работает или что посуду плохо помыли. Вчера он жаловался, что кто-то откусил кусок его яблочного пирога. Он полагал, что это сделал я. А потом заводил совершенно абстрактный разговор о природе добра и зла, праве и справедливости, органично вплетая в свою аргументацию реформы Солона. Я занимал более прагматичную позицию и предлагал заняться вопросами выживания. Наши аргументы были из разных плоскостей. К примеру, я ему говорил, что нам нужно обратиться за помощью к родственникам в Швеции, которые нам эту помощь уже неоднократно предлагали, пересечь Балтику, мигрировать. На что мой отец отвечал цитатой Шопенгауэра: «Есть одна только врожденная ошибка – это убеждение, будто мы рождены для счастья», – и с довольным видом намазывал масло на кусок хлеба. Именно с тех пор я стал ненавидеть весь немецкий

романтизм и идеалистическую традицию. Отец хмурился, если я ему говорил, что еврейскую школу, в которую я ходил, закрыли, а на стене появилась надпись «Жид, сдохни!» Когда я ему говорил, чтобы он сходил на рынок (ему, как немцу, это не стоило никакого риска), тогда он швырял на стол недоеденный бутерброд, вскакивал из-за стола и, расхаживая по кухне, вопил: «Нет, ну положительно, мир во всех отношениях, безусловно, плох: эстетически он похож на карикатуру, интеллектуально – на сумасшедший дом, – и я в нем живу! В нравственном отношении – это просто мошеннический притон, а в целом – тюрьма. Вы третируете меня каждый день своими непомерными запросами! Я уже не могу спокойно работать! Кто вчера разбудил меня, когда я, как обычно, прилег в обед? А когда я проснулся, что же я вдруг обнаружил!? – что кто-то уже успел откусить кусок моего яблочного пирога! И там еще – я замерил – остались следы зубов! Ладно это, но вы же знаете, что в обед я должен поспать, чтобы у меня не болела голова. Как можно быть такими эгоистами! Я что ли устроил это марширующее безумие на площадях? Почему я должен его исправлять? Я разве Бог, чтобы это всё исправлять? Я не Бог! И хорошо, что я не Бог, потому что если бы я был бо-о-ох, страдания этого мира разбили бы мое сердце...»

Войну мой отец не пережил. Когда нацистов сменили союзные войска, отец не хотел расстаться с наручными часами с металлическим ремешком, и какой-то сержант навывел прострелил ему щеки. Рана не смертельная, но болезненна и неприятно заживает; отец замолчал, стал отказываться от еды, лег на свой диван и больше с него самостоятельно не поднялся. Колеса печали проехали по его сердцу и растоптали маленького Людвиг Второго Баварского внутри него.

На улицу я старался не выходить, потому что если я шел по тротуару, меня мог прогнать на проезжую часть любой ариец; я старался скрыть перед встречными прохожими нашитую желтую звезду Давида на груди, поднимая руку к носу, будто он зачесался – от этой привычки я избавился только в шестидесятые годы; чтобы мне не плюнули в лицо, я старался передвигаться на велосипеде. Но как бы быстро я ни ездил, желтую нашитую звезду было видно. И однажды, когда мама меня отправила к семейству Херрман, которые собирались эмигрировать, чтобы забрать у них несколько ящиков с металлическим конструктором фирмы «Мерклин», проехавший на Шреттер-штрассе толкнул мой велосипед – и ящики рассыпались по проезжей части железными винтами, гайками и колесами. Обида тогда застила мне глаза, и я не сразу понял прогностической метафоры произошедшего события, а мне стоило бы задуматься и просто посмотреть на произошедшее глазами синемаатографического режиссера. Если бы художник снимал фильм о Второй мировой войне, он мог бы начало войны показать бомбардировкой зоопарка в столице какого-нибудь европейского государства. Камера движется параллельно зрителю зоопарка, который толкает впереди себя тележку с нарезанными кусками мяса.

Бомбардировщиков еще не видно, их еще не слышно, но животные как будто что-то почуяли: волки воют, лисы бросаются на стены вольеров, медведи просовывает морды между прутьев клетки и облизывают носы, обнажая пасти. Смотритель зоопарка останавливает тележку перед вольером с тиграми и, когда он начинает перебрасывать куски мяса тигрице Лоле через загородку, на бреющем полете проносятся самолеты – и на зоопарк обрушиваются авиабомбы. В следующем кадре – развороченные металлические прутья, животные в страхе выбегают из загонов, раненый гусь клюет в морду окровавленного тигра. Дикие животные распространились по всему городу; эта кинематографическая метафора символизирует разгул инстинктов войны, которых больше не сдерживают правила культуры и воспитания.

Так же и металлические части моего конструктора фирмы «Мерклин» со звоном распространились на мощеной дороге, не сдерживаемые больше стенками четырех деревянных ящиков. Это в другой столице, где-нибудь на юге, или в книгах Зигмунда Фрейда инстинкты разбегаются животными или древними участками головного мозга; в моем опыте, в моей жизни на Шреттер-штрассе зло рассыпалось металлическими конструкциями, как будто сломалась машина и ее устройство. Не витальные силы, словно кроманьонец обгладывает кость неандертальца, но часовой механизм, который растоптали каблуком; и печь затоплена не для того, чтобы молоко в ней томилось, не как проложение моей кожи, которая меня согревает и оставляет сухим от влаги снаружи, но для того затоплена печь, чтобы мою кожу скукожить и сшагренировать. Так упало мое сердце тогда – со звоном, – как упали детали конструктора на камни, и все обернувшиеся прохожие увидели мою нашитую шестиконечную звезду и пошли дальше, как будто не было никакого грохота и как будто не было меня самого.

Эта перемена, когда меня перестали замечать, редко упоминается в книгах, доктор, но о ней стоит рассказать. Со мной опасались заговорить, меня пустили в кирху на «Страсти по Матфею», хотя и заметили, но не решались выгнать. Меня не замечали везде, доктор, чтобы не накликать на себя юридические последствия. Вам, как арийцу, мою социальную невзрачность не понять, но представьте себе, что так многие сейчас делают, если замечают потерянный кошелек на тротуаре. Люди проходят мимо, стараясь его не заметить, чтобы избежать разговора под протокол с полицейским. Ты всегда можешь сказать, что ты не заметил кошелек с деньгами, и никто не сможет доказать обратного. Но вот если ты принесешь портмоне в полицейский участок, ты автоматически становишься подозреваемым, хоть и не в строгом юридическом смысле. Поэтому этот кошелек все стараются не замечать. Так же не замечали и меня, как кошелек на тротуаре. И если все рассказывают об этом времени какие-то поразительные случаи, то они были, но не они составляли ткань повседневности. Само повседневно, впоследствии забываемое,

составлялось большей частью из моей незаметности, хотя вспоминаются, конечно, самые разительные происшествия, описывать которые можно, только имея жестокий талант. Я расскажу, впрочем, и о них, вернее, спорадически надточу канвой мимолежного повествования, потому что именно они – эти происшествия – подсветили мою незаметность и придали мне социальный рельеф. Во времена нацистов этот рельеф обычно превращался в холмик земли, от которой поднимался пар, или превращался в холмик пепла.

Однажды случилась курьезная история; в результате какой-то административной ошибки я получил мобилизационное предписание. Я опоздал на построение на плацу, так что мне пришлось – со своей желтой звездой – идти перед всем строем замерших новобранцев. На призывном пункте капитан, которому я вручил повестку, растерялся, увидев мой паспорт серии «J» и звезду, но всё равно спросил по форме, как меня зовут, отругал за опоздание и сказал стать в строй. Я прошел медицинское освидетельствование и даже получил военный билет с пометкой «В резерве, к службе не годен». И врачи и офицеры понимали, что произошла какая-то абсурдная бюрократическая ошибка, но следовали инструкциям, не оспаривая выданной мне повестки: они обследовали мое здоровье, жилы и легкие, стараясь не замечать моего еврейства.

И так бы и продолжалась эта социальная игра «вы не спрашиваете, а я не выпячиваюсь»; может быть, долго продолжалась бы, но меня выдал один ариец с химической фабрики, где я работал, а потом череда случаев высветила мою общественную чуждость. Из-за того, что у одного арийца или его родителей произошла какая-то генетическая мутация, предопределившая отсутствие определенных полей и подполей головного мозга, отвечающих за сопереживание и способность делиться пищей с неродственными особями, или все причины лежали в его детстве, я не берусь сказать... в общем, он любил мучить кота, который большую часть времени спал в нашей мастерской. К примеру, ариец говорил: «Интересно, как высоко прыгнет сегодня Петерхен», после чего смачивал в нашатырном спирте кусок ваты и клал его прямо под нос спящему коту. Когда я вступился за кота, он меня назвал жидовской мордой: «Ты за это ответишь, жидовская морда». Обещание он свое сдержал – и меня выгнали с работы. Мать моя была уже к тому времени переутомлена, а отец неожиданно для всех совершенно завшивел, заперся у себя в комнате, и из-за двери были слышны его упражнения в произношение слоговых морфем китайского языка; педикулез он лечил мочой, постоянно нося полиэтиленовый пакет на голове, отчего его волосы были всегда как будто жирными и пахли – как ни странно не мочой, а просто чем-то необъяснимо неприятным.

Потеряв работу, я принялся воровать. Из-за природной трусости воровал я осторожно и почти только на чердаках. Я надевал рабочий комбинезон электрика и спортивную обувь, заходил в подъезд и

поднимался наверх в поисках любого барахла, которое можно продать на блошином рынке. Еще я проделывал совершенно мошеннический трюк: отсоединял одну фазу на распределительном щитке и из-за угла ждал, пока соберутся жильцы дома с обеспокоенными лицами. Тогда я выходил из-за угла в синем комбинезоне пантократора, в синих молниях, Джеймсом Куком перед дикарями, я выходил из-за угла с испытательной лампой в руках. После мнимых вдумчивых манипуляций я подсоединял фазу обратно и требовал съедобных сатисфакций.

Возвращаясь домой, мы сядились с родителями за скромную трапезу. Жалуюсь на то, что ему якобы достался тоньше, чем у меня, кусок хлеба, отец снова заводил разговоры о справедливости и несправедливости; уверенно вставляя угольным совком в рот коричневый кусок хлеба, он рассуждал о том, что на зло нельзя отвечать злом, потому что зло опять будет порождать зло, что мир держится только тайными пассажами мудрецов и сердечной молитвой, а те, кто ворует (явный намек на меня), всего лишь продолжают умножать несправедливость этого мира.

Каждый день я снова и снова надевал комбинезон электрика, сумку с инструментами и выходил в окрестности. В одном из дворов на окраине Кёнигсберга я обнаружил электрический щиток прямо возле подъезда и уже засунул руку в сумку за инструментами, как заметил в глубине двора развешенное на просушку белье. На черном рынке его можно было выгодно продать и сносно питаться дней пять. Тяжелые простыни прогибали провода, натянутые между деревянными столбиками, как будто это были линии электропередач, провода провисали. За парусами тяжелых простыней находился пустырь, куда я сразу же рванул, руками сминая на ходу в шар влажное еще белье с местами повисшими на нем деревянными прищепками; на бегу я лепил из него тяжелый снежный ком. Вдруг позади меня раздалась женские вопли, а затем несколько мужских выкриков – и почти сразу же выстрелы автомата, – и я вижу всеором воткнувшиеся пули в пустырь, его камни и глину, – и развалины поодаль. Я устремляюсь к этим развалинам, петляя между всхолмьями невозделанной земли и кусков щербатых фундаментов, но далеко мне всё равно не убежать. В надежде, что если я отдам свою простынную добычу, солдаты прекратят погоню, я подбрасываю белье вверх так, как только возможно по моим силам, чтобы им было видно, и забиваюсь в проем между двумя разрушенными краснокирпичными блоками. Мне не хватает воздуха, но и дышать громко я не могу, чтобы не быть замеченным. Я прижимаю рукав рубашки ко рту и выдыхаю в ткань, чтобы было тише, весь дрожа, как вдруг замечаю, что мне можно больше ничего не бояться и можно дышать спокойно, вернее, отдышаться, потому что передо мной стоит солдат с оголенным туловищем, дуло его автомата наставлено на меня, сам солдат тоже дышит тяжело. И я почувствовал облегчение...

И вот так, доктор, я оказался у вас в Дахау. После того, как меня

несколько лет при нацистах старались не замечать, а я старался тоже не попадаться на глаза, мне было непривычным и приторным бюрократическое внимание; внимание, впрочем, поверхностное, но по существу. Меня всего замерили, рост и вес внесли в специальные документы, сфотографировали. Каким-то образом повлияло то, что я был сыном немецкого профессора, и меня не отправили на смерть сразу, а растянули во времени. В смерти, думал я тогда, нет ничего страшного, пока она не приближается. В этом смысле я противоречил знаменитому моему современнику, ученому и исследователю из Шварцвальда Мартину Хайдеггеру, который смерть именно при жизни ставил во главу угла, как задающую тон повествованию всей нашей жизни. Мне казалось всегда, что это присутствие смерти – такое же подспудное, как пищеварение по отношению к питательным веществам или огни нейронов по отношению к мысли: расстояние между мной и смертью хоть и влияет на мою жизнь, но не определяет ее, как и мою совесть. Так я тогда думал.

Хотя контекст для размышлений не располагал: длинные ряды бараков, тяжелая работа, переклички несколько раз в день. Но самое тяжелое в первое время было даже не это, а то, что я почувствовал какую-то щемящую усталость. Она была связана не с тяжелым физическим трудом и не с моей невольной судьбой, а с тем, как я понял впоследствии, что мой взгляд, который я иногда бросал на небо или в кроны деревьев вдалеке или вокруг лагеря, мои недолгие выпуклые взгляды искали на этой равнине – море; мой взгляд пытался выцепить привычные мне ландшафты, что-то знакомое, хоть какой-то уголок; я ожидал, к примеру, что за деревьями вдруг откроется обычный мне морской простор... Но этого не происходило. В бессилии увидеть привычные пейзажи, мой мозг без устали достраивал и домысливал отсутствующую теперь жизнь, ее звуки и запахи. А когда мне выстригли полосу от лба к затылку, чтобы в случае побега я выделялся из среды, и ветер холодил оголенный скальп, мой мозг в своем воображении достраивал отсутствующие пряди. И я от этой его настойчивой работы по восстановлению привычной мне когда-то среды уставал еще сильнее, чем от посвистов охраны.

Едва я разобрался, где находится мой барак и мое место за ручками тележки, как объявили карантин в связи с охватившей лагерь эпидемией тифа. Между зданием администрации и плацем выстроилась длинная колонна черных и блестящих автомобилей и мотоциклов. Все эсэсовское начальство в стильных своих униформах село на эти мотоциклы и автомобили и умчалось за пределы расположения лагеря. Несколько месяцев они не появлялись и наступили относительно либеральные времена.

На фронте было не всё в порядке, поэтому необходимо было увеличить производительность нашего труда. А для этого надо было так организовать производственный процесс, чтобы не все наши силы уходили на то, чтобы остаться в живых, то есть сохранить тело в

минимальном присутствии, но оставить и след своего присутствия. В тот отрезок наших жизней мы были заняты в оборонной промышленности.

Чтобы мы не уставали, нам разрешили поставить театральную пьесу, которую написали мы сами. Из досок союзные летчики шесть раз сколачивали и разбирали сцену; репетировали. По воскресеньям мы играли в футбол. Я возобновил занятия игры на скрипке. Самые безграмотные люди так были впечатлены своим лагерным опытом, что стали писать стихи. А на Рождество сестра Мия привезла нам всем подарки. У нее было особенное, привилегированное положение, потому что она однажды спасла самого Гитлера от пули. Она считалась нашей добродетельницей и имела право в любое время прийти в лагерь.

В рождественский вечер мы навели в бараках порядок, мы получили новые нашивки с нашими номерами; нам подарили по маленькому подарку – несколько печеней и сигареты – а потом нас всех построили на плацу. Открылись ворота и в расположение лагеря въехал черный современный автомобиль с запасными колесами на крыльях по бокам. Сестра Мия вышла из машины и, опираясь на офицерскую руку в черной кожаной перчатке, взошла на сбитую нами для нашей пьесы деревянную сцену. Сестра Мия начала в позднеромантическом пафосе, как герой. «Вы – закричала она, – штрафная компания, вы люмпены этого лагеря! Не позорьтесь, дармоеды; в вас надо плывать, отребье человечества. Как вам не стыдно, воришки хлебных крошек...» А перед тем, как нам раздали пакетики с подарками, она сказала так: «Раздайте им поскорее пакеты, чтобы они ушли с глаз долой!»

И мы ушли с плаца к своим баракам...

А потом меня записали в «летчики». Так я для себя называл эти испытания, доктор. В то время возникла необходимость точно установить, через какое время человек замерзает, если его сбить на самолете и он упадет в холодную Россию. России под рукой не было (хотя, судя по холодному дыханию, запаху водки и лука, советские войска приближались... повеяло матом), поэтому меня сажали в резервуар с ледяной водой. Когда я уже практически замерзал, меня доставали и начинали интенсивные реанимационные мероприятия, как будто я и в самом деле был ценным летчиком, которого надо было непременно спасти. Доктор, если вы когда-нибудь отсиживали ногу, то знаете это неприятное, болезненное покалывание восстанавливающегося кровообращения. Так вот, доктор, всё, всё свое тело я переживал как одну сплошную отсиженную ногу, так что возвращение к жизни было неприятным и вынужденным. Но описывать всё это совсем нет никаких сил, – ни этот желтый кафель, ни эту серую штукатурку, ни ванную с ржавыми подтеками. Как я уже говорил, чтобы описывать, что со мной и с другими было, надо иметь жестокий талант, а его у меня не было и нет. Я знаю таких писателей: им что человека пырнуть, что дерьмо есть мельхиоровой ложечкой – всё одно художественное высказывание. А у меня изнанка чувствительная и кишечник маслянисто блестит. Поэтому

отмечу только следующее: именно с тех пор я научился стойко плавать и уверенно переносить низкие температуры. Меня закалили, как титан; я стал прочный, немагнитный, звонкий. С высокой точкой плавления, я лучше железа провожу тепло. Именно с тех пор *просто жить* я стал понимать как удовольствие. Теперь, если я видел, к примеру, синий цвет, – это была *уже* радость. А если это боттичеллиевская синева неба или черный-черный-черный-черный фон Караваджо, то мое восприятие множилось наслаждением. Это и есть сюрреализм, в переводе – сверхреализм: реализм – мое простое радостное существование, когда я только воспринимаю. Мое синее и черное стало с тех пор синее синего, чернее черного, а душа и выправка – смиреннее смиренного.

И вот, в один из вечеров, когда меня достали из ванной, чтобы вернуть ток лимфы и крови, чтобы расширились сосуды, прекратили голодание клетки и улучшилась трофика тканей, в лабораторию зашла сестра Мия, ведя на поводке двух тигровых боксеров. «Я знаю, кто тебя согреет быстрее всего!» – как на плацу, зычно крикнула Мия. В комнату за ней зашли две голые проститутки из Равенсбрука и стали меня растирать своими телами. Пока мое-тело-как-отсиженная-нога оттаивало, я всё отчетливее понимал, что сестре Мие и сопровождавшим ее двум офицерам было почему-то очень весело. Да, они были выпившие, но если бы мне сейчас предложили выпить, я всё равно не нашел бы повода для веселья. Я был разрушен, окна выбили, двери сняли с петель, в духовом шкафу – сотейник с человеческими испражнениями, на стене надпись: «Ну, что!? Ладна ваняйт!»; я был в плачевном состоянии, как Сталинград. Как битва, в меня возвращалась жизнь, то есть на разных этажах одного здания могли находиться противники, и всё время кто-то постреливал. И хотя сердце мое было полно слез, в глазах они высохли – именно поэтому моя фотография в личном лагерном деле такая странная.

Тем не менее, появление сестры Мии не на плацу, как в первый раз, когда я ее увидел, а в камере и вблизи, было моим спасением. Знаете, доктор, в молодости я был очень красивым. Старику, как я, можно об этом говорить, это не будет нескромным, потому что я говорю это почти что о другом человеке: этого человека уже нет, от него осталось только тоннельное зрение из того же головного мозга. Так что я говорю почти что не о себе. В общем, я ей очень понравился. Она сказала тогда: «Ах ты мой маленький, сладкий еврейчик!» – и ей разрешили забрать меня к себе на виллу в качестве слуги. Когда я шел к ее машине, сперва по коридору, слабый и обветренный, с безразличием навывпуск, боковым зрением увидел этих проституток, разложенных на полу; на улице шофер Мии укладывал в автомобиль коробки с маргарином, консервными банками с лионером из нашей столовой. Я сел на заднее сиденье – и задрожал, как сука, которую забрали от мамы, и она еще не знает, куда ее везут и будут ли ее там любить. Но я был такой промозглый снаружи и внутри, примостился на заднем сиденье и

очнулся, только когда огни виллы приблизились, кусты по обочине дороги расступились в стороны, и мы въехали на усыпанную гравием площадку перед домом, освещенную тусклыми фонарями.

Я спал три дня.

Я спал три дня.

Я спал три дня.

Принял душ, почистил зубы. Мия распорядилась, чтобы меня показали врачу. Меня осмотрели всего слева направо и справа налево и были удовлетворены: «Живучий еврейчик!» – сказала сестра Мия. Меня никто не спрашивал, меня переодели в униформу горничной, черное платье и белый передник, туфли на невысоком каблукке и красная кружевная наколка на голове. Днем я должна была убираться в доме, выполнять мелкие поручения; два раза в неделю к нам присылали заключенных из нашего лагеря для работ в саду, и я следила за выполнением этих работ. Регулярно к нам захаживал комендант лагеря Хельмут фон Штайнбергер, я подавала на стол, ставила пластинки Вагнера. Он жил выше нас у подножия горы, через лес, в положенном ему родовом замке. Хельмут был типичный представитель сверхчеловечества: позднеромантическая – впрочем, традиционная для всего романтизма – неудовлетворенность наличествующим миром и самим собой канализировалась в obsessивное стремление к улучшению всего: общества, расы, бицепса. Он культивировал в себе военизированную потусторонность его арийского образа: тонкая кожа, высокомерный изгиб губ, гармоничные аристократические черты и трогательная уязвимость. Я была не столько влюблена, сколько очарована им. В выходные дни я собирала в плетеные корзины сыр, хлеб и бутылки шпетбургундера, укрывала корзинку грубой льняной клетчатой скатертью, и мы выезжали к горным озерам с изумрудной водой. Хельмут купался даже зимой, ныряя с головой, а когда выходил, обращал лицо с закрытыми глазами к солнцу, поднимал руки вверх, и капли воды блестели на его прозрачной коже. Иногда мы ездили выше в горы, и в гроте он плавал на лодке, запряженной лебедем, распевая арии Лоэнгринга: *Wenn ich im Kampfe für dich siege...*

Спокойными и уютными вечерами, когда на столах горели высокие белые свечи в канделябрах, а с каждой стороны тарелок было по три прибора, что означало долгую трапезу, Хельмут рассказывал много интересного; и это интересное меня просвещало и возвышало. Иногда к нам присоединялся университетский профессор: он спускался со снежного холма на лыжах, ставил их вертикально, оперев на стену дома, и, не разуваясь, прямо в лыжной шапочке проходил за стол.

Сестра Мия, хотя была глупа и неначитанна, старалась поддерживать беседу, утверждая, что «воля к жизни аподиктична по отношению к ее смыслу, так что не стоит грустить о рациональном, если в высказывании достаточно экзистенциального напора». Иными словами, ставила под сомнение ценность академического образования. Она очень гордилась тем, что не запоминает стихов: «На самом деле,

это мое преимущество: я не помню стихов и поэтому, когда снова их читаю, получаю от них удовольствие, словно читаю их впервые. Разве у вас не бывает зависти к тем людям, которые впервые прочитают книгу, которая потрясла вас до глубины души!» Цитаты она или портила, или знала наполовину.

Я наливала вино в фужеры, совершая неспешный обход вокруг стола, когда Хельмут, совершенно вдохновенно, сказал: «Советы никогда не выиграют войну против немецкой нации. Они наивно полагают, что тараканьим числом, забросав трупами советских солдат амбразуры немецких дзотов, сломят нашу волю. Да, солдаты вермахта сходят с ума на Восточном фронте от гор трупов, но у нас есть Баден-Баден, к примеру, где минеральными водами фатерлянда они омоют свои истстрадавшиеся тела и раненые души, родная земля вернет им силы. Русские верят в чудеса, в светлое будущее, основываясь на вырожденческой фантазии глупого еврея Маркса, лишенной всяческой научности. Мы, национал-социалисты, основываемся не на утопических прогнозах исторического подхода, а на точной, выверенной, поддающейся измерению расовой теории. Да, я признаю, что у русских, как и у нас, тоже есть мечта, но их мечта не имеет научных оснований. Наши же враги с другой стороны – англосаксы – даже мечты не имеют. Сидят на своем мокром острове и высшим счастьем считают просушить одежду у камина за чашкой чая. Это они называют *common sense*, *здравым смыслом*. Плебеи! Недавно я допрашивал попавшего в плен английского офицера. Он утверждает, что не смотрит кино, не слушает оперу и не читает художественную литературу, потому что там всё выдумки. Он утверждает, что читает исключительно научную литературу, потому что в художественной литературе измышленные истории, вымышленные люди и события – то, что не существует. Они никак не могут уразуметь, что жизнь оправдывается как эстетический феномен, но верят в эти обезьяньи теории выжившего из ума Дарвина, которые окончательно загнали островитян в узколобость провинциализма. Я бы им предложил музыку вовсе не слушать, а сосредоточиться на том, чтобы прислушиваться, где скрипнула половица, и регистрировать таким образом движения вокруг, что важнее для британского выживания и отбора (на котором они сконцентрированы), чем катарсис. А звуки для выработки положительных условных рефлексов мы им обеспечим регулярным навешиванием отважных летчиков нашего Люфтваффе!» – так говорил Хельмут. В такие вдохновенные мгновения лицо его становилось волевым и сильным, а глаза, наоборот, с поволокой грустной непроницаемости.

«Браво! Браво! Лучше мог бы сказать только герр Ницше! Вы не человек – вы динамит! Вот образчик того, как надо философствовать молотком!» – закричала Мия, так жестикулируя поднятым бокалом, что часть вина выплеснулась за плечо.

Профессор, почти донеся рюмку с вином до своих hitler-style усов, вдруг остановил руку, чтобы поправить сестру Мию:

«Молотом».

«Что, простите?» – спросила сестра Мия.

«Нищие писал: философствовать МО-ЛО-ТОМ», – ответил профессор и вложил глоток вина под язык.

Чтобы поставить на место профессора, урезонившего ее забывчивость и уточнив ее высказывание, она решила это сделать цитатой из Гераклита, а именно, его знаменитым: «Многознание уму не научает, иначе оно научило бы Гесиода и Пифагора, а также Ксенофана и Гекатея». Загвоздка была в том, что она помнила только первую часть высказывания, поэтому сказала примерно так:

«Профессор, как вам известно из Гераклита, многое знание уму не научает, иначе оно научило бы... – тут она забыла продолжение и закончила залихватским хамством: ... иначе оно научило бы и вас!»

«Эх! – вздохнул профессор. – Это многознание – актуальнейшая тема на сегодняшний день: у нас вчера во дворе университета опять жгли книги. Утром к ректору пришел бецирксфюрер молодежной организации со списком книг, найденных в университетской библиотеке, для изъятия и уничтожения.»

«И стоит переживать, герр профессор! Меня больше всего беспокоит, что тот же огонь, который для нас священен, когда мы маршируем с факелами на площадях, вынужден мараться этими иудейскими книжонками», – парировала Мия.

«Дорогая сестра Мия, как преподаватель, я беспокоюсь в большей степени о том, что мои студенты покинули учебные аудитории и совершают марш-броски по две недели кряду во время паломничества к Браунау-ам-Инн, разматывая и сматывая кабели связи на тренировочных полигонах – вместо того, чтобы читать классические тексты и изучать древние языки. Только и всего.»

«Ну а как вы предлагаете уничтожить классовое сознание и классовую чванливую гордость, если не совместным проживанием в палаточном лагере, когда юноши и девушки должны совместно преодолевать трудности и тяготы полевой жизни. Если мальчишка какого-нибудь фермера из консервативной католической общины какого-нибудь Баиндта и девчонка, видевшая эти фермерские поля только из окна своего родового замка, и окна эти она еще и закрывала в те дни, когда ветер доносил с этих полей запах навоза. А теперь в палатке они понимают друг друга, они едины и пахнут одинаково. Вся эта классовая неприязнь опасна для Германии, именно она спровоцировала революцию и разрушила Россию. И не забывайте, что мы ведем войну на два фронта...»

«А что вы предлагаете, профессор?» – перебил Мию до этого молчавший Хельмут. О, сколько было силы, сколько было призыва к ответу в этом вопрошании! Так много было силы, что профессор смутился и некоторое время собирался с мыслями. А потом перешел на какую-то академическую феню:

«Если говорить о факельных шествиях, то когда они стали

повседневностью, я радовался, потому что повседневность суть модус бытия Dasein'a именно тогда, когда Dasein разворачивается в такой высокоразвитой и дифференцированной культуре, как немецкая. Озаботившееся через волю к смерти бытие-в-мире раскрывает себя смыслами, разворачивающимися не просто в личной истории, но истории народа и освоенной им страны, питающей почвой кровь этого народа...»

«Так я и думал! – сказал Хельмут и хлопнул ладонью по столу. – Вы сейчас так говорите, что если вас пустить на радио, то врагам государства такие передачи и глушить не обязательно, потому что их понимают только аспиранты. Как говорит наш фюрер, интеллигенция оторвалась от народа; интеллигенция – это не мозг, дорогой профессор, это говно нации. А когда я слышу слово 'интеллектуал', мои пальцы тянутся к кобуре. Национал-социалистическая идея заключается в том, чтобы интеллигенция и наука были понятны и едины с немецким народом. Никакого элитаризма! Нам даже можно... – тут Хельмут из-под скатерти засунул мне руку под платье, – подвизаться с молодыми еврейками, если это не приведет к нежелательным и щепетильным расовым последствиям кровосмешения; но главное, чтобы не было гордости, и чтобы она знала, кто господин!» – при слове «господин» Хельмут сжал мою ягодицу стальной ладонью так сильно, что кровь отхлынула и попа стала бледной, а щеки и уши мои, наоборот, покраснелись.

«А что, сестра Мия, вы мне говорили, что у вас есть для меня несколько бутылок мозельского, так не составит вам, уверен, труда отправить мне их наверх в замок. К примеру, это могла бы сделать ваша горничная завтра после обеда...» – сказал Хельмут, а я уже от волнения дальше и разговор не слышала, вернее, не понимала из-за того, как зарделись мои щеки.

Всю ночь мне было тревожно, и я плохо спала: я знала в точности, что произойдет у Хельмута в замке, но волновалась так, словно это было волнение перед неизвестностью. Лучше бы я ничего не знала, лучше бы это произошло неожиданно.

Время до обеда следующего дня я провела в саду, где союзные летчики (настоящие, не такие, какой была я в ванной с ледяной водой) и польские ксендзы – ну где еще они стали бы работать вместе? – обрезали деревья. Я прошла по извилистой тропинке, мощёной мелким камнем; между воткнутых небольших садовых деревьев шадуфом к стволам стояли заключенные, вооруженные ножницами. Я присела на лавочку, любовалась природой и думала. На клумбе цвела примула, на клумбе цвела желтая штернбергия. Да, штернбергия, это его цветок! Как я сразу не догадалась? Я срезала два цветка и положила их в корзину, приготовленную для Хельмута, рядом с двумя бутылками красного вина, сыром с голубой плесенью и грубым фермерским хлебом.

Я переделалась из серого платья в черное платье, повязала

нарядный кружевной фартук, на голову – красную наколку. На крыльце я задержалась и подумала, что выше в горах, где замок, может быть прохладно, поэтому я вернулась, набросила на плечи красную накидку, под которой спрятала мою плетеную корзинку, и пошла лесной тропинкой вверх по склону; пошла лесом. Я не спешила, потому что у меня от волнения лытки дрожали, а чтобы сбить эту дрожь, я останавливалась и собирала цветы в букеты. Когда я набирала полный букет, я его выбрасывала и собирала новый. Но время не растянешь, дорога настойчиво уходила вниз, лес становился гуще и показалась мельница. Вдруг навстречу мне вышел мужчина с садовыми ножницами. И я не сразу поняла, что это союзный летчик из нашего сада. Я остановилась перед ним, сделала книксен и поприветствовала его: «Guten Tag!» Он тоже поприветствовал меня на непонятном мне языке: «Schalawa, bljat». Затем он взял бутылку из моей корзины, сбил ножницами горлышко и вложил красное вино одним движением внутрь себя так, что у него даже кадык не двигался; отбросил бутылку в кусты, сделал решительный шаг в мою сторону и повалил меня тоже в кусты. Хотя я продолжала не понимать, что он говорит, я всё же понимала, чего он хочет, и хотела его остановить (к примеру, я сказала, что у меня месячные, хотя это была неправда), но он меня не понимал. Он придавил меня своим офицерским телом, придавил мне шею своей выбритой лагерной дорожкой головой, уперся темечком мне в подбородок, так что мне пришлось отвернуть набок голову, а сам он приподнимался на коленях, чтобы приспустить свои штаны, но как-то долго возился. Видимо, что-то не получалось, и он вьюном переместился выше по моему телу и, запыхавшись на уровне моего уха, на какое-то время замер, как будто прислушивался или собирался с силами для нового напора – и вдруг рванул на груди мое платье и стал целовать мою грудь, царапаясь щетиной. Неожиданно он остановился, отпрянул и уставился на мою пологую грудь с маленькими розовыми сосками. Он сказал протяжно: «Не по-о-ня-я-аал...» Лицо его было удивленное, и он два раза надавил мне ладонями на грудь, проверяя, как будто собирался сделать пальпацию молочных желез, но неумело, как первокурсник. «Не понял... – сказал он еще раз, – а где сиськи? Где сиськи, я тебя спрашиваю?!» – рванул летчик мое платье до пупа, а потом разорвал трусы и ошалело уставился на мой член, как будто это был крутящийся пропеллер тарелки для гипноза.

«Ах, ты так со мной! – заорал летчик, вскакивая. – Так ты, значит, со мной, с советским человеком, ну, получай тогда, гнида!» – и как стал меня бить и рвать на мне одежду! Стянул чулки и выбросил за плечо, развернул меня на живот и разорвал в лохмотья всю одежду, поставил каблук мне на лопатку и стал тянуть волосы из головы, потом бил по голове, прыгал на спине, а что там дальше, я уже не помню...

Я очнулся от холода, совершенно голый в кромешной тьме лесной чащи, лысый. Фонарики поисковой группы светили направленно, но

тускло. Я просто лежал, дыша наполовину, пока рассредоточенная рота немецких солдат проходила мимо. Следом я перевернулся на живот и аккуратно пополз вниз холма, где у мельницы была небольшая речушка. Колесо мельницы выглядело, как пропеллер древнего сбитого деревянного самолета. Я отметил, что с тех пор, как проходили мои тренировки в ледяной ванне, я перестал ощущать холод и надвигающийся мороз, в котором застыла вся долина. Воздух как будто звенел от влажности и мороза, словно какой-то гигант дохнул на долину, как маленький человек может дохнуть с теплой стороны окна, или как Татьяна Ларина может дохнуть на теплую сторону окна перед тем, как вывести вензеля О да Е. Я сполз в реку и медленно и тихо нырнул в ее темные воды. Я впервые в жизни плыл в полной темноте и удивлялся тому, что журчание воды не поддерживалось оптическим образом, не было перекаатов воды на камнях, она не виляла веретеном на мелководье, не пузырилась на преградах и валах. К утру река задышала, и от нее стал подниматься пар. К обеду она замедлилась и затихла, к вечеру – расширилась и впала в большую реку с коричневыми водами. Через несколько дней я заплыл в большой город с погасшими огнями и арочными мостами; окна были занавешены, здания были мрачны и настороженно поблескивали, занавешенные изнутри одеялами. А потом налетела авиация союзников – и всё загорелось: люди прыгали ко мне в реку, чтобы спрятаться от пожаров, но топливо разбомбленных складов разливалось по руслу и тоже горело; на поверхности и до глубины двух метров вода кипела, и я ушел на самое дно – в полтора метра ила и морскую капусту выброшенных велосипедов. Я оглянулся и увидел в мутной воде целое кладбище выброшенных велосипедов, ипсилон заржавевших рулей, колеса обозрения колес, кожаные седла, как коричневые бабочки, вывернутые от влаги. Потом вниз полетели красные кирпичи и куски стен, гранитные плиты, окна министерских размеров и чугунные ограды, чугунные перила, памятники и книжные шкафы, люди... но люди быстро всплывали.

Я поплыл дальше и через несколько дней вода стала светлее и солоноватой на вкус, и я понял, что я выплыл в море. Судя по солоноватости, это была Балтика. Тогда я всплыл на поверхность и увидел родной пейзаж: белесое, с глазами навывкате, море, полосу пляжа во все глаза и изумрудные сосны с ржавыми стволами. Мой родной дом, доктор. Так я вернулся домой, но я уже не был тем человеком, которым я был в начале своего путешествия. Я не только закалился в морях северных, потерял все волосы и ушел на дно, хотя мечтал о небе. Все эти бедствия, что я пережил, вся эта устойчивая витальность, вся эта моя живучесть, наконец, при отсутствии внешнего насилия не могла долгое время найти применения. Я думал, что я снова начну играть на скрипке, но внешнее сопротивление ушло, забрав мое желание. Еще можно играть оттого, что счастлив, но счастья у меня поблизости не было.

По государственной программе я получил квартиру и мебель; мне выдали денежную компенсацию, восстановили в правах. В гостиной перед телевизором стояли два кресла и ломберный столик. Теперь я был не жидовской мордой, а жертвой диктатуры; поменялись законы, изменился мой статус, изменился, как я уже сказал, и я сам, но произошло-то это всё равно со мной. Казалось бы, что еще нужно! Но я стал страшно пить и валяться на улице. Утром я просыпался и сразу нырял в Балтийское море – круглый год, потом шел в социальный магазин и покупал выпивку и сигареты. К тому времени я прочитал и полюбил русского писателя Венедикта Ерофеева, нашел в нем единомышленника. Мне, как еврею, Израиль выписывал и присылал множество различных журналов, в том числе я по какой-то необъяснимой причине получил журнал «АМИ» за 1973 год, который выпустили всего в количестве триста экземпляров, что уже на момент публикации являлось библиографической редкостью. Доктор, если вы не читали его поэму «Москва-Петушки», то обязательно прочтите.

– А это не там, где мужик едет в электричке и всё время бухает? – нахмурился доктор.

– Да, она; но суть этой книги не в этом. Там для меня главное было в том, что можно плевать на всё общественное устройство, на государство, на метрики, на размер моего носа и черепа, на каждую ступеньку общественной лестницы – по плевку. В моей жизни, разумеется, тоже не было места подвигу, а мой путь саморазрушения был, как я тогда считал, ничуть не хуже и не лучше какого-нибудь иного пути. Но я горько ошибался. Мне не хватало начитанности и интеллектуальной сноровки, какая была у моего отца, чтобы, к примеру, понять: пусть не будет никакого смысла, пусть мир трагичен, пусть всё равно умрешь, даже если выжил, пусть твое тело – такое родное и свое – может в одночасье изменить свою ценность, если государство меняет свою политическую элиту. Пусть! – Но это же не повод, чтобы себя искорежить! Я не понимал, что есть и другие стратегии. К примеру, служение. Но не Богу, разумеется, а просто служение. Но понял я это позже.

Я спрятал скрипку в дальний шкаф, а вместо нее купил гитару, джинсовый костюм и спальный мешок. Несколько лет я ездил по всей Европе с одного рок-концерта на другой, ночуя, где придется, питаюсь чипсами с земли и пивом. Днем брэнчал на гитаре в людных местах, люди бросали мне монетки в бумажный стаканчик из-под кофе на неподъемном ветру: на море ветер дует сильно и направленно, а здесь меня сопровождал рваный, подворотенный, заворотный городской поддув в разные стороны, искореживший мои пальцы в митенках: пальцы в позициях ля-минор, ре-минор, ми-минор. Пальцы принимали только эти позиции и, благодаря ладам, я легко справлялся с блюзовой основой. И это только на левой руке! Правая рука тоже имела три застывших модуса: медиатор, сигарета, рюмка. Перед тем как уснуть, я размышлял о том, что в моей скрипке, припрятанной

дома далеко на севере в кофре, есть что-то древнее и свободное: на грифе нет ладов, и струну я могу зажать где угодно. Это роднило меня с древними воинами: они брали тетиву лука – и получали октаву, потом делили ее на две трети – и получали квинту. Но в то время, доктор, я совершенно обезумел и променял диатонику, монархию и кокаин на пентатонику, демократию и марихуану.

Однажды я так напился уже к середине дня, что совершенно ничего не соображал, не мог даже поднять голову и всё время смотрел себе на ботинки, пропало периферийное зрение. Я захотел в туалет и зашел за плексигласовую автобусную остановку для школьного автобуса, в жасминовые кущи, полагая, что меня никто не видит. Расстегнул ширинку, достал угол сорочки, думая, что это член, и, как оказалось, помочился себе в штаны. Теряя сознание, последним я запомнил только весело и искренне смеющихся детей, которые показывали на меня пальцем: «Дяденька напился! Дяденька описался!» – задорно кричали дети.

После этого случая я понял, что мой кинизм не делает свободным, каким я стал после того, как союзный летчик вырвал все волосы из моей головы. Две недели я добирался домой, три дня я целеустремленно трезвел и лечился морем. Я купался, моргал глазами под морской водой и пил ее. Утром третьего дня я проснулся на пляже: я лежал в воде, солнце начало восход, и в его лучах я увидел оленя, который пил морскую воду. На моей спине сидела чайка и тюкала клювом в мой могендовид. Пляж по обе стороны от меня растянул свои песочные рукава, как будто он всё время меня обнимал, а теперь раздвинул руки и выпустил меня из своих объятий, раскатав их по сторонам горизонта. Я поднялся и поплелся домой.

Дома я достал из кофра свою скрипку, смычок и канифоль. Попробовал звук – и он потек из-под смычка сложными вибрациями, которые после гитары производили сильное впечатление: как будто моя гитара – это музыка, которую мы слышим, когда лежим в ванной с головой и нам кажется, что мы очень красиво поем, звук кажется объемным, пока не вынырнем; скрипка – вот звук, который выносим, когда мы выныриваем. Я стал упражняться каждый день, и со временем мои пальцы выпрямились и вернули себе подвижность, которая сейчас уже почти сошла на нет. Именно поэтому я оказался у вас, доктор. Какая горькая ирония: когда-то вы мне вводили смертельные инъекции, которые я не хотел, и это было законно. А теперь я хочу, чтобы вы мне ввели смертельную инъекцию, – и это может быть незаконно, если вам не дадут разрешение.

«Ну, осталось ждать совсем недолго, – говорит мне доктор. – Завтра уже должен придти ответ...»

Ну что ж, подождем.

«До завтра, доктор», – говорю я ему и немного успокаиваюсь от своих воспоминаний. Завтра мне принесут на серебряном подносе письмо на красивом бланке со всякими водяными знаками и печатями

государственными, что мне можно при помощи достижений современной медицины уснуть и больше не просыпаться. Я выпью бокал вина, мечтается мне теперь, попрошу налить мне полный фужер с мениском по такому случаю, а не пластиковый стаканчик.

«Пульс и давление в норме», – говорит мне медсестричка, расстегивая манжету на руке.

«У меня и сухость во рту прошла, – говорю ей, пока она подбивает мне подушки. – Я посижу еще на террасе».

И вырливаю на инвалидном кресле из номера. Ночь нежна. Мне уже не холодно. Солнце зашло за горную гряду, и камень быстро остывает. Как рифма фонарям, которые освещают тропинку в горы, зажглись звезды. Когда я был молод и брал древнегреческие книги из отцовской библиотеки, меня всегда ввергало в неопикуемый трепет ночами, как сегодняшняя, когда я задумывался о том, что Платон или Аристотель смотрели на точно такие же звезды две с половиной тысячи лет назад, и пытался представить, что они думали и чувствовали. Теперь же я вспоминал, что в молодости чувствовал я сам, когда прогуливался по ночному пляжу, как будто это было две с половиной тысячи лет назад, с таким же неумным трепетом. По этой рифмованной с небом дорожке я покотился на кресле по небольшому уклону в гору. Электрический мотор недовольно гудел, но справлялся, так что через пятнадцать минут я достиг смотровой площадки с обрывом в озеро, бронзовое и черное. По диагонали от меня горели огни клиники, как след авиалиний. Освещенный серпантин дороги конфигурацией напоминает скрипку, а перешагивающие горный хребет линии электропередач – ее струны с болезненным серебряным блеском.

И только я сосредоточился на горьком наслаждении моей последней ночи на земле, как зажглось сигнальное освещение клиники, объявлена тревога и в воздух поднялся вертолет. По громкой связи сообщили, что я потерялся и если кто-то видел пожилого человека в инвалидном кресле, просьба оказать ему помощь и сообщить в полицию. Говорят, что у меня могут быть провалы с памятью, панические атаки и деменция; что ночи сейчас холодные, что просят всех быть бдительными. Вертолет включает прожектор впереди себя и барражирует над склонами. Несколько раз пролетает мимо меня, но на одном из подлетов его прожектор выхватывает меня из темноты. Я наклоняю джойстик кресла вправо – и ухожу вправо от светового круга его прожектора, но вертолет делает крен в мою сторону. Я наклоняю джойстик влево – вертолет делает ещё один маневр в мою сторону, не оставляя мне никакого шанса. Я сдаюсь. Мне больно смотреть на его прожектор. Чтобы защитить глаза, я оборачиваюсь назад и вижу свою длинную тень. Слева по склону бежит группа медиков в красных комбинезонах с фонариками на головах. И так светло стало от этого освещения по всем фронтам, что, подняв голову к небу, я не увидел ни одной даже самой захудалой звезды.

Ольга Андреева

В проломе стены

* * *

Мы едем в объезд – объезжаем войну,
уже не одну огибаем страну,
безумие ширится, злоба течет,
шаг влево, шаг вправо – ты больше не в счет.

Зарубки на дереве все обдери,
снаружи сотри и сотри изнутри,
и все узелки развяжи, обнули
все счетчики – вплоть до начала земли,

когда говорила на все голоса
вселенная нам – а сегодня молчит,
оставила желтые волчьи глаза,
проходят слоны в восемнадцать копыт.

Когда города наши мхом зарастут,
их тоже начнем объезжать за версту –
сольемся в великой своей немоте
с песчаными линзами в скальном грунте.

Смирямся, тихо ныряем в подъезд,
стараемся яблок до Спаса не есть,
молчим, затаились, сливаем страну
и как скакуна объезжаем войну...

* * *

Из окна Овертона удобно смотреть на Россию,
а иначе – ослепнешь, свихнешься, вместить невозможно –
но вместили же мы. По каким буеракам носило
веру, совесть и ум? Привыкание – страшная сила,
но – когда же, каким головным ухищрением сложным...

Надо жить настоящим – хоть это и пусто до боли.
Я теряю себя? Я как раз не могу – а пытаюсь –
от себя откреститься, сбежать из застенка на волю,
быть витальной и гибкой, не видеть в игре святотатства –
но себя не пропьешь.

Превратиться в молчальницу, что ли,
там, где Черное море становится шейкой Босфора?
Здесь – замызганный транспорт, неверные тусклые лица...
Чтоб остаться собой – я сегодня должна измениться,
и теперь навсегда, ведь мое навсегда – это скоро.

* * *

в чернобаевке день сурка
это черный горючий смех
кто смеется тот жив пока
и тому отвечать за всех

не пытайтесь меня учить
начинайте уже пугать
не обманут лучи-ключи
где трясина там будет гать

где уключина там весло
где трехстишие там сонет
где бабло побеждает зло
там меня с вами больше нет

нет учителя надо мной
кроме Бога уже никто
ни сограждане за спиной
ни мигрант в меловом пальто

белоснежном уйти в апрель
смертью праведника во сне
возле дома должна быть ель
в нежных хвостиках по весне

* * *

...К терминалу D по левой эстакаде
через правое кольцо без остановок,
а оттуда в город их по федералке,
там подхватят аэроэкспрессы,
кьюаркоды, сканы, пеленги, билеты,
упакуем, этих доведем накормим,
счет калорий нами тоже отработан,
чебуреки там формата А4,
капучино – пусть ликуют без причины,

предложи им телешоу для придурков,
отработай задушевность по Карнеги,
пусть читают комплекс метеоусловий
напрягая обе ягодицы мозга.

Кто очкует – пусть ширнётся от ковида.
Хорошо, что здесь по паре каждой твари.

Орхидеи как живые, только лучше,
в выходные пейте чай идите в баню,
это славно обнуляет счетчик нервов.
Если кто-то отвратительно талантлив –
надо построить в актуальную повестку.
Да поярче обезьянники прилавков.

Что еще? Ну, монументы, артефакты,
Николаю – да, окей, мы ж все имперцы,
ну, и Ленину – он тоже был хороший.
От Калининграда до Владивостока
человек – совсем не сложная машина,
вундеркинды, ундервуды, амбидекстры –
от любой печали в мире есть таблетка...

Говорят, нам воевать еще полвека.

* * *

А насколько долго надо жить в России?
Призрак Павла чуют в Инженерном замке,
пряди в их косицы прятать некрасиво,
перфекционисткой с тусклыми глазами...

И насколько крепко этот чай заварен?
Пешка станет ферзем, слово станет матом –
пообвыкнем, даже с этими правами,
визгу будет много, шерсти будет мало.

Сокращайте фразы до размера мысли.
Кто войну воюет, кто в игру играет,
по клавиатуре скачет мелкой мыслью,
трепетно забывшись, в контрапункте с правдой.

* * *

Ты родился в кредит у страны –
ты и станешь в проломе стены,
ненадолго прикроешь режим –
и лежи над кредитом во ржи.

Он – глядит на вечерний Босфор,
медитирует что было сил
над своим первородным грехом –
что уехал, не остановил.

Остановишь их... Голой рукой,
да плакатом, да горькой строкой?
Даже ангелы вряд ли спасут
окопавшихся в Рыжем лесу.

Грубоватые шуточки войн,
как-то так – бой в Крыму, Крым в дыму..
Не хотел убивать? Под конвой!

...Не дари мне ножа – не возьму.

* * *

Воды – хоть залейся,
камней – хоть убейся,
леса – хоть заблудись.
Чего не хватало для счастья индейцу,
на что разменял свою жизнь?

Стволы АКМ-ов, пехотные мины,
подводные лодки в степях Украины,
нехитрые пазлы полей, огородов,
игристые вод зеркала – с самолетов.

Седает твоя золотая макушка –
но ты опять промолчал.
Хотел не убить, а всего-то – разрушить
симфонию кирпича?

Кто знает – где правда, сынок, – скажет мама,
как дельта, и лямбда,
и прочие штаммы.
Одно дело доблесть,
другое – удача,
А высшие смыслы – не наша задача.

Скорлупка спецтехники
выглядит хрупкой –
снизу на вираже.
Два выцветших флага, накрывших друг друга, –
в летний хаос стрижей...

Не выбили хана с Изюмского шляха.
Не всех защитила стальная рубаха.

Но ложь не разложишь серебряной ложкой.

...Смеркалось –
и люди тянулись на площадь.

Кира Османова

ОСТРЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

* * *

Пасечник умер. Такой у него
бас удивительный был –
похож на пчелиный гул – что любой
столбенел, впервые услышав.
Солнце цветёт медоносное здесь,
сладкая в воздухе пыль...
царит небывалый теплый покой,
говорить как будто излишне.

Кто истолковывал смерть: человек
чувствует – нет, ни о чем
действительно важном он рассказать
не способен, призван и назван.
Пасечник – тот распадается на
тысячи, тысячи пчел,
которые больше именно так
никогда не соединятся.

* * *

Бывает, горло страхом стиснуто –
никак не позовешь на помощь,
и вылетает птица сизая
из сна, которого не помнишь.

Проснешься резко, мысли спутаны,
догадка промелькнет – и только –
что в постоянстве есть как будто бы
спасенья маленькая доля –

не более брусничной косточки,
сокрытой в мякоти кровавой.
И оказаться сразу хочется
внутри картинки надкроватной.

Янтарный лес в предельной ясности
стоит, не изменившись за год,
и сойка, синим опоясана,
летит на запад.

* * *

В особенности сепия прекрасна:
 лучи косые через расстекловку,
 массивный стол, плетеная корзина,
 открытая на середине книга, –
 похоже, тот, кто делал этот снимок,
 старался, чтобы было интересно.
 Любая вещь таит в себе опасность,
 и если на столе стоит солонка –
 то это означает неизбежно,
 что рано или поздно – соль рассыплот.
 И эта соль – она уже повсюду:
 на ободке большой блестящей лужи,
 на шляпке на грибной, на черном небе,
 в глазу, в глазу, не выморгать и щиплет.
 Кусты густые – будто для защиты,
 теперь их листья в мелких белых точках.
 Спасти себя – да скрупулы мешают,
 крупинки, крошки, зернышки на снимке...

* * *

Какой это смелый русский народ! <...>
 А работники. Стоит на самой верхушку...
 Я проходил мимо дома, так щекатуришь
 штукагурит и не боится ничего.

Н. В. Гоголь

Взбрыкнёшь, бывало, в сильном раже,
 но быстро вспомнишь: всё – тщета.
 Теперь уже настолько страшно,
 что и не страшно ни черта.

Наш дом – под снос, что мелочиться...
 Какой тут, в сущности, ремонт?
 Мы – бедолаги-очевидцы
 больших уродливых времен.

Звучит классическая тема.
 Невидимый вступает хор.
 Как будто если что-то делать –
 то повлияешь на исход.

В часы рискованной работы
 остаться выйдет ли в живых.
 Посмотришь вверх – и что там, кто там?
 Ведь точно кто-то должен быть!

На сумасшедшей верхотуре
 (нужда? повинность? хвастовство?) –
 так щекатурщик штукатурит
 и не боится ничего.

* * *

За чтением, возле воды, припомнится то еще,
 что зло – победимо, но вдруг споткнешься об эту
 догадку: под видом людей таятся чудовища.
 И ты никогда не одержишь больше победу.

И ты никогда не узнаешь больше свободы,
 и будешь – юродивым (хлеба сунут да выгонят),
 а то и врагом (сообщат – опасным), в обоих
 отмеченных случаях – роль твоя незавидная.

А в книге картинка, где двое смотрят на мельницы, –
 какой актуальный сюжет, скажите на милость.
 Мы жили и ждали: мол, скоро что-то изменится.
 На самом же деле – оно уже изменилось.

Сквозь этот крепчающий фарс высматривай правду:
 как солнце заходит, рассыпав блики на отмели,
 как тоненький куст неучтённый держится прямо, –
 сиди-наслаждайся, пока и это не отняли.

* * *

куст вырастает из мертвой земли: чёрен, тощ,
 такое упорство, характер такой – откуда бы...
 дочь – на отца, у которого есть другая дочь,
 Фарятьев, влюбленный в Бедхудова, – на Бедхудова –

так я смотрю на тебя,
 как

выпростать тело, ломали бы пусть потом, секли,
 прощение выпросить, не было – будет сделано...
 раз не положено легкой любви, живой земли,
 положено что-то другое, а что́, а где оно –

больше тебя ничего
 нет

* * *

После заката
по дороге на озеро
я заметила за деревьями
маленькую избушку,
прежде никогда
не виденную.

Пост лесника?
Жилище охотника?
Приют горожанина?

Из темного окна
кто-то смотрел на меня:
как будто отец,
ждущий с прогулки детей, –
а те
совершенно забыли о времени.

Папа сажал деревья,
не убивал ни зверей, ни птиц.
Любил
острые инструменты –
мог бы хранить
в домике-ларчике,
приезжать из города,
точить,
любоваться.

На обратном пути
я не увидела
никакой избушки.
Наверно, опять
перепугала место.

* * *

В детстве случался праздник: зеркальный зал,
где наборный паркет староват,
где страх потеряться в пестрой толпе – огромен.
Это уже не елка – но хвойный лес разбегается по сторонам,
глазастые птицы прячутся в каждой кроне.

Голос, откуда он, деревянный скрип: выбирайся-ка,
миленький, сам.

Такая игра – с тобой до сих пор играют.
Это потом не просто «увидеть вдруг в отдаленье фигуру отца» –
но радость, которой нет ни конца, ни края.

* * *

Луна блестит, намыта.
Ждать чуда – это выбор.
Не выпал снег, но мы-то
представим, будто выпал.

На нем, ненастоящем,
знакомый след оттиснут.
У входа в церковь – ящик
с фигурками из тиса,

добротен и увесист,
морозами испытан.
Тот след (как полумесяц) –
от крупного копыта.

Звон колокольный гулок,
ребенка взгляд восторжен,
и оживают куклы,
и люди с ними – тоже.

Кто думал, что несчастен, –
был счастлив в самом деле.
Огни мигают часто
на серебристой ели.

Теперь необходимо
прожить всё это с кем-то,
хотя привык один, но
как будто даже скептик

проникнется невольно
значением традиций –
такая ночь сегодня.
Господь родился.

Андрей Красильников

Семнадцатый год

ГЛАВА СЕДЬМАЯ*

Жизнь в Губернске показалась Зинаиде Крапивниковой на удивление скучной. Провинциальный быт ее не тяготил: к нему она давно привыкла. Однако здесь он был особенно однообразным. Возможно, ей так только казалось, поскольку обширных знакомств, будучи не слишком общительной по природе, она не завела и полностью посвятила себя обучению сына, племянника и племянницы, которую отец категорически не желал отпускать из родного дома, считая не очень благородным занимать место в институте при живых родителях, когда теперь так много сироток из-за этой ужасной войны.

Жизненная строгость сполна проявлялась в Зинаиде и как в педагоге, поэтому она с самого начала внушила своим ученикам, что в классе она для них не мать и не тетка и будет требовать прилежания без всяких поблажек. Обладая каллиграфическим почерком, Зинаида всячески пыталась передать им свой навык и постоянно злилась на себя, видя тщетность этих усилий. Ей казалось, что причина кроется в ней самой, в ее неумении правильно объяснить и показать. Насколько же проще учить правописанию: есть правила, есть из них исключения и всё надо прочно вбить в юные головы. А чистописание зубрежкой не взять – оно сродни рукоделию, хотя и много сложнее.

Однажды она всё-таки решилась пожаловаться брату на его детей. Он спокойно выслушал и тут же возразил:

– Тебя же не смущает, что рисуют они по-разному. Почему у изображенных ими кошек и собак хвосты могут отличаться, а у начертанной ими буквы Ц – нет? Видела бы ты, с каким почерком мне постоянно приходится иметь дело, причем у вполне образованных людей, а не только у малограмотных просителей.

– Нет, Саша, ты не прав: учить надлежит всему лучшему. Рисунок – это искусство, искусство, где ценится индивидуальность, а в каллиграфии ей не место: всё должно быть по прописям.

– Да мы преступников зачастую изобличаем лишь по почерку! Будь он у всех людей одинаково примерным, многие злодей гуляли бы сейчас на свободе.

* Роман второй из цикла «Четвертое благословение». Продолжение. См.: НЖ, № 320, 2025; «На краю бездны». Роман первый: НЖ, № 293, 2018. ©Андрей Николаевич Красильников.

Но строгая учительница оставалась непреклонна и выше шести баллов по чистописанию не ставила даже очень старавшемуся не огорчать мать собственному сыну.

Мальчик хорошо успевал по всем предметам. Больше всего ему нравилась арифметика. Он решал задачи быстрее всех и даже научился сам их придумывать, что выдавало его способность к творческому мышлению. Пытался даже сочинять стихи: лирические, передававшие его собственное настроение:

В деревне как там хорошо:
Бегут ручьи, цветут цветы,
И солнце светит так светло,
Кругом всё зелень и цветы.
А в городе кругом всё грязь,
Вода и стук, цветов совсем не видно тут,
И солнце светит как-то серо,
Кругом туман, и дождь идёт.
И хочется в деревню.

Не лежала душа у матери отдавать его осенью в кадетский корпус. Умом она понимала, что ребенок принадлежит роду, где непрменной традицией стало военное обучение. Даже деверь, ушедший впоследствии со службы и поступивший на философский факультет столичного университета, прежде побывал не только в кадетях, но и в юнкерах. Расставание с сыном привело бы к полному изменению ее образа жизни, смысл которой в последнее время сводился исключительно к пестованию единственного отпрыска. Хотя дела имения были тоже важны и отнимали немалое время, в воспитании сына видела она свое главное предназначение.

– Ты у нас профессиональная помещица, – обронил как-то брат, восхищаясь ее умелым ведением их общего хозяйства.

– Нет, я – профессиональная мать, – ответила она ему.

Смерть Никиных родного деда и деда двоюродного сильно упрощала задачу Зинаиды. Оставалось лишь уговорить мужа отдать ребенка в классическую гимназию. Ради этого она была готова переехать в Петроград, а если нужно, то и в Выборг.

Поскольку главной поборницей воссоединения их семьи оставалась свекровь, Зинаида в Губернске еще больше сблизилась с ней. В сущности, Вера Сергеевна относилась к невестке неплохо, а в том, что она больше преследовала интересы собственного сына, усматривать что-либо предосудительное было бы нелепо: для любой матери это абсолютно естественно. Во время хлопот по поводу пенсии за мужа генеральша обратилась за помощью к Зинаиде, и та писала за нее всяческие прошения своим образцовым почерком.

Однажды невестка заявила свекрови:

– Наверное, последние месяцы проводим мы вместе: весной

уюду в Прут, а осенью думаю перебраться к Шуру, чтобы там и Нику учиться отдавать.

– Ты хочешь уехать в Выборг?

– Если там есть подходящая классическая гимназия, почему бы и нет. В крайнем случае осядем в Петрограде.

– Разве вы не отдадите мальчика в кадеты?

– Если отдать его в кадеты, я не буду нужна рядом и останусь в имении. А так мы смогли бы жить вместе всей семьей: надеюсь, Шуру не отправят ближе к фронту.

Вера Сергеевна сильно призадумалась. С одной стороны, она была внучкой адмирала, дочерью генерала, женой генерала и надеялась стать матерью и бабушкой генерала. С другой стороны, подтекст предложения невестки ей нравился.

– Наверняка в этой финской дыре что-нибудь да найдется. Хотя бы на первое время. А там и самого Шуру могут перевести в Петербург (свой родной город она по-иному называть отказывалась).

Зинаида осталась вполне довольна реакцией свекрови и в тот же день написала обстоятельное письмо мужу.

В понедельник бастовал уже весь Петроград. Не только рабочие со служащими, но и солдаты.

Павловский батальон начал даже днем раньше, когда нижние чины, покинув казармы, затеяли перестрелку с пытавшейся их урезонить конной полицией. Зачинщиков побега в конце концов поймали и спровадили в Петропавловскую крепость. Туда же в превентивных целях отправили и сотню с лишним известных в городе революционеров.

Утром взбунтовался и Волынский полк. Тот самый, что накануне поливал из пулеметов толпу на Знаменской площади. За ночь солдаты переосмыслили произошедшее, на построении после завтрака одна из рот заявила об отказе подавлять митингующих, разогнала своих офицеров и убила командира. Другие роты ее поддержали. Вскоре к волынцам присоединились запасные батальоны Литовского, Московского и Преображенского лейб-гвардейских полков, а также 6-го гвардейского саперного полка. Командира последнего солдаты застрелили.

Рабочих же на улицы Петрограда вышло с четверть миллиона.

Если кто и хотел в городе работать, то лишь члены Государственной думы. Но именно им того теперь не позволялось.

Ничего глупее в тот день и не придумать! Однако дряхлеющий на глазах председатель Совета министров дрожащей рукой нажал на спусковой крючок. Вчерашний бунт в одно мгновение превратился в самую настоящую революцию: неорганизованная масса обрела вождей в лице политической оппозиции.

Самим же оппозиционерам Дума больше не была нужна. Их амбиции и раньше простирались много дальше Таврического дворца.

Сейчас же к властолюбивым депутатам, мечтавшим стать генералами, готовая армия пришла сама. Только становись во главе и командуй. Они тотчас это осознали и, нисколько не переживая из-за царского указа, почувствовали себя полноценной властью.

Не понимали они тогда, что петух, даже расправивший крылья, может взлететь лишь над своим насестом – и то ненадолго: в конце полета он неизбежно окажется на земле. В тот момент им казалось, что они сумеют воспарить.

Однако и курицы тоже поверили в петушину способность. Солдатам, сбегавшим от своих командиров, такие вожакИ вполне пришились ко двору.

Первым распетушился сам думский председатель Родзянко, нисколько не подозревавший, что в суп угодит раньше других своих коллег. Он придумал и возглавил некий Временный комитет Государственной думы (времени ему история отмерила ровно три дня). А еще прошлым вечером, до объявления перерыва в думских занятиях, он решил открыть царю глаза на происходящее, нутром почуяв, что того неверно и неполно информируют, и отправил ему предельно эмоциональную телеграмму. От самого себя, ни с кем из депутатов не обсудив. Кончалась она в повелительном наклонении: «Государь, безотлагательно призовите лицо, которому может верить вся страна, и поручите ему составить правительство, которому будет доверять всё население». Не об ответственном министерстве написал, а о лице, хоть и вызывающем всеобщее доверие, но назначаемом по-прежнему самодержцем. Слукавил с двумя целями: во-первых, император скорее согласится на очередную замену председателя Совета министров, чем на передачу Думе полномочий самой его назначать, во-вторых, втайне надеялся, что таким лицом Николай выберет именно его. Теперь же, когда он оказался во главе комитета, состоящего из представителей всех думских фракций (и добавленного к ним коменданта петроградского гарнизона), провозгласившего себя *Комитетом членов Государственной думы для водворения порядка в столице и для сношения с лицами и учреждениями*, кого же, как не его, ставить председателем нового правительства!

Старое тем временем собралось в Маринском дворце. Министры быстро убедили друг друга, что сделать ничего не могут, да и не хотят, о чем дали царю свою телеграмму, попросив его избавить их от бремени власти и назначить взамен лицо, пользующееся общественным доверием. Повторили слово в слово мысль Родзянко, хотя с ним и не сговаривались. О конкретной персоне все деликатно умолчали – кто по понятной причине, кто – из-за полного безразличия к судьбе собственного отечества.

Ответа из Ставки не последовало.

Тогда расхрабренный петух выманил в Маринский дворец брата царя, Михаила Александровича, жившего с семьей в Гатчине. Решил использовать его как посредника в диалоге с Николаем.

Безволие Великого князя проявилось сполна: приехал по первому зову, а поставленную перед ним Родзянко и невесть откуда взявшимся на переговорах князем Голицыным задачу полностью провалил. Говорил он не с Николаем, как его просили, а всего лишь с начальником штаба генералом Алексеевым, просил не ответственное министерство, а просто другое правительство во главе с уважаемым общественным деятелем, *ответственным* (Великий князь это особо подчеркнул) единственно перед Государем императором, и даже назвал его имя – князь Георгий Львов. Да еще в конце присоветовал брату не ехать в Царское Село и оставаться в Ставке.

Таких коленцев никто от него не ждал: просили лишь внушить Его Императорскому Величеству, что усмирить разросшееся до крайнего предела народное волнение можно только дарованием ответственного министерства. Не самому же Родзянко было в очередной раз объяснять это государю!

В итоге Михаил только всех обнадежил, дела не сделал, да еще всполошил всех в Зимнем дворце своим появлением на ночь глядя. Но не сплотил вокруг себя остававшиеся там верные престолу войска, а напротив – приказал вывести их всех восвояси. Сам же под покровом ночи тайно перебрался на частную квартиру, боясь быть узнанным непредсказуемой толпой.

Ставка Родзянко на Великого князя оказалась заведомо проигрешной. Председатель Государственной думы исходил из собственного представления о личной ответственности за судьбу отечества. У него, богатого, но не очень знатного дворянина, она была одной, а у брата, сына и внука императора – совсем другой. Михаил Александрович ответственность никогда и не ощущал. Да и не возникало у этого денди такой необходимости. Провозглашенный после неожиданной смерти брата Георгия наследником престола в двадцать лет, он перестал считаться таковым в двадцать пять. А в двадцать восемь, служа эскадронным командиром кирасирского полка, увлекся женой поручика своего эскадрона, разведенной прежде с первым своим мужем. Если бы он думал о России, о династии, ограничился бы банальным гарнизонным романом наподобие описанного Александром Куприным в «Поединке». Разумеется, его императорскому высочеству всё бы сошло с рук. Даже появление внебрачного ребенка, что у Романовых не раз случалось и прежде. Но Великий князь возжелал непременно сочетаться браком с отныне дважды разведенной особой. Он обманул августейшего брата, которому многократно обещал не совершать подобный поступок, и втихаря обвенчался за границей, что вынудило Николая учредить опеку над личностью, имуществом и делами нашкодившего эгоиста. Дело происходило в эпоху истинной гласности, когда никаких закрытых указов не существовало, и любой обыватель смог прочесть о том в газете и злопыхать в самый канун трехсотлетнего юбилея Дома Романовых. Большого стыда династии терпеть не доводилось за все свои три века!

С началом Великой войны Михаил упросил брата вернуть его в армию, и тот дал под его начало вновь образованную дивизию, тут же сделав генералом, а спустя полгода одарил Георгием за храбрость в боях. Но главной наградой стало признание царем его семьи: жена и сын получили графские титулы.

Однако отвагой на фронте трудно было тогда удивить, а к политике Михаил продолжал проявлять полное безразличие. Он не присоединился к требованию других Великих князей удалить от двора проходимца Гришку Распутина, а позднее не подписал прошение о смягчении судьбы его убийцы Дмитрия Павловича, своего кузена. И в том и в другом случае его мало волновало происходящее, а в январе семнадцатого, сказавшись больным, он устранился от командования кавалерийским корпусом и уединился с семьей в Гатчине. В столицу ездил лишь ради увеселений. В день убийства пристава на Знаменской площади приезжал с супругой в театр, но, узнав о злодеянии, сам убоился идти на спектакль, пересидел его на квартире своего секретаря Джонсона, забрал по окончании представления жену и укатил назад в Гатчину.

Другие почитали бы за счастье столь высокое происхождение, а Михаил видел в нем свое несчастье – милый, внимательный к людям человек. Позвал его председатель Государственной думы – почему бы не приехать. Попросил связать с братом – отчего бы и нет. Не подошел к проводу сам государь – не обижать же отказом от общения начальника его штаба...

На что надеялся Родзянко, вызвав его в столицу? На сплочение верных войск против мятежников? Бесполезно. На самостоятельную роль в развернувшейся политической борьбе? Наивно. На серьезный доверительный разговор с государем? Даже последнее оказалось непосильно для человека, привыкшего жить в свое удовольствие и ничем себя не волновать под предлогом возможного обострения язвы желудка.

Делавшие ставку на эту безликую фигуру либо не понимали ее глубинного существа, либо использовали как ширму для маскировки собственных интересов.

Видимо, Родзянко рассчитывал получить по рекомендации Великого князя должность главы правительства. Однако жестоко просчитался. Если инспирированный им контакт двух братьев и имел какой-то результат, то только в оглашении имени князя Георгия Львова как наиболее авторитетного в широких кругах общественного лица.

От сообщений Михаила, полученных по телеграфу, Николай просто отмахнулся: велел ответить тому, что, напротив, немедленно выедет в Царское, а по приезде сам разберется с правительством. Но телеграмма князя Голицына его по-настоящему разозлила: где это видано, чтобы Совет министров постановлял самораспуститься! Кому позволено покидать посты, полученные по высочайшему указу?! К тому же в момент сурового противостояния с врагом внешним и врагом внутренним.

От прилива гнева государь собственноручно начертал ответ обезумевшему премьеру: «Лично вам предоставляю все необходимые права по гражданскому управлению. Относительно перемен в личном составе: при данных обстоятельствах считаю их недопустимыми».

Телеграмма ушла за тридцать пять минут до окончания рокового для России дня. Ушла в никуда, поскольку правительства, чьи полномочия она подтверждала, уже не существовало, и получателя у нее не оказалось.

Двадцать седьмое февраля прочно закрепилось в исторической памяти как день низвержения самодержавия. Судите сами: о каком самодержавии могла идти речь, когда все его опоры рухнули разом, а сам самодержец этого даже не смог осознать. Формально император оставался во главе государства и на следующий день, и первого марта, и даже второго. Но негласный общественный договор, позволявший ему пребывать в прежнем качестве, больше не действовал. Самодержавие на то и самодержавие, чтобы один человек держал все бразды правления в своих крепких руках. Уронишь – больше не поднимешь.

Если бы, сопоставив содержание двух обращений – брата и князя Голицына, Николай издал бы манифест о назначении председателем Совета министров хоть всеми любимого князя Львова, хоть посланного на подавление восстания генерала Иванова, с предоставлением тому самому права рекомендовать на ответственные правительственные посты, он, возможно, ненадолго сохранил бы лицо самодержца, пойдя при этом на значительные уступки. Впрочем, чисто формальные: ведь кого-либо из протеже нового премьера мог бы потом не утвердить или отставить. Но внешне это выглядело бы как победа революции, шаг вперед после октября девятьсот пятого. Предоставление всех прав по гражданскому управлению дезертиру – в сущности, пустому месту – означало разрыв цепочки властных отношений: один ее конец всё еще оставался у монарха, второй рухнул оземь.

Вот почему считается, что самодержавие перестало существовать как политическая реальность именно двадцать седьмого февраля тысяча девятьсот семнадцатого года.

Георгий Крапивников в понедельник должен был вернуться на службу из краткосрочного отпуска, полученного по случаю крестин сына. На Выборгской стороне, на Успенской улице, где квартировала его семья, пополнившаяся теперь не только продолжателем рода, но и переехавшей туда счастливой бабушкой, таких бесчинств, как в других частях города, не творилось, хотя и жили там, в основном, заводские рабочие. Однако они уходили митинговать за Неву, по Литейному мосту, а на самой Выборгской, можно даже сказать, было относительно спокойно, если не считать походя разбитых витрин магазинов. О происходящем в центре Петрограда доносили лишь слухи, но, погруженный в семейные заботы, Георгий всё воскресенье

из дома не выходил, а прислуга не решалась пересказывать услышанное на улице, зная суровый нрав жандармского офицера и его нелюбовь к досужим домыслам, без которых никогда не обходилось ни одно сообщение с места любого скандального события.

Утром Крапивников, простившись с женой, матерью и младенцем, отправился в Выборг. Извозчик лихо повез его привычным путем, но возле Крестов был остановлен какими-то возбужденными личностями. Георгий сразу по их виду догадался, что это сбежавшие из тюрьмы уголовники.

– Ну-ка слазь! – грубо потребовал один из них.

– Ты кто такой? – по привычке рявкнул на него ротмистр.

– Кто я, тебе знать уже поздно. А кто ты, видно по форме. А ну, братва, бей жандарма!

То, что еще осталось от Георгия Крапивникова, через несколько минут было с гиканьем только что освобожденных арестантов и под аплодисменты толпы сброшено в Неву.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Александр Крапивников поездку на крестины племянника совместил со служебными делами, поэтому никакого отпуска не брал и уже на следующий день вернулся в Выборг. Однако еще по дороге на вокзал, проезжая Литейный мост, своим острым взглядом выхватил из общей панорамы две странные сцены: ребячьи, вроде бы не чума-зая и не в лохмотьях, с криком «Хлеба! Хлеба!» носится по проезжей части, и мастеровые, кучно стоящие на набережной, словно готовящиеся к какому-то совместному походу.

Наутро узнал о хлебных волнениях в Петрограде и догадался, что зацепил взором их увертюру.

Дальнейшие новости из столицы поступали от приезжих и распространялись из уст в уста, причем полупшепотом. Но даже со скидкой на обычное в таких случаях преувеличение от одного рассказчика к другому положение представлялось Александру беспросветно мрачным. Особенно тревожно выглядели сообщения о поведении солдатской массы в резервных батальонах, никогда не отличавшихся образцовой дисциплиной. Крапивников прекрасно понимал, что гацилла неповиновения начальству мгновенно перекинется и на их гарнизон, как только до нижних чинов дойдут вести с невских берегов.

Однако армейское начальство к такой опасности никак не готовилось. Дни текли своим чередом, таяли драгоценные часы и минуты, когда еще можно было создать необходимый настрой в каждой из дивизий. И странно, что при таких масштабных волнениях в полутораста километрах нет команды выдвинуться на их подавление.

Петроградское телеграфное агентство сообщало о боях на Западном фронте (у Митавского шоссе газовые атаки произведены нашими, а под Ковелем – противником), на Румынском (двадцать шестого февраля потеряли ряд высот, пытаемся их вернуть), на

Кавказском (наши части заняли Сеннэ и Сахмэ), однако молчало о кровопролитии на улицах Петрограда. Официальное извещение о происходящем в столице пришло лишь двадцать восьмого февраля от генерал-губернатора Финляндии Зайна. Он требовал от Выборгского губернатора фон Фалера принять меры к усилению полицейского режима.

Александр надеялся узнать подробности от кузена Жоржа, возвращавшегося из Петрограда. Однако тот почему-то не приехал в положенный срок. И даже весточки никакой не прислал.

Тем временем солдаты местного гарнизона, в восторге от столичных новостей, высыпали из казарм, шатались по городу, горланили, палили в воздух. К ним присоединялись и многие обыватели. Офицеры же, испытывавшие шок как от общей ситуации, так и от поведения своих подчиненных, никаких действий не предпринимали и отсиживались по домам.

В самом же Петрограде творилось невообразимое. Вся солдатня взбунтовалась как один. Офицеров, полицейских, просто подозрительных для распоясавшейся толпы лиц убивали прямо на улице, многих – с звериной жестокостью, внезапно обнаружившейся даже в тихих на вид людях. Никакие правительственные учреждения не работали, зато стали возникать новые: следом за Временным комитетом Государственной думы образовался Совет рабочих депутатов. Самозванцы начали расклеивать по городу свои листовки. Призывали продолжать убийство городских, околоточных и прочих полицейских. Но при этом просили не громить магазины и не грабить частные квартиры. К первому читающие прислушивались, ко второму – не очень.

Не зная, на чем еще выместить накопившуюся злобу, толпа рвала трехцветные государственные флаги. Взамен вывешивала одноцветные, красные.

Утром в столицу на поезде из Москвы благополучно приехал князь Львов.

Георгию Евгеньевичу шел пятьдесят шестой год. Происходил он по прямой мужской линии от легендарного Рюрика и реальных князей Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Их потомок Федор Ростиславич Черный, живший в тринадцатом веке, женился на дочери хана Золотой Орды и получил от него ярлык на княжение в Ярославле. С тех пор уже его потомки именовались князьями Ярославскими, а в честь одного из них – Льва Даниловича – стали Львовыми. И если сын его еще писался Львовым-Ярославским, то внук Андрей Дмитриевича известен лишь по первой части фамилии. Георгию Евгеньевичу этот князь приходился пращуром в двенадцатом колене.

За прошедшие четыре столетия некогда влиятельные Рюриковичи превратились в заурядных провинциальных помещиков, владевших имением в Алексинском уезде Тульской губернии. Впрочем, село Поповка, где они в последнее время обитали, к самим Львовым никакого отношения не имело: оно досталось матери Георгия Евгеньевича

в наследство от дальней родственницы. Однако это позволило ее мужу участвовать в уездных дворянских выборах и стать алексинским предводителем.

После недолгого пребывания в этой роли Евгений Владимирович с женой и детьми уехали жить в столицу Саксонии Дрезден, где и родился их четвертый сын Георгий, и Львовы вернулись в Россию.

Непрактичный глава семейства довел имение жены до разорения, из-за чего будущему политику после окончания юридического факультета Императорского Московского университета пришлось развернуть там собственное фермерское хозяйство. Одновременно началась его карьера земского деятеля: сначала в уезде, а потом в губернии. В начале нового века он стал председателем Тульской губернской земской управы и оставался таковым до избрания в Первую Государственную думу. За это время побывал и главноуполномоченным общеземской организации помощи больным и раненым воинам в ходе Русско-японской войны, о чем уже говорилось, а в 1914 году возглавил созданный с аналогичными целями Земский союз.

С тех пор авторитет его рос как на дрожжах. Всякий разговор о необходимости поставить во главе правительства лицо, пользующееся широким общественным доверием, подразумевал назначение председателем Совета министров именно князя Львова.

Вот почему Михаил Александрович в разговоре с генералом Алексеевым назвал это имя: предложить другое его не просили. Да другого он, далекий от политических интриг, просто и не знал.

Находясь в Москве, Георгий Евгеньевич не ведал о подробностях петроградских событий, но интуитивно почувствовал, что в игру пора вступать и ему. И вот он в Таврическом дворце. Однако там его никто не ждет: всеми делами энергично заправляет Родзянко, которого все принимают чуть ли не за нового императора. Да и сам он в свою спасительную миссию, кажется, уже поверил и вершителем судьбы государства себя возомнил. Будучи всего лишь председателем самопровозглашенного комитета отправленной на каникулы Думы, обратился в покинутую Государем Ставку и к командующим фронтами как глава временного правительства. В Ставке за главного, в отсутствие царя, разумеется считался генерал Алексеев. И Родзянко убеждает его остановить карательную экспедицию генерала Иванова: мол, все войска в столице послушны новому правительству, стоящему за незыблемость монархического строя. А раз так, то к чему чрезвычайные меры.

На том и кончился месяц февраль, давший имя событию, которое поначалу назовут Великой русской революцией, а потом скромно – Февральской.

И хотя главные перемены лишь только предстояли, в последний месяц зимы действительно свершилось необратимое: двадцать седьмого февраля фактически рухнуло самодержавие, а уже двадцать восьмого страна подчинилась каким-то самоназначенцам и фактически управлялась только ими.

При этом Государь император думал исключительно о собственной семье, к которой всеми возможными путями пытался прорваться, бросив свой командный пункт. Для многих к тому моменту он уже перестал существовать как политический идол.

Первого марта заявили о своих претензиях еще большие самозванцы – Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов, мгновенно окрещенный остроумцами «советом собачьих и рачьих депутатов». И тут же, злоупотребив влиянием на типографских работников, закрыл все газеты, кроме собственной.

А ведь законный всё еще глава государства правительство отставлять и не думал: оно само разбежалось.

Первого марта в воздухе повисло неслыханное прежде слово *отречение*. Его и раньше произносил бывший председатель Государственной думы Александр Иванович Гучков, заседавший теперь в Государственном совете. Из-за активного неприятия Распутина и интриг против него августейшая супружеская пара считала Гучкова своим личным врагом. Сам же он был одержим идеей отречения непопулярного монарха в пользу несовершеннолетнего сына Алексея при регентстве Великого князя Михаила Александровича. Он высказывал эту идею и раньше, а ныне, при фактическом падении самодержавия, принялся еще громче ее отстаивать.

Слухи о таком проекте достигли ушей и самого Михаила. Поэтому он согласился подписать составленный его дядей Павлом Александровичем и кузеном Кириллом Владимировичем проект манифеста о полной конституции русскому народу. Текст его, после лукавых слов о давнем намерении переустроить государственное управление на началах широкого народного представительства, остановленных войной, гласил: «Представляем Государству Российскому конституционный строй и повелеваем продолжить прерванные указом Нашим занятия Государственного совета и Государственной думы, поручая председателю Государственной думы немедленно составить временный кабинет, опирающийся на доверие страны, который в согласии с Нами озаботится созывом законодательного собрания, необходимого для безотлагательного рассмотрения имеющего быть внесенным проекта Основных Законов Российской Империи». С манифестом этим предполагалось встретить царский поезд и чуть ли не силой вынудить Николая его утвердить.

Однако путь государя к семье оказался витиеватым и тернистым.

Днем первого марта состав прибыл не в Царское Село, а на станцию с символическим названием Дно.

Выбраться со дна, куда ее ввергла спонтанная, никем не руководимая революция, империя уже не сумела.

От станции Дно путей у Николая было целых три, как у былинного рыцаря.

Один продолжал взятый курс на Царское. Но его перерезали бунтовщики.

Другой лежал назад, в Могилев, в Ставку. Его император отверг.

Оставался третий — в Псков, с надеждой оттуда, дав крюка, всё же добраться до главной цели назначения. Да и верные войска были там, была прямая связь с внешним миром.

Поехали по третьему пути.

В Пскове уже ждал проект манифеста, передававшего Государственной думе полномочия назначать всех министров, перед ней же и ответственных.

Не стал Государь его подписывать: и ответственность с себя снять считал не вправе, и четырех ключевых членов кабинета уступить депутатам не собирался.

Однако ему внушили, что время компромиссов прошло. И к полуночи он сдался. Подписал и манифест, и поручение Родзянко составить новое правительство на его усмотрение.

Не сумел царь лишь одного: ответить самому себе на вопрос, зачем с таким очевидным решением требовалось так долго тянуть.

Первого марта Зинаиде Крапивниковой исполнилось тридцать семь лет.

Она появилась на свет в несчастливый для России день — правда, ровно годом раньше, поэтому всегда подчеркивала, что стала на ноги еще при Александре Освободителе.

День рождения — не именины: гостей по такому поводу не приглашают, да и знают о нем лишь самые близкие. Поздравили брат, невестка, племянники и самым первым, разумеется, Ника.

К вечеру подоспело и письмо от мужа.

Зинаида настороженно вскрыла конверт. Обычно Шура посылал открытки. Видать, дело серьезное.

И действительно: послание оказалось обстоятельным и не ограничилось дежурными поздравлениями и пожеланиями. Писал Александр в основном о будущем сына. Он соглашался отступить от семейной традиции и определить ребенка в классическую гимназию. Более того, предлагал сделать это в Губернске или другом городе по ее выбору, поскольку переезд не только в Выборг, но даже в Петроград теперь опасен из-за сложной обстановки и чрезмерной политизированности общественной жизни, менее заметной в провинции. Конечно, всё это излагалось эзоповым языком из-за военной цензуры, но Зинаида догадалась, что в столице и вокруг нее творится нечто ужасное. Вспомнила она первую революцию, длившуюся два с лишним года, и поняла, что новая смута, по прогнозам мужа, может продлиться не меньше. Единственное не укладывалось у нее в голове: как подобная внутренняя неурядица может сочетаться с затяжной войной.

Казалось бы, камень должен был свалиться с ее души от Шуриных слов, но стоящая за ними тревога передалась и ей. Хорошо

зная мужа, она понимала, что за отказом отдать сына в кадеты кроется его сомнение и в собственном выборе жизненного пути. Неужели перспективы настолько мрачны, что потомственный русский офицер, умница и храбрец, явно впадает в уныние? Привыкший и любящий шутить, на сей раз Шура ни разу не смягчил тон письма какой-нибудь успокоительной остротой. В этом тоже был свой знак, не понятный никакой цензуре.

Вечером она поделилась мыслями с братом. Тот, конечно же, кинулся ее успокаивать, но ни одного подозрения не опроверг. По большому секрету он поведал о телеграмме, поступившей в губернскую администрацию из Государственной думы с сообщением о замене правительства. Однако чиновники благоразумно решили дождаться какого-либо подтверждения от председателя Совета министров, старого или нового, поскольку не в полномочиях думцев менять гражданское управление, и сомнительную телеграмму положили под сукно.

Ночью Зинаиде снова приснился страшный сон, впервые виденный летом девятьсот пятого года: сначала в окно ее спальни влетел, разбивая стекло, камень, а следом – горящая головешка, от чего всё вокруг занялось пламенем.

Первое марта продолжало быть несчастливым днем для династии: Александра Второго убили, на сына его покушались, а внука приговорили к отречению.

Сам внук о том даже не догадывался, надеясь сделанной бунтовщикам уступкой погасить новый всеохватный пожар. Как человек, мыслящий исключительно стереотипами, он не понимал разницы между ползучей революцией двенадцатилетней давности и нынешней взрывной.

Да и не знал, что самодержавие, за которое он так отчаянно цеплялся, низвергнуто еще двумя днями раньше.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Когда начались переговоры по телеграфу между командующим Северным фронтом генералом Рузским и председателем Государственной думы Родзянко, наступило уже роковое второе марта.

Рузский выполнил поручение Государя и передал его манифест, а также поручение своему собеседнику составить новый кабинет министров.

Казалось, Родзянко получил наконец то, что так давно хотел. Ему бы наутро распубликовать царский манифест и образовать правительство. Однако Михаилу Владимировичу больше хотелось иметь дело со своим податливым тёзкой, чем с упрямым Николаем. И он ошарашил Рузского самолично придуманной легендой, будто бы манифест запоздал, был бы благосклонно принят днем раньше, а теперь бунтовщикам подавай отречение императора в пользу сына

при регентстве до его совершеннолетия родного дяди. Да еще добавил, что правительство и так только что сформировано, без всяких монархий на то поручений.

Родзянко врал как дышал. Заодно напугал, будто бы карательной экспедиции генерала Иванова готовится серьезный отпор, посему лучше его войска отозвать.

Какой отпор? Чей? Взбунтовавшейся солдатни, поубивавшей своих командиров? И кто поведет их против регулярной армии? Дилетанты-комиссары Временного комитета?

Зачем он нес всю эту чепуху, не поймет никто и никогда. О собственной судьбе он точно в тот момент не задумывался, иначе бы не променял синицу в руке в виде премьерского портфеля на журавля в небе, довольно быстро от него упорхнувшего. Быть главой правительства при конституционной монархии означало считаться фактическим первым лицом государства, как в той же Великобритании. Кем еще той ночью он хотел стать?

Служаке Рузскому ответить бы на это, что закон не позволяет живому и здоровому помазаннику отречься от возложенной на него миссии. Ведь кончал он Академию Генерального штаба и не мог не знать государственных основ. Но он, генерал-адъютант, член Государственного совета, покорно понес ответ какого-то выскочки своему государю.

Дай он отпор такой наглости, не возникла бы во Временном комитете мысль подкрепить требование об отречении посылкой к царю двух делегатов с готовым текстом. Впрочем, текст этой парочкой – Гучковым и Шульгиным – сочинялся на ходу, уже в поезде.

Но не успели они приехать в Псков, как сам император, получив телеграммы от дяди Николаши и других командующих фронтами, поддержавших требование Родзянко, велел продиктовать тому:

«Председателю Государственной думы.

Нет той жертвы, которую Я не принес бы во имя действительно блага и для спасения родимой матушки-России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына с тем, чтобы он оставался при Нас до совершеннолетия, при регентстве брата Моего – Великого князя Михаила Александровича.

Николай».

Через семь часов из Петрограда приехали, наконец, посланцы самозванного комитета, составившего к тому времени и новое правительство.

И что же они привезли?

Всё то же: отречение в пользу наследника-цесаревича при регентстве Михаила.

А вот и нет! Не будет по-вашему! Будет по-моему! Кто из нас царь?

Николай сам составил акт своего отречения. Но не в пользу малолетнего сына, которого бы после этого у него неминуемо отняли и быстро довели бы до могилы, а в пользу брата.

Получите полноценного государя, а не ребенка! Ах, не нравится? Так не вам то решать.

Манифест гласил:

«Ставка

Начальнику штаба

В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь героической нашей армии, благо народа, всё будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли Мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и в согласии с Государственной думою признали Мы за благо отречься от престола Государства Российского и сложить с Себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном Нашим, мы передаем наследие Наши брату Нашему – Великому князю Михаилу Александровичу, и благословляем его на вступление на престол государства Российского. Заповедуем брату Нашему править делами государственным в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести государство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России».

Ни одной ссылки на закон! Ни одной юридической подпорки! Как хочу, так ворочу. И адресовано всего-навсего генералу Алексееву.

Может быть, и не пало самодержавие тремя днями раньше?

В качестве последней издѣвки над бунтовщиками – указ правительствующему Сенату (как надо бы и манифест ему же) о назначении председателем Совета министров князя Георгия Львова. С временной пометой часом раньше манифеста об отречении.

Думаете, вы его премьером назначили? Нет, это Я его правами наделил!

Была еще одна хитрая задумка Николая, не замеченная за сто

последующих лет*. Будучи поборником самодержавия, он поручил его упразднение брату, а сам до последнего оставался самодержцем. И именно в этом качестве он на прощание не только сделал новым премьером князя Львова (что некоторыми оспаривается), но и верховным главнокомандующим, вместо себя, Великого князя Николая Николаевича. Последний жест особо показателен: ведь только носитель никем не ограниченной верховной власти вправе самолично издавать подобные распоряжения. Тут Николай даже с думскими делегатами не стал советоваться, настолько очевидным даже им казалось неоспоримое право государя (читай: всё еще самодержца) назначать кого-либо во главе армии воюющей страны.

И царь, и посланные к нему Гучков с Шульгиным, и оставленный соратниками в Петрограде Родзянко, и составившие манифест Великие князья, и командующие фронтами, и другие фигуранты тех событий свято верили, что останавливают большое кровопролитие. Никому из них в голову не приходило, сколь неисчислимыми окажутся впоследствии жертвы их легкомыслия.

Разумеется, каратели под водительством генерала Иванова, соберись они воедино и пойдя усмирять бунтующую столицу, пустили бы много больше крови, чем при разгоне мирной демонстрации девятого января девятьсот пятого года. Однако количество пролитой крови отличалось бы, как лужа от моря, в сравнении с пролитой только на Гражданской войне, развернувшейся через год и длившейся несколько лет. А подсчитав еще и миллионы умерщвленных тем или иным образом в последующую треть века!.. А кто-нибудь приплюсует сюда и убиваемых до сих пор по причинам, основы которым положило то же наивное легкомыслие в марте семнадцатого... Не будет преувеличением сказать: все беды России за прошедшие век с четвертью также приистекают от него, от марта.

Царя ль свергали, предки, Думу ли,
О нас совсем вы не подумали.

Второго марта Александр Крапивников, нутром почуяв, что с кузеном Жоржем стряслось нечто ужасное, отпросился у командования в Петроград и приехал на квартиру к Елене Николаевне ровно в ту минуту, когда следовавшие в другом направлении Гучков с Шульгиным прибыли в Псков.

Застал он ее в слезах. Сквозь всхлипывания она поведала ему в деталях, в чем и с чем отправился муж два дня назад на Финляндский вокзал.

Заночевав, Александр наутро, издали глянув на крестника (осторожная мать не позволила приблизиться к младенцу: мало ли какую

* Первым на нее обратил внимание писатель Денис Драгунский в рассказе «Баллада о царской чести». (А.К.)

заразу мог занести визитёр), отправился на поиски, придав себе еще больший, чем в пути, вид человека из народа. Задумав поездку, он перестал бриться, и теперь двухдневная щетина во многом лишала его облик благородства. На дорогу он умышленно приложился к чарке самого дешевого зелья, чтобы на любой патруль дохнуть плембейским перегаром. Вместо трости, с которой не расставался после ранения ноги, взял с собой простецкий костыль. Узнать в таком клошаре офицера было совершенно невозможно.

На вокзале он подошел к таким же босякам, наливал им пойло из спрятанной в кармане потрепанного пальто фляжки и с профессиональным навыком контрразведчика ненавязчиво расспрашивал о событиях двухдневной давности. Один из опрошенных, назвавшийся Еремеем, оказался на редкость осведомленным.

– Помню-помню тот день. Аккурат тогда из Крестов всех арестантов отпустили. Меня аж холодный пот прошиб, когда услышал: давно знаю, что от этого сброда добра не жди. И вправду: пошли громить всё направо-налево. Ежели кто из благородных под руки им попадался – кишки выпускали.

Из разговоров с вокзальными носильщиками выведал Александр, что людей в офицерской форме без сопровождения низших чинов они на платформе уже давно не видели: бояться их благородия по одиночке ходить. По домам все попрятались.

Прошел он и недлинный путь от вокзала до Крестов, спрашивая по дороге у подходящих на вид прохожих, не видели ли они в день освобождения заключенных расправы ими над офицером. Мол, жена поискать пропавшего мужа просила, денег хороших дала: полиция-то теперь нет.

Сопоставление сбивчивых рассказов немногих согласившихся ответить не оставляло никаких шансов найти кузена живым. А одна немногословная бабенка на вопрос, где нужно искать, прямо показала в сторону Невы:

– Ищи, милоч, где поглыбже.

К слову, после событий конца февраля – начала марта Государственная дума постепенно сошла на нет и вскоре тоже прекратила свое существование, а ее председатель, сыгравший ключевую роль, превратился в частное лицо и был тут же всеми забыт.

Однако давайте мы его вспомним. Причем недобрым словом. Иного он не заслужил.

Родзянко положил основу новой русской политической традиции. Потом и другие будут, находясь на вершине власти, подменять государственную мысль собственной дурью, заботу о стране – неосмысленными действиями, ведущими к ее разрушению. Его век длился меньше дня, и всё же именно он стал первым.

Текст государева манифеста нисколько не порадовал Родзянко.

А ведь так хотел иметь дело с Михаилом Александровичем! Считал его для себя очень удобным.

Но – в качестве регента, а не полноправного императора.

И не только он: здесь сходились во мнении с ним и другие инициаторы отречения. Мигом вспомнили закон, не позволяющий передавать престол кому-либо, кроме объявленного наследника.

А войска уже присягали Михаилу Второму.

Простой народ в юридической зауми не разбирался и не противился признанию Великого князя как в одной, так и в другой ипостаси.

К формально ставшему в три часа пополудни ушедшего дня императором наутро направилась на аудиенцию смешанная делегация членов Временного комитета и нового правительства. И с наскоку начала уговаривать его не принимать престол и успокоить по-прежнему бунтующую страну обещанием созыва Учредительного Собрания. Правда, уговаривали не все: за немедленное воцарение высказались наиболее значимые министры Гучков (военный и морской) и Милюков (иностраннх дел). Первый поневоле: иначе почему не возразил в Пскове против государева решения, второй – поскольку отличался от всех остальных умом и прозорливостью, позволявшими видеть последствия столь безумного шага как потеря привычного олицетворения верховной власти.

Оба не молчали. Милюков вообще соловьем заливался, отстаивая свои доводы. Забыли все, с кем имеют дело.

Михаилу любые заботы – острый нож, особенно государственные. А тут – стать полноправным императором!.. России, может быть, это и нужно. А ему самому абсолютно ни к чему. Разумеется, он согласился с теми, кто отговаривал его вступать на престол. Да их к тому же оказалось большинство. И во главе – Родзянко, сам себе вырывший этим яму. Что ни делает дурак, всё он делает не так. Истина эта сопровождает с тех пор и по сей день всех вершителей российской политики.

Никто ведь и не подумал о главном: кому быть следующим наследником? Даже если воцарение Михаила откладывается до Учредительного Собрания, всё равно кто-то должен занять эту важнейшую государственную нишу. Единственный сын Великого князя не Романов, а Брасов, не член династии. Значит, кто-то другой. Кто? Если по крови, то родной племянник. Всё тот же Алексей, и менять тут ничего не надо. Выходит, Николай и здесь всех обманул: раз новый цесаревич не объявлен, выходит, им остается прежний. Однако во власти императора вернуть родного ребенка в романовское семейство. Но для этого надо вступить в права. Необходимо крепко призадуматься и выслушать советы специалистов.

Специалистов, в конце концов, позвали. Те в ужас пришли от абсолютно нелегитимного отречения: таковое никакими законами не предусмотрено. Свободный же престол может перейти только к цесаревичу. Если еще и Михаилу отречься, полная несурзаца получится: как отречься от того, что тебе принадлежать не может.

Выходит, всё надо повернуть вспять?

Но профессора юриспруденции напрасно бы ели свой хлеб, если бы не умели найти выход из любой ситуации. Придумали предельно лукавую формулу, рассчитанную на сугубо эмоциональное воздействие и включающую все пожелания заказчиков. Звучала она так:

«Тяжелое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне Императорский Всероссийский Престол в годину беспримерной войны и волнений народных.

Одушевленный единою со всем народом мыслию, что выше всего благо Родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием, через представителей своих в Учредительном Собрании, установить образ правления и новые основные законы Государства Российского.

Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы Российской подчиниться Временному правительству, по почину Государственной думы возникшему и облеченному всею полнотою власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок, на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, Учредительное Собрание своим решением об образе правления выразит волю народа».

Что же тут зашифровано?

Во-первых, уклонение от бремени, возложенного братом, и решение воспринять верховную власть лишь по воле народа. Следовательно, тысячелетнего государства больше не существует: оно этим актом фактически отменено.

Во-вторых, волю народа должно выразить не его большинство, а Учредительное Собрание.

В-третьих, выбирать в такое собрание надлежит всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием.

В-четвертых, выбранные таким образом представители народа должны установить образ правления и новые основные законы Государства Российского.

В-пятых, созвать это Собрание вправе только Временное правительство, по почину Государственной думы возникшее.

В-шестых, само это Временное правительство до работы Учредительного Собрания обладает всей полнотой власти.

И напоследок подписант акта просит всех граждан Державы Российской этому правительству подчиниться.

О как! – Не «подданных империи», а «граждан державы»!

Славно поработали юристы, сознавая, что творят законы через беззаконие.

Михаил же всё лихо подмахнул. Правда, будучи истинным Романовым, попросил добавить в текст упоминание Всевышнего.

Стряпчие без труда ввернули в начало последнего абзаца дееспричастный оборот.

Все прекрасно понимали, что подписывается смертный приговор монархии, ибо само название «Учредительное Собрание» подразумевает необходимость что-то учредить, создать нечто новое взамен старого. А что можно учредить в монархическом государстве кроме республики? Да и кого выберет народ при этой четыреххвостке? Только самых отпетых, самых развязных, мягко говоря, революционеров. Не за их же вождя Милокова будет голосовать в глубинке простая крестьянка или солдат-окопник на Западном фронте!

Впрочем, о последнем ученые юристы совсем не подумали.

Лишь наутро догадался Николай отправить телеграмму брату, теперь уже Его Величеству. Написал в ней: «Прости, если огорчил тебя и что не успел предупредить».

Сколько же всего выдала эта фраза! Выходит, что несение креста, возложенного на всех Романовых триста лет назад, дело для них огорчительное! А передача верховной власти от одного к другому в необычных условиях и неординарным образом произошла вообще без всякого разговора между ними! Допустим, принять решение за малолетнего ребенка, за собственного сына, Николай имел хотя бы моральное право. Но как же было не поговорить с братом, взрослым человеком, которому ты передаешь престол?! Потом, когда выяснится, что Михаил престола не принял, явно под чью-то диктовку написал невнятный манифест, а по существу – акт капитуляции перед бунтовщиками, Николай придет в ужас. Но о чем он думал раньше? Почему прежде отречения не поговорил с братом, не велел прислать его вместе с думскими делегатами к себе, где не было ни лукавых юристов, ни паникеров-советчиков? Представил бы штабным и свитским, войска заставил бы присягнуть. Кто бы мог помешать этому?

Нет, если считать тяжелой долей императора постоянное служение России, то службу свою он нес отвратительно: между делом, спустя рукава, не напрягаясь. А в конце ещё ближе подтянул страну к краю бездны.

Конечно, начало этому роковому движению положил его родитель, бездумно отвергнувший план своего отца по дальнейшему переустройству государственного управления. Будучи недалеким солдафоном, Александр Третий не сумел понять мудрость предшественника. Не понимал он и непреложной истины, что время нельзя пустить вспять. И совсем не позаботился никудышный царь о воспитании преемников: что один сын, что другой (третий, увы, рано умер) совершенно не были подготовлены к предстоящей им миссии.

Поняв дальнейшую бессмысленность своих расспросов, Александр Крапивников решил, не выходя из роли, разузнать побольше о недавних событиях и в других местах. Он перешел Литейный мост, свернул на Шпалерную, поговорил кое с кем из прохожих там, а потом,

осмелев, двинулся к Таврическому дворцу. Сначала постоял поодаль, присматриваясь к поведению охраны. Немногочисленные стражники периодически куда-то отлучались. Воспользовавшись одним из таких моментов, он беспрепятственно вошел в здание и вскоре обнаружил среди слоняющихся по первому этажу людей такого же, как он сам, вида. Попадались и разносчики всякого мелкого товара, выглядывшие ничуть не лучше. Сновали и болтливые газетчики, сообщавшие друг другу свежие новости, в чем явно чувствовалась не профессиональная солидарность, а чистое бахвальство: мол, а я вот что знаю. Из их разговоров он узнал подробности отречения Николая, которыми щедро делился гордый своей причастностью к событию Шульгин. Прошел и слушок о возможном отказе Михаила от верховной власти, но никто точно не знал, в чью пользу отречется император-однодневка. Одни называли Великого князя Кирилла Владимировича – следующего по очереди на престол и весьма активного в эти смутные дни. Другие – Великого князя Павла Александровича как последнего из сыновей Александра Второго. Третьи уверенно говорили о Великом князе Николае Николаевиче, поскольку тот был старшим из Романовых (если не считать объявленного безумным его кузена и тёзку, жившего вдали от столицы) и уже получил повторное назначение верховным главнокомандующим от легитимного в тот момент монарха.

Потолкавшись в Таврическом и устав от одних и тех же сплетен, Крапивников снова вышел простор, свернул на Потемкинскую и стал прислушиваться к разговорам прохожих в надежде узнать о происходящем от тех, кто сегодня на улицах вершит судьбу несчастной России. Ему повезло: за спиной он услышал спор двух молодых, судя по головам, мужчин. Не с самого начала, но с весьма показательного места:

– С Михаилом оно, конечно, лучше. Алексеем бы отец со своей немкой крутили, а Михаил такой высокий, статный. Говорят, в атаку войска водил. Он их слушать не станет.

– Какой Михаил? Какой еще царь?! Мы разве кровь свою за Романовых проливаем? Всех их в Петропавловскую, а лучше – на виселицу. Запомни: будем стоять до последнего за республику.

– Так республикой президент правит. А это всегда какой-нибудь шаромыжник.

– Будет шаромыжничать – и его скинем.

Навстречу собеседникам шли двое с красными повязками, видимо, их знакомые, поскольку остановились, завидев спорщиков, и замахали им руками. Вид их явно напоминал патрульных.

Александр почел за благо свернуть на ближайшем перекрестке. Так он оказался на Фурштатской. Вскоре он понял, что четверка бунтовщиков почему-то следует за ним. Он прибавил шагу. Те тоже не отставали. Крапивников стал лихорадочно думать, как бы тут укрыться. И тут его взору открылся доходный дом, где квартировала одна из кузин матери Александра Андреевна, бывшая с ним почти ровесницей – старше примерно на полгода. Она уже пятнадцать лет

жила с супругом-бароном, ставшим за это время известным правоведом. Александру несколько раз доводилось бывать в их гостеприимном доме и вести беседы с ученым мужем, с которым у них быстро установилась взаимная симпатия.

Пройти мимо такого величественного здания было просто невозможно: его необычная архитектура заставляла любого прохожего, видевшего эту красоту в первый раз, остановиться и полюбоваться широкими эркерами, окнами с витражами, плетеными бордюрами, растительными орнаментами.

Уверенным шагом Крапивников направился к парадному, давая понять идущим сзади, что достиг своей цели.

В дверях его остановила охрана, выставленная по причине проживания здесь же председателя Государственной думы Родзянко. Крапивников молча предъявил им свой документ, и его пропустили, даже не спросив, к кому он идет.

Застал он только хозяйку с сыновьями. В гимназию мальчиков не отпустили – та и не работала еще с понедельника.

Первым делом Александр извинился перед хозяйкой за свой внешний вид и подробно объяснил причину такого маскарада. Александра Андреевна, разумеется, велела прислуге его накормить, поскольку они уже отобедали. Мужа куда-то срочно вызвали, и он до сих пор не возвращался.

Пока Крапивников отнекивался, появился и сам барон. В очень возбужденном состоянии. Им тут же накрыли на двоих и оставили наедине.

– Никогда не догадаетесь, дорогой племянник (так он называл в шутку Александра, будучи в веселом настроении), от кого я сейчас приехал. Не стану пытать и томить: от государя императора Михаила Второго.

– Вы из Зимнего?

– Нет, мы виделись с ним на частной квартире, даже не запомнил, чьей, где он скрывается от разъяренной толпы, готовой его разорвать.

– Законный император прячется от народа? Как такое возможно?

– Михаил Первый тоже прятался. Боялся высунуть нос из Ипатьевского монастыря, и за ним после избрания на царство пришлось целую депутацию посылать. На колених упрашивали взойти на трон. И тот Михаил согласился. А этот, увы, нет.

Слышанное от газетчиков подтверждалось. Крапивников не понимал причину игривого настроения собеседника: момент-то трагический.

– И кто будет теперь? Алексей Второй? Или Николай Третий?

– В том-то всё и дело, что никто.

Последнее слово прозвучало нарочито громко.

– Как никто?

– Скажу по секрету, для того меня с одним мудрым коллегой туда

и приглашали, чтобы юридически грамотно оформить отказ Великого князя от престола.

– Вы только что назвали его императором.

– О, потомки будут долго спорить, считать его таковым или нет. Скажу как специалист по государственному праву – и не последний в России: всё будет зависеть от Сената. Если признают законным отречение Николая вкупе с аналогичным актом Михаила, а также выборы Учредительного Собрания, то одним из звеньев легитимной цепочки невольно становится Михаил Александрович, и придется помещать его в учебники истории под именем Михаила Второго.

– Разве могут не признать?

– Сколько угодно. Его прапрадед Павел, у отца которого отречение было вырвано силой, воспретил впредь своим потомкам совершать подобное действие. Боялся повторения истории с родителем. И как в воду глядел: Николая Александровича тоже поневоле это сделать.

– Вы уверены?

– Абсолютно. По почерку в акте об отречении мне это прекрасно заметно.

– Как им это удалось?

– Наверняка наврали с три короба о своем бессилии против революции. И он дрогнул. А по закону должен был объявить в Петрограде осадное положение, ввести войска, назначить правительство из верных людей и расположить его подле себя, в Ставке, в Могилеве. И сенаторы вправе ему на это указать. Но не бойтесь: они этого не делают. Они-то ведь здесь, в Петрограде. Всё видят своими глазами. Побоятся и за себя, и за семьи. Всё утверждают как миленькие. Иначе их просто упразднят, и они останутся без жалованья и без пенсионера.

– Это понятно, – покачал головой Александр. – Простите, вы упомянули о каком-то собрании...

– Да, учредительном, – перебил его рассказчик. – Великий князь ведь отрекся не до конца. Теоретически мы еще можем увидеть коронацию Михаила Второго. Мы с коллегой придумали одну хитрую комбинацию: он вроде бы согласен принять трон, но при условии народной на то воли. А выразит ее то самое Учредительное Собрание.

– И кто же его составит?

– Депутаты, выбранные на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования.

– Вы это серьезно?

– Да, так мы и обозначили в манифесте. А Михаил его подписал.

– Вы понимаете, что это крах всего: монархии, империи, вековых устоев? С помощью этой четырёххвостки таких депутатов навывирают, что от России ничего не останется.

– Не преувеличивайте, дорогой племянник: люди у нас без царя жизни не мыслят. Они проголосуют правильно.

– Отчего же вы не предложили выявить волю народа напрямую, без всяких депутатов. Пусть бы выбрали: монархия с Михаилом

Вторым или республика с чертом лысым. Эти же партийные деятели мужиков охмурят, а баб и подавно. Наобещают им с три короба, мандат свой получат и империю упразднят, а скорее – распродадут.

Всегда спокойный Крапивников на сей раз буквально с каждым словом входил в раж.

– Вы отрекомендовались крупным знатоком государственного права. А для чего оно нужно: чтобы укреплять государство или разрушать? Таковую, как вы изволили выразиться, хитрую комбинацию мог предложить либо дурак, либо подлец. Первое к вам явно неприемлемо, а от второго вам век не отмыться.

Барон сдвинул брови:

– Правильно ли я понял, дорогой племянник, что вы сейчас назвали меня подлецом?

– Правильно. Выбор оружия за вами.

– Вы серьезно?

Александр вскочил из-за стола:

– Уверен: вы меня не вызовете. Как и вы уверены, что сенаторы не откажутся распубликовать незаконные акты братьев Романовых. Причем, по той же причине. Прощайте, барон: мне больше нечего вам сказать. Передайте мои извинения супруге, что ушел, не откланявшись ей, но больше не могу находиться в доме человека, имевшего возможность спасти Россию, а вместо этого ее погубившего.

Впервые в жизни Крапивников осознал, что дрожать от гнева – это не фигура речи. Неровной походкой он вышел из квартиры, немного постоял у лестницы, пытаясь унять охватившую его дрожь, и медленно начал спускаться вниз, держась за перила.

К не утихавшей весь день боли от потери родного человека, переживаний за судьбу осиротевшего в первый месяц жизни крестника добавилось теперь чувство утраты твердой почвы под ногами. Еще неделю назад мощная и грозная Россия нацеливалась на передел мира, на завладение древним Константинополем, а теперь перед ней разверзлась бездна, и она стремительно в нее катилась. Жаль, безумно жаль честного Жоржа, до конца преданного царю и отечеству. Но в том-то и беда, что конец этот наступил: царю – уже сейчас, отечеству – в обозримом будущем. Может быть, и здесь Всевышний явил свое милосердие, призвав верного раба Своего прежде, чем тот это осознал?

И как теперь жить тем, кому Он в подобной милости отказал?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Известия о событиях в столице вызвали в Губернске ликование. Хотя тех, кто им не обрадовался, казалось наверняка больше, выпавшие на улицы демонстранты создавали ощущение полной и безоговорочной поддержки Временного правительства со стороны всего города. Коллеги-юристы разошлись в мнении о легитимности случившегося.

– Боже, какой бред! До чего я дожил! – сокрушался Александр

Щербачёв. – В какой безумной голове могла родиться идея наделения верховной властью правительства, да еще с функциями законодателя?! Добивались ответственного министерства – получили самое безответственное, какое только можно себе представить: оно ведь никому не подчинено.

– Нет, Александр Александрович, вы заблуждаетесь, – пытался разуверить его Михаил Угрин. – Только в таком концентрированном виде власть сможет вывести страну из кризиса. К сегодняшней России нельзя подходить мерками классического права. Оно великолепно работает в обществе, ведущем размеренную жизнь, устоявшуюся веками. В нашем взбаламученном море над капитаном, чтобы не утонуть кораблю, непозволительно доверить судовладельцу.

– Помяните мое слово, Михаил Георгиевич: механизм, приводящий в движение государственную машину всегда должен быть выверен и исправен. Да, он периодически совершенствуется. Но каждой шестеренке положено вращать другую, а не две соседних сразу, крутящихся к тому же в разные стороны. Этим Временным правительством мы насмешим весь мир. А если из него начнется исход? Как восполнять убылые места?

Спорили не только правоведаы – спорили и менее профессиональные люди, часть которых не воспринимала идею коллегиального самодержца. Но хуже всего то, что в противовес более или менее легитимным органам власти стали возникать самочинные Советы рабочих и солдатских депутатов. Воду мутили бывалые революционеры и члены различных левых партий. Из них особо выделялись социалисты-революционеры и социал-демократы, расколовшиеся на большинство, именуемое меньшевиками, и меньшинство, амбициозно провозгласившее себя большевиками. Трудовая группа партией не называлась, однако именно она имела самое крупное представительство в Четвертой Государственной думе – десять человек. У меньшевиков насчитывалось восемь депутатов, у большевиков – всего шесть. Впрочем, их за два года до Февральской революции лишили мандатов и сослали в Сибирь.

Наиболее близкая к народу партия эсеров последние думские выборы 1912 года бойкотировала. Однако в Советы устремилась активно и постепенно начала занимать в них главенствующее положение.

Третьего марта представители всех предприятий Губернска (по одному от каждого) нагло ввалились в зал заседаний Городской думы. Затем они избрали Совет рабочих депутатов численностью тридцать человек, одновременно сформировали аналогичный совет и солдаты с офицерами. Объединяться подобно тому, как происходило в некоторых других городах, оба Совета не пожелали.

«Ладно, допустим: депутаты военных будут решать свои гарнизонные дела, – рассуждал Угрин. – Но что станут делать депутаты рабочих?»

На этот вопрос не мог ответить даже более опытный в правове-

дении Александр Щербачёв. Против ожидания Михаила, Совет солдатских и офицерских депутатов начал деятельность с того, что арестовал губернатора и всех членов губернского правления, включая ветеринарного инспектора.

– Как это понимать? – недоумевал Михаил. – Для ареста людей нужны юридические основания. Им их даже не предъявили, а меня как адвоката не пускают к моим подзащитным.

– Вот видите, мой друг, к чему приводят сбои в работе государственной машины, которые вы еще вчера оправдывали, – объяснял ему Щербачёв. – То ли еще будет. Вы никогда не задумывались, почему рак смертелен для человека. Казалось бы, появляется в организме какая-то бородавка. Но не снаружи, а внутри. И вот эта горошинка начинает расти, дает метастазы в другие органы, и человек постепенно погибает: ни лекарства, ни хирурги спасти его не могут. То же и с государством. Стоит возникнуть инородному телу, то есть институту, не предусмотренному законом, как это новообразование незаметно душит всё вокруг. Фактически не стало царя. Уверен: скоро не станет ни Думы, ни Государственного совета, ни сената, ни даже правосудия. Всё заполонят эти собачьи и рачьи депутаты, которым для ареста человека никаких оснований сегодня не требуется. А завтра не потребуются и оснований для отправки его на тот свет. Поэтому пора нам с вами менять профессию. Вы еще молоды, успеете чему-нибудь другому научиться. А что делать мне?

– Помилуйте, Александр Александрович, вы хоть меня на десять лет и старше, но отнюдь не старик.

– В чем-то да, а в чем-то уже нет. Постигать новое ремесло в мои годы поздно. Придется приспосабливать свои навыки к новым обстоятельствам. Однако оставаться в этом городе мне сейчас опасно: завтра солдатские депутаты начнут хватать и судейских. Поэтому прощайте, мой друг. Очень приятно было провести с вами лучшую, как теперь понятно, часть моей жизни.

– Вы уезжаете?

– Да. Причем уже сегодня. Семья пока остается. Если что, вы помогите, пожалуйста, Зое Николаевне. Как где-нибудь устроюсь, тут же вызову ее с детьми. И сестру мою вниманием не обойдите.

– Непременно, – поспешил заверить Михаил. – Поедете в свое имение?

– Ни в коем случае! Там нашему брату будет опасней всего. Попробую затеряться в каком-нибудь крупном городе. Но не в столичном. И поближе к границе. На всякий случай. Война теперь кончится быстро.

Воскресенье – день неприсутственный. В православной стране работать в него не только не принято, но и предосудительно. Однако пятого марта Первый департамент Правительствующего Сената нарушил святую заповедь и собрался на заседание.

Председательствовал 72-летний действительный статский советник Степан Борисович Враский, помнивший еще императора Николая Павловича. Вот какими словами встретил он бывшего вдвое моложе министра юстиции Александра Керенского: «Первый департамент Правительствующего Сената выражает Временному правительству глубочайшую признательность за быстрое восстановление в нашем дорогом отечестве законности и порядка, предоставляя себя в полное распоряжение этого правительства в видах поддержания тех же порядка и законности как залогов процветания и благоденствия дорогой родины».

В ответ новый генерал-прокурор сказал: «Я почту своим долгом передать высказанное Правительствующим Сенатом заявление Временному правительству. Счастлив, что на мою долю выпало передать в учреждение, созданное гением великого Петра для охраны права и законности, акты первостепенной государственной важности, обнародование которых завершает собой упразднение старого государственного строя».

Этими актами были: № 1 «Об отречении Государя императора Николая от престола Государства Российского и о сложении с себя верховной власти» и № 2 «Об отказе Великого князя Михаила Александровича от восприятия верховной власти вплоть до установления в Учредительном Собрании образа правления и новых основных законов Государства Российского».

Именно так было записано в журнале Правительствующего Сената под грифом «Слушали». Под грифом «Приказали» значится лапидарно: «к исполнению сих актов сделать надлежащие распоряжения».

Между словами министра юстиции и сенатской записью заметны явные противоречия. Керенский полагал, что распубликование актов братьев Романовых покончит со старым государственным строем, каковым в Российской Империи была монархия, а сенаторы по-своему восприняли слова Михаила, подчеркнув в самом названии акта временный характер его отказа от восприятия верховной власти: *вплоть до установления Учредительным Собранием образа правления и новых основных законов*. Государственный строй и образ правления – понятия не тождественные. Великовозрастные сановники под последним привыкли подразумевать самодержавие и дали понять, что видят смысл Учредительного Собрания в выборе между ним и конституционной монархией. Формула же Михаила, начертанная наспех двумя юристами, подразумевала нечто среднее: принятие или непринятие верховной власти в зависимости от благосклонности или неблагосклонности народных представителей к монархии как к таковой.

Керенский почувствовал подвох и в текст присяги членов Временного правительства, звучащий так:

«По долгу члена Временного правительства, волею народа по почину Государственной думы возникшего, обязуюсь и клянусь перед Всемогущим Богом и своею совестью служить верою и правдою народу державы Российской, свято оберегая его свободу и права, честь и достоинство, нерушимо соблюдая во всех действиях и распоряжениях моих начала гражданской свободы и гражданского равенства» добавил слова: *«и всеми предоставленными мерами мне подавляя всякие попытки, прямо или косвенно направленные на восстановление старого строя».*

Получилось коряво и громоздко. И если прямые реставрации хоть как-то можно было определить, то кто и по каким признакам должен был распознавать попытки косвенные, оставалось за границей юридического толкования.

Прочтя в газете этот текст, Михаил Угрин осознал до конца смысл последних слов, услышанных им от Щербачёва. Воистину в работе государственной машины происходили серьезные сбои, если даже Правительствующий Сенат стал принимать подобное.

Лукавый Керенский привез в Сенат не все документы для республикации. Он умышленно забыл указ Николая о новом Верховном главнокомандующем, а в условиях войны этот акт был важнее любого другого.

Великий князь Николай Николаевич в это время по-прежнему находился в Тифлисе и в Ставку явно не спешил. Он прекрасно понимал: пока его назначение не подтверждено Сенатом, безопасней отсиживаться на Кавказе.

Однако шестого марта Временное правительство упразднило должность губернатора. О наместниках в его решении не говорилось, но ушлый дядя Николаша интуитивно почувствовал опасность и двинулся в Могилев.

Тем временем до Гучкова, награжденного за доставку в столицу отречения государя портфелем военного министра, дошло, что отныне предлагать кандидатуру Верховного должен он. Царская креатура его явно не устраивала: ему больше импонировал бесхитростный служака Алексеев. Он к тому же не очень здоров, и по этой причине его всегда можно будет заменить, если подвернется более подходящий претендент.

Десятого марта Николай Николаевич прибыл в Ставку. Первым делом подписал приказ о вступлении в должность Верховного главнокомандующего. Но оставался в ней всего лишь сутки.

Потомкам еще долго придется разбираться, почему Великий князь беспрекословно подчинился требованию Временного правительства сложить с себя принятые днем раньше полномочия. Трусом, как старший племянник, он не был. Безразличным к судьбе отчества, как младший племянник, тоже. Его любила армия, многие офицеры и

солдаты почитали его своим вождем и несомненно поддержали бы, объяви он несогласие с решением министров, которым вполне ответственно мог бы сказать: нас с вами назначил в один день законный Государь император, полагая, что вы будете заниматься гражданским управлением, а я военным, мы с вами политические близнецы с разными функциями, но за мной армия, а за вами группа бунтовщиков, поэтому скорее я могу низложить вас, чем вы меня.

Мог, но не сказал.

Покорно подчинился и устранился от всяких дел: даже не вернулся в Тифлис, а отправился на дачу к брату в Крым.

После такого дезертирства любому разумному человеку стало ясно, что на военные успехи Россия может больше не рассчитывать.

Верховное главнокомандование перешло к начальнику штаба генералу от инфантерии Михаилу Васильевичу Алексееву. Знаний для исправления должности у него хватало, а авторитета в армии – нет. Через два месяца сместили и его. С тех пор Верховный главнокомандующий менялся еще трижды, но очередная смена боеспособности войскам не придавала: русское воинство разваливалось на глазах.

В марте начала рассыпаться и сама Россия.

Подобно Губернску, многие города также решили сбросить бремя всяческого управления, тоже пленили всех своих чиновников и с мазохистской радостью отдали себя в руки вчерашних арестантов. Если учесть, что повыпускали из тюрем всех, включая отпетых уголовников, тут же начавших доказывать, что сидели как политические, то нетрудно представить, какой сброд устремился на освобождаемые места, в том числе в сфере правопорядка.

Александр Щербачёв действительно покинул Губернск без долгих сборов. И этим спас свою жизнь, поскольку некоторых его коллег садистски умертвили буквально на следующий день.

Адвокатов не тронули. Видимо, помнили их поведение на процессах, когда те энергично и изворотливо защищали даже тех, кто их симпатий никак не вызывал. Поэтому Михаилу Угрину удалось избежать не только расправы, но и погрома. Впрочем, не тронули и Капитолину Александровну с Любашей: война с вдовами и сиротами пока еще не велась. Зато пустующий дом покойного Владиславова разграбили основательно. Еще больше поломали в нем и попортили.

Куда только делось вековое религиозное воспитание?! Более дикой орды Губернск не знал за всю свою историю: даже язычники монголы в XIII веке нанесли городу меньший урон. Самостийная ликвидация органов правопорядка, вскоре узаконенная Временным правительством, привела к падению всех препятствий для разбоев. Видимо, новые власти надеялись на правосознание самих граждан, но таковым обладали лишь жертвы насилия и грабежей: они не решались поднимать руку на ближнего, даже если тот врывался к ним в дом, хватал ценную вещь и с ней неспешно удалялся.

Еще в самый первый день новой для Губернска реальности Лиза Угрина возвращалась пешком от жившей неподалеку золовки. Навстречу ей двигался подозрительный субъект, не перестававший кричать: «Свобода! Свобода!» Когда они поровнялись, Лиза с отвращением заметила, что штаны у него расстегнуты и он поливает налево и направо улицу естественным способом.

Муж спокойно отреагировал на ее взволнованный рассказ:

– Чему ты возмущаешься? Русский мужик всегда воспринимал свободу очень своеобразно. В основном, как конец всяким запретам. Почитай классику: в восемьсот шестьдесят первом с этим словом даже врывались в женские бани. Пускай их писают, где хотят, лишь бы не убивали. А тебе больше на улицу лучше не выходить: революция для чувствительных дам во всех ее проявлениях очень опасна.

Хотя Михаил пытался говорить с женой очень спокойно, даже шутливо, внутри у него всё кипело. Он вспоминал студенческие годы, их забастовку шестилетней давности. Тогда октябристы сумели потеснить либералов и добиться смещения с должности ректора университета прогрессивного профессора Мануйлова. И вот кадеты берут реванш в масштабах всей страны. Замечательный Александр Аполлонович Мануйлов становится министром просвещения. Уволенные в одиннадцатом году преподаватели возвращаются на свои кафедры. Всё это так чудесно и прекрасно! Но почему одновременно с победой прогрессивных сил происходит такой чудовищный разгул насилия и невежества? Неужели удерживать беснующуюся толпу можно только при самодержавии и с помощью реакционеров? Ведь и на родине либерализма сразу после провозглашения свободы, братства и равенства начались разбои, грабежи, убийства, поджоги и ежедневные публичные отсечения голов. Что ж теперь, и нам ждать гильотины на площадях? Ведь наверняка с новыми порядками многие будут не согласны, и властям придется их обуздывать. Неужели этот милый Мануйлов с его соратниками встанут на путь репрессий? Впрочем, уже встали, иначе давно бы выпустили губернатора и прочих чиновников. А теперь пошли слухи, что хотят арестовать императора и императрицу. Его-то за что? – Он добровольно отрекся! И как можно – ее: она ведь просто жена своего мужа, теперь уже партикулярного человека?

Конечно, соблазнительно искать мандат депутата Учредительного Собрания. Будет что рассказать детям и внукам и чем прославиться в глазах потомков. Но для этого придется примыкать к какой-то партии и галдеть на площадях. С первым еще можно согласиться, а второе ужасно противно. С другой стороны, если уступить улицу невеждам, какое будущее ждет страну? К власти придут профаны, карьеристы, а среди них обычно царствует корысть.

Невеселыми мыслями наполнилась голова молодого адвоката. Не так представлял он себе зарю долгожданной свободы. Видно, рановато она, преждевременна: не созрело еще общество к ее приходу.

Где ж было Угрину в его Губернске понять, что все эти прекрас-

ные, умные, талантливые Мануйловы как кролики перед удавом перед «собачьими и рачьими» депутатами, что та государственная машина, о которой так образно говорил Александр Щербачёв, свелась теперь к вращению двух шестеренок: Советы крутят Временное правительство, а то вертится вхолостую.

Главная несуразность заключалась в том, что Совет был всего лишь петроградским и если и выражал интересы какой-то части общества, то лишь столичного, тогда как правительство руководило огромной империей, разные концы которой совершенно не одинаково реагировали на происходящее. После Акта Великого князя Михаила Александровича оно становилось носителем верховной власти, причем в том ее объеме, в каком та существовала до октября девятьсот пятого года. При таких всеохватных полномочиях считаться с мнением органа, не обозначенного ни в одном законе, было просто нелепо. Едва ли когда найдется рациональное объяснение, почему государственная власть стала вести диалог с Петросоветом на равных, что отразилось потом в историографии как период двоевластия.

Впрочем, советские еще до образования правительства принялись издавать свои акты. Начали с приснопамятного Приказа номер один, запомнившего больше всего отменой отдачи чести солдатами офицерам, титулования последних в соответствии с табелью о рангах и запретом обращаться к нижним чином на «ты». Но ключевым в нем стал пункт пять, гласивший: «Всякого рода оружие, как то: винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее, должны находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам, даже по их требованиям». Выше разъяснялось, что комитеты эти избираются исключительно из нижних чинов.

Разве в здравом уме такое придумашь?

И началось бесконечное, продолжающееся до сих пор противостояние разума и невежества.

Конечно, в любой стране и в любое время людей разумных меньше, чем людей невежественных. Однако это не повод отдавать бразды правления в руки такого большинства. И хотя демократия предполагает подчинение воле победившего 51 процента со стороны проигравших 49 процентов, в действительности нигде голоса некомпетентного в вопросах государственного управления электората не концентрируются воедино. Для того и существует традиция партийной борьбы, чтобы воля народа была представлена опосредованно, пройдя необходимые интеллектуальные фильтры. Российская демократия, едва зародившись, мгновенно приняла искривленные формы. И первый шаг был сделан с помощью тех самых Советов «собачьих и рачьих депутатов».

Характерно, что позднее, когда Советы стали главной формой народного представительства, солдаты в них никогда не избирались.

Но изданный первого марта семнадцатого года приказ номер

один требовал явиться на следующий день в Государственную думу по одному нижнему чину от каждой роты.

И если Угрин в Губернске наблюдал разумное создание двух разных Советов, то в столице прожженные революционеры упорно впрягали в телегу российской истории «коня и трепетную лань».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Вернувшись в Выборг, Александр Крапивников не стал рассказывать никому о увиденном в Петрограде. На вопросы отвечал уклончиво и старался избегать лишних разговоров. В нем всё сильнее и сильнее зрело желание оказаться в таком месте, куда не доходят газеты, где связь с внешним миром доступна лишь офицерам, а солдаты, добрые и покорные, исполняют все их приказания, как положено в армии, как было в ней испокон веков. Не может же во всей империи царить хаос и анархия!

Не иначе как сам Всевышний его услышал: пришел приказ о создании Николайштадтского контрразведывательного пункта и назначении его начальником капитана Крапивникова, которому до начала исправления должности полагалось пройти курсы контрразведывательной службы при главном управлении Генерального штаба.

Мечта исполнилась: Николайштадт был дальним уездным городом Великого княжества Финляндского, располагался на берегу Ботнического залива, а немногочисленный гарнизон этой тихой и совершенно глухой провинции, состоявший преимущественно из пограничной стражи, с недавних пор считался самым западным в России.

Как замечательно можно там отсидеться, пока в стране не водворится порядок!

Но человеку всегда хочется большего. Конечно, сильнее, чем в финскую глушь, его тянуло к родной семье. Из телеграммы, полученной от Зинаиды, он знал, что жена с сыном из взбаламученного революцией Губернска перебирается в маленький город близ Прута, где и вершатся все дела по ее имению. Такой переезд он не мог не одобрить по двум резонам: во-первых, там спокойней, во-вторых, действительно надо быть готовым к принятию быстрых решений относительно земли, которую толпа на всех митингах требует отнять у законных владельцев в пользу небогатых крестьянских хозяйств.

И Крапивников решил на отчаянный поступок: обратиться к Михаилу Дмитриевичу Бонч-Бруевичу, бывшему генералом при Ставке.

Тот принял его как самого желанного гостя. Как водится, бойцы вспомнили минувшие дни и свои закулисные битвы. Михаил Дмитриевич не без ехидства, как показалось Александру, поведал о печальной судьбе бывшего министра двора графа Фредерикса. И сама должность, и исправлявший ее двадцать лет полоумный старик являли зримый пример полной обветшалости строя. И всё же Крапивникову стало жалко этого безобидного и немощного вельможу, хоть и

заблуждавшегося порой, но искренне желавшего всем добра и ставшего жертвой несомненного зла.

Что касается Бонч-Бруевича, тот не мог забыть дворовые интриги, приведшие к его отставке, и считал графа Фредерикса их зачинщиком.

Генерал немного успокоил собеседника, твердо высказавшись в поддержку Временного правительства и выразив уверенность в сохранении боеспособности армии под его руководством:

– Вы же сами знаете, капитан, горе-стратегов, умевших только отступать. Теперь их всех заменят невзирая на лица. Войска получат новых командиров, и с ними мы начнем возвращать утраченные позиции.

Рациональное зерно в том, чтобы обновить командование, несомненно было, и Александр, считавший Бонч-Бруевича человеком разумным и практичным, не мог с ним не согласиться, хотя в глубине души продолжал бояться разложения армии изнутри, с чем могли не справиться даже самые искусные военачальники. Но делиться своими сомнениями не стал. Его целью была отсрочка от прохождения курсов в Генеральном штабе и получение отпуска для поездки к семье. Когда чего-либо просишь, лучше лишних разговоров, тем более споров, не заводить.

Своей цели он добился. Он также получил строгое напутствие:

– Хотя место вашего назначения далеко от театра военных действий, противник будет проявлять там немалую активность, используя водное сообщение с соседней нейтральной Швецией и засылая оттуда шпионов. И не меньшими врагами для нас могут стать местные сепаратисты: тамошние власти давно мечтают отложиться от России, как Норвегия от Швеции в девятьсот пятом году. Надо давать им понять, что до Учредительного собрания империя продолжает жить по прежним законам, а потом на всё будет народная воля. Все их попытки вооружиться старайтесь замечать: не хватало нам еще внутренней войны с собственной провинцией.

Последние слова генерала заставили Крапивникова серьезно задуматься: так ли уж легка будет служба в самой западной точке страны? Но главной мыслью оставалась поездка к семье. Путь лежал через столицу, где ему предстояло объявиться в Главном управлении Генерального штаба и уточнить там новый срок прохождения курсов.

На этот раз маскироваться не было нужды, и он гордо прошагал по Невскому в военном мундире.

Отсрочка оказалась даже больше ожидаемой. Отпуск капитан получил на целых полтора месяца и мог теперь провести Пасху вместе с женой и сыном.

Трудно понять, из каких соображений генерал Бонч-Бруевич своим бодречеством пытался поддержать дух в капитане Крапивникове. То ли не знал истинного положения дел, то ли умышленно внушал оптимизм всем подчиненным. Но худшие опасения Александра уже начали сбываться: армия стремительно распадалась изнутри.

Солдаты смаковали новые приказы, непонятно чьи. Однако им был важен сам текст, а кто его составил, принял и подписал – значения не имело. В одних полках зачитывали документ, якобы дававший право ротному комитету контролировать своего командира, тогда как сам командир имел лишь совещательный голос в этом комитете и то в случае, если приглашался на его заседание (запросто могли туда и не позвать). В других – оглашали приказ, позволяющий комитетчикам выражать недоверие командиру. В третьих вообще говорили о введении выборности офицеров.

В армейские казармы настойчиво вползала политика, что во все времена и во всех странах считалось совершенно недопустимым.

Оставалось только учредить окопные советы, которые бы во время боя дискутировали на тему, когда подниматься в атаку.

Будь снова Верховным главнокомандующим Великий князь Николай Николаевич, он в два счета покончил бы с пагубной анархией. Возможно, при этом кому-то пришлось бы болтаться в петле. Генералу Алексею, признавшему коллективным царем Временное правительство, такое было не под силу. Да и с утверждением его в должности это правительство непростительно долго тянуло.

Как мантра, на каждом шагу звучало таинственное словосочетание: Учредительное собрание.

По хитрым заковыристым формулировкам юристов, писавших отречение Великого князя Михаила Александровича, в день созыва Учредительного собрания полномочия Временного правительства истекали. И само правительство должно было этот роковой для себя день определить.

Разумеется, никто из министров торопиться с датой не хотел. Придумывались одна причина за другой, чтобы не созывать как можно дольше. Вопросы сыпались со всех сторон. В каком городе проводить? В Москве, где обычно коронуют и где заседали все Земские оборы и даже Уложенные комиссии? В столице Петрограде? Или, может быть, в матери русских городов Киеве?

Сколько депутатов выбирать? По партийным спискам или мажоритарным округам?

Как определять границы избирательных округов?

С какого возраста можно голосовать?

Допускать ли к выборам военных? Каким правом их наделить: активным, пассивным или тем и другим?

Кому поручить подсчет голосов?

Готовых ответов не было: всё делалось впервой.

Петросовет в манифесте несостоявшегося императора Михаила Второго не упоминался, но он счел себя вправе участвовать в решении организационных вопросов созыва Учредительного собрания. Временное правительство уступило и тут. Впрочем, не без пользы для себя: ведь каждая лишняя дискуссия неизбежно приводила к отсрочке дня голосования.

Четырнадцатого марта контактная комиссия Петросовета явилась в Мариинский дворец для переговоров. Спор начался с даты созыва. Правительство доказывало, что раньше осени никак нельзя, а советские требовали провести уже летом.

И о месте мнения разделились. Князь Львов предлагал Москву, контактники настаивали на Петрограде.

Сошлись в одном: военные тоже должны участвовать.

В конце договорились создать ад хок комиссию. Самое странное, что буквально с первого дня подготовки выборов абсолютно все партии высказывались за пропорциональную систему. Голосование по партийным спискам ровно десять лет назад впервые прошло в Финляндии и всем очень понравилось.

Как известно, в любой революции есть зачинщики-романтики и победители-реалисты. У первых во главе угла всегда теория, желательно красивая, у вторых – практика и политическая импровизация.

Исходя из сугубо теоретических посылов, конечно же, пропорциональная система демократичней, поскольку даст шансы на представительство даже малым партиям. А если взглянуть с практической точки зрения?

Результаты выборов в Четвертую Государственную думу никак не могли служить ориентиром для прогнозов формирования Учредительного собрания. Они не были прямыми, проводились по куриям с применением различных цензов, что давало заведомое преимущество имущим сословиям. В них не участвовали женщины, солдаты, молодежь. И проводились они по мажоритарной системе. В таких тепличных для себя условиях партии правого толка проводили хоть и значительное число депутатов, но не дотягивающее до половины мандатов. То же можно сказать о либералах. И это при том, что отсутствовали главные конкуренты – социалисты-революционеры.

Теперь электорат значительно увеличивается. Выборы прямые. Какие ключевые слова более привлекательны для избирателя: конституция и демократия или социализм и революция? И что для него в слове прогресс? А уж о труднообъяснимом понятии «октябристы» вообще не стоит говорить.

Неужели прекраснодушные романтики-теоретики не догадывались, какую яму роют себе голосованием по партийным спискам? Лишь мажоритарные округа с выдвинженцами-краснобаями, поддержанными существенным капиталом, могли дать им преимущество. Однако они упрямо лезли под секиру убийственной для себя пропорциональной системы.

Древний Ольгов, куда переселилась Зинаида с сыном, особых восторгов по поводу столичных событий не выразил: жизнь в этом уездном городе текла своим чередом. Немногочисленные общественные деятели, правда, создали на всякий случай свой комитет, порадовав тем Временное правительство, тут же назначившее своим

уездным комиссаром его председателя (впрочем, в других местах происходило то же). Тот оказался человеком разумным и сговорчивым, работе Городской думы не мешал.

Крапивников не рискнул ехать в отпуск в военной форме. На улицах Ольгова он выглядел столичным франтом: иные барышни при встрече с ним краснели и потупляли взор, в чем сказывалась милая русская провинциальность. А вот Александра Щербачёва патриархальный уклад города скорее пугал, чем привлекал. Он боялся мест, где хорошо знали его, помнили отца и могли выдать ненароком бунтарям, чье появление в тех краях он считал неизбежным, исходя из логики происходящего. Бывший судья предпочел укрыться в многонаселенном Харькове, где было легко раствориться среди добрых четырех сотен тысяч обывателей. Там он ничем не выделялся в гуще профессоров, приват-доцентов и инженеров, наводнивших губернский центр в результате эвакуации заводов и учебных заведений из западных губерний, оказавшихся в горниле войны.

От Ольгова до Харькова было двести сорок верст. При необходимости за день добраться можно. Однажды Крапивниковы так и сделали. Александр заодно навестил живших там кузенов по линии матери. Туда же, услышав об этом, приехала и сама Вера Сергеевна. От нее и узнали, что в Губернске по-прежнему беспокойно, губернатора с другими узниками из тюрьмы не выпускают и только мечтают кого-либо добавить к ним в компанию.

Конечно же, и в Харькове возник Совет «собачьих и рачьих» депутатов. Но достаточно степенный, руководимый вполне разумными и нисколько не кровожадными людьми. Он никого не арестовывал и больше занимался сокращением рабочего дня на многочисленных промышленных предприятиях до восьми часов.

Гостили Крапивниковы в Харькове недолго. Уезжая, договорились с Щербачёвыми, что при благоприятных обстоятельствах осенью вернуться и, возможно, определят в одну из городских гимназий Нику. Лето же, конечно, проведут в Пруте.

Возвращаясь в Ольгов, забрали с собой и Веру Сергеевну. Та таяла от восторга, видя семейную идиллию сына и восстановление его отношений с женой. А в подростке внуке и вовсе души не чаяла.

В отпуске у Александра появилось больше времени для осмысления происходящего. Да и любознательность сына иногда ставила его в тупик и требовала ответов на непростые вопросы.

— Скажи, папа, почему больше нет царя? Он стал лишним или никого вместо него не нашлось?

— Видишь ли, сыночка, страна у нас самая большая в мире, забот в ней столько, что одному человеку они не под силу. Даже в мирное время, а сейчас идет очень тяжелая война. Поэтому управлять должны несколько людей. Они называются Временное правительство.

— Почему временное? Только до конца войны? А потом снова вернется царь?

- Не до конца войны, а до созыва Учредительного Собрания.
- Когда оно будет?
- Наверное, осенью.
- И что оно должно учредить?
- Одно из двух: или республику, как у наших союзников французов, или конституционную монархию, как у других наших союзников британцев.

Мальчик призадумался. Раньше ему не приходило в голову, что такие большие и сильные страны, как Франция и Великобритания, управляются иначе, чем Россия.

– И что же лучше?

– Хорошо и то и другое. Но по-разному. В республике государство возглавляет тот, кого выберет народ, а в конституционной монархии тот, кто раньше родится у короля. Даже если это девочка. Поэтому у президента республики власти больше, чем у монарха. Но она у него недолгая – всего семь лет, тогда как у короля и королевы пожизненная.

– Разве у нас было не так, как у англичан?

– Не совсем. У нас всех министров назначал император, а у них это делает парламент.

– Пусть и у нас назначает парламент. И царь пусть остается.

– Мне тоже этого бы хотелось. Но Николай Александрович с нами не согласился и передал престол брату Михаилу Александровичу. А тот предложил сначала провести Учредительное Собрание. Если оно примет нашу с тобой сторону, царем станет Михаил Второй, а правительство изберет новая Государственная дума.

Александр понимал, что с восьмилетним мальчиком не стоит сюсюкаться. Во-первых, он достаточно умен и сообразителен. Во-вторых, пусть лучше узнает правду от отца, чем от случайных людей.

Разговор с сыном оказался полезен еще и тем, что отец сам решил разложить всё по полочкам в своей собственной голове.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Мартовские события в Губернске сильно подорвали веру Михаила Угриня в безусловную силу закона. Чтобы верховная власть перешла какому-то ареопагу, непонятно откуда взявшемуся, не говорилось ни в одном уложении. Да и как возможно, чтобы венчаный шапкой Мономаха монарх, будучи в здравом уме и расцвете сил, никем не гонимый, отрекался от престола! Дед его деда дал себя удушить, но не отрекся – так и умер императором. А здесь – сам, добровольно. Утром командовал войсками, а к вечеру решил всё бросить. Допустим: вознамерился передать бразды правления брату из высших соображений пользы для отечества. Так вызови его сначала в Ставку, сделай всё торжественно, убедись, что скипетр отныне в надежных крепких руках.

Что же вышло на поверку?

- Больше не хочу, – закапризничал один.
- Я тоже, – спустя сутки ответил второй.
- Зато мы, мы хотим, очень хотим, – обрадовались трети.
- А кто вы такие?
- Неважно. Главное – хотим.

Оба брата отказываются, но надо же кому-то править страной. Кому-то! В том и дело, что система законов – скелет государства – оказалась вмиг забытой. Почему Дума не собралась в полном составе? Какой-то самозванный комитет ее членов без обсуждений, без принятия новых законов (хотя это прямая обязанность всех депутатов) наделил министерскими портфелями группу подданных. И не просто портфелями – придал им не только исполнительные функции, но и свои – законодательные. А старцы в Сенате всё распустили и узаконили.

Но самое ужасное, на чем поймал себя Угрин: его самого это нисколько не возмущает, а даже радует. Пусть лучше так пал этот прогнивший строй, чем в результате долгой и кровавой междоусобицы. Говорят, кровь в Петрограде всё же пролилась. Но не так обильно, чтобы сильно опорочить случившиеся перемены.

Его симпатии и раньше были на стороне поборников свободы и демократии. Сейчас они дорвались до власти. Пусть незаконно, пусть нелепо, но легитимный путь мог бы занять годы, а так он, двадцатипятилетний, застаёт, можно сказать, на пороге своей карьеры, такие эпохальные события. Чем не радость?!

Будучи еще на студенческой скамье он отметил возмущившую его закономерность: на государственные посты назначалась исключительно столичная элита, словно Россия не обширная империя, а маленькое государство, где все образованные и толковые люди кучно живут в одном городе. Стоило сделать одно исключение – дела сразу пошли в гору. Потом опять, даже губернаторов в провинцию стали посылать из центра. Что толку от столбового дворянства, которым так гордились в его семье, если ни один из предков не поднялся выше губернского, а то и уездного уровня! Купеческий сынок, вступивший в службу в каком-нибудь правительственном департаменте простым журналистом, лет через десять становился столоначальником, а через двадцать – статским советником. Даже не выслуживший потомственного дворянства, он считался важней провинциального чиновника из родовитой семьи, чьим карьерным потолком зачастую становился чин седьмого класса за долгую и верную службу в губернском ведомстве.

Выходом из этого порочного круга Михаил считал серьезную встряску всего государственного организма, предельно одряхлевшего за триста лет правления Романовых. Вот почему в нем боролись два чувства: с одной стороны, возмущало полное беззаконие и юридическое невежество всех, начиная с царя, с другой стороны, радовала завертевшаяся политическая карусель, хоть и эклектичная в своей основе, но очень смелая на оригинальные выдумки и ходы.

Эх, ему бы сейчас в Петроград, в гущу событий. Но как?

Увы, надо разгребать завалы местного значения. А их за считанные дни марта семнадцатого возникло немало в каждом уголке России.

В день отказа Великого князя Михаила Александровича от престола в Губернске произошла своя маленькая революция: некое лицо, объявившее себя избранным начальником гарнизона, арестовало губернатора, вице-губернатора и прочее начальство, о чем в городе стало известно мгновенно. Попал под горячую руку и предводитель дворянства Лев Станиславович Гульчицкий. Его сын Владимир тут же собрал на совет друзей, чтобы составить план действий.

После недолгих обсуждений решили уполномочить Михаила Утрина вести дело так, как если бы арест был законным. Наутро он явился на гарнизонную гауптвахту, где содержали задержанных, и потребовал свидания со своим подзащитным. Опешивший начальник-самозванец, явно неготовый к такому повороту, не смог противостоять напору молодого адвоката и распорядился его пропустить. В итоге Михаилу удалось повидаться не только с Гульчицким, но и с самим губернатором, всучившим ему написанный на каком-то клочке бумаги текст телеграммы в Петроград князю Львову. Угрин, явно польщенный такой просьбой, в тот же день ее выполнил. Что касается Гульчицкого то, заметив учащенное дыхание старика, он потребовал вызова врача. Врач оказался учеником гимназии, где Лев Станиславович директорствовал долгие годы. Без долгих уговоров тот потребовал от военных, предварительно устыдив их за безобразное отношение к знаменитому педагогу и крупному специалисту в латыни, отправить больного, находящегося в предынфарктном состоянии, на постельный режим, а поскольку в гарнизонном лазарете необходимых специалистов по подобным заболеваниям нет и быть не может, то он забирает пациента в свою клинику. Спеси у самозванца за сутки поубавилось, и он не стал перечить напористому доктору, который, разумеется, тут же доставил Гульчицкого домой.

– Никакого предынфарктного состояния у вас нет и в помине, – успокоил он Льва Станиславовича. – Этому идиоту унтеру я соврал намеренно, за что даже не стану каяться на исповеди.

– Какие лекарства ему принимать? – спросила по-прежнему обеспокоенная Варвара Васильевна.

– Ничего не нужно, кроме душевного покоя и свежего воздуха. Чаще проветривайте помещение, водите гулять на улицу и не давайте читать газет – вот мой рецепт.

– Воздуха мне действительно в этой душегубке не хватало, – заметил быстро оживший предводитель. – Но откуда взять теперь покой?

– Относитесь ко всему философски, ваше превосходительство, – посоветовал врач. – Когда на вас идет лавина, надо не суетиться перед ней, а просто выбрать безопасное место. Мой совет: сидеть дома и ни в какие присутствия до поры до времени не ходить.

На очередном семейном совете решили временно отправить старика под присмотр свояченицы. Евдокия Васильевна отнеслась к поручению как к важнейшему делу своей жизни и опекала зятя по-матерински.

Угрин не стал рассказывать никому о своем диалоге с малограмотным начальником гарнизона во время ожидания доктора. Ему было нестерпимо стыдно вспоминать их словесную перепалку, где адвокатское красноречие имело скорее отрицательное действие. Наглый мужлан не хотел слышать никакие доводы. Ни то, что предводитель, как и он сам, лицо, избранное снизу, а не назначенное властью. Ни то, что Гульчицкий вовсе никакой не помещик, а просто служилый дворянин, никогда не имевший крестьян не только в силу возраста, но и по причине отсутствия в роду какого-либо недвижимого имущества. Для тупого унтера тот был не простым, а главным губернским помещиком, стало быть, таким же врагом революции, как и сам губернатор.

Разговор с самозванцем отбил у Михаила всякое желание распространить свою миссию на других арестованных, благо, их родственники его о том не просили. Но при этом в душу молодого адвоката заползла горечь от проявленной им профессиональной трусости. Он явно упускал блестящий шанс отличиться, но чувствовал полное бессилие разума и закона против невежества, воцарившегося в те дни под знамёнами свободы.

Не так он себе ее представлял в долгие годы ожидания прогрессивных перемен. Вот они настали. И что же? Где властители умов, где просто здравомыслящие люди? Сидят по домам, как будет теперь сидеть и Гульчицкий. На улицах тем временем торжествует вопиющее хамство. Выходит, побеждает не сила разума, а какая-то новая пугачевщина.

Возмутил его и ответ председателя Временного правительства на телеграмму, отправкой которой ему самому довелось заниматься. Пришел он через два дня и, вместо приказа немедленно освободить губернатора, извещал об отстранении того от должности. Разумеется, самозванный начальник гарнизона воспринял это как одобрение своих действий и продолжил держать под стражей всё губернское начальство.

Через день князь Львов прислал в Губернск другую телеграмму. В ней сообщалось о назначении комиссаром Временного правительства титулярного советника Кучина, бывшего председателем всего лишь уездной земской управы. Логика проста: раз императора фактически сменил глава Земгора, то и на места его ставленников надо выдвигать земских начальников. Делалось это практически повсеместно.

Бог с ними, с чином и должностью: с таким указанием можно было бы смириться, беря в расчет личность и родовитость нового руководителя губернии (он также принадлежал к древнему дворянству), но против него дружно восстали представители левых партий и потребовали замены на вожака местных эсеров. Тут в Петрограде проявили принципиальность и дали понять, что свои кадровые реше-

ния не пересматривают. Тогда революционно настроенная часть Комитета общественных организаций начала бойкотировать Кучина и не дала ему практически вступить в должность. Проигнорировал его приказ об освобождении бывшего губернатора со товарищи и так называемый начальник гарнизона.

Для Утрина это стало крахом всех надежд. Он понимал: если сегодня для торжествующих безумцев врагом считается безобидный старик Гульчицкий, то завтра все образованные, культурные, родовитые люди тоже встанут им поперек глотки. Ведь невежды, как известно, всегда и везде составляют большинство. Особенно опасно, если они начнут возбуждать в крестьянской массе затаенную ненависть к помещикам-крепостникам. Тут уж детям придется отвечать за отцов, а внукам за дедов, поскольку с 1861 года в живых если кто из владельцев душ и остался, то вряд ли в здравом уме и твердой памяти. Так и ему немногочисленных дедовских крепостных, не ровён час, припомнят.

– От этого безумия надо срочно куда-то исчезнуть, – взволнованно говорил на встрече друзей Коля Чиняков. – Лучше всего в армию.

– С ума сошел! У тебя же скоро ребенок родится, – недоумевал Утрин.

– Пожалуй, Николай прав, – соглашался Володя Гульчицкий. – С нашими никудышными чинами для солдат мы мишенями не станем, но зато будем в полном смысле слова во всеоружии.

Михаил хотел напомнить, что на войне убивают, но осекся, вспомнив о творимых в последние дни бесчинствах даже в самом глухом тылу.

Бежать куда глаза глядят. Многих тогда охватило такое желание. Но глаза зачастую глядели в сельскую глушь, а там постепенно становилось еще хуже, чем в городах. Мужики вспоминали девятьсот пятый год и опять крушили барские усадьбы. Не только заваленные снегом, но и населенные. Грабеж и преступления превратился в доблесть: тащили всё подряд, не всегда понимая назначение того или иного предмета. У наиболее счастливых находились родственники в медвежьих углах, где еще продолжали висеть в присутствиях портреты отрекшегося императора. Даже у тех, кому жизнь казалась всего лишь безрадостной, она стала тревожной и опасной.

Выходившие из заключения уголовники били себя в грудь и кричали громче всех на митингах, причисляя себя к пострадавшим за справедливость. И люди верили им больше, чем законопослушным и вполне разумным ораторам. А ведь новая власть чаще всего рождалась именно на улицах.

– Кто у нас с пеной у рта ратовал за свободу? Получил свою Liberté? Сильно она тебя порадовала? – злорадствовал Коля Чиняков.

Утрину не оставалось ничего, кроме как оправдываться:

– Всё это пока. Накипь скоро сойдет. Увидишь, как Россия преобразится к лучшему.

Однако сам он в душе не был вполне уверен в собственном прогнозе.

Лиза, чувствуя колебания мужа, не корила его, понимая необычность момента, и старалась брать инициативу в свои руки. В нехитрых житейских делах это помогало, но вставали и серьезные вопросы. Первый из них: как быть с дедовским домом.

– Не вздумай выкупать его у родственников, – твердо заявила она. – Сегодня его ограбили, завтра поломают, а послезавтра и вовсе отберут. Твои кадеты скоро доведут всех до голода, и главной валютой станет провизия. Давай пока не поздно купим сельский домик с клочком земли, где можно будет сажать репу и картошку, завести кур, откормить к Рождеству поросенка и держать хотя бы дойную козу. Я уже говорила с мамой: она поможет наладить хозяйство. Неужели мы не справимся с тем, что по силу простым мужикам и бабам?

– Может быть, снова уедем к Ольге в Гавриловское?

– Совсем спятил! Им самим пора куда-нибудь перебраться от греха подальше. Не сегодня завтра и их придут громить.

На словах Михаил соглашался с женой, но на деле ничего не предпринимал. Он просто не знал, с какого конца взяться. Тогда Лиза подключила тяжелую артиллерию в лице тетки Варвары. С ее помощью мигом нашелся подходящий домик в нескольких верстах от Губернска, куда отправили для обустройства Евдокию Васильевну с пожилой прислугой, выдаваемой за родственницу, и стариком Гульчицким, заодно подальше спрятав его от возможных новых неприятностей. К первому теплу там готовились принять и Угриных.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Александр Крапивников мучительно пытался понять смысл происходящего в стране и постоянно спотыкался о новую преграду в своем сознании, не позволявшую выстроить события в логическую цепочку.

До него не однажды доходили слухи о намерении заменить на троне одного Николая на другого. Он прекрасно знал о требовании прогрессистов ввести на английский манер ответственное перед парламентом, а не царем, правительство. Поговаривали, будто и сам государь с этим согласился и уже подписал указ, который торжественно огласят на Пасху. Не были для него секретом и планы весеннего наступления на всех фронтах, как только кончится распутица.

Но как могло получиться, чтобы задуманная замена царя прошла настолько нелепо, что теперь надо менять либо одну династию на другую, либо и вовсе монархию на республику? И почему в критический момент указ об ответственном министерстве не обнародовали, если он, конечно, существовал? А если нет, то почему спешно не составили?

А самое главное: почему не ведется никакой подготовки к наступлению, хотя и весна пришла, и дороги почти везде просохли?

Невольно возникал и обобщающий вопрос: страна каким-либо образом управляется или всё пущено на самотек?

Пока явно видны признаки второго. Не должен же человек, двадцать с лишним лет готовившийся править государством и двадцать с лишним лет им хорошо или плохо правивший, в одночасье это государство обрушивать. Не должна же армия, воюющая третий год, имеющая серьезные обязательства перед союзниками и давшая противнику захватить часть своей территории, развалиться перед лицом опасности дальнейшего продвижения неприятеля. Какая сила может поколебать эти непреложные истины и где она?

Допустим, Николай действительно осознал свою неспособность руководить страной и воинством. Но почему он, во-первых, не поступил по закону и отрекся не в пользу официального наследника? А во-вторых, почему не обеспечил надежный процесс передачи власти и верховного главнокомандования? В итоге оба его назначенца отнекиваются от своих обязанностей, от чего страна и армия остаются без руля и без ветрил.

И почему Государственная дума, казалось бы последний легитимный институт власти, поначалу пытавшийся вернуть российскую жизнь в законное русло, тоже внезапно исчезает, а взамен возникает новая Семибоярщина, почти вдвое больше исторической, и почему она созывает не Земский собор, а какое-то Учредительное собрание, куда, по всем расчетам, попадут крикуны-политиканы, а не представители всех слоев общества?

И хотя на поверку больше всех пострадал сам царь Николай, Александр склонился к мысли во всей этой неразберихе главным виновником считать именно его. Закон жизни неумолим: у кого больше прав, у того и больше ответственности. Единственным оправданием самодержавия могла служить лишь возможность предотвращать и умирять различные настроения волей одного человека. Однако он никакой воли не проявил, а с остальных – какой спрос!

Не без усмешки вспомнил Крапивников и предупреждения о злых врагах монархии, скопившихся в левых партиях. Мол, только они способны свергнуть государство в хаос, поэтому их вождей необходимо разоблачать и изолировать. И где эти вожди? Больше всех пугали эсдеками, особенно их экстремистским крылом, называемом большевиками. И кто же из большевиков проявился в ходе беспорядков? Ни одного. И куда подевались самые кровавые демоны революции – боевики партии эсеров? Им бы сейчас самое время разгуляться. Ан нет: притихли!

Так от кого же получило смертельный удар самодержавие? Может быть, от Великих князей, еще недавно защищавших убийц Распутина? Но и они никакой силы не показали.

Выходит, всё по-Толстому: взял народ дубину и пошел рушить направо и налево. Только теперь не гостей незваных, а городских, околоточных, жандармов и офицеров, будто бы те виноваты в его

невеселой жизни. Сжимали-сжимали пружину, а она распрямилась в одно мгновение, и всё сразу полетело вверх тормашками.

Если такое сами великороссы творят в своей столице, нетрудно догадаться, что будет в недолюбливаемых самодержавие инородных окраинах.

И с кем же предстоит в ближайшее время воевать: с немцами да австрийцами на фронтах или с самостийными бандами в тылу?

Что ждет его после отпуска? Ловить в финской глубинке врагов империи – так там почти каждый житель и так ее недоброжелатель. Теперь он и вовсе таиться не станет. И что вообще будет с армией? Не сегодня завтра солдатские советы возьмут в свои руки снабжение, вооружение, оперативное планирование и будут голосованием решать: где наступать, а где отступить. Если, конечно, сами нижние чины не разбегутся с оружием по домам и не примкнут к тамошним бандам.

Может быть, совсем не возвращаться? Написать прошение об отставке и послать его почтой. Пока еще какой-нибудь скромный пенсион могут назначить, а через месяц-другой, глядишь, солдатские депутаты его для офицеров вовсе отменят.

Нет, это тоже не выход: если начнут отменять, то отменят и заслуженным старикам, генералам и адмиралам.

В царстве хаоса не бывает разумных решений, не бывает предсказуемых действий. В нем всё происходит вопреки здравому смыслу, поэтому угадать завтрашнее событие сегодня невозможно: можно лишь предположить, что оно окажется глупее вчерашнего.

С другой стороны, лишь армия, если она останется сплоченной и верной своему предназначению, сумеет вернуть всё на круги своя. Не бежать из нее надо, а, наоборот, всем здравомыслящим людям вступать в ее ряды.

Но и эту, слегка обрадовавшую его мысль он вынужден был прогнать, вспомнив о советах солдатских депутатов. Нижних чинов будет всегда больше, чем офицеров, и их саботаж может всё загубить.

Куда ни кинь – всюду клин.

Еще в середине отпуска Александр твердо решил возвращаться без задержек: ведь его ждала учеба в академии Генерального штаба, а учиться надо всегда и всему. К тому же в этом мозговом центре армии, возможно, ему ответят на его сложные вопросы, разъяснят непонятные новшества. В конце концов, верховная власть в стране осталась, хотя несколько необычная – коллегияльная. Утвердившийся в Крапивникове с юных лет тип мышления не позволял оценить столь сложную конфигурацию, когда различные прошения будет рассматривать не один человек, а целая футбольная команда. Сколько же лишнего времени уйдет на пустяки! Одно утешает: всё это ненадолго, ибо правительство временное, до созыва Учредительного собрания. А там, глядишь, президент появится, как во Франции или Северо-Американских штатах. В том, что в итоге в России возникнет республиканский строй, Александр не сомневался.

Однако ведь над всеми над ними, царями и бунтарями, простыми смертными и избранными, есть высшая сила. Если она попускает нечто не поддающееся человеческому пониманию, значит – слаб разум: не поспевает он за стремительным ходом мысли Творца. Как знать, может быть, весь этот вихрь закручен, чтобы обновить обветшалое: ведь привычное течение жизни привело к самой кровавой, самой разрушительной из всех земных войн, случившейся на ровном месте.

Но могло быть еще страшней, и пистолет в руку Гаврилы Принципа вложил враг рода человеческого. Лукавого тоже нельзя сбрасывать со счетов, и, по мнению многих, он крепнет год от года и постоянно бросает вызовы Всевышнему. Да и власть, как и всё на свете, исходит либо от Бога, либо от сатаны. Третьего не дано. Власть помазанника, несомненно, от Бога, а новая Семибоярщина вполне может быть и от сатаны. И как же тогда ее поддерживать? Как ей присягать?

Так сложилось, что до отъезда в отпуск Крапивников принести присягу не успел и был по-прежнему связан обещанием на верность службы последнему монарху. Он решил не заявлять об этом в Академии Генерального штаба и в дальнейшем, по возможности, уклониться от столь двусмысленного шага. В нынешней суматохе, как он надеялся, никто его манкирования не заметит.

Мысли приходили в голову одна черней другой и сильно отравляли недолгие дни отпуска, когда он оставался наедине с самим собой. Вот почему Александр предпочитал проводить больше времени с сыном, женой и матерью.

Каждый из них по-своему переживал происходящее.

Маленький Ника вырослел на глазах. И хотя отец не делился с ним своими сомнениями, мальчик, словно угадывая его мысли, размышлял о том же. Даже ребенку казались очевидными многие несурезицы:

– Разве у нас уже республика? – спрашивал он у родителя.

– Пока еще нет. Это будет решать Учредительное собрание.

– Почему же тогда везде: на стенах, на заборах, в газетах пишут: «Да здравствует республика!»?

– Это называется выдавать желаемое за действительное. Те, кто ее хотят, считают, что она уже существует.

– Но ведь царя уже нет.

– Пока нет, а не уже нет.

– Он может вернуться?

– Препрежний вряд ли. Но есть цесаревич Алексей.

– Он же еще маленький. Со скольких лет можно царствовать?

– С двадцати одного года.

– Почему же тогда Петра Великого венчали на царство в десять лет?

– В то время существовали другие порядки. Иван Шестой стал царем вообще в два месяца от роду.

– Знаю-знаю. Но не понимаю, почему он шестой. Разве до него правили пять Иванов?

– Поначалу он считался третьим, после первого нашего царя Ивана Васильевича Грозного и своего прадеда, брата Петра Великого. Но потом стали вести счет от Ивана Калиты, внука Александра Невского.

– Но тогда и победитель Наполеона не Александр Первый, а Александр Второй.

Крапивников подивился логике сына: самому ему никогда такое в голову не приходило.

– Знаешь, Ника, напиши-ка ты сочинение на тему «Сколько Александров правило землей русской».

Мальчику задание понравилось, и он тут же принялся за работу.

Вера Сергеевна, понаслышавшись рассказов о поведении мужиков, засобиравлась в родное село, где доживал свой век ее старший брат Георгий Сергеевич. Рассуждала она примерно так: начавшиеся беспорядки непременно приведут к лишению прав на старинные имения, а ей хочется в последний раз побывать там, где прошло детство. Сидеть же на шее у хлебосольного брата ей казалось более естественно, чем у невестки. Да и сыну вполне с руки завести ее туда на обратной дороге из отпуска.

Судьба имения не в меньшей степени волновала и Зинаиду. Ей явно не хотелось становиться иждивенкой мужа и жить на часть его жалования, но она понимала: дело неуклонно идет к конфискации помещичьей земли.

Да, любая революция – это смена не только образа правления, но и образа жизни. Веками повелось: родители трудятся для своих детей, терпят лишения и трудности, чтобы легче жилось потомкам. И ее предки служили не щадя живота своего ради благополучия продолжателей рода. В необъятной России издревле повелось расплачиваться с воинством не золотом, а землей. За ратные заслуги поместья переходили в вотчины и закреплялись навечно за наследниками владельца.

И вот вечности наступил конец. На горизонте маячила новая власть, жаждавшая ограбить всех имущих, надругавшись тем самым над памятью защитников земли русской в добрые давние времена, когда одарить храброго воина считалось долгом и обязанностью государства.

Конечно, то, что скоро учредят народные избранники, считать себя обязанным прежним поколениям, собиравшим по крупицам ту самую землю, хозяевами которой они теперь себя возомнили, не будет.

Поэтому разумно продать имение, пока ты еще там хозяин. Но кто же теперь его купит?

Взять деньги под залог? Едва ли кто-нибудь их даст. Разве что предприимчивый и самоуверенный иностранец.

Нужно посоветоваться с братом Сашей. Агния такая же совладелец, как и они, но она всегда устранилась от ведения дел, полностью полагаясь на сестру. Правда, дельный совет может дать ее муж, ока-

завшийся в таком же положении. И еще больше должен быть сведущ в подобных вопросах его вездесущий брат.

Владимир Николаевич Венёвцев сразу после отречения государя вернулся в родные края, откуда избирался в Государственную думу. Ни на какую должность от Временного правительства он рассчитывать не мог по причине своего крайнего монархизма, поэтому решил положиться на собственный авторитет среди земляков и готовиться к выборам в Учредительное собрание.

Но тут его ждал огорчительный сюрприз: мажоритарная система предполагалась лишь в малонаселенных округах на окраинах, а пройти от его губернии можно было только по партийным спискам. Обзаводиться собственной партией он уже не успевал, а примыкать к существующим представлялось совершенно бесполезным.

Даже Земгор, на плечах которого он въехал пять лет назад в Таврический дворец, становился ненужной организацией. Большинство народа по-прежнему не мыслило жизни без царя, но объединиться этому большинству в какую-либо организацию возбранялось. Неискущенного человека ставили перед выбором одной из политических сил, к деятельности которых он не имел никакого отношения, чьих взглядов не разделял и кому нисколько не симпатизировал. И это называлось самым свободным волеизъявлением не только в истории России, но и в мировой истории в целом!

Узнав, что зятя невестки отправляют служить в финскую глубинку, Венёвцев приободрился.

– Передай сестре, – сказал он ей с самым серьезным видом, – чтобы она научила мужа найти предприимчивых чухонцев, которые купили бы у нас землицы и продали бы ее своей голытьбе малыми наделами. Наш чернозем у них очень ценится. А у бедных финских крестьян кто же его отнять посмеет? Деньжатки же недурно бы там и припрятать: целее будут.

Получив письмо от Агнии Александровны, Зинаида тут же показала его супругу.

– Почитай, Шура, какой наглец!

Крапивников не узнал почерк и удивился такой реплике жены:

– Ты о ком?

– О нашем любезном депутате теперь уж, видно, бывшей Государственной думы.

Александр быстро пробежал глазами строчки, косвенно адресованные ему и, с трудом скрывая брезгливость, вернул листок адресату:

– Совсем никакой совести! – невольно вырвалось у него.

– С его именем делай что хочешь, а наше не вздумай никому предлагать.

Крапивников посмотрел на жену с укоризной: мол, могла бы последнего не говорить:

– Я русской землей с иностранцами не торгую. Не сегодня завтра

эти финны отложатся от России, и нечего им здесь делать на нашем черноземе. Такую почву Бог только нам послал, а они пусть ковыряются в своих болотах.

Письмо Венёвцева долго не выходило из головы у супругов, и они нет-нет да и возвращались к нему.

– До чего же безнравственны так называемые политики! – не унималась Зинаида. – Только о своей выгоде и думают. И умудряются извлечь ее даже из большого горя.

– Не наша это профессия, не русская, – соглашался Александр. – Не было у нас их до недавних времён, да ветры революции в девятьсот пятом занесли. Боюсь, нынешние еще больше таких ловкачей надуют. Говорят, уже целый состав едет из Швейцарии, и хитрые немцы ему не только не препятствуют, а зеленую улицу дают. Значит, уверены, что эти эмигранты будут лить воду на их мельницу.

– Куда же наша новая власть смотрит? Неужели не понимает опасности для самой же себя?

– Сейчас на твой вопрос ответить не смогу, но как вернусь в Питер, задам его сведущим людям.

Прощались супруги с внутренней тревогой. Зинаида боялась за мужа, уезжающего в явную неизвестность, а он, в свою очередь, беспокоился, как бы жена с сыном не оказались беззащитными, если действительно начнется новая пугачевщина.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Неказистый домик, куда сначала въехали Евдокия Васильевна с Гульчицким и домашней работницей (как стало теперь принято называть прислугу) Афимьей, а потом и Угрины, принадлежал одинокому путевому обходчику Семену Васильевичу Викентьеву, умершему в начале зимы. Новую хозяйку в разговорах с немногочисленными соседями выдали за его сестру-наследницу; Льва Станиславовича, обросшего на всякий случай густой бородой, за ее второго мужа, отставного учителя, а Лизе с семьей никакой роли придумывать и не пришлось. Сложность вызывало лишь неопределенное социальное положение Михаила. Признаваться в существовании каких-либо доходов, получаемых не за собственный труд, становилось опасным, а постоянно находящийся дома отец семейства не мог не вызвать подозрений. Первоначальной версией стал отпуск, но когда он явно затянулся, пришлось сетовать на увольнение с должности писаря из-за закрытия присутствия, трудность поисков нового места и одновременно говорить о необходимости мужских рук для обустройства хозяйства. И действительно, работа Михаилу всегда находилась. На словах. Стучащий за их забором молоток чаще бывал в руках у Лизы, а колка дров незадачливым юристом едва не закончилась плачевно: хорошо, что отскочившая острая щепка попала ему в бровь, а не в глаз.

Для Гульчицкого никакой легенды сочинять не стали: к учитель-

ству тогда продолжали относиться с почтением. В общем, благопристойная мещанская семья, восстановившая запущенный огород и обзаведшаяся домашней птицей и мелкой скотиной, постепенно вписалась в местное сообщество и на мысли о своем барском прошлом не наводила.

Жизнь круто изменилась после визита Николая Белова. Тот умудрился узнать, где скрывается шурин, и незвано нагрянул в гости. Цель приезда не скрывал:

– Хватит, Миша, прятаться: пора за дело приниматься.

– Какое же дело возможно в таком хаосе?

– Теперь повсеместно создаются следственные комиссии по выявлению темных делишек бывших чиновников, – полушепотом поведал гость. – В Петрограде в такую даже поэта Александра Блока пригласили. Набирают ее и у нас. Там остро требуются адвокаты.

– Странно: ведь задача адвоката не обвинять, а защищать.

– Для этого и зовут. Чтобы лишних грехов на людей не навешивали.

– Что ж, дело благородное. Надо подумать.

Думал Угрин недолго. Домашние дружно посоветовали соглашаться: глядишь, кого из знакомых выручить удастся. Соседи же, узнав о его назначении, вообразили, будто он теперь один из судей над презренными *буржуйами*, и сильно зауважали.

И всё-таки осмотрительная Варвара Васильевна мужа назад не взяла и наказала сестре не сворачивать хозяйство. Осталась с ними и Лиза, чье интересное положение уже бросалось в глаза.

Узнав, что семья нового сотрудника живет за городом, начальство выделило ему автомобиль с шофером. В будние дни машиной пользовались все члены следственной комиссии по мере надобности, а в неприсутственные она возила Утрина, производя полный фурор в окрестностях.

Однако все отчетливо понимали: долго такая жизнь продолжаться не будет. Во-первых, комиссия носила временный характер (впрочем, временным считалось и всевластное правительство), во-вторых, и за этот недолгий промежуток могло всякое произойти. И хотя местными вожаками самых задиристых партий – эсеров и большевиков – были с виду безобидные учитель и чиновник губернской земской управы, оба потомственные дворяне, от их единомышленников никто ничего хорошего не ждал. Для начала они совершили переворот губернского значения, заставив всё-таки правительство поменять им комиссара, против чего долго возражал даже сам князь Львов. Но его назначенца бойкотировали целый месяц, и премьеру пришлось уступить.

Тогда саботировать решения нового комиссара стали сторонники старого. Результат не замедлил ждать самым чувствительным образом: в городе образовался дефицит хлеба, и пришлось вводить карточки на муку, а для пресечения вывоза зерна и прочего провианта – выставить на границах губернии заградительные отряды из воен-

ных. А тем стоит лишь развязать руки, как они начнут махать ими где надо и где не надо.

В обстановке постоянно противостояния различных партий началась работа следственной комиссии, с первых же дней терпевшей их жгучее желание повлиять на ход расследования. Однако тут и кадеты, и эсеры, и эсдеки сходились в общем мнении: губернатор и его ближайшие сослуживцы несомненно виновны в злоупотреблениях и должны понести наказание. Поэтому их так и не выпускали из-под стражи.

Впрочем, даже самые придирчивые недоброжелатели бывших чиновников не могли найти никаких доказательств нарушений с их стороны действующих законов Российской империи. Не подтвердились и наветы о мздоимстве, казнокрадстве и протекции родственникам при устройстве на службу. Угрину доставляло особое удовольствие отметать все голословные инсинуации и уличать доносчиков и лжесвидетелей.

Сам губернатор оказался совершенно безупречным служакой. Начинал он с земских начальников, трижды избирался уездным предводителем и трижды возглавлял уездную земскую управу, дважды становился почетным мировым судьей. Его честность и исполнительность стала известна в столице, и вскоре после начала Великой войны он получил назначение в тыловой Губернск, где преуспел с организацией санитарного дела. Поводов для уголовного преследования бывшего сановника не обнаружилось. Со злости новая власть выселила его вместе с женой и детьми из занимаемого дома, что большим наказанием для них не стало, поскольку семья имела недвижимость в Москве и дальше жить в Губернске не собиралась.

Отпустили и других начальников рангом пониже, так и не найдя криминала в их деятельности. На этом работа следственной комиссии завершилась. Угрин снова остался не у дел.

Лиза тем временем настолько увлеклась неведомым ей доселе крестьянским трудом, что не хотела даже слышать о переезде в город, где Михаил пытался найти другую работу. Впрочем, ему продолжали платить за службу в следственной комиссии, поскольку расформировывать ее не спешили. Не потому, что надеялись на новые разоблачения: просто многих такая кормушка неплохо поддерживала материально, а порядка в использовании казны наводить никто не собирался. Средства, отпущенные на содержание облыжно обвиненных, достались их обвинителям.

Николай Белов радостно потирал руки:

– Какая замечательная жизнь настала: работать не нужно, а жалование приличное платят! Хорошая вещь – революция!

– И тебе не стыдно? – укорял его шурин.

– А камергеры и статс-дамы не стыдись получать за свои придворные звания, палец о палец не ударяя? Наши звания кандидатов

университета ничуть не хуже: в отличие от каких-нибудь фрейлин и камер-юнкеров мы всё-таки наукам обучались.

Угрин не спорил, зная виртуозную изворотливость собеседника.

Тем временем в Петрограде работала аналогичная Чрезвычайная следственная комиссия для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц гражданского, военного и морского ведомств, которую возглавлял известный адвокат Муравьев. В отличие от Угрина, видевшего своим долгом защиту обвиняемых, он придерживался обвинительного уклона. Следователи опросили более полусотни лиц, включая бывших председателей Совета министров Горемыкина, Коковцова, Штюрмера, Голицына, министра двора Фредерикса, министров внутренних дел Маклакова, Макарова, Хвостова, Протопопова, министров юстиции Щегловитова и Добровольского, военных министров Шуваева и Беляева, министра земледелия Наумова, министра иностранных дел Покровского и даже фрейлину Вырубову. С особым тщанием и усердием искали опытные сотрудники судебного ведомства злоупотребления отставных сановников. Однако, несмотря на все старания, ничего предосудительного в действиях обвиняемых найти им не удалось. Не подтвердились и подозрения в отношении царствующих особ – Николая и его супруги.

Единственной жертвой комиссии стал генерал Сухомлинов, арестованный еще год назад. На бывшего военного министра повесили обвинения в измене, бездействии в годы войны, коррупции и еще нескольких грехах. Приговором стала бессрочная каторга, замененная заключением в Петропавловскую крепость*. Впрочем, Сухомлинова судили бы и без всякой революции, поскольку еще царь Николай уготовил ему роль козла отпущения.

Был ли генерал Сухомлинов действительно изменником? Конечно, нет. Не замеченный после участия в русско-турецкой кампании 1877-78 годов ни в каких баталиях, он занимался исключительно военной теорией: писал учебники и исторические исследования, преподавал. Затем командовал дивизией, военным округом, а в бурном революционном девятьсот пятом стал киевским генерал-губернатором. Спустя три года принял начало над Генеральным штабом и буквально через сто дней получил портфель военного министра. Именно при нем появилась военная контрразведка. Неудачи первых месяцев начавшейся летом четырнадцатого года войны списали на плохо организованное им вооружение войск, уволили с должности, а затем и вовсе из армии и вскоре арестовали. Полгода продержали в Петропавловской крепости, а потом отправили под домашний арест до конца следствия. Тогда ещё никто не знал, кто и как будет его завершать.

Почему ему инкриминировали измену, сказать трудно. Видимо,

* Откуда меньше, чем через год, он был освобожден как достигший семидесятилетнего возраста. Умер генерал своей смертью в эмиграции в Берлине в 1926 году. (А.К.)

пытались придать делу предельно громкое звучание. Изменником называла его уличная толпа, а с ее мнением считались тогда и следователи, и судьи. Зиждилось оно на непоколебимой вере в значительное превосходство русской армии над неприятелем, нивелировать которое можно только умышленными подрывными действиями изнутри. Раз проигрываем, значит где-то угнездилась измена. Искали ее даже в Зимнем дворце, намекая на немецкое происхождение императрицы. Выведает, мол, какую-нибудь военную тайну у мужа и тут же своему брату Вильгельму по телефону сообщает. Только братом он ей приходился не родным, а двоюродным (их матери – родные сестры), никакого прямого телефонного провода из будуара Александры Федоровны в Берлин не существовало (лишь очень богатое воображение могло себе его представить), да и не помышляла она предавать свою вторую родину, где провела половину жизни. Однако в народе считалась немкой-изменщицей, помогающей врагу победить Россию.

Толпа была бы рада усадить на скамью подсудимых и царицу, но ни в отношении ее, ни в отношении августейшего супруга ничего предосудительного, говорящего о предании национальных интересов, не выявилось. Более того, ни в Губернске, ни в масштабах всей огромной империи должностных лиц, злоупотреблявших властью, нарушивших законы и бравших взятки ни одной из следственных комиссий обнаружить не удалось.

Эпоха честных министров и чиновников уходила в прошлое. Надвигалась нескончаемая эра мздоимства и казнокрадства, место которой в истории и призвана была расчистить спонтанная революция.

Поэтому, почувствовав, что со служилыми людьми по одиночке ей не справиться, новая власть начала упразднять прежние институты управления, на которых и держалось государство.

Первой разгромили полицию. Функции уволенных скопом уездных исправников возложили на глав уездных земских управ, ставших комиссарами Временного правительства. Словечко из лексикона Великой французской революции намекало на зыбкость положения всего благородного сословия. Саму полицию заменили милицией, пафосно названной народной. Народец туда набрали знатный! Некоторые милицией объявляли себя сами и, сбившись в банды, грабили доверчивых граждан.

Заодно распустили охранные отделения и Отдельный корпус жандармов. Следом ликвидировали и сам Департамент полиции, а его сыскные отделения передали в министерство юстиции, где главенствовал быстро набирающий силу и политический вес единственный министр-социалист Керенский.

Милицейских начальников поручили выбирать земским управам. Быстро смекнув, каким бедствием может обернуться превращение в милиционеров всякого сброда, комиссарам позволили набирать в милицию только что уволенных от службы полицейских и жандар-

мов. Вся эта чехарда порождала полный хаос повсюду, куда революция простерла свою длань. Но оставались и такие благостные местечки, где кадровые полицейские по-прежнему наводили не революционный, а законный порядок.

Новшества затронули и судебную систему. В числе сметенных волной народовластия оказались военно-полевые суды, особые гражданские суды, верховный уголовный и высший дисциплинарный суды Сената, а также его особые присутствия. Мол, раз смертная казнь отменяется, все они теперь лишние.

Уже в марте Временное правительство упразднило вероисповедные и национальные ограничения по всей империи. Польше, и без того потерянной из-за военных неудач, даровали самостоятельное существование. Финнам такого подарка не сделали, хотя и восстановили отобранные ранее некоторые права ее Сейма. Из Закавказья и Средней Азии отозвали губернаторов, а власть передали думским депутатам, избранным от тех мест.

Но тут со всей остротой встал давно наболевший украинский вопрос. В Киеве не ждали назначений из Петрограда и создали свой институт власти – Центральную Раду. Та, с одной стороны, выказывала преданность и поддержку Временному правительству, а с другой, вынашивала план самоопределения, в худшем случае – широкой национально-территориальной автономии. Жить по-старому в Украине никто не хотел. Не только в Киевской, Полтавской, Черниговской, Вольнской и Подольской губерниях, но также в Харьковской, Екатеринославской, Херсонской и Таврической.

Временное правительство подошло к делу сугубо формально и разъяснило Раде ее юридический статус: мол, она просто плод активности общественных сил, а вовсе не представительный, тем более, властный орган, поэтому грош цена всем ее инициативам: в девяти украинских губерниях, как и во всех остальных, надо терпеливо и безропотно ждать Учредительного собрания и не заниматься самодеятельностью.

С точки зрения законности это звучало разумно и при других обстоятельствах могло бы охладить горячие головы, но по стране распозалась разнузданная революция, со всеми ее непредсказуемыми зигзагами. Получив насмешливый отказ, Центральная рада принялась готовить новый шаг, более решительный, чем предыдущий.

Как действия, так и бездействие Временного правительства свидетельствовали не об укреплении государства, а о его неизбежном распаде. Поэтому умные люди начали неспешно уезжать за границу.

Но были и такие, кто, напротив, стремился в Россию, чтобы выудить себе золотую рыбку в мутной воде.

Первым на родину ринулся бойкий на перо публицист Лев Троцкий, бывший председателем Петроградского совета рабочих депутатов во время революции девятьсот пятого года.

Еще в марте он бросился на пароход, шедший из Америки в

Норвегию, чтобы оттуда быстренько перебраться в соседнюю Россию, однако в Канаде его задержали и отправили в лагерь для военнопленных. Потом, конечно, отпустили, но в бурлящую революционную столицу он приехал на месяц позже своих оппонентов по социал-демократическому движению и вынужден был тихо к ним примкнуть, чтобы не остаться совсем не у дел.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Профессиональная интуиция не обманула Александра Крапивникова: хитрые немцы неспроста пропустили через свою территорию состав с русскими эмигрантами. Вернувшиеся с первого дня начали подрывную работу. Они называли себя профессиональными революционерами. Зловещий смысл такого понятия очевиден: люди отдавали всё свое время подготовке к вооруженному восстанию и насильственному захвату власти.

Однако первая их попытка оказалась неудачной, и десять лет назад уцелевшим от уголовного преследования пришлось уносить ноги за границу и готовить там новое выступление. Спокойная сытая жизнь под чужим кровом повлияла благотворно для страны на их планы: теперь в своих теоретических грёзах они рисовали грядущую революция как дело следующих за ними поколений, оправдывая тем самым собственное бездействие.

Наиболее крикливые из них – социал-демократы, прежде проводившие свои съезды практически ежегодно – в 1903, 1905, 1906, 1907 годах, уже десять лет как не собирались, если не считать двух малочисленных конференций. С началом Великой войны они совсем сникли, не понимая, как работать с народными массами, демонстрировавшими патриотические порывы и сплотившимися вокруг батюшки-царя.

Февральские события стали для них громом среди ясного неба. Обиды на судьбу, так зло над ними посмеявшуюся, отдав лавры низвергателей самодержавия тем самым помещикам и буржуа, которых они яростно клеймили, длились недолго. Кабинетные революционеры быстро смекнули, что нерасчетливые победители, посулив власть избираемому всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием Учредительному собранию, дают им верный шанс взять власть ненасилственно, а когда к тому же вышло решение использовать в выборах пропорциональную систему, еще больше приободрились: ведь у них не только была своя партия, но и в названии ее к громкому сочетанию *социал-демократическая* прицепилось такое своевременное словечко: *рабочая*. Ни у кого другого его нет, значит, пролетариат у них в кармане.

Страна, правда, преимущественно аграрная, но обмануть мужиков и баб ничего не стоит: посули им землю господскую – все за тебя проголосуют.

Им бы с такими мыслями тихо сидеть и не высовываться до

выборов, подмечать огрехи правительства и ёрнически его критиковать, но не таков темперамент у профессиональных революционеров.

С девятьсот пятого года полнобилась им идея Советов рабочих депутатов. Казалось бы, причем здесь они, если депутаты должны избираться из заводских пролетариев, нещадно эксплуатируемых капиталистами, а те, чья профессия затевать революции, ни в каких отношениях с хозяевами предприятий не состоят? Но в том и задумывался смысл социал-демократической *рабочей* партии: вы трудитесь у станка, а мы будем вас везде представлять.

Однако к приезду в Петроград группы эмигрантов места в Петросовете уже оказались занятыми – к тому же теми, кто с новой властью сотрудничал, а не собирался ее свергать. Вот ведь незадача! Да и к войне отношение руководителей Совета было амбивалентным: добиваться мира нужно, но и защищаться будем, чтобы враг нас не победил и не вернул прежние порядки. И ведь не скажешь этим формальным единомышленникам, что враг всю ширь земли русской завоевывать не собирается: ему хватит и того, что уже захватил, а немалые деньги дает он для выхода России из войны, чего в душе желает и сам народ.

На занятиях в академии Генерального штаба Крапивникову с другими слушателями объясняли, как препятствовать проникновению немецких шпионов и как их выявлять, а тем временем группа таких шпионов открыто действовала у них под носом, выступала перед полками, издавала газеты. Ее лидер провозгласил десять тезисов, начинавшихся как раз с призыва к окончанию войны. Он решительно отказывал в поддержке Временному правительству и призывал к новой революции, уже социалистической, в ходе которой вся власть перейдет к Советам рабочих и батрацких депутатов, при этом бюрократический аппарат должен уступить место выборным и периодически сменяемым чиновникам, а армию и полицию следует упразднить, вооружив одновременно весь народ. Землю у помещиков безусловно отобрать, все банки слить в единый, подчиняющийся советам рабочих депутатов. Они же должны контролировать производство и распределение продуктов. Заодно партию большевиков надо переименовать из социал-демократической в коммунистическую и создать такой же коммунистический интернационал с участием единомышленников за границей.

Последнее предлагалось неспроста. Народу внушалось, что государственные границы скоро не будут иметь никакого значения, коль скоро власть везде перейдет к коммунистам. Поэтому не надо жалеть потери западных губерний, где тоже образуются Советы, свергнут своих эксплуататоров, и во всём мире рано или поздно наступит всеобщее равенство и благоденствие.

Понятно, что все эти интеллигенты третьего сорта, избравшие своим основным ремеслом революцию, о рабочих и крестьянах думали постольку поскольку: они мечтали, прикрываясь полученными от

народа мандатами, безраздельно господствовать в богатой стране, оставшейся без законной власти. И раз главное желание народных масс – закончить войну, начать надо с мирного соглашения с Германией и Австро-Венгрией на любых условиях, даже отдав им уступленные на поле боя территории.

Однако Финляндия, в один из концов которой Крапивникову предстояло отправиться по окончании учебы в академии, цепко оставалась в границах Российской империи. Город Николайстад, названный так после смерти императора Николая Первого, лежал в семистах с лишним вёрстах от Петрограда, на берегу Ботнического залива, сопоставимого по размеру с самим Балтийским морем. Население по национальности было разнородным – финско-шведским, но по симпатиям преимущественно прогерманским. Этим и пользовался неприятель, посылая через удобную ему морскую калитку своих лазутчиков, чему формально нейтральная, но явно симпатизировавшая центральным державам Швеция нисколько не препятствовала.

Перед отъездом Александр зашел проститься с дядюшкой Петром Сергеевичем, жившем на Сергиевской улице, рядом с Таврическим садом. Крестник государя императора Николая Павловича встретил его странным заявлением:

– Спасибо, что хоть ты меня сегодня с юбилеем поздравить пришел.

Гость собрался было извиниться, что явился без приличествующего событию подарка (снесь, прихваченная им, тут явно не в счет), но, пока подбирал нужные слова, стремительно вспоминал день и год рождения Петра Сергеевича. День, впрочем, он вообще не знал, но, сопоставив его возраст с возрастом матери, бывшей на четыре года моложе, усомнился в услышанном:

– Шутить изволите, ваше превосходительство?

– Никак нет, ваше высокоблагородие, – в тон ответил дядюшка. – Мне сегодня ровно две трети века. – И после паузы добавил: – Если полвека считается юбилеем и три четверти тоже, чем же не юбилей две трети?

– Воистину. Вполне достойная дата, – согласился Крапивников. – Почему только цари ее не отмечают?

– Так ведь никто из них до нее не дожил. Разве что вторая Екатерина. Но она немка, русских традиций не ведала, – продолжил ёрничать Тикоцкий. – Она и пятидесятилетие свое не отмечала. Понятно по какой причине.

– По какой же?

– Сугубо интимной. Женщина! Меняла молодых любовников как перчатки. Как тут признаешься, что тебе уже шестой десяток пойдет!

– ...А ведь если вдуматься, – продолжил уже за праздничной трапезой юбиляр, – смысл в сегодняшней дате немалый. Ведь у всего

есть начало, середина и конец. Три части. И век надо делить на три, а не на два и не на четыре. В первую треть человек должен раскрыться, показать, кто он есть. Сколько было Христу, когда он воскрес? Тридцать три и три в периоде, то есть ровно треть века. И это очень символично, хотя и не всеми понято. К концу второй трети нужно успеть выполнить свое земное предназначение. Сколько было моему небесному покровителю, когда его распяли? С точностью до дня не указано нигде, но я уверен, что столько, сколько сегодня мне. И другой великий апостол Андрей Первозванный, до Руси дошедший, прожил тот же срок. Их же не просто так по людской воле казнили – их же сам Господь призвал. И именно в таком возрасте, подчеркнув тем самым вторую границу человеческой активности. Ну а третья треть – это конец жизни. Она чаще всего оказывается неполной даже у самого древнего старца. Всё потому, что нет у нее своей задачи, а бессмысленное существование обременительно для души. Возьми того же графа Толстого. Поначалу он продолжал прежнее занятие – сочинительство. «Воскресение» написал, «Хаджи-Мурата». Но вскоре понял, что иссяк. Потому и ушел. Не от семьи, а от себя, от своей ненужности. Ну а чтоб кто-то жил больше трех третей, то есть за сто, я и не знаю. Их, похоже, и не бывало.

– Говорят, на Кавказе даже дольше живут, – попытался возразить Александр.

– Врут. Вернее, точной даты рождения, по дикости своей, не знают.

У гостя невольно сорвался с языка не очень тактичный, но вполне естественный вопрос:

– Дядя Пьер, а вы и для себя этот возраст определили как рубежный?

Петр Сергеевич заулыбался:

– Казенную службу, как ты знаешь, я оставил давно. Но баклуши с тех пор не бил и трудился над записками. О том о сём, о своей жизни, об истории, о встреченных интересных людях, коих повидал немало. Теперь же и этой миссии моей конец.

– Отчего же? Сейчас столько интересных событий!

– Событие сейчас одно: падение в бездну. Описывать его противно и бесполезно: прочтут и поймут лишь через долгие века.

– Посмотрите, какое веселье за окном. Второй месяц словно какой-то непрерывный праздник.

– Дурак, когда летит в пропасть, всегда радуется. Он чувствует легкость, он не ощущает земного притяжения, он совершает невообразимые пируэты, он парит. Но конец всегда один. Вот и те, кто сегодня ликуют, не понимают, куда свалились.

– Не слишком ли вы пессимистичны?

– Нет, мой мальчик. Подорвать основы государства – то же, что подточить корни деревьев. Ни один самый мощный ствол не устоит: первый же порыв ветра кинет его оземь. Пока тут временный штиль,

но скоро подует, и очень сильно. Тебе повезло: ты едешь в Финляндию, подальше от грядущих бурь. Мой тебе совет: возьми с собой Зину и Нику. Когда тут всё обрушится, вам легче будет перебраться в безопасное место. Из твоего Николайстада до шведских берегов рукой подать. Туда и направляйся. Бабка ведь твоя шведкой была, глядишь, и родственники какие отыщутся.

Никак не ожидал Крапивников, что их беседа примет такой оборот. Перспектива же эмиграции ничем его не прельщала.

– Если все мы разбежимся, кто же будет Россию защищать?

– Ее защищать уже поздно и бесполезно. Она уже погибла. Погибла бесповоротно.

Александр в последнее время слышался разных пророчеств, но все были неутешительны и голословны, поэтому у него уже выработалась на них определённая реакция:

– Вы уж, пожалуйста, поясните свой вывод: очень уж страшен.

Петр Сергеевич, ничуть не смутившись, продолжил:

– Государство, где уличная толпа влияет на власть, такая же бессмыслица, как и семья, где маленькие ребятишки командуют родителями. Кому в детстве гнёт старших не казался обидным и несправедливым! Но терпели всё: и несправедливость, и отцовский ремень, и оставление без сладкого, и стояние в углу. Так и государство. Оно должно, с одной стороны, заботиться о несмышленных всех возрастов, с другой стороны, держать их в остратке и время от времени наказывать за плохое поведение. По мне, все эти нынешние советы надо распустить, а их вожakov выпороть хорошенько. Но порке, напротив, они теперь всех подвергают. Царя, который всё им уступил, арестовали. А заодно и семью его, барышень и отрока. И всё это после их заявлений, что ни на что больше не претендуют и собираются доживать свой век в собственных имениях. И по части собственности полный произвол. Всё у всех собираются отбирать. А ведь государство для того и задумано, чтобы помогать людям охранять их добро от лихих молодцев. Если ты нанял сторожа, а он сам всё разворовал – какой же он сторож! Если государство не в силах защитить имущество частных лиц – какое же это государство! Прости, что говорю банальности, но отчего-то о них все разом предпочли забыть. Власть должна опираться на законы, а у нынешней опоры нет никакой.

Тикоцкий перевел дух, чем мгновенно воспользовался племянник:

– Положим, Временное правительство на трех китах стоит: манифест одного Романова, манифест другого и решение Государственной думы.

– Это всё пустые слова, мой мальчик. Я за эти дни оба акта, которые ты напрасно называешь манифестами, наизусть выучил и ничего о легитимности конкретного нынешнего правительства там не нашел. Николай в своем акте об отречении его вообще не указал, а Михаил о его природе лукаво написал, что оно возникло по почину Государственной думы и обладает всей полнотой власти. И где же

Государственный совет – наша верхняя палата? И где решение самой Государственной думы? За него на общих занятиях кто-нибудь голо-совал? Спроси у деверя своей свояченицы. Он подтвердит, что список этот составлялся на подоконнике одного из коридоров Таврического дворца. Сама же Дума с тех пор вообще на свои занятия не собирается. Почему? Даже государь объявил в них перерыв только до Пасхи, а уже и жёны-мироносицы позади.

– Но, дядя Пьер, правительство всего лишь временное. До созы-ва Учредительного собрания.

— Ты хорошо видишь, как оно созывается? До сих пор никто палец о палец не ударил, чтобы начались выборы. Забавное положение: мы единственная власть до тех пор, пока сами себя не упраздним. Подожди, там еще скоро отставки и замены начнутся, но при этом наверняка ни Николая, ни Михаила, ни думцев спрашивать не станут. Вся эта затея – полная авантюра, и поддерживается она завзя-тыми авантюристам. Ишь, сколько их из-за границы набежало! Каждый день в газетах сообщают о новых и новых. И каждый на пло-щадь орать перед народом спешит, мандат в Учредительное собрание себе накрикивать.

– Нет, дядя Пьер, я точно знаю, что о выборах думают постоянно. Даже как их в армии проводить.

– Думают, но мало что делают. За полтора месяца могли бы и все решения принять, и дату назначить. Но до сих пор ничего не ясно. А всё потому, что нет больше государства. Страна есть, а государства в ней нет. Когда приедешь в Финляндию, настоящую, глубинную, на Выборг твой мало похожую, сравни: там оно наверняка осталось. Но не наше – свое. Финны – народ упрямый. Увидишь: скоро они от нас отложатся: парламент у них свой есть, правительство тоже, есть собственная армия, полиция, суды и даже валюта. С царем они еще считались, а с этими временными не будут. Потом их примеру и дру-гие последуют. И скукожится империя до Московского государства, избравшего на горе себе триста лет назад в государи хундордных Романовых.

– Чем же они вам не угодили? – удивился Крапивников.

– Тем, что подвели дарованное им государство к пропасти, а теперь сами его туда и столкнули. Я же сказал, что наизусть выучил последние плоды творчества августейших братьев. Не глупцы же! Чему-то их учили. Значит, осознанно в бездну нас свалили. Ладно б только этот хлыщ молодой. Ему что: подхватил свою плебейку с отпрыском и был таков. Но тот, на кого весь народ двадцать с лишним лет молился, семьянин как-никак. О детях хотя бы подумал. Сегодня их всех под арестом держат, а завтра толпе на растерзание отдадут.

– Ну это вы уж слишком! – невольно вырвалось у Александра. – Нынешней власти дорога демократическая репутация. Единственное, пожалуй, что у нее есть. Она на такое не пойдет.

– Сегодняшние чистоплюи, может быть, и не пойдут. Только их

самых скоро следом за Романовыми отправят. Завертелась карусель – не остановишь. Вспомни Францию. Здесь тоже собственные якобинцы объявятся.

– Если уж такую параллель проводить – то ненадолго.

– Надолго и не надо. Свои же потом, как водится, и их сожрут. Но сначала они море крови прольют. Потом явится новый Бонапарт. По-другому, мой мальчик, не бывает. Поэтому вызывай-ка жену с сыном и готовься измерить ширину Ботнического залива.

С тяжелыми думами ушел в тот день Крапивников от любимого дяди, предчувствуя, что видится с ним в последний раз.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Недобрый прогноз действительного статского советника Тикоцкого сбылся буквально на следующий день.

В конце апреля лидер конституционных демократов Павел Николаевич Милюков, занимавший во Временном правительстве второй по значению пост министра иностранных дел, но считавший себя вправе проводить самостоятельную политику, не согласованную с другими коллегами и даже своим номинальным начальником князем Львовым, пошел на непродуманный шаг.

В заявлении месячной давности правительство весьма двусмысленно высказалось о дальнейшем участии России в войне. С одной стороны, оно заверило союзников в выполнении всех обязательств прежней власти, с другой стороны, повторило риторику наседавших на него советских относительно неприемлемости аннексий, самоопределении народов и прочее. Лидеры стран Антанты, собиравшие раздвинуть свои границы после победы над центральными державами, заволновались, подозревая, что крен влево продолжится. Тут Милюков и решил направить им ноту с разъяснениями за своей собственной подписью.

Министр иностранных дел успокоил союзников, что в освобожденной России царит всенародное стремление довести мировую войну до решительной победы и соблюдать свой долг перед ними в полном объеме. Более того, она именно теперь заговорит понятным для передовых демократий языком, что было невозможно при самодержавии.

На Западе такие слова, безусловно, понравились, но в самой стране они вызвали взрыв негодования. Как, мол, так: народ не хочет воевать, а его толкают в окопы. Главные враги мгновенно перешли на личность, а партии-конкуренты, не представленные в правительстве, тут же подняли вопрос о коалиции.

Ни для кого не являлась секретом ведущая роль в революции конституционных демократов и главенствующее положение в ней незадачливого министра, поэтому требование его отставки означало направление в новое русло и без того бурного политического потока.

Да и какая могла быть отставка из органа, никому не подчиняв-

шегося и созданного лишь на короткое время для восполнения пустующей властной ниши после отречения одного монарха и отказа от возложенного на него бремени второго? Сей необычный институт правления никак не предполагал каких-либо изменений персонально-го состава.

И тем не менее отставка случилась. И не одна, а сразу две. Первым подал в нее не Милюков, а не менее значительный персонаж российской политической драмы – Александр Иванович Гучков. Тот самый, который принимал в Пскове отречение Николая Второго.

Его-то к тому никто не побуждал: решение принял сам. Однако не секрет, что поводом стало нежелание публиковать «Декларацию прав солдата», вбивавшую последний гвоздь в крышку гроба русской армии. «Я по совести не могу далее нести обязанности военного и морского министра и разделять ответственность за тот тяжкий грех, который творится в отношении родины», – написал он в сердцах в заявлении на имя князя Львова. Нетрудно представить, как смеялись оппоненты, особенно большевики, читая упоминание о совести.

Через три дня следом за Гучковым отправился и Милюков. Его к тому фактически принудили коллеги по кабинету. О чем они в этот момент думали? О России? О себе? Ответить невозможно, ибо рационального объяснения попросту нет, хотя досужих вымыслов высказано и написано немало.

Скала, махина, монолит, каковыми поначалу казалось Временное правительство – этот коллективный самодержец, имевший власти больше, чем у императора даже до 1905 года, – дрогнуло под напором той же уличной толпы, что собиралась и в конце февраля. А ведь апрельские выступления лишь пародировали революцию и больше смахивали на шантаж. Разве сопоставимы лозунги «Долой самодержавие!» и «Долой Милюкова!»? Людей просто использовали для раздувания бессовестной политической интриги.

Все тут оказались хороши: и лицемер Львов, предлагавший объекту нападок сменить портфель на министра народного просвещения, и клоун Керенский, призывавший всех разом подать в отставку, а затем собрать правительство заново, но уже на партийной основе, да и сам Милюков, поддавшийся собственному капризу, затмившему чувство ответственности перед страной. Народ невольно вспомнил, как царь Николай тоже уступал общественному мнению и менял министров, поэтому ничего особенного в том не усмотрел.

А вот Михаил Угрин испытал настоящий шок. С уходом Милюкова, его давнего кумира, для него разом рухнуло стройное, на первый взгляд, здание русской демократии. С председательством князя Львова он мирился как с компромиссным анахронизмом, но лидер партии кадетов, по его убеждению, должен был постепенно стать персональной номер один. Кому же еще им быть?! Вытеснение его из правительства выглядело в глазах Михаила ни больше ни меньше, как третье отречение за два месяца. И куда можно прийти такими темпами?

Еще больше пугала нарастающая мощь эсеров. Все помнили их безрассудные бомбометания. Разве ж это политическая партия? Это банда разбойников. Но ее внешне благопристойная надстройка пользуется огромной популярностью даже среди интеллигенции. Что до простого люда, то он просто без ума от этих социалистов-революционеров. Исхитрились же название себе такое придумать: и социалисты, и революционеры! Тогда как их главные оппоненты всего лишь социал-демократы. Социалисты вроде бы и те и другие, но революционером сегодня куда как выгоднее слыть, чем демократом.

Теперь же, после отставок Гучкова и Милюкова, набравшиеся наглости левые потребовали себе половину мест в правительстве (вот почему тем никак нельзя было уходить). Их ловко обхитрили: шесть портфелей дали, но из пятнадцати, а не двенадцати, как раньше, создав новые министерства. Так и шесть вместо одного – огромная удача! Включили даже социал-демократов, добавив для них кресла министров труда и почт и телеграфов. Должности пустяшные, но они и тому рады.

Если освободившийся от Милюкова пост главы дипломатического ведомства занял беспартийный и беспринципный Терещенко, до этого бесславно руководивший государственными финансами, то Гучкова в качестве военного и морского министра сменил излишне энергичный Керенский, что многим поначалу показалось добрым знаком. Он быстро добился смены Верховного командующего, проведя на эту должность, вместо бывшего царского начальника штаба Алексеева, генерала от кавалерии Брусилова, руководителя знаменитого прорыва на Юго-Западном фронте летом шестнадцатого года.

Тот в романтическом порыве стал формировать ударные революционные батальоны из волонтеров, готовя их к новым подвигам во время предстоящего наступления. Однако настроения в армии за год сильно изменились: июньская кампания с треском проваливается. Единственным успехом стало взятие города Станиславова 8-й Армией генерал-лейтенанта Корнилова, который за это повышен в чине до генерала от инфантерии и назначен командующим Юго-Западным фронтом, а спустя всего двенадцать дней – и Верховным главнокомандующим взамен утратившего доверие Брусилова.

Лавр Корнилов на деле не так прост, как выглядит. Он ставит жесткие условия: больше правительство вмешиваться в назначения на высшие командные должности не может; армия есть армия, где главный принцип – единоначалие. Ни с какими солдатскими комитетами взаимодействовать он не собирается.

Утрину новая военная политика вышла боком.

– Медя, мы вынуждены расстаться, – упавшим голосом объявил он жене страшную новость.

– Нашел другую? — невольно вырвалось у Лизы.

– Хуже. Меня забирают в армию.

Вот и вышло, что при проклятом самодержавии единственного сына, тем более – кормильца семьи, служить не призывали, а теперь пошли в ход и ратники второго разряда. Формально они подлежали мобилизации вскоре после Великого отступления, еще по царскому указу. Но на деле это коснулось не всех. Теперь же народная власть, проповедующая на каждом шагу всеобщее равенство, решила и здесь проявить свою демократичность.

И всё же месяц на сборы Угрину дали.

Провал июньского наступления вызвал второй правительственный кризис. Но не менее веской его причиной стал украинский вопрос.

В конце июня в Киев отправилась довольно странная делегация Временного правительства. В нее вошли военный и морской министр Керенский, министр иностранных дел Терещенко и министр почт и телеграфов Церетели. Немаловажен и партийный состав приехавших: эсер, беспартийный и социал-демократ, хотя перевес в кабинете оставался у правых.

К тому времени Центральная Рада приняла свой первый универсал, провозглашавший автономию Украины в составе России, и создала собственное правительство – Генеральный секретариат, состоявший наполовину из писателей и публицистов. С ним и пришлось вести переговоры посланцам из Петрограда. В ходе переговоров обе стороны проявили уступчивость, подписали соглашение, после чего тут же Центральная рада издала второй универсал, более мягкий, чем предыдущий, в отношении автономии: вопрос откладывался до созыва общероссийского Учредительного собрания.

Однако в столице итоги поездки восприняли очень болезненно. Казалось бы, радоваться надо достигнутому компромиссу. Но министры-кадеты Шингарёв и князь Шаховской в знак протеста ушли в отставку. Следом за ними через пять дней покинул свой пост и сам председатель, а по совместительству и министр внутренних дел, князь Львов. И какая же легитимность после этого осталась у «коллективно-самодержца»?

При создании Временного правительства полномочий по изменению своего состава ему никто не делегировал: ни Николай, ни Михаил, ни Государственная дума, ни ее Временный комитет. О возможности замены главы – фактического первого лица государства – вообще не шло речи.

Спустя год бывший управляющий делами Временного правительства и многолетний профессор правоведения Владимир Дмитриевич Набоков признает, что *единственным актом*, определявшим объем власти Временного правительства, был подписанный Великим князем Михаилом Александровичем акт об отказе от престола. Но и там ни слова не говорилось о возможности изменения персонального состава. Коллективный глава государства, аналогичный Семибоярщине времен Смуты, рассматривался как неразруши-

мый мостик между самодержцем и Учредительным собранием, ради созыва которого этот орган и создавался в первую очередь, а уж во вторую – для нужд гражданского управления в переходный период.

И вот правительство перелицовывается в третий раз за четыре месяца. От начального кабинета остаются лишь трое: Керенский, Некрасов, Терещенко.

Можно спорить о первом председателе: государь его назначил или думцы. Правда, спор этот ничего не дает.

О втором председателе какие могут быть споры?! – Его никто не назначал!

Вот что писал в те дни в самом популярном и тиражном русском иллюстрированном журнале «Нива» профессор Константин Николаевич Соколов, крупнейший специалист в области государственного права:

«Когда из состава Временного правительства ушли военный министр Гучков и министр иностранных дел Милюков, многие утверждали, что такими частичными отставками министров подрывается в корне самая идея революционной власти. Говорили, что раз революционное движение поставило во главе России определенную группу лиц, то группа эта должна во что бы то ни стало донести до Учредительного Собрания доверенную ей полноту власти. Предсказывали, что, если это начало не будет соблюдено, то министерские кризисы будут у нас следовать за министерскими кризисами, и в революционной России повторится та самая ‘министерская чехарда’, которая ознаменовала собой последние годы старого режима.

К сожалению, этому предсказанию суждено было осуществиться. С начала революции не прошло еще и пяти месяцев, а у власти успело смениться четыре состава Временного правительства, и ни у кого нет настоящей уверенности, что большие перемен не будет, и что с Временным правительством четвертого состава мы действительно доживем до Учредительного Собрания. Как будто и в самом деле революционная власть оторвалась от своей первоосновы, и ей угрожает величайшая опасность – повиснуть в воздухе.

Первое Временное правительство было, как всем памятно, назначено Временным комитетом Государственной Думы по соглашению с Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов. В нем были представлены различные думские фракции, начиная от трудовиков в лице А.Ф. Керенского, и до группы центра в лице В.Н. Львова. Второе Временное правительство, называемое коалиционным, включило в свои ряды официальных делегатов партий с.-д. и с.-р. Образование его было подготовлено и одобрено теми же двумя революционными установлениями – Временным Комитетом Думы и Петроградским Советом. Третье Временное правительство, торжественно признанное Правительством Спасения Революции, было наименее долговечно. Оно сформировалось путем некоторого внут-

ренного переустройства и приглашения на министерские посты представителей молодой и мало влиятельной радикально-демократической партии. Временный Комитет Думы вовсе не участвовал в его составлении. Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих и солдатских депутатов санкционировал его, когда оно уже стало совершившимся фактом. Четвертое Временное правительство фактически образовано лично А.Ф. Керенским: министры, думский комитет, Центральный комитет Советов и политические партии единодушно предоставили министру-председателю неограниченные полномочия и полную свободу в деле обновления власти».

Послушать почтенного профессора, получается, что даже первое правительство составлялось с участием Петросовета. Но это явно не так, ибо тогда одним Керенским дело бы не ограничилось. Второе якобы тоже готовили Временный комитет Государственной думы с советскими. Но так ли значительна была роль Временного комитета? Что касается дальнейших перемен, то автор сам признает их хаотический характер: сначала «некоторое внутреннее переустройство» (ничего себе эвфемизм, означающий смену главы государства!) без участия Временного думского комитета, а потом и вовсе полный провозглашение господина Керенского, которому, видите ли, все дружно предоставили полную свободу действий.

Красивая игра в легитимность, начатая Великим князем Михаилом Александровичем и продолженная Правительствующим Сенатом, завершилась банальным беззаконием и полным разрывом юридически обоснованной цепочки преемственности: Николай – Михаил – Львов и десять министров – Учредительное собрание.

Именно так воспринимал Михаил Угрин творимую на его глазах историю. И какую же неприглядную роль сыграл здесь человек, с которым и он, и другие связывали надежды как со спасителем России еще при самодержавии!

Против князя Львова не устраивали демонстраций, его не травילה пресса, ему не затыкали рот на выступлениях. Он так же дезертировал с капитанского мостика, как до него оба Романовы. Опытный земец и природный Рюрикович ничем себя не проявил за четыре месяца у руля государства и бесславно ушел с политической арены, даже не произнеся прощального монолога. Наряду с Родзянко, Гучковым и Милюковым он оказался совершенно несостоятельным перед лицом практических задач, диктуемых новой эпохой. Эта четверка, на поверку, могла только раскачивать лодку, но не методично грести.

Отставка князя Львова подействовала на Михаила Угрину не менее удручающе, чем отставка его кумира Милюкова. Он достал и перечитал ту знаменитую, ту замечательную речь, которую тогдашний лидер Земгора произнес всего немногим более полугода назад. Как-то несколько месяцев, но Угрину они показались вечностью. Как суро-

во бичевал князь тогдашнее правительство, обвиняя его в розни с обществом, в уклонении от руководства страной. И вот руль доверили ему. Каков же результат? Всё тот же: с обществом правительство по-прежнему не в ладах и державой должным образом не управляет.

Один из ближайших соратников, участвовавший во всех заседаниях правительства, вскоре скажет о бывшем министре-председателе: он сидел на козлах, но даже не пробовал собрать вожжи, он не умел использовать тот нравственный авторитет, с которым пришел к власти; тоном власть имеющего говорил во Временном правительстве не он, а Керенский.

В итоге на вершине власти оказался именно этот популист, чья неуёмная энергия создавала иллюзию достойного вождя. Александр Федорович Керенский, скандальный адвокат, крикливый думец, с трудом удержавший свой мандат, призывавший с трибуны в Таврическом дворце к террору против властей, в итоге взял всех своей глоткой. Никто его не избирал, никто не назначал во главе Российского государства. Власть он фактически узурпировал.

Парадокс Керенского заключался в том, что, будучи лидером по своему темпераменту, он никогда не возглавлял никакие партии. Да и не стремился в них. К социалистам-революционерам присоединился уже будучи членом Временного правительства, понимая: дело идет к выборам в Учредительное собрание и надо обеспечить себе выигрышное место в партийной списке.

Нет ни одного внятного, юридически обоснованного объяснения, как он занял должность министра-председателя. Однако с его самозванством молниеносно согласились как коллеги по кабинету, так и по-прежнему влиятельный Петросовет, избравший его одним из товарищей председателя.

С управленческой точки зрения смена главы Временного правительства большого вреда не нанесла, ибо кто бы этот пост ни занимал, никакой сакральностью он не обладал. Но с точки зрения законности такая ротация ставила под сомнение легитимность всех последующих шагов на пути укрепления государства.

«Эх, будь Великий князь Михаил Александрович другим человеком, мог бы еще один манифест издать, – думал про себя Михаил Угрин. – Мол, Временное правительство не справилось за четыре месяца с задачей проведения Учредительного собрания, фактически распалось, посему назначаю специальный комитет по выборам и поручаю ему назначить их не позднее, скажем, первого сентября».

Он даже задумался, не стоит ли послать в Гатчину письмо с таким предложением. Или обратиться к Великому князю через прессу.

Решил посоветоваться с друзьями-коллегами. К сожалению, мудрый Щербачёв был теперь далеко. Но оставались в Губернске товарищи по университету Гульчицкий и Чиняков.

Позвал обоих к себе. Те дружно замотали головами.

– Даже не вздумай лезть в политику, – с ходу заявил трусливый

Владимир. – Особенно с такой идеей. Через годы тебе припомнят, и просльвешь ты в республиканской стране сторонником свергнутых Романовых.

– Володя прав, – согласился Чиняков. – Добиться разумом сейчас ничего нельзя: даже князь Львов скис. Настало время авантюристов, таких, как этот Керенский. Лучше в его лице врага не наживать.

Не сказать, чтобы Михаил удивился отказу друзей, но сильно расстроился.

У него были далеко идущие планы заявить тем самым о себе как об инициативной политической фигуре и всё-таки попытаться пристроиться к кадетской партии и попасть в их список на выборах в Учредительное собрание, благо Губернск представлял собой самостоятельный избирательный округ.

Однако он быстро успокоил себя тем, что желание было чисто эгоистическим, и даже хорошо, что рука свыше отвела от него грех гордыни.

Но не покидала и другая мысль: в час тяжких испытаний для отечества каждый разумный человек должен совершить яркий поступок, употребив не зря данные ему знания. Если коллеги не помогли с коллективным выступлением – значит, ему нужно сделать индивидуальное заявление. С редактором «Губернских ведомостей» он был знаком шапочно, но всё же рискнул к нему обратиться.

Тот выслушал терпеливо и очень спокойно сказал:

– Будь я вашим союзником, непременно бы напечатал. Но мне такое мнение представляется крайне ошибочным и даже опасным. Не стану вдаваться в детали, скажу лишь: я против еще одного акта со стороны кого бы то ни было из Романовых. Их время безвозвратно ушло.

Неудача заставила Утрина еще больше углубиться в раздумья. Он взвесил все pro и contra, и в конце концов перевесил самый неприятный аргумент: скоро ему, возможно, идти на позиции, откуда можно и не вернуться. Должен же он оставить хоть какой-то след на земле, а в предложении об ускорении созыва Учредительного собрания нет ничего неблагородного, а в обращении к тому, кто его в свое время предложил, – ничего нелогичного.

И он отправил пространное послание Великому князю. Адрес на конверте написал такой: Гатчина, Михаилу Александровичу Романову. Улицы и номера дома он не знал, но надеялся, что на почте догадаются, кому доставить письмо.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В этот раз Зинаида едва-едва успела в Прут к началу любимого ею сезона благоуханий, как называла она ту весеннюю пору, когда распускается сначала черемуха, потом сирень, а за ней и жасмин. И в самом конце можно еще в лесной глуши насладиться ароматом поздних ландышей. Она даже немного запоздала: черемуха уже цвела

вовсю, а ей больше нравилось следить за самым началом волшебного появления в светло-зеленом пейзаже первых белых мазков, постепенно охватывающих всё большее пространство.

С юных лет, как только проявилось в ней главное человеческое свойство, не присущее другим живым существам, – мечтать, маленькая Зизи связывала его только с этой чудесной порой. Лучше всего мечталось ей, когда обоняние и зрение обласканы самой природой, как никогда щедрой именно в весенние дни.

А о чем мечтать сейчас, когда большая часть жизни позади? Сия печальная истина вошла в ее сознание совсем недавно. Тридцать семь с лишним уже позади. Впереди максимум столько же (возраст больше семидесяти пяти, зная в нем лишь слабеющую тетушку Анну, она и не представляла). Значит, она сейчас в роли Данте, очутившись в сумрачном лесу.

То, что больше Господь детей ей не пошлет, она чувствовала нутром. И не очень о том жалела: ведь в противном случае не отдашь себя всю Нике, а Зинаида твердо решила всецело посвятить свою жизнь сыну, как только определилась его судьба на ближайшее будущее. Жить, верно, придется в городе, причем – столичном. Самой ей хотелось бы в Москве, где училась и где есть родственники, но умом она понимала: муж после войны останется в службе, наверняка в Петрограде, да и Нике там пора бы начать осваиваться.

Следовательно, мечтать теперь надо не о своих желаниях, а о достойной должности для Шуры и хорошей гимназии для сына. Сама она впервые будет зависеть от положения главы семейства, и хорошо бы, чтобы оно не требовало ее постоянного присутствия на людях. Однако она сознавала, что столь любезное ей тихое уединение в Петрограде окажется под очень большим вопросом.

Но до той поры еще жить и жить. Неудачи на фронтах ее не огорчали: быстрее всё закончится. Пусть позорным миром, пусть отпадением западных губерний: лишь бы скорее конец. Наверняка, как она считала, это случится сразу после созыва Учредительного собрания: подстегиваемые избирателями, депутаты не смогут его не форсировать. Но мечты мечтами, а что делать с землёй? От этого болезненно вопроса никуда не уйти.

Ее многолетний садовник, немолодой бобыль Еремей приходился родным братом основному арендатору Щербачёвых – зажиточному крестьянину Степану Володину. Через него Зинаида попробовала прощупать настроения, царившие среди мужиков.

– Прости, барыня, за недобрые вести, но раз хочешь знать правду, скажу так: все ждут, когда землю вашего семейства всему миру на раздел отдадут.

– И кто же ее должен отдать?

– Собрание какое-то учудительное, наподобие Собора, куда все мы ходатаев выбирать будем: и богатые, и бедные, и мужики, и бабы. А там уж – что оно учудит.

И от брата, и от других она знала, что до Учредительного собрания ничего плохого случиться не должно, а его раньше Покрова не соберут. Поэтому время еще есть.

Первой ее посетила обычно лучезарная и восторженная, а теперь очень мрачная и потухшая и, как показалось Зинаиде, не очень ухоженная для своих юных лет Женечка Выхребцева. Она только что окончила институт.

– Расскажи-ка о вашем выпускном акте, – сразу после приветственных поцелуев попросила старшая кузина в надежде немного оживить гостью приятными для нее воспоминаниями.

– А его не было, – поджав губы и покачивая головой, ответила та.

– Как не было?

– Ничего не было: ни акта, ни настоящих экзаменов. А ведь как я к ним готовилась, как готовилась! Мечтала блеснуть на прощание, – Женя сделала паузу, чтобы сдержать слезы. – Просто раздали аттестаты и всех нас выставили. Да еще наказали о своем благородстве поскорее забыть: лучше, мол, называйте себя курсистками, а не институтками.

– В чем же дело? – удивилась Зинаида.

– Всё в том же. Нет больше заступников наших: ни царя, ни Великих князей, ни ведомства учреждений императрицы Марии, и институт остался сам по себе. Дальше он работать не сможет. С тем, что я успела окончить его в самый последний момент, мне, конечно, повезло. Но так горько, так горько, что... – тут Женечка расплакалась и не договорила, а когда немного успокоилась, добавила: – Словно церковно-приходскую школу в селе покидали.

Капитанша совсем не готовилась к таким известиям и не знала, чем утешить кузину. А та вытерла слезы и продолжала:

– Для кого всё это? Я еще не видела ни одного, кто бы радовался этой революции. Даже наши крестьяне ходят хмурые, глаза при встрече отводят и никакой свободой не восторгаются.

Зинаида и сама замечала неприятные перемены в поведении окружающих. В глазах читалась постоянная озабоченность, а в словах сквозила полная неуверенность в завтрашнем дне. Людям свойственно свыкаться со своим жизненным укладом, каким бы он ни был, и любые его изменения их сильно тревожат.

– Ты совсем взрослая стала, – с улыбкой сказала она. – Не просто аттестат получила, но и примечать многое стала, рассуждать, как опытный человек. Не грусти: рано или поздно всё образуется, а у тебя теперь впереди самостоятельная жизнь.

– О ней я и мечтала. Но не о такой, где вокруг вражда и ненависть. Наши мужики да и бабы такие обидные вещи говорят. Припоминают покойному папеньке его строгость. А как же без строгости со злоумышленниками обходиться? И от брата старшего давно никаких известий. Хорошо, если в плен угодил, но мог и погибнуть, – и Женя снова разрыдалась.

– Да, если с Костей что случилось – это действительно горе. Но

будем думать о лучшем. Что до настроений других людей – старайся их не замечать.

– Ну, знаете, Зиночка: либо я, как вы отметили, уже взрослая, и тогда не замечать не получится, либо мне надо кукол себе закупить и с детьми в них играть. Просто я не только взрослая, но и несчастливая: Господь меня рано осиротил, красой особой и статью не наделил, а теперь и все мечты разрушены.

Честно говоря, капитанше было в тот день не до девичьих переживаний кузины. Утром пришло сильно озадачившее ее письмо от брата. Тот писал, что внимательно следит за событиями в губернии, хоть и на отдалении, и видит грядущий их ход не таким уж безнадежным. По его мнению, права крупных латифундистов при изъятии их собственности соблюдаться будут, пусть и не в полном объеме. Готовится некий исторический компромисс, признанный упредить возможное кровопролитие, хотя и уменьшающий их доходы, но и не оставляющий совсем без средств. В любом случае, до осени ничего не решится, и вести переговоры о дальнейшей аренде следует в прежнем русле, хотя и можно рублей пять-десять за десятину против нынешней цены уступить.

На Троицу Зинаида пригласила на чай основных арендаторов. Принимала их на летней веранде, обильно украшенной березовыми ветками, впервые собранными Никой. Разговор завела без обиняков:

– Ну-с вот, мои дорогие. Называю вас так потому, что беру с вас дорого. Но земля-то какая! Она того стоит. Не могу я цену за нее ставить ниже, чем у других. И вы, когда ее владельцами станете, тоже не дешевите. Вам, конечно, известно, что имение у меня с братом и сестрой общее, мне принадлежит ровно одна треть. И хочу я ее продать. Если о хорошей сумме сговоримся, то и с покупкой остальных долей у моих родственников помогу. Знаю: всякие ходят разговоры о дальнейшей жизни. Кто-то надеется наделы господские бесплатно получить. Пока законов таких нет, а мы с вами привыкли всё делать по-честному. Не так ли?

– Так, так! – мужики дружно замотали головами.

– Тогда предлагайте цену. Если дадите достойную – предложу своим поступить так же. Сама же в любом случае свою часть продам. Не вам, так другим, кто не пожадничает.

Самый прижимистый из гостей Данила Петров первым взял слово:

– Слыхали мы, будто в соседнем уезде барскую землю уже всю отобрали и между крестьян разделили.

– Я тоже это слыхала, – спокойно ответила Зинаида. – Но знаю и последствия. Вам они едва ли понравятся. Всю ее раздали беднякам с большими семьями. А за счет кого они большие? За счет детей малых, которые пахать и сеять не могут. Значит, будете опять в аренду брать, только не у помещиков, а у своих соседей непутевых. Глупо

сегодня людей по прежним представлениям делить: на господ и работников. Работник работнику рознь. Иной богаче любого барина. Все мы прежде всего собственники. У кого ее больше, а у кого меньше. У каждого из вас – немало. И земли, и денег. Деньги скоро обесценятся, как обычно бывает при смене образа правления, потому что всё вздорожает. Земля же всегда в цене останется. Вот и решайте, в чем лучше нажитое богатство держать: в рублях или в десятинах.

– А чего ж ты, барыня, тогда ее продаешь? – лукаво спросил один из гостей.

– Чего ж тут непонятного: сами рассказываете, что где-то уже отбирают. Если б не опасность всё потерять – в жизни бы не продавала. Да и хочу, чтобы она в руки хорошие попала. Потому и вас, а не кого-то, позвала.

– Подумать нам надо, – ответил за всех Степан Володин. Ответил-то, может быть, лишь за себя и свое семейство, но остальные его поддержали:

– Знамо дело: обмозговать нужно.

– Ты уж, барыня, дай нам время.

– Да, – уверенно прозвучало в ответ. – Но не много. До начала поста. В первый же его день – милости прошу.

На том и разошлись.

Саше она в тот же день отписала, что жить иллюзиями не желает, поэтому от своей части будет избавляться, а он со своей пусть делает что хочет. Если и сохранит новая власть помещицы наделы, то наверняка не целиком, что-нибудь урежет, а с оставшимся устроит такую канитель, что лучше в это не ввязываться.

К Агнии решила съездить сама, когда получит ответ от мужиков. К тому же Ника очень скучает по братьям.

В первый день Петрова поста садовник Еремей сообщил Зинаиде о просьбе своего брата принять его следующим вечером.

Встреча состоялась в ближней беседке, окруженной всё еще благоухающим жасмином. Степан Володин на прямой вопрос о сделке слегка поначалу помялся, больше для виду, но потом твердо сказал:

– Дело, значит, такое: твою долю сам готов выкупить по полтора целковых за десятину. Из наших большего тебе никто не даст. Хочешь взять подороже – ищи покупателей на стороне. Это первое. А второе: остальную землю брату твоему с сестрой за ту же цену устрою. Среди здешних. Но с уговором: всё через меня.

– Ты что ж теперь, председатель Совета, что ли?

– Совета пока никакого нет. И мы сделаем так, что и не будет, – не без раздражения в голосе ответил Степан. – Так ты согласна?

Зинаида заранее отметила назначенную Володиным сумму как низшую из возможных. Но торговаться не стала в надежде обрести в этом хватком мужике союзника на будущее. Возможно, он и не был главным авторитетом среди односельчан, но принятие поставленных ею условий, бесспорно, возвышало его над ними.

– Батюшка наш благословил?

– Так не его это дело. Мирские вопросы мы и сами уладим, – не без нотки удивленияотреагировал Володин.

Ответ Зинаиде понравился: он показывал уверенность говорящего в правоте своих действий. По правде говоря, она сама с настоящим не посоветовалась.

– Хорошо, Степан. Только перерасчета никакого не жди: до конца прежнего срока земля остается в аренде, а за это время мы купчую и оформим.

Произнося это, капитанша немного устыдилась собственному крохоборству, но заявила твердо и убедительно.

– Лады, будь по-твоему, – с деланным вздохом ответил Володин, втайне надеявшийся немного здесь урвать, но не осмелившийся спорить с помещицей, беззвучно согласившейся на его цену.

В целом обе стороны остались вполне довольными результатами переговоров.

Зинаида боялась влияния на Агнию ее мужа и особенно деверя, поэтому, приехав навестить сестру, разговор с ней завела во время прогулки, когда сыновья резвились на лужайке, а матери расположились в тенечке. Однако та и не собиралась советоваться с мужчинами:

– Какая ты, Зина, у нас умница! Очень правильно решила за себя и сделай, пожалуйста, то же за меня.

– Поль не будет тебя отговаривать?

– Разве нельзя всё проделать без него?

– Можно. Но хорошо ли это? Под каким предлогом поедешь в город подписывать бумаги?

– А без моего рукоприкладства никак нельзя обойтись?

– Никак.

В тот же день, оставшись втроем, сестры с двух сторон взяли за Павла Николаевича.

– Зина меня сильно сегодня обрадовала, – поведала Агния мужу.

– Интересно, чем же можно в наше время порадовать? – удивился тот.

– Нашла себе и мне покупателей на землю в самом Пруте.

Венёвцев насторожился:

– И сколько же они дают?

В разговор вступила его свояченица:

– По сто пятьдесят за десятину.

Павел Николаевич аж присвистнул:

– Ну, ты, Зинура, и коммерсант! Даже братца моего переплюнула. Он тоже одному пытался за столько же продать. Тот уперся: сто двадцать и ни рубля больше. Торговались-торговались – сошлись на середине: по сто тридцать пять.

Бывшего думского депутата решили до поры до времени рассказом о сделке капитанши не расстраивать.

Александр Александровичу Зинаида написала подробное письмо. Не преминула и поведать о сложностях у Венёвцева-старшего. Но главное: дала понять, что больше делами имения заниматься не намерена, и если он не последует их с Агнией примеру, вести хозяйство дальше будет сам.

Щербачёв, живший в Харькове случайными заработками за различные консультации, в деньгах отчаянно нуждался. Однако от продажи земли категорически отказался и попытался отсоветовать и сестру. Его встречное предложение выглядело так: та же сумма, но только как аренда за два года. По действующему договору крестьяне платили восемьдесят рублей за десятину, а так им выходило даже дешевле. Нет, он не надеялся на возврат жизни в прежнее русло, но считал для себя зазорным продажу родового имения. Если уж и суждено его лишиться, то пусть по злой воле новых властей, пусть забирают силой.

Капитанша донесла его точку зрения до Степана Володина. Тот сразу замотал головой:

– Деньги, конечно, те же, но права другие. А вдруг какой-нибудь бедняцкий совет черный передел устроит? Нет, барыня, скажи брату: мы на такое не согласны.

Если в городах царил эйфория от вводимого повсеместно восьмичасового рабочего дня, а в окопах – от права голосованием решать: идти в атаку или нет, сельскому люду случившиеся перемены лишь добавили озабоченности. Наиболее толковые, трудолюбивые, имевшие крепкое хозяйство оказались меж двух огней: с одной стороны, теряющие силу помещики, с другой – набирающая себеднота и всякая голь перекатная. В некоторых местах умудрились даже в названии своих Советов к слову крестьянских прилепить совсем постыдное понятие – батрацких. Получалось, что вся революция случилась к выгоде горластых недотеп, спустивших в кабаках свои надель и пытающихся теперь урвать господскую землю. Зачем? Чтобы также поступить и с ней. А что с того настоящему хозяину? Ему при переделе ничего не достанется и придется потом кланяться разным пьяницам и торговаться со всяким сбродом.

В уезде, где находился Прут, Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов создали. Из его двадцати двух членов шестнадцать принадлежали к партии эсеров. Но в самом селе Совет, как и обещал Степан Володин, не появился, и дело ограничилось земельным комитетом на волостном уровне, где среди трех членов оказался и он сам. Более того, именно Володин вошел от своей волости в аналогичный уездный орган, в задачи которого, в частности, входило «разрешение вопросов, споров и недоразумений, возникших в области земельных и сельскохозяйственных отношений, в пределах действующих законоположений и постановлений Временного правительства, учреждение в необходимых случаях посреднических и примирительных камер для принятия мер к урегулированию отношений, могущих

возникнуть вследствие самовольного нарушения чьих-либо прав и интересов».

Если в Губернске, откуда Щербачёв практически бежал, он рассуждал абсолютно здраво, наставляя Михаила Угрина, то в относительно тихом Харькове сознание Александра Александровича притупилось, и процитированное постановление Временного правительства об учреждении земельных комитетов он воспринял буквально, не догадываясь, что на самом деле творится на грешной земле.

А там всё гудело и бурлило. Где, наплевав на документы из Петрограда, уже устраивали черный передел (в Самаре и вовсе все частновладельческие, казенные, банковские, удельные, монастырские, кабинетские, церковные земли перевели общий фонд для распределения среди крестьян, а прежние земельные сделки признали недействительными), где жгли и громили барские усадьбы, а где и пытались изловчиться, чтобы выгадать побольше самим себе.

Шустовская волость, куда входило село Прут, именно таким тихим омутом и оказалась. Но водились в нем, как известно по поговорке, сущие черти.

Степан Володин стал одним из них, если не самым главным. Опыт от общения с капитаншей Крапивниковой он умело распространил и на другие сёла и деревни. И всё втихаря от крестьянской массы. Зажиточные хозяева не жадничали, соглашались на господскую цену, даже если она зашкаливала за полтора рубля, и методично скупали отменнейший чернозем, чтобы он не попал, как в Самаре, в некий общий фонд для последующего дележа. Сам же Степан на всякий случай записался в партию социалистов-революционеров, рассчитывая в крайнем случае искать у нее защиты от прозревших земляков.

Тем временем ее лидер Виктор Чернов, исправлявший должность министра земледелия, отошел от июльского испуга и, опираясь на Главный земельный комитет, действовавший в масштабах всей страны, начал проводить политику консервации дореволюционных отношений между землевладельцами и крестьянами. Ему-то и поверил Александр Щербачёв, внимательно читавший все газеты. Но Россией невозможно руководить из столичного кабинета. Забыв о тех самых некрутящихся шестеренках, о которых сам так образно говорил Угрину, он вообразил, будто еще какое-то время пожить по старым законам. Поэтому землю свою продавать отказался.

Володин же, в свою очередь, договор аренды с ним продлевать не стал. До октября они были в расчете. Что дальше – вопрос оставался открытым.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Новое место назначения Александра Крапивникова оказалось вполне симпатичным городком, совсем не похожим на Выборг, где хоть и преобладало финское население, но дух, во многом формиро-

вавшийся современной архитектурой, царил преимущественно русский. Николайстад больше напоминал Европу, и веяло в нем духом скорее шведским. Война здесь никак о себе не напоминала, а нестроения в метрополии – тем паче. И не потому, что политические события не интересовали жителей, а потому, что относились они к ним все одинаково. Партия здесь действовала одна: названия она не имела, но ее членом чувствовал себя каждый. У нее существовала единственная цель: полностью и навсегда покончить с зависимостью от России.

Несмотря на это, очередного имперского посланца встретили пусть и не радушно, но вполне любезно. Правда, с ходу заявили, что свободного помещения для канцелярии его контрразведывательного пункта пока нет. Прошлось попроситься к начальнику 6-го участка Финляндской пограничной охраны, согласившемуся на время постесниться и выделившему место в своем здании. Две недели ушло на поиск собственного пристанища. Наконец удалось вселиться в дом номер 23 по Ратгаузской улице.

К тому времени в контрразведывательном пункте уже работали нанятые из местных жителей наблюдатели, делившиеся на старших и младших, и назначенный заместителем начальника прапорщик Корнатовский. Постепенно штат пополнился другими сотрудниками, в том числе свободно владевшим русским языком писарем Артуром Трейбергом.

Еще до приезда Крапивникова в городе возник выборный гарнизонный комитет. Его председатель нанес визит вновь прибывшему капитану, поприветствовал в его лице группу контрразведчиков, однако от предложения делегировать кого-нибудь из них в состав своего комитета воздержался.

К существованию этого органа Александр отнесся философски и даже сообразил извлечь пользу из его существования. Когда младший наблюдатель Дмитрий Бокарёв напился до свинского состояния и, как значилось в приказе по пункту, «не только не мог исполнять свои служебные обязанности, но потерял полное приличие культурного человека», Крапивников решил пугнуть его и написал в том же приказе: «Ввиду подобного поведения отстраняю младшего наблюдателя Дмитрия Бокарёва от должности и от всех служебных обязанностей впредь до разбора о нем дела в гарнизонном революционном комитете. Пусть комитет решит, насколько Дмитрий Бокарёв может нести дальнейшую службу при вверенном мне пункте».

Угроза предстать перед революционным комитетом мгновенно отрезвила провинившегося. После полного и чистосердечного раскаяния он был прощен, восстановлен в службе, однако оштрафован на десять марок, что составляло половину его недельного жалования.

На следующий день после отъезда Александра Крапивникова в Николайстад в столице снова происходило невообразимое.

Большевистское крыло партии социал-демократов не имело представительства в правительстве. Да и в Петросовете находилось в

меньшинстве. После очередного внутривластьственного кризиса, вызванного украинским вопросом, большевикам показалось, что настал подходящий момент для передачи всей государственной власти Советам.

И они решили сделать это силой. Но переборщили, пригнав утром 4 июля к Таврическому дворцу и толпы рабочих, и десятки тысяч кронштадтских моряков, и пулеметный полк. В хаотическом смешении этих разнородных сил потерялись нити управления мятежом. Всё, что удалось бунтовщикам, ненадолго захватить министра земледелия Виктора Чернова, лидера партии эсеров. Командующему войсками Петроградского военного округа генералу Половцеву пришлось задействовать конноартиллерийский полк и казачью сотню для водворения порядка. Разумеется, не обошлось без жертв.

Ответственность за попытку государственного переворота правительство возложило на руководителей большевистской партии и отдало приказ арестовать его верхушку*. Но за решетку угодили не все: Ленину и Зиновьеву удалось скрыться. О сомнительной личности первого говорилось давно. После июньского выступления его стали открыто обвинять в работе на Германию.

Крапивников, как и начальники других контрразведывательных пунктов в Финляндии, получил указание принять все меры для розыска немецкого шпиона Владимира Ульянова, носящего псевдоним Николай Ленин. Власти были уверены, что укрылся он именно в этом направлении.

Конечно же, капитан передал ориентировку на разыскиваемого преступника всем своим наблюдателям, и старшим, и младшим. Но сам был абсолютно уверен: искать беглеца надо поблизости от столицы, ибо не станет такая амбициозная политическая фигура так сильно отдаляться от Петрограда во время схватки за власть. Поэтому никаких сугубых собственных усилий для его поимки предпринимать не стал.

Александр оказался прав: Ленин спрятался примерно в сорока верстах от Зимнего дворца, куда Временное правительство перебралось из Таврического, казавшегося слишком уязвимым при нападении толпы.

Главного немецкого шпиона так тогда и не поймали, но напугали настолько сильно, что он отказался явиться в суд для оправдания, три месяца носа на люди не показывался и сменил не одно укрытие. Но даже самое дальнее из них, оказавшееся действительно в Финляндии, было на полпути от Николайстада до столицы.

* Весной 1917-го проф. Н.С. Тимашев (позднее – известный социолог, один из основателей американской социологии) участвовал в создании проекта нового уголовного кодекса, в который должны были войти разработанные им положения «Преступное возбуждение масс», по которому вся верхушка большевиков должна была быть арестована. Однако А.Ф. Керенский не подписал предложенный кодекс. Таким образом, юридического основания на арест Ленина не было. (Ред.)

Подчиненные капитана Крапивникова не толпились, учитывая специфику своей работы, вместе никогда не собирались, поэтому руководил он ими во многом посредством письменных приказов. Звучали они то пафосно, то задушевно, но неизменно лирично.

В конце июля он писал:

«Сегодня минуло три года, как кровавый Вильгельм объявил войну мирной России. За этот период враг немало принес вреда многострадальной матушке Руси; его козни не остановились, и он продолжает свою подлую работу в нашей стране, желая совершенно обессилить ее. Он ни перед чем не останавливается. Его замыслы широки, в особенности здесь, в Финляндии. А потому я обращаюсь к вам, моим товарищам, помощникам по борьбе с подлой работой врага, и надеюсь, что каждый из вас от мала до велика приложит в свою работу всю энергию, все знания, всю силу и всё здоровье на сохранение в целостности и неприкосновенности великой, единой, дорогой нашей Родины».

Чуть позднее последовал такой приказ:

«По поступившим ко мне заявлениям усматриваю, что некоторые служащие вверенного мне пункта не осторожны в разговорах с частными лицами, в особенности в общественных местах.

Не забывайте, что и стены имеют уши.

Наша служба такова, что где бы мы ни были, при каких бы обстоятельствах ни находились, а должны помнить, что каждое неосторожное слово, как бы оно малоозначаще ни звучало, может послужить на пользу проклятому немцу и во вред великой России.

К вам ко всем, мои сослуживцы, обращаюсь я и прошу: будьте осторожны, берегите Россию, берегите нашу службу и берегите самих себя. Сильные – удерживайте слабых. Если себя не жалеете, то жалейте других – своих товарищей».

Он и сам уже не понимал, почему призывал к сохранению целостности единой России, хотя давно перестал верить в это. Видно, служба требует иногда кривить душой. Что его очень тяготило. Здесь, в месте, абсолютно чуждом всему русскому, он еще больше убедился в бессмысленности гигантских империй. В Финляндии рубль имел такое же хождение, как и в других частях государства, однако им никто не пользовался, и все расчеты велись только в местных марках. Не признавали тут и принятый в России юлианский календарь, и Александру, фактически жившему по григорианскому, приходилось каждый делать перерасчет, когда он датировал служебные письма и официальные документы. Казалось, весь образ здешней жизни формируется не метрополией, а приносится со шведского берега волнами Ботнического залива.

Тем же путем попадали на российскую сторону и нежелательные гости, с кем капитану Крапивникову надлежало беспощадно бороться.

Генерал Бонч-Бруевич оказался прав: германские шпионы забрасывались с пугающей регулярностью. Если судить по выловленным, то раз в неделю. Однако Александр понимал: наверняка существовали и удачливые, кому удавалось улизнуть от его наблюдателей.

Случалось и разоблачать подданных самой империи, пытавшихся вывезти в соседнюю страну разведывательные сведения. Обычно то были этнические шведы. Сначала с подробным описанием мест нахождения русских военных кораблей, их составе и вооружении попался местный уроженец Мауриций Мексмонтан. Двумя днями позже с копиями таких же бумаг задержали шведского студента Юханссона, признавшегося в связи с Мексмонтаном. По донесению военных цензоров, перлюстрировавших почтовые отправления, был взят в разработку живший неподалёку от Николаястада коммерсант Густавссон, также пытавшийся вывезти на свою историческую родину секретные материалы.

Иногда попадались среди лазутчиков не только шведы, но и финны, латыши, поляки. Больше всего Александра поразило разоблачение мешанки Серафимы Тихоновой: русская женщина тоже согласилась помогать врагу, причем не бог весть за какие деньги.

Приходилось выявлять шпионов и в соседних губерниях. Парикмахер Каун собирал секретные сведения и передавал их одному немецкому барону, жившему в Куопио. Муля Кадис, часто ездившая в Петроград и Ревель, по возвращении тут же встречалась с неким Гершке, а тот сразу отправлялся на почтовую станцию в Торнио, откуда посылал шифрованные, как выяснилось, письма.

Попадались как отдельные лица, так и целые организации. Пароходная контора Иоэля Янкяля из Кеми умудрялась организовывать вывоз не только русских денег, но и убежавших из заключения немецких военнопленных. Фирма «Корн» в городе Лиекса и вовсе являлась агентом германского разведывательного бюро.

Но самые сильные душевные раны Крапивникову наносили неудачи на фронтах.

Теперь он часто вспоминал свои размышления полугодичной давности. Больше всего ему хотелось таких перемен, которые бы обновили управление войсками, освежили бы высший командный состав: ведь все причины отступлений, сдач городов и прочих провалов он видел исключительно в бесполовом руководстве, куда зачем-то еще и пристегнули самого царя – никакого не полководца, никакого не стратега, а лишь арбитра в споре генералов, как ему виделась роль государя в Ставке. И вот символический Верховный главнокомандующий заменен реальным, оправлены в отставку нерадивые командующие фронтами, усилено заодно и среднее звено. А где результаты?

Совсем расшаталась дисциплина в войсках. Якобы из-за нее провалилось наступление. Но какой же тогда смысл в том, что называют революцией? Казалось, свобода должна вдохновить всех носи-

телей народного духа, прежде всего солдат. К ним к тому же стали лучше относиться, вежливей с ними обходиться, дали им право создавать свои комитеты. И что в ответ? Но если солдат хорошо воюет лишь из-под палки, то и рабочие и мужики, значит, тоже теперь станут отлынивать от работы? Капиталистов прогонят, заводами и фабриками станут управлять сами, и получится, как сегодня на позициях, – сплошной саботаж. У помещиков землю отнимут, раздадут ее бедным крестьянам, а как поведут себя те, будут ли обрабатывать её или тихо пропьют? Уничтожить старый жизненный уклад оказалось просто, но о новом, похоже, никто не подумал. Все эти эсеры и эсдеки ратуют за простой народ лишь потому, что при всеобщем, равном и прямом голосовании рассчитывают получить мандаты от этого несомненного большинства населения. Но умеют ли они управлять страной, армией, финансами, железными дорогами, почтами и телеграфом? Едва ли. Плохие царские министры хоть каким-то наукам учились. А эти горлопаны? Кого ни возьми: с юных лет в тюрьме, подполье или эмиграции. Где же там управленческий опыт приобрести? Кто попроще – читал книжки, кто понаглее – их писал. И теперь по всем этим сочинениям, своим и чужим, Россией намереваются управлять? Образ правления и новые основные законы ее устанавливать?

Слава богу, выборы в это Учредительное собрание затягиваются. Лучше б их совсем не было! Но это лишь в случае победного завершения войны. А пока дело идет к полному разгрому. Как бы нам тут образ правления кайзер не установил!

Тяжело было нести службу с такими мыслями. Но долг офицера – подчиняться командованию, выполнять его указания. И капитан Александр Крапивников старался строго придерживаться этого правила.

Из-за весенней неразберихи и своего отпуска присягу Временному правительству он так и не принес. Так ведь и правительство теперь другое! Если раньше менялся государь, то полагалось заново присягать новому. А когда меняется орган власти с полномочиями императора, что делать? Вопрос этот он никому не задал, но мучительно пытался ответить на него сам.

Действительно: кому он служит? Да, у него есть командир непосредственный – начальник контрразведывательного отделения 42-го армейского корпуса подполковник Леонтий Андреевич Шумов. Формально есть над ним и исправляющий должность вазаского губернатора, но до сих пор не утвержденный в ней Юхо Торппа. Первый – настоящий боевой офицер, отстаивающий интересы России. Но он далеко. Второй – финский демагог из местных фермеров, одно время заседавший в парламенте. За месяц до приезда Крапивникова в Николайстад сменил замечательного Льва Отговича Сирелиуса, тоже павлона, как и сам Александр. Тот, похоже, был последним настоящим губернатором, проводившим политику государства. Нынешний – явный сепаратист. И получается, что между абсолютно разными людьми, с противоположными жизненными и

политическими установками стоит он, присягавший только один раз – царю Николаю Второму. Первый призывает усилить бдительность и не пропускать ни одного лазутчика, второй откровенно мешает работать, после каждого задержания местного жителя требует предоставить в считанные часы неопровержимые доказательства его преступных деяний и пытается переквалифицировать шпионаж в банальную контрабанду, подследственную местной полиции. В конце августа появился и третий руководитель: в должность начальника Николайстадского гарнизона вступил генерал-майор Иосиф Викентьевич Прокопович. Но ведь это совершенно номинально, поскольку в действительности он командовал 2-й отдельной Прибалтийской конной бригадой, созданной для предотвращения возможного немецкого десанта и не стоявшей на месте, а постоянно перемещавшейся по всей Финляндии.

Выходит, служить надо просто своему отечеству, кто бы им ни правил. К такому логичному выводу пришел капитан Крапивников после нелегких и продолжительных раздумий.

Кроме ловли вражеских диверсантов Александр полагал своим прямым долгом поддержание дисциплины и воспитание своих подчиненных. Он давно заметил, что более эффективным средством, чем устные замечания, служат письменные приказы, вывешиваемые на всеобщее обозрение. И он не ленился вставлять в них в общем-то банальные слова, но со стены действовавшие с удвоенной силой.

Тон приказов поначалу был достаточно мягким:

«Некоторые служащие не совсем старательно относятся к своим обязанностям.

Напоминаю, что служат не мне, а общему делу на пользу дорогой России.

Прошу всех служащих нести свои служебные обязанности не только на моих глазах, но также и за ними.

Не забывайте, что все служат не для меня и не у меня, а Родине и в славном Николайстадском гарнизоне».

«Мною замечено, что по военному телефону постоянно ведут частные разговоры, вследствие чего названный телефон вечно занят не для той надобности, которой предназначен, отчего могут получиться нежелательные последствия в тот момент, когда будет нужно куда-нибудь экстренно сообщить важные сведения в пункте.

Пора пересмотреть взгляд на службу как на доходное место и ничегонеделание.

Время настолько важное, что каждый момент дорог, и нельзя упустить его — можно сделать непоправимую ошибку.

Вновь прошу всех сослуживцев более серьезно относиться к своим обязанностям, как бы они малы ни были.

Кто тяготится своей службой, тот волен ее переменить, т.е. уйти, а раз служит, то должен служить по совести и быть на месте, как полагается.

Не забывают, что в единении и взаимоподдержке – сила».

«Вновь подтверждаю служащим пункта, что службу нести надо добросовестно и быть на службе тогда, когда полагается.

Предупреждаю, что против уклоняющихся и манкирующих своими служебными обязанностями мною будут предприняты строгие меры – вплоть до отчисления.

Не забывают, что там, в окопах, наши собраты не знают отдыха. Там, на полях кровавой сечи, куют нашу победу, а с нею и нашу свободу.

Мы же, тыловые, должны им помогать всеми своими силами и знаниями, а не уклонением от служебных обязанностей.

Стыдно!»

На удивление, последнее слово и вправду на многих подействовало, а один сотрудник прямо признался при встрече:

– Как вы, Александр Николаевич, до самой души моей добраться сумели! Прочитал я ваш приказ, и мне действительно стало стыдно. Простите, что частенько ленился. Больше такое не повторится, обещаю вам.

О бытовых и финансовых проблемах, омрачавших жизнь пункта, как много было судить по таким приказам:

«Велосипед всегда должен находиться в комнате дежурного наблюдателя. Пользоваться велосипедом разрешается только в экстренных случаях, и то только по делам службы. Дежурный наблюдатель должен знать, кто взял велосипед и для какой надобности».

«Для сокращения расхода дров предлагаю готовить кипятки для чая в следующее время: утром с 8 до 9 на маленькой плитке, с 9½ до 10½ на большой, днем с 4½ до 6 час. на большой, вечером с 8 до 9 на большой и от 10 до 11 вечера на маленькой. В другое время греть чайник воспрещаю». «Топить печи в помещении между 8½ и 9½ утра с таким расчетом, чтобы к началу занятий в канцелярии в 10 час. печи были вытоплены». «Мною неоднократно замечалось, что по окончании занятий в канцелярии и в других помещениях совершенно непроизводительно тратится электрическая энергия...» «Неоднократно мною замечалось, что кто-то меняет электрические лампочки в помещении пункта, т.е. либо перегоревшие вставляются вместо годных, либо лампочки более крупной силы меняются на слабые. Я предполагал, что подобное хищение казенного имущества прекратится, но, оказывается, я ошибся, и теперь меня вынуждают предавать это гласности. Позор! Предупреждаю, что 'любители' понесут заслуженную кару».

И «любители» поверили, что капитан Крапивников уже выявил их и сумел расставить ловушки. Хищения прекратились.

На самом деле Александр ничего не знал о ворах. Еще раз сказался его точный психологический расчет.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Изначально долгожданное наступление русских войск намечалось на начало мая, но военный министр Гучков так увлекся перестановками в командном составе армий и фронтов, что пришлось сдвинуть его на середину июня.

Главный удар наметили в Галиции, памятуя о прошлогодней удаче генерала Брусилова, ставшего теперь Верховным главнокомандующим. На трехсоттысячную группировку Австро-Венгрии бросили миллионную армаду, имея значительное превосходство и в технике. И к началу июля австрийский фронт удалось прорвать и захватить ряд важных населенных пунктов. Но тут в дело вступили солдатские комитеты, расшатывавшие дисциплину всюду, где она еще оставалась, и не дававшие развить успех. Постепенно неприятель перешел в контрнаступление, вернул утраченные позиции и даже сумел на некоторых участках продвинуться по сравнению с весной. Немало тому поспособствовала и продолжавшаяся даже после отставки Гучкова игра в перестановке в высшем командном составе.

Армия становилась откровенно недееспособной. Это проявилось и на Западном фронте, где при тройном превосходстве в живой силе немного продвинуться удалось лишь в первый день. Потом начались заседания всё тех же солдатских комитетов, и наступление захлебнулось. Северный фронт проводил наступательную операцию поздней. Сценарий оказался тем же: первые линии вражеских окопов берутся, затем под воздействием агитаторов-дезертиров движение останавливается.

Лучше всего обстояли дела на Румынском фронте, где преобладали войска этой страны, не имевшей революционных комитетов. Но развивать его успех без поддержки соседнего Юго-Западного фронта смысла не имело, а тот буквально повис веригами и не давал двигаться вперед. Ни о какой атаке с целью завладения древним Константинополем и проливами речи давно не велось.

На Кавказском фронте, разумеется, знали о нестроениях в Петрограде, там тоже резко упала дисциплина в войсках, но в целом казалось, что у подчиненных генерала Юденича, сменившего великого князя Николая Николаевича, своя война, в которой они не только не уступили прежней территории Российской империи, но и сумели присоединить к ней новые земли. Кавказский фронт успешно взаимодействовал с союзниками, помогая подчас англичанам решать свои тактические задачи.

Еще при прежнем командующем 1-й Кавказский кавалерийский корпус генерала Баратова своими успешными наступательными действиями немало поспособствовал взятию британской армией Багдада как раз в канун низвержения самодержавия в России. Дальше планировалось продвижение к древней столице Месопотамии Мосулу. Расчетливый Юденич, однако, не спешил, ссылаясь на плохое снабжение и последствия эпидемии тифа, охватившей войска, и в послед-

ний день весны попал под горячую руку вновь назначенного военного министра Керенского: был заменен генералом Пржевальским (кузеном знаменитого путешественника), под непосредственным началом которого Владимир Крапивников участвовал в Эрзурумской операции.

Новому командующему 18 июня удалось взять горный город Пенджвин в Курдистане, несмотря на поддержку турок местным населением и персидской полицией, но вскоре пришлось его оставить и заняться удержанием прежних позиций, отвлекая на себя силы противника и содействуя тем самым дальнейшему наступлению союзников в Месопотамии.

Главным итогом бездарной летней кампании стала очередная замена Верховного главнокомандующего. Новым стал генерал Лавр Корнилов, в глазах общественного мнения выглядевший былинным героем. Самый экстравагантный полководец Великой войны, он мог сегодня праздновать триумф, а завтра выслушивать проклятия из-за необдуманных действий. Как коршун, налетел он в ноябре четырнадцатого в Галиции на превосходящие силы генерала Рафта, пленил более тысячи человек, включая самого командующего, а затем неосмотрительно покинул лучшие позиции, подставил себя под мощный удар неприятеля, понес большие потери и едва не угодил под суд.

Весной пятнадцатого он снова царит в Карпатах, берет важнейшую высоту, открывает русской армии путь на Венгрию, но вскоре губит свою дивизию и сам попадает в австрийский плен.

Год спустя с третьей попытки бежит из вражеского лагеря, получает в Ставке Георгия из рук самого Государя и снова отправляется на фронт в качестве командира 25-го армейского корпуса. Солдаты его боготворят. Сам он в атаках слывет отчаянным храбрецом. Для них он – сын простого казака-крестьянина – свой, почти родной человек.

Корнилов понимал, что корень всех неудач кроется в полном отсутствии дисциплины в войсках и в подрывной работе через вредоносные солдатские комитеты. Его план, представленный правительству, был предельно прост: повинение военным начальникам восстанавить, а для этих комитетов воздвигнуть прокрустово ложе закона, не позволяющее нижним чинам вмешиваться в офицерские решения.

Солдатская прямота генерала одних привела в восторг, а других повергла в ужас. К первым принадлежали те, кто привык к многоговековому порядку и не признавал революционных новшеств. Ко вторым относились поборники демократических преобразований, восторгавшиеся несуществующим платьем короля. В данном случае королем выступала сама Россия, а ее мнимым одеянием – плоды деятельности демократического правительства.

Двух вещей Корнилов добился сразу: восстановления смертной казни на фронте и новой мобилизации, включая до сих пор не призванных ратников второго разряда, к числу которых принадлежал и Михаил Угрин.

Месяц, данный ему на сборы, пролетел как мгновение, и был скрашен лишь крестинами родившейся у Николая Чинякова дочери Фаины. Сам отец, к тому времени уже призванный, присутствовать на них не смог, поскольку радостное известие застало его в дороге и с опозданием.

По-настоящему подготовиться к отъезду Михаил так и не успел. Вещи собирала Лиза с Евдокией Васильевной, и здесь давно царил полный порядок. А вот нужные ему для возможной работы записи призывник выдергивал из блокнотов и тетрадей в самый последний момент, ибо толком не решил, чем будет там заниматься в свободное время.

Самым тяжелым стало прощание с Мариной. Девочка уже всё понимала не хуже взрослых, но в отличие от них эмоций не сдерживала и плакала навзрыд. Отцу казалось, что он присутствует на собственных похоронах.

На вокзале Угрину выдали предписание явиться по приезде в Москву в Николаевские казармы в расположение 1-й запасной артиллерийской бригады. Место, куда ему предстояло ехать, хранило зловещую память о роковой для многих давке в день коронации Николая Второго. Сам комплекс зданий был возведен на этом месте через три года, но, казалось, что и на них лежит трагический отпечаток того страшного события.

Никого из офицеров он на месте застал и выяснил, что в этот день хоронили жену командира бригады, и все отправились проститься с покойной и поддержать дух в овдовевшем полковнике, потерявшем к тому же месяц назад и младшую дочь – ровесницу его Марины. Такое совпадение Михаил считал очень дурной для себя приметой.

Наутро его представили командиру 2-й батареи капитану Александру Васильевичу Викулову. Тот радушно его поприветствовал и сообщил о назначении в свою батарею фейерверкером, но пообещал в ближайшее время представить к младшему офицерскому чину прапорщика, учитывая его образование. При этом подразумевалось, что новобранец быстро овладеет азами военной науки.

И потекли однообразные дни несения службы. Предстояло в сжатые сроки освоить все премудрости управления легким оружием – 76-миллиметровой полевой скорострельной пушкой, именуемой в обиходе трехдюймовкой. Это изделие петроградского Пулковского завода стояло на вооружении русской армии еще с Японской войны и неплохо там себя зарекомендовало. Прежде всего, надо было изучить механизмы подводки, научиться на ходу делать верные расчеты угла возвышения. В чем-то Угрину это даже показалось увлекательным. Ни о каком выдвижении на позиции разговоров не велось.

Тем временем страсти накалялись не на фронтах, а в тылу.

Керенский, понимая шаткость своего положения, задумал и воплотил очередную авантюрную затею, названную Государственным совещанием. Открылось оно в Москве, в Большом театре 12 августа.

Собрались без малого две с половиной тысячи. Среди них оказалось почти полтысячи думских депутатов разных созывов. Советских приехало ровно сто от рабочих и почти на треть больше от крестьян. Около полтора ста человек представляли всё еще действующие городские думы, чуть меньше – земства. Кого-то делегировали армия и флот, кого-то – профсоюзы, кого-то – кооперативы. Были представители торговых, промышленных и банковских кругов. Совсем мало съехало посланцев национальных организаций, а меньше всего – религиозных конфессий.

Основные доклады делали сам председательствующий на совещании Керенский, Верховный главнокомандующий Корнилов и министры. В прениях участвовали некоторые исторические персоны, в частности, 75-летний теоретик анархизма князь Кропоткин, бывшая лишь двумя годами моложе народница, а потом эсерка Брешко-Брешковская, ласково называемая «бабушкой русской революции», 60-летний пионер отечественной социал-демократии Плеханов, богатейший в стране банкир Рябушинский. Получили трибуну и главные лузеры революции Родзянко, Милуков, Гучков, Шульгин и Набоков. Витийствовал и ее явный бенефициар Чхеидзе, восседавший сразу в двух креслах: председателя Петросовета и председателя Всероссийского Центрального исполнительного комитета всех Советов.

Никаких решений, резолюций, даже рекомендаций Совещание не приняло, никаких органов не образовало.

Хитрая задумка Керенского заключалась в том, что отныне легитимность его подтверждалась, как говорится, по умолчанию: ведь никто не поставил под сомнение правомерность занятия им высшей в государстве должности министра-председателя.

Но в одном лукавый авантюрист просчитался.

В условиях войны не менее важной фигурой, чем глава правительства, считался и Верховный главнокомандующий. Генерал Корнилов, которому Керенский пытался затыкать рот, в Большом театре был услышан практически всей Россией. Говорил он, не стесняясь в выражениях, и поведал горькую правду:

«В наследие от старого режима свободная Россия получила Армию, в организации которой были, конечно, крупные недочеты. Тем не менее, эта Армия была боеспособной, стройною и готовой к самопожертвованию. Целью рядом законодательных мер, проведенных после переворота людьми, чуждыми духу и пониманию Армии, эта Армия была превращена в безумнейшую толпу, дорожащую исключительно своей жизнью.

Положение на фронтах таково, что мы вследствие разгрома нашей Армии потеряли всю Галицию, всю Буковину и все плоды наших побед прошлого и настоящего годов. Враг в нескольких местах уже перешел границу и грозит самым плодородным губерниям нашего Юга, враг пытается добить румынскую армию и вывести Румынию из числа наших союзников, враг уже стучится в воро-

та Риги, и если только неустойчивость нашей Армии не даст нам возможности удержаться на побережье Рижского залива, дорога к Петрограду будет открыта».

Корнилов еще раз повторил, теперь уже большой аудитории, основные тезисы своего плана, высказанные при назначении его Верховным главнокомандующим; нашел генерал и нужные слова для сторонников сепаратного мира:

«Дисциплина должна быть утверждена и повседневной будничной работой армии путем предоставления соответственной власти начальникам, офицерам и унтер-офицерам. За ними должна быть обеспечена действительная возможность наладить необходимую внутреннюю работу, заставить солдат чистить и кормить лошадей, убирать свои помещения, невероятно теперь загрязненные, и тем спасти весь живой состав Армии от эпидемий и страну от мора.

Я не являюсь противником комиссаров, я с ними работал как Командующий 8-й Армией и как Главнокомандующий Юго-Западным фронтом. Но я требую, чтобы деятельность их протекала бы в кругу интересов хозяйственного и внутреннего быта Армии, в пределах, которые должны быть точно указаны законом, без всякого вмешательства в область вопросов оперативных, боевых и выбора начальника. Я признаю комиссариат как меру необходимую в настоящее время, но гарантия действительности этой меры – это личный состав комиссариата из людей, демократизму политического мышления которых соответствуют также энергия и отсутствие страха ответственности, часто весьма тяжелой».

«Тем, кто целью своих стремлений поставил борьбу за мир, я должен напомнить, что при таком состоянии Армии, в котором она находится теперь, если бы даже, к великому позору страны, возможно было заключить мир, то мир не может быть достигнут, так как не может быть осуществлена связанная с ним демобилизация, ибо недисциплинированная толпа разгромит беспорядочным потоком свою же страну».

Говоря о положении в войсках, Корнилов зачитал свежеполученную телеграмму главнокомандующего Юго-Западным фронтом генерала Деникина:

«На фронте мучной голод, в магазинах базы муки нет совершенно. Прибытие от губернских продовольственных комитетов совершенно ничтожно. Все сухарные заводы бездействуют. Имеющиеся запасы сухарей начинают расходоваться впервые за всё время войны на довольствие тыловых гарнизонов. Но их хватит ненадолго. Считаю своим долгом донести об этом бедствии как о чрезвычайном происшествии. В войсковом районе уже две недели тому назад пришлось перейти к войсковой эксплуатации местных средств района. Ныне, для временного спасения положения, во избежание голод-

ных бунтов начальник снабжений Юго-Западного фронта одновременно с этим приказал в Киеве экстренным порядком организовать гарнизонные комиссии, которые под руководством губернских продовольственных комитетов приступили бы немедленно к заготовке в тылу района в случае надобности и к реквизиции. Вмешательство правительства, тем не менее, экстренно необходимо, ибо фронт так дальше жить не может».

Корнилов требовал усилить дисциплину и в тылу: на железных дорогах, заводах, производящих оружие, указав при этом на жизненную необходимость увеличения производства самолетов. Заключил свою речь он такими словами:

«Для действительного воплощения воли народа в жизнь необходимо немедленное проведение тех мер, которые я только что наметил. Я ни одной минуты не сомневаюсь, что эти меры будут проведены безотлагательно.

Но невозможно допустить, чтобы решимость проведения в жизнь этих мер каждый раз совершалась под давлением поражений и уступок отечественной территории. Если решительные меры для поднятия дисциплины на фронте последовали как результат Тарнопольского разгрома и утраты Галиции и Буковины, то нельзя допустить, чтобы порядок в тылу был последствием потери нами Риги, и чтобы порядок на железных дорогах был бы восстановлен ценою уступки противнику Молдавии и Бессарабии».

Выступление его стало одновременно и приказом правительству, и вынужденным вызовом ему. К сожалению, Керенский смог понять только второе.

Одновременно с Угриным в ту же бригаду прибыл для прохождения службы выпускник Константиновского артиллерийского училища Сергей Мамонтов, внучатый племянник знаменитого мецената. Несмотря на разницу в возрасте в шесть лет, Михаил быстро и легко сошелся с юным прапорщиком, не достигшим еще и двадцати, на почве общих интересов и с удовольствием слушал его рассказы об уроках лепки, полученных от деда Саввы Ивановича в принадлежавшей тому гончарной мастерской за Бутырской тюрьмой. Узнав, что Угрин окончил юридический факультет Московского университета, Сергей предложил вместе съездить к жившему всё там же, всего в пяти верстах от их казармы, покровителю художников и артистов. С живым интересом 75-летний старик расспросил гостя о учебе, поведал о своих студенческих годах, пришедшихся на самый разгар реформ Александра Второго. Собеседники обменялись воспоминаниями о настроениях, царивших в университетской среде. Если Савве Ивановичу удалось избежать ареста за приверженность к революционным идеям, правда, ценой добровольного ухода с факультета, то

ровно через полвека Михаилу, участвовавшему в студенческих волнениях, довелось отведавать арестантской пайки.

Между собой новые друзья доверительно обсуждали все политические новости. Речь Корнилова на Государственном совещании вдохновила Мамонтова. Ему, мечтавшему об офицерской карьере, хотелось поскорей принять участие в деле, и он связывал с Верховным главнокомандующим надежды на активное возобновление кампании. Угрюн же, совершенно не желавший отправки на позиции, убеждал сослуживца, что за красивыми словами бравого генерала скрываются лишь одни амбиции: не может тот не понимать неисполнимость своих требований. Оба сходились в одном: если в ком и суждено возродиться духу Бонапарта, то только в Лавре Корнилове.

Однако в Наполеоны глядел и Керенский. Ему бы разделить функции с толковым военачальником и действовать дуумвиратом, но возрастающая популярность в войсках и народе Верховного главнокомандующего его просто бесила.

Резкий и недипломатичный Владимир Львов, состоявший в кабинете своего титулованного однофамильца в роли обер-прокурора Святейшего Синода, ушел из правительства следом за ним, а Керенского, не позвавшего того обратно, просто возненавидел. Однако спустя месяц обратился к нему с конфиденциальным предложением тайного сговора с влиятельной группой политиков крайне правого толка. Министр-председатель в такой поддержке остро нуждался и дал согласие. Львов тут же отправился в Ставку, встретился с Корниловым и отрекомендовался эмиссаром Керенского, якобы предлагавшего генералу принять диктаторские функции при поддержке Временного правительства и в союзе с ним. Верховный главнокомандующий принял это за чистую монету и попросил передать в ответ ряд условий.

Львов вернулся в Петроград, назвал представителем Корнилова, будто бы приславшего его с ультимативным требованием к правительству наделить его всей полнотой власти как военной, так и гражданской. Реакция взрывного Керенского оказалась вполне предсказуемой: он велел арестовать провокатора и, даже не запросив объяснений от Корнилова, снял того с должности. Мол, хотели иметь в одном лице главу правительства, верховного главнокомандующего и диктатора – получайте! Только им буду я.

Узнав об этом, отставленный генерал двинул войска на столицу.

В этой ситуации весьма любопытно повели себя основные политические партии. Левые – эсеры, эсдеки-меньшевики и эсдеки-большевики, – всегда державшие нос по ветру, поддержали Керенского, а правые – кадеты – в знак солидарности с Корниловым дружно ушли из правительства, чем только помогли его оппоненту, не ставшему искать им замену и учредившему вместо полноценного кабинета так называемую Директорию, которая, подобно аналогичному органу революционной Франции, также состояла из пяти человек. В нее кроме министра-председателя вошли министр иностранных дел (непотопляемый

Терещенко), военный министр (полковник Верховский, тут же произведенный в генералы), морской министр (контрадмирал Вердеревский) и министр почт и телеграфов (эсдек Никитин).

Поход Корнилова на Петроград остановили. Самого его арестовали и заперли в быховской женской гимназии неподалёку от Могилева вместе с другими соратниками, включая более дюжины генералов.

Пока два кандидата в диктаторы выясняли отношения, сбылось предсказание одного из них: 25 августа германский кайзер Вильгельм Второй принимал парад своих войск в захваченной ими Риге. До Пскова, уже испытавшего в семнадцатом году один позор, немцам оставалось немногим больше трехсот вёрст.

Русская армия замерла перед неприятелем, как кролик перед удавом: дальнейшие события зависели теперь только от него. Ребром вставал вопрос: капитуляция или унижительный мир с большими территориальными уступками.

– Не расстраивайся, Серж: навоюешься еще на своем веку, – утешал друга Угрин.

Но тот не скрывал своего разочарования:

– Мне бы хоть разочек в бой. Хоть чуть-чуть понюхать пороху.

– Говорят, нашим под Ригой пришлось нюхать совсем другое, так что несильно переживай, что тебя там не оказалось.

Михаил намекал на использование неприятелем химических снарядов в ходе Рижской операции. Впрочем, такие же стояли на вооружении и в их артиллерийской бригаде.

Директория просуществовала меньше месяца. В это время возник еще один непонятный правительственный орган – Временный совет Российской республики.

– Совсем с ума сошли! Какая еще республика? – возмущался Угрин, читая газету. – До созыва Учредительного собрания никто не вправе менять образ правления.

– Ты хочешь сказать, что у нас всё еще монархия? – подначивал его Мамонтов.

– Если подходить формально, то – да.

– Знаешь, Мишель, формальности давно всем надоели и отброшены за ненадобностью.

– Ничего подобного, – не соглашался Михаил, – если ребенок появится на свет до венчания родителей, он по-прежнему будет считаться незаконнорожденным. Эта республика абсолютно ублюдочна.

Руководителей своих новых тактических союзников – большевиков, арестованных после попытки июльского переворота, Керенскому пришлось выпустить. Патологически трусливый Ленин, однако, выйти из своего укрытия побоялся, косвенно подтверждая тем самым выдвинутое против него обвинение в связях с германским штабом. Троцкий же буквально через несколько дней в качестве признанного лидера партии, куда совсем недавно вступил, баллотировался и

успешно прошел на пост председателя Петросовета, где сменил меньшевика Чхеидзе.

Вчерашний политический маргинал потирал руки: уж он-то точно знал, как теперь захватить власть в стране. Помешать ему мог только Ленин, поэтому надо торопиться, пока тот сидит в глубоком подполье.

И Троцкий, хорошо помнивший июльские ошибки своих новых однопартийцев, создал Военно-революционный комитет Петросовета. Якобы для защиты от возможных очередных атак корниловцев. Но умные люди прекрасно понимали главную цель этого органа, бывшего многопартийным. Сам он не стал его возглавлять, выдвинул в председатели 26-летнего эсера Павла Лазимира, одногодку Михаила Утрина.

Мог бы Троцкий войти и в очередное коалиционное правительство, сформированное Керенским. Однако его требование о невключении туда кадетов не прошло, и он убедил большевистское руководство бойкотировать новый кабинет. С этого момента прямое столкновение Временного правительства и Советов, полгода старавшихся находить компромиссы, становилось неизбежным.

(окончание следует)

Валерий Черешня

* * *

Лето начни со стрелы подзаборной травы,
в пальцах растертой до горького запаха дач,
детские раны скрепляют прозрачные швы:
в таз перевернутый капельный цинковый плач.

Морем проём переулка до края налит,
стертые зубы булыжника катят уклон,
от тишины неподвижности в ухе звенит,
солнце в закатной истерике – вечер ворон.

То, что велело увидеть, запомнить, вобрать,
острыми вспышками смысла внезапно болит,
даже душе, если будет она умирать,
губы расклеит и слово освободит.

Что уж там вырвется – пение, пена ли, стон
или в молчанье слежавшийся каменный стыд, –
всё там аукнется нищенский вечер ворон,
вид из себя, надоевший, единственный вид.

* * *

Сладкий запах духов старушки,
допоздна сидящей в гостях,
на столе – конфеты и сушки,
у хозяев – истома в глазах.

Разговор, как растение, вьётся,
застревая в расщелинах сна,
огибая глухое болотце,
где, как ряска, стоит тишина.

Тишина с одиночеством рядом
тянут в черную бездну пустот,
что похожа на живопись ада,
на ее провалившийся рот.

И ребенок, сомлевший на стуле,
всё никак не умеет понять,
что ей надобно, этой бабуле, –
далеко еще там умирать.

* * *

Снова ищешь подсобный язык
 для еще не случившейся вести,
 слышишь ос нарастающий зык,
 громогласие прогнутой жести.

Ты становишься гулкой, пустой,
 полный эхом бессмысленных звуков,
 колобок, коробок запасной,
 позабытый у Господа в брюках.

Трудным словом порой побренчишь
 и покатишься в путь безопасно.
 Даже хищного времени мышь
 выгрызает лишь то, что напрасно.

Остается пустяк и костяк:
 вывих чувств и бытийные клещи.
 Звонкий голос, похоже, иссяк,
 но звучат замолчавшие вещи

* * *

Все глупости, все мерзости, все страхи
 себе равны, не требуя метафор.
 Клюют мозги уродливые птахи,
 высасывая жизни нежный сахар.

Душа теряет юную пластичность,
 в утробу мира разумом врастая.
 Египетских богов сухая птичность
 сжирает всё, как хищных чаек стая.

И остается утлая сутулость,
 вневременья светящаяся точка
 над скрипом продырявленного стула,
 над рукописи выправленной строчкой.

В ней детских трав спасительные трубы
 волнуют воздух чистотою тембра,
 и старческой растерянности Рембрандт
 в кривой улыбке снова скалит зубы.

* * *

Выйти из парадной и проглотить
 ледяное молоко метели,
 за которой виден еле-еле
 путь.

Ближний дом привычно обогнуть
и остановиться в столбененьи:
не метели головокруженье –
суть

колким снегом поцелует в лоб,
застилая белизной окрестность,
это проступила жизни честность,
чтоб

старым скопидомом сосчитать
всех мгновений точечное счастье,
перед тем как неживого частью
стать.

* * *

Внутри ни шороха, ни всплеска.
Так больно думать и смотреть,
как будто навели на резкость
добро и зло, и жизнь, и смерть.

И окончательная ясность
сожгла, безжалостно слепя,
неведенья былую праздность,
а с нею заодно – тебя.

И даже Город, без изъятъя
весь помещавшийся в душе,
несет теперь клеймо проклятья
непоправимого уже.

Вот только если вспыхнет лепет
листвы танцующей в зрачке,
твой пепел обратится в трепет
ожившей бабочки в сачке.

* * *

Ни счастливой мысли, ни бессмертной строчки,
кажется, дружок, ты дошел до точки,
кажется, сегодня ты превысил норму
ни душе, ни телу не доставив корму.

Поживи немного с выключенным звуком,
немоты постигни легкую науку
побираться тенью у былых мгновений,
созерцатель своего исчезновенья.

Лишь вначале страшно, а потом правдиво,
 так молчит о главном линия залива:
 как ей удастся, выгнувшись дугою,
 повторить твой выдох, стать почти тобою.

Вот и ты оставишь только отблеск взгляда
 на деревьях сада, взятого оградой,
 на блесне каналов, на ребристых крышах,
 посланных нам свыше, выше, выше...

* * *

Бабочка-память сонно застыла,
 чуть припорошена прошлого пылью,
 как оживить тебя, чтоб приоткрыла
 легких мгновений широкие крылья,

чтоб полетала над детством беспечно
 с вычурной грацией юной шалуньи:
 все еще живы, и жить будут вечно, –
 так обещала веселая лгунья.

Бабочка-память, крёстная жизни,
 как прихотлив твой полет через годы:
 то охлестнет и удавкой стиснет,
 то окунает в счастливые воды,

то растворится в небесном сиянье,
 то с наготой укрупняющей линзы
 явит тебе без прощенья прощанье –
 лик беспощадный эдиповой сфинксы.

Бабочка-память, твое трепыханье
 время скрепляет невидимой осью.
 О, многоцветный танцующий мостик
 в будущий мир моего небыванья.

* * *

Жить в картине малого голландца
 в Эрмитаже, в зале проходном,
 быть зевакой лапотного танца,
 сдобренного трубкой и вином,
 любоваться мельницей с запрудой,
 девку затащить в глухой закут.
 Как ликует на столе посуда...
 Жизнь полна и смысла, и уюта,
 коль на холст ее перенесут.

А ночами выходить на площадь,
славную суровой наготой
чистых линий, где тебя расплющит
всадник, одержимый мастой
расширенья плоского пространства,
вся ему Вселенная тесна
для родного призрачного ханства...
В гибельно-торжественном убранстве
конь летит, ко-пытками звеня.

* * *

Ничего не изменилось, изменилось всё,
словно ты при жизни умер и пошел в кино,
вот плывут родные лица, искореженные в дрожь,
вроде, всё тебе знакомо, никого не узнаешь.

Детства маленькое горе, ты выходишь на балкон:
под тобой толпа струится, над тобою – неба трон,
в золотом сиянье клена затерялся солнца грош,
ничего ты не забудешь, никогда ты не умрешь.

Будет вечно вечер длиться, будут листья обмирать,
вдоль по стенке будет виться винограда благодать,
будет грузно разбиваться черноморская волна,
оставляя на причале пенной страсти письмена.

Легким облаком промчится несравненное лицо,
ослепительным овалом чёлки взятое в кольцо,
так устроен, так задуман этот облик, этот лик,
словно из родного спазма горлосжатия возник.

Может, и слепилось тело, чтоб наощупь узнавать
всё, что бестелесным духом не постигнуть, не объять,
чтоб истертое до боли и в царапинах обид
открывало духу этот несказанно близкий вид.

В нем, как в истине, застынет всех мгновений ерунда,
в червоточинах прозрений жизни серая руда,
до истлевшего листочка соберет и сохранит,
и заложит светлой жилкой в бесконечности гранит.

Чтобы тот, кто вечно бродит вдоль кипящих звездных рек,
кто шарманку-жизнь заводит, время стряхивая с век,
вдруг заметил эту жилку среди других бессчётных жил
и ее рисунок тонкий по заслугам оценил.

Томас Венцлова

ЭОС

(автоперевод с литовского)

Лодку морем влекут окрики осени.
Вскоре пульс маяка вынесет странницу
На пространство залива
Меж темнеющей Истрией

И зубцами Лефкад. Стынущим воздухом
Утомленный, рыбаки тащат скользкие
Драгоценности. В жилах
Хлеб с вином, словно в крепости.

Отдаляется смерть. Ласточка бодрствует
В предзвездной тиши – там, по ту сторону,
Где Эгей был обманут
Черным траурным парусом

И пленен глубиной. Здесь, в одиночестве.
Попирая мотор, стоя у пристани,
Ты найдешь на песке
След, оставленный некогда.

В изголовьи гранит, ложе из вереска,
И бессонницей полн голос неузнанной.
Ты отсутствовал долго,
Не сверяясь со временем.

Пена бьется о холст, блещет под веками,
Лишь упорство луча трогает радужку,
Чтоб в сетчатке застыла
Геометрия облака.

Томас Венцлова в переводах Анны Гальберштадт

МАРШРУТ ДО ПЛАНТОВ

Между трамвайными остановками расцветает жасмин.

Ты мог бы жить и умереть здесь, но решил вернуться
в свое барочное княжество с извилистыми переулками,
безлюдными дворами и набережными и, вероятно,
не пожалеешь об этом.

Ну вот и старость. Кости твои отяжелели,
чувства постепенно притупляются,
в глазах темнеет, и уже не видны острия башен в небе.
В трамвай садится длинноногая красавица брюнетка –
одна из тех, которые тебя всегда привлекали.
Ты слышишь каждый звук, произносимый ею,
но не улавливаешь смысла

Цвета и запахи тоже смешались.
Ты видишь только, что мимо скользят порталы
в стиле австрийского модерна. Дальше – театр,
перекрещивающиеся пути,
улица, ведущая к прямоугольной площади,
бетон которой разнообразят недавно посаженные
мелколистные липы.

Пора попрощаться с соборами,
картинами, картами и атласами, которые ты любил
сильнее большинства книг. С ароматом кофе и
упругой щекой женщины, что тебе дорога.

По сути дела, тебе везло. Не довелось испытать
тюремные нары и настоящую, сокрушительную нищету.
Не убил алкоголь, хотя ты и жил с ним,
как все в твоём поколении.
Не пришлось заполнять карточки по восемь часов ежедневно.
Ты любовался фруктовыми деревьями
и насыщался телом любимых,
хотя эти деревья уже не растут,
а накидки и шляпки твоих подруг давно истлели.
Видел то, что хотел увидеть, хотя на это не надеялся.
Кое-что сделал, но главное –
пытался избежать поступков, которых стыдятся до смерти
и даже после смерти.
И, пожалуй, избежал, или почти.

Ты причинял боль тем, кто любил тебя,
и они простили тебя, хотя ты себя прощал, но не всегда.

Ты понял, что не подобает ходить в ногу с толпой –
даже тогда, и, возможно, особенно
когда гимн, который она поет, тебе понятен
и близок.

Твои стихи, возможно, кто-то будет читать по ночам,
но, слава Богу, их не будут читать
во время государственных праздников.

Ты ходил по краю пропасти –
 ученые называли эту бездну латинским местоимением id –
 но ты защищался от нее.
 Тут помог будильник, будивший тебя по утрам на работу,
 но, пожалуй, больше всего – склонения и ударения.

Как сказал Солон, всё еще может рухнуть.
 Не назови счастливым человека, который
 не прожил все отведенные ему дни.
 А этих дней – тысячи, и ни один не похож на другой.
 Но ангел, оберегавший тебя с детства на обрывах Панемуне
 и в переулках предместий под серебристыми пихтами,
 вряд ли покинет тебя и сейчас,
 если ты его правильно попросишь.
 Ближе к концу всё увеличивается –
 расстояния, кусты жасмина и брусчатка.
 Единственное, что не имеет масштаба, –
 это удивляться тому,
 что мир всегда существовал,
 и что он останется, когда тебя уже не будет.

КАФЕ У ВЛТАВЫ, 1923

1.

в этом кафе
 я часто думаю
 о том, что могло бы произойти
 хотя скорее всего никогда не случилось.

здесь, где каштаны и липы
 только закончившаяся война
 обошла стороной
 и новости еще не дошли
 о ноябрьских волнениях у Хофгартена
 о смертельной болезни диктатора
 в усадьбе за пределами столицы

просто кофейня

и непременно стук копыт за окном
 дребезжащие рельсы
 может быть первые капли дождя
 на скульптурах барочного моста

2.

женщина сидит в углу
за мраморным столиком
запрокинув большую голову
с челкой на лбу
уже слегка посеребренной
с сигаретой
зажатой между мужскими пальцами

полотняная штора прикрывает стекло
байдарки мерцают сквозь агавы
мирный зеленый склон
который еще не стал ее горой

по сути, это чужой ей город
каким бы прекрасным он ни был

она приезжает сюда только раз в неделю
заказывает кофе
гонорар оплачивает газета
задуманная горсткой эмигрантов

жизнь как на вокзале
раскладываться не стоит

3.

мужчина переходит мост
с трудом поднимается по крутой улице

по ее словам
мостовая как шахматная доска
черные и белые квадраты
непонятно, кто же игрок

кашель его измотал
но трамвай прибыл вовремя

высокая талия, неуловимые глаза
аккуратно одет, как и подобает порядочному чиновнику
он уже выполнил всё самое главное
уже испытал единственную короткую ласку Милены
уже умирал несколько раз

приняв решение
сжечь написанное им
потому что в нем нет надежды

это его пожелание не будет исполнено

она прочитает его книги
только тогда когда оно сбудется

4.

он извиняется, проходя мимо столика женщины
заказывает бокал вина
метрдотель предлагает ему газету, мужчина машет рукой
рассматривает силуэт облака
не смотрит на стриженные кудри
а она занята перепалкой с дочерью

может, и раньше они пересекались на улице

его речь состоит из заглавных букв
ее – из крика и шепота

оба они в этом городе
видят мир пронизательней всех
и за это заплатят

его горло заткнет горечь
ее горло сдавит петля
на нарах концлагеря
умрет Милена
забыв, как его голова
касалась ее плеча
а отец дочери, потягивающей кофе,
получит пулю в затылок
в подвале

но шахматист будет милостив
и не даст дожить до этого

5.

он встает и выходит
автоматически улыбнувшись

огибает столик, смотрит
на параболу арки в зеркале
на белый гипсовый пилястр

она видит только тень у двери
допивает свой кофе
говорит дочери «что ж, пора уже»

.....
мне бы хотелось
чтобы они увидели друг друга
поговорили
соприкоснулись ладонями

как если бы это что-то изменило

Марина Цветаева и Франц Кафка в 1923 году оба жили в Праге, но, кажется, ничего друг о друге не знали. В стихотворении многое указывает на обстоятельства их жизни. И в нем есть скрытые цитаты из Цветаевой.

Волнения у Хофгартена – гитлеровский путч в Мюнхене. Диктатор – Ленин (Т.В.)

АМФОРА

1.

наконец-то этот перекресток
в нескольких минутах от центра

сквозь окно автомобиля
угадываешь обитый желтыми досками

прямоугольник
трапецию крыши
квадрат сада

ветер утих но шум волн
даже здесь слышен

молодая женщина за оградой
не решается окликнуть хозяина по имени

2.

над папоротниками сплетенные ветки

дом глазет
на невидимую звезду

он подарен на время и поэтому
тесен и весел

тогда нам казалось
что ничто не меняется

родители будут всегда
жить неподалеку
писать письма за часом

всегда в тот же час будет зажигаться
лампа в виде тюльпана

транзистор будет тарыхтеть но сквозь шум мы услышим
запретные вести
и иногда даже стихи
тираны будут вызывать не страх а презрение

по поверхности деревянного столика будет ползти
большая круглая улитка

чайки будут гоняться
за своими крылатыми тенями
в вечернем песке

мы будем сидеть на ступеньках повторяя
то акростих то палиндром

3.

Над нами шефствовали богини лета
не гордячка Афина Паллада не жестокосердная Афродита

мужчины шутили женщины рассыпали по тарелкам клубнику
разливали молоко по чашкам

ключи звякали
простирались июнь и июль

ночью на веранде твоя голова
оттягивала мое плечо
шептались обнявшись
ты понимала то чего не понимал я

в темноте исчезающая ладонь
до сегодняшнего дня умеет воссоздавать
твое исчезнувшее во тьме тело

4.

гости этого дома
умерли нелегкой смертью

один оказался в городе
языка его он никогда не понял как надо
там ему чудились прикинувшиеся друзьями убийцы
казалось что собаки научились там говорить

он упал в читальном зале с лестницы
с верхней полки
снимая книгу
о шифрах разведок

другой остался на родине
его сбил автомобиль
может быть тормоза отказали
может поскользнулся на льду
даже может быть бросился под колеса
так или иначе он прожил еще десять минут

третьего тоже нет
жена сказала не стоит
с ним видеться потому что он
не узнает даже близких

а нам с тобой достались разные
колодцы с разной водой
полили нас равнодушием

живем в забвении
иногда прикасаемся к предметам
к тем самым к которым прикасались в юности

5.

как будто нашли амфору
под столетним слоем гравия
разбитую на осколки

на светло-красном фоне
остатки черных фигур
когда-то нарисованных на глине
жертвоприношения походы бои

но уже не поймешь кто этот герой
Гектор или Полиник

кто придет их оплакать
Приам или Антигона

бесцельная преданность
рассыпавшиеся глиняные слова
гул давно утихшего моря
еще достигающий слуха

окна в невидимую звезду

ОБСЕРВАТОРИЯ ПОЧОБУТА

Я спускаюсь сквозь изгороди, через осевшую площадь.
Снег давненько растаял. Во дворе уже пробивается трава.

Я знаком с этой местностью, но не всегда понимаю, что говорят прохожие. Произношение немного другое, возможно, сместились ударения, образовался новый сленг.

Помню архитектуру. Город вогнутый, как греческий амфитеатр. Скруглённые углы, колючие стены без штукатурки. Слева – тяжело-весная барочная кривая – один приятель как-то прозвал ее «ушной раковиной Бога».

В самом центре пятиэтажная белая колокольня. Ее правое плечо, если смотреть с холма, продолжено белым восклицательным знаком. По бокам простирается неевклидов фасад, напоминающий церковный орган – я приходил туда в дни, когда на душе было тяжело, и его музыка ни разу меня не подвела.

За окнами простирался пейзаж несвободы. Никто не рассчитывал дожить до ее конца. Называли себя ее заложниками, часто непризнанными героями. Заполняли анкеты на мятых листках бумаги, которые оборачивались отказами или постепенно превращались в доносы. И этот ком ненависти в горле.

Всё размеренно и обыденно, неизбежно, как времена года. Все пользовались одним и тем же языком, который оскудевал с каждым днем, а другого не было.

Ждали спасения от божеств, которые придумывали сами. Искали их в дымных баньках, в чащах болот и лесов, во тьме собственного страха.

Последние жаждали стать первыми, меньшие хотели отплатить великим той же несправедливостью – желательно, с лихвой. Поняв, что это невозможно, унижали своих товарищей по несчастью.

Придерживались старых обычаев, но только тех, что не были запрещены, и очень этим гордились.

Город трудился, отдыхал, пировал, как и любой город с начала времён, и чувствовал, что всего лишь притворяется.

Но на полукруглых башнях за неевклидовым фасадом светились знаки зодиака.

Я не верил, что они определяют нашу судьбу, но знал, что созвездия старше нас и переживут рабство.

Они провозглашали иной порядок – не единообразный, не лживый, не замешанный на мести. Странные создания в саду вселенной, счастливые звери и люди, познавшие чудо.

Вот и всё, что я принес из прошлого. Над молодой травой – Лев и Рыбы, Близнецы и Дева.

Вильнюс – Нью-Йорк

Слава Сергеев

Чтение и чувства*

Открыв глаза, первое, что я вижу – это ярко-синее небо в окне, с уже знакомым конусом Базилики, мгновенно всё вспоминаю и радуюсь – ура, мы в здесь, мы – в Назарете!.. Проснувшись окончательно, я вспоминаю, что сегодня воскресенье и блаженно потягиваюсь – можно никуда не спешить.

– Проснулся? Пошли на службу, – говорит жена. Она уже встала. – Сегодня же Пальмовое воскресенье! То есть, что я говорю, – Вербное!.. Чуть не пропустили – спасибо, я услышала колокольный звон и догадалась. Я забыла здесь обо всем, даже об этом. Пошли к нашим, в церковь Благовещения.

– *Наши?*.. Это греческая церковь, – говорю я. – Может, одна сходишь, а я вечером?

– Нет, – коротко отвечает жена, – как тебе не стыдно. Вечером ничего не будет. Вставай.

И я нехотя встаю. Как после таких слов нежиться в постели – а вдруг и правда не будет?

После короткого чая с местными бубликами мы выходим во двор. На улице уже жарко. Под оливой завтракает компания европейцев.

– Ні! – говорю я и повторяю по-русски, ведь мы же соседи: – Здравствуйте!

– Ні, – сухо отвечает один из европейцев. Одна девушка улыбается, остальные молча смотрят на нас. Судя по языку, это братья-славяне – поляки или чехи, звуки «sh» и «ch» слышатся через слово. А мы – *R-russians!*.. Мы недавно забрали Crimea и воюем в Donbass...** Причем, по-видимому, они думают, что воюем *все* без исключения... Место, в котором мы встретились, кажется, тоже значения не имеет.

Зато менеджер нашей мини-гостиницы Рашид Прямой Путь (мы вчера перевели его фамилию с арабского на русский) радостно приветствует нас и спрашивает, не приготовить ли завтрак? Мы отвечаем, что вернемся через час-полтора, после церкви, – вот тогда, а сейчас не надо, – и он понимающе кивает.

– Дорогу найдете? Из ворот направо и вниз по улице, как мы шли вчера от автобуса, мимо Russian House, если вы – в греческую церковь. Вы ведь в греческую, да?..

На всякий случай скажу, что в построенном в 1904 году доме рус-

* Главы из романа.

** Время действия романа – весна 2014 года.

ских паломников (вывеска «Русский домъ» с буквой ять отчетливо видна) по странному совпадению последние двадцать лет находится израильская тюрьма – может быть, из-за толстых стен.

Празднично одетая толпа заполняет площадь – ту самую, на которой вчера проходила пропалестинская демонстрация. Многие держат в руках пальмовые ветви, в наше время – знак мира, во времена Христа – знак победы; плотно закрытые вчера церковные ворота сегодня открыты настежь.

Кроме пальмовых ветвей, у женщин в руках что-то вроде свадебных букетиков из каких-то южных вечнозеленых растений – лаврового листа и, по-моему, оливы – в середине которых горят большие белые свечи. Это очень красиво. Большинство людей на площади – местные жители, во всяком случае, судя по внешнему виду, это те самые арабы-христиане, о которых нам говорили в Нетании и о которых пишут путеводители, – но попадаются и туристы. Израильтян я не вижу, но знаете, иногда они бывают очень похожи на арабов – как говорится, все мы дети Авраама.

Впрочем, всё это неважно. Меня, привыкшего к постным лицам на церковных торжествах в Москве, поражает неподдельная радость жителей Назарета. Кроме того, люди одеты совсем не буднично, как обычно одеваются в церковь в России: мужчины в костюмах и белых рубашках, а женщины чуть ли не в вечерних платьях, и совсем не до пят, – сразу видно, что люди пришли на праздник!.. Через репродукторы на воротах церкви на всю площадь транслируется служба, хор торжественно поет по-гречески.

Поскольку греческого, кроме слов «Аллилуйя» и «Кирие элейсон!» мы не знаем, я достаю из сумки потрепанное карманное Евангелие на папиросной бумаге (мой личный раритет, 1986 года издания, сделано еще в Финляндии для контрабандного ввоза в СССР), мы находим нужное место и тихо читаем вслух: «Огромная толпа устилала дорогу своей одеждой, а другие ломали ветви с деревьев и постилали по дороге; народ же, предшествовавший и сопровождавший Его, восклицал: ‘Осанна сыну Давида! Осанна в небесах!.. Благословлен Идущий во Имя Господне!..’ Когда Иисус входил в Иерусалим, весь город был в волнении...»

Соседи косятся на чужой язык, но, увидев у нас в руках маленькую книжечку знакомого формата, улыбаются. Из ворот церкви выходит священник в сопровождении дьяконов, что-то говорит по-арабски в мегафон, толпа хором отвечает. Священник машет кадиллом на толпу, все крестятся и кланяются. Мы тоже – а что нам еще делать?

– Пошли внутрь? – спрашивает жена. – Можно попробовать потолкнуться. Пошли?

Вслед за Лизой я пробираюсь в толпе к воротам. Прихожане стоят густо, но не вплотную друг к другу, и пройти между ними можно, особенно повторяя волшебное слово *sofy*, обозначающее ино-

странцев. В странах третьего мира, вроде Израиля или России, это слово, как и сам английский язык, иногда дает некоторую «экстерриториальность», а иногда даже защиту. Через украшенные большими пальмовыми листьями ворота мы входим в церковный двор, где стоит аналой и два больших канделябра, – идет служба. Во дворе людей больше, чем на улице, они тоже празднично одеты, и я обращаю внимание на то, что лица их не такие веселые, а более торжественные и строгие, чем у тех, что стоят на площади.

Канун Страстной недели – можете сказать вы, что веселого?.. Но мне показалось, что арабские христиане, грустя, все-таки не похожи на российских: наши иногда будто выполняют какую-то обязанность, будто это «так надо» – но кому?.. – чтобы они были печальны, или изображали печаль вне зависимости от того, что они чувствуют на самом деле. А местные были серьезны, но не грустны, а как-то радостно и искренне серьезны.

Впрочем, может быть, я всё тут сочиняю, и у нас дома верующие люди действительно грустят, – ведь мы же знаем, что последовало всего через неделю после криков «Осанна!», народная любовь – вещь очень недолговечная; кроме того, многие мои соотечественники, особенно пришедшие в церковь не так давно, просто не понимают старославянского языка, на котором ведется служба, и это, конечно, отражается на их лицах. Так что – я ничего не утверждаю.

Но если говорить лично обо мне, ведь свои-то чувства я знаю и, возможно, уподобляюсь тем, кто когда-то кричал «Осанна!» и стелил одежду под ноги осленка Иисуса, но знаете – я радуюсь. Я всегда очень радуюсь в этот день и очень люблю этот праздник, еще с детских, советских, недобрых к Церкви, атеистических времен. Люблю, наверное, благодаря этому осленку, вдруг увиденному на иконе в полупустом, плохо освещенном, старом, не закрытом советской властью храме в начале 1970-х годов, куда втайне от родителей пришел с нашей домработницей, моей няней... Няня была простой крестьянкой из-под Вологды, бежавшей из своей голодной деревни в Москву в тот же год, когда Хрущев раздал крестьянам паспорта. Она работала дворником, потом на стройке, потом, еще до моего рождения, попала к нам и осталась, стала членом семьи. Я спросил у нее, кто это там, на ослике, и помню ее короткий ответ, который тогда очень меня удивил:

– Наш Господь.

А потом, повзрослев – наверное, лет через двадцать, – узнав больше, уже прочитав слова «А если кто скажет вам что-нибудь, куда забираете осленка? Отвечайте – он нужен Господу», то первое впечатление не забыл и вспоминаю его почти каждый раз перед Вербным воскресеньем.

Что еще меня удивило – это огромное, в человеческий рост, раскрашенное пасхальное яйцо в углу двора на специальной подставке (как я ни искал потом в Интернете, что это значит, не мог найти, а

спросить у местных забыл, слишком много было вокруг необычного). Мы решили, что его просто приготовили заранее.

Отдельной группкой стоят русские паломники, их сразу видно: несколько испуганных тетенок в платочках и длинных юбках, во главе с очень худым и тоже то ли испуганным, то ли одновременно испуганным и сердитым молодым священником в черной рясе, держащем в руках большую бумажную икону Казанской Божьей Матери в дешевой деревянной раме. Я некоторое время смотрю на земляков, и мне почему-то становится грустно – так выделяются они в празднично одетой, полной приподнятой сосредоточенности толпе.

Вдруг среди священников, молящихся у алтаря в церковном дворе, я вижу еще одно русское лицо. Сначала я решаю, что мне показалось, что священник просто похож на русского, например, из-за русских, а не черных, как у греков и арабов, бороды и волос, но когда он подходит к микрофону и вместе с хором вдруг поет по-церковнославянски, повторяя без всякого акцента знакомые слова «Радуйся и веселися, град Сионе, красуйся и радуйся, Церковь Божия: се бо Царь твой придет в правде...», я понял, что это действительно русский. Я немного удивился, но решил, что вижу прикомандированного на время Пасхальных праздников в Назарет священника РПЦ, и подумал: а не поговорить ли после службы с ним – спросить, как лучше доехать до Капернаума и Иордана и не собирается ли он туда; сказать, что мы хотим посмотреть на место Первой проповеди и Крещения и, если будет возможность и вода не будет очень холодной, гм... даже окунуться там...

– ...окунуться?.. – переспросите вы, и я скажу: – Да, а что? Ведь если индуисты купаются в Ганге, чтобы смыть грехи, то Иордан – самое правильно место для христиан, – вы согласны?..

Еще я вдруг думаю, что, наверное, правильнее в этот день было бы быть в Иерусалиме, у тех ворот, в которые въехал Иисус, но потом решаю, что это всё суета и ерунда и, раз мы очутились именно здесь – значит, так и нужно.

«О, Иисусе Христе, Агнче Божий, прежде век на заклание приуготованный, ныне же в Иерусалим на вольную страсть грядый! Приими малое сие с вайами и ветви приносимое Тебе моление наше...», – пел русский священник, а арабский хор Назарета с сильным акцентом подхватывал:

– Аль-илуиа!..

Странное, очень странное чувство испытал я, дорогой читатель, стоя в этой церкви. В Москве и в Европе, в храмах на церковных службах иногда у меня возникала мысль, что мы все, находящиеся там, – прости, Господи! – зачем-то это всё... себе придумали. Что нам так легче. То есть, если называть вещи своими именами, я не верил событиям, изложенным в Евангелии. А на этой площади – и вчера, в базилике, и на прилегающих к ней улицах, – я вдруг подумал: так что, это всё – правда?!..

И, признаюсь вам, даже испугался этой мысли.

После короткого крестного хода, который обошел с хоругвями изнутри церковный двор (про себя я отмечаю, что в отличие от нашей родины двор обошли изнутри, на всякий случай не выходя за ворота), служба заканчивается. Прихожане выстраиваются в очередь к источнику в глубине церкви, мы тоже пристраиваемся в хвост этой очереди, и я вдруг думаю (хотя забавно, что не сразу), что это – *тот самый источник*, где Мария услышала ангела. Повторюсь: интересно, что у меня не возникает ни малейшего сомнения в правдивости этого предания, хотя позднее, в Москве, я читал, что некоторые очень авторитетные богословы не разделяют моей уверенности, потому что *нигде в текстах канонических Евангелий* источник Благовещения, увы, не упоминается. Только в апокрифических, в так называемом «Евангелии от Иакова», папирусы которого датируются серединой II века нашей эры, то есть примерно через 110-120 лет после Евангельских событий. Но, повторяю, это я узнал уже по возвращении в Москву. Впрочем, 120 лет – это ведь немного, правда?

А тогда я просто смотрел и видел, что источник находится в маленьком гроте, где по черным камням за невысокой решеткой бежит вода. Что в стене перед источником очень разумно устроен водоотвод и медный кран, люди пьют, умываются, набирают воду в пластиковые бутылки, и, как в базилике Благовещенья, где мы были вчера, бросают записки и монетки за железную ограду... Некоторые фотографируются. Я оглядываюсь, ища служителя или иконную лавку, но ее, разумеется, нет, это не Россия, торговля в храме запрещена – Иисус ведь изгнал торговцев из Храма. И только у двери в церковь стоит «кружка» для пожертвований, и около нее за чем-то вроде деревянной конторки сидят двое немолодых мужчин в светской одежде.

Но я ведь русский, поэтому я говорю им, подходя:

– Icons... I would like to buy icons of this church...

Мужчины пожимают плечами, но потом тихо, чтобы не видели другие туристы (о, мой Восток, как я люблю тебя!) дают мне маленькую бумажную иконку Благовещения, пять на десять сантиметров, с цитатами из Евангелия по-арабски с обратной стороны – это всё, что есть в храме. Служитель при этом что-то говорит, показывая рукой на выход из церкви, по-видимому, имея в виду небольшой сувенирный и фруктовый базарчик за ее воротами. Наконец, один из стоящих рядом солидных мужчин в дорогом костюме произносит знакомое слово «there» и машет рукой в сторону выхода.

Я благодарно улыбаюсь:

– Спасибо, thank you.

– Пажалюста, – говорит мне мужчина.

– Они тут любят русских, ты заметил? – тихо говорит мне жена, когда я возвращаюсь в очередь и тихо показываю ей иконку. – Мне несколько человек прямо улыбнулись во дворе, когда мы с тобой заговорили.

Читатель, не удивляйся акцентам нашего внимания, я думаю, что

ты помнишь: начиная с 2014 года улыбки в адрес русских за границей постепенно становились редкостью.

Мы крестимся издаലെка на грот, я глядываюсь и вижу расписанные своды, большую фреску с надписью на четырех языках: арабском, греческом, латыни и церковнославянском. Надписи на иврите или арамейском нет, и это кажется мне странным, потому что ведь именно на этом языке Гавриил обратился к Марии – а не по-гречески или на латыни... Становится слышным плеск воды – тихий, не умолкающий 2000 лет, а скорее всего, много больше. Может быть, в этом плеске Ей почудились слова Архангела?

Через минут десять мы спускаемся на несколько ступенек. Камни и вода источника отделены от людей невысокой медной решеткой. Перед входом с потолка спускаются горящие лампы, над водой укреплена большая икона Благовещения не совсем обычного письма: Архангел, протягивающий руку, сложенные ладони Марии, а в ее животе – светящийся овал и в нем крошечный Младенец с нимбом... И то ли краска пострадала и расплылась за годы от водных испарений, то ли таков был замысел художника, но весь низ иконы залит розовым и алым туманом, из которого выступают фигуры Архангела и Марии... В узкие окна льется солнечный свет, плиты пола, как обычно в таких местах, отполированы тысячами подошв до блеска, тихо журчит вода по камням... Молодая женщина из пары, стоящей перед нами, опускается на колени, шепчет молитву, я слышу немецкие слова *Herr, erbarme dich!*; ее, видимо, неверующий муж тихо стоит рядом, неловко переминаясь с ноги на ногу.

Женщина стоит на коленях долго, когда она встает и, чуть улынувшись, проходит мимо нас, мы делаем несколько шагов вперед и тоже опускаемся на колени. Я берусь одной рукой за решетку, другой прислоняю к ней маленькую бумажную иконку с арабскими надписями, которую мне дали только что, и мне снова, как вчера в базилике Благовещенья, начинает казаться, что настоящий, подлинный мир – там, с той стороны решетки, а мы лишь смотрим на него – отсюда.

«Радуйся Благодатная, Господь с Тобою», – негромко говорю я. Я на минуту прислоняюсь лбом к холодной и влажной решетке: «...Господь с Тобою, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева Твоего». Сзади уже кто-то покашливает, я мочу руку в воде, текущей из крана рядом и рисую у себя и у Лизы на лбу маленькие крестики и договариваю: «...благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила Ты душ наших». Замираю, будто прислушиваюсь к чему то... Тихо поет вода. Встаю.

После полутемного грота солнце на улице слепит глаза. Некоторое время мы молча стоим среди людей во дворе, приходя в себя, привыкая к яркому свету, потом решаем всё же подождать, когда выйдет русский священник.

Я смотрю на очередь в грот Благовещения, на церковь, на висящие над входом и валяющиеся повсюду под ногами большие пальмо-

вые листья (кстати, это они в Библии называются *вайи*), на ярко-ярко синее с белыми облаками небо, и думаю:

Боже мой, спасибо... спасибо.

Когда толпа немного редет, мы видим русского священника, он с кем-то говорит у алтаря. Мы подходим ближе, и я прислушиваюсь: говорят по-арабски. Мы дожидаемся конца разговора, подходим, и хором – по-русски и по-английски выпаливаем:

– Здравствуйте! Hello!

Священник оборачивается, совершенно не удивляется и, улыбувшись, отвечает по-русски:

– А, это вы? Я вас видел вчера, в кафе, – он делает рукой движение в сторону площади, – вы не обратили на меня внимания... Я решил, что вы туристы. Просто туристы, не паломники, – уточняет он.

– Вы из России? – спрашиваю я.

– Когда-то был из России, – отвечает священник. – Давно... А что?

– Мы думали, что вы командированный от Московской патриархии, – будто чего-то стесняясь и понизив голос, говорю я.

– Я? Боже упаси, – отвечает священник с вежливой улыбкой.

Исходя из наших убеждений, мы тоже, вроде, должны были бы улыбнуться, но вместо этого я теряюсь и немного сержусь. Я даже знаю причины моей злости: мы-то из России... Зачем тогда он это говорит? Нам?

– Вы из Константинополя? – несколько сухо спрашиваю я.

– Почему? – снова удивляется священник: – Я отсюда, Иерусалимский патриархат.

– Но вы же русский?

– Ну и что?

Я растерянно замолкаю.

– Может быть, познакомимся? – улыбается священник.

– Да, извините... – мы называем себя.

– Отец Марк. – Священник пожимает мне руку и почти отдергивает ее, когда я делаю движение эту руку поцеловать – как меня научили в Москве.

Возникает небольшая неловкость.

– У нас к вам вопрос, – говорю я, решая не уходить вглубь этой неловкости и от смущения начиная ерничать. – Мы хотим... – я запинаясь, подыскивая слово, – ээ... Мы хотим окунуться в реке Иордан. Я знаю, что это здесь, недалеко. Как это сделать в... в индивидуальном порядке и в правильном месте?

– Вы хотите принять таинство крещения? Что значит «окунуться»? – спрашивает отец Марк.

– Я – нет, – говорю я. – Супруга.

Лиза делает что-то вроде небольшого полупоклона.

– А вы что же?

– Я... не в этот раз. Может быть, позже.

Священник с любопытством на меня смотрит:

– Вот как? Понятно... – Он на минуту задумывается.

– Видите ли, – говорит он, – это ведь на границе с Иорданией, берега там заросшие и, так сказать, культурных спусков к воде мало. А вы хотите... – он делает маленькую паузу и обращается к моей жене: – ...*Окунуться* в любом месте, или вам все-таки нужно место, где крестил Предтеча? Если в любом – поезжайте в Ярденит.

Я опять испытываю что-то вроде мгновенного головокружения: *в каком месте?.. Кто крестил?..*

Лиза видит мое замешательство и предлагает:

– А вы не выпьете с нами кофе?

– У меня не очень много времени, – говорит отец Марк. – Вечером я должен ехать в Иерусалим, из храма будет машина. Кстати, если хотите, могу подвезти.

– Нет, спасибо, – говорю я. – Мы пока останемся. Еще не всё здесь... – я запинаясь, – понятно.

– И сколько вы думаете пробыть здесь?

– Еще два дня точно, – говорю я.

– Вы думаете, за два дня что-то прояснится?.. – священник улыбается и едва заметно вздыхает. – Хорошо, давайте выпьем кофе. Вы не похожи на тех русских, которые обычно заходят сюда. Вы из Питера, я правильно понимаю?.. В протестных демонстрациях участвовали? – вдруг спрашивает он.

– Мы из Москвы. Участвовали... Однако вы неплохо знаете русскую жизнь, – удивленно отвечаю я.

Отец Марк пожимает плечами:

– Спасибо Интернету, да и в России остались родственники... Правда, дальние. – Минуту он думает, потом говорит: – Хорошо, подождите меня в кафе «Данте», там, где вы сидели вчера. Если сможете, займите столик в тени.

Это «занять столик в тени» звучит совершенно обыденно, будто бы нам сказали: если сможете, займите столик в «Шоколаднице» у метро Курская, только у окна, чтобы соседи в ухо не кричали, ок?

Идя к выходу, я оглядываюсь на грот Благовещения. Народу уже меньше, между людьми поверх голов видны икона, решетка, свисающие с потолка лампы и мокрые камни. Мне снова кажется, что Ангел, когда и если он приходил сюда, говорил с Марией очень тихо, она могла сначала даже не отличить его голос от шума воды.

Отец Марк, в миру бывший ленинградский востоковед-сеμιтолог Семен Михайлович К., приехал в Израиль в 1989 году на волне так называемой второй алии, то есть перестроечной эмиграции, и история его превращения в священника Иерусалимской Православной Церкви в чем-то очень проста, хотя типичной для Израиля ее тоже не назовешь.

– Как многие, я не мог поверить, что Перестройка – это навсе-

гда, – говорит отец Марк, – и воспользовался ненадолго открытой, как мне казалось, форточкой на Запад. Я сильно ошибся, – смеется он, прихлебывая кофе.

Мне слышатся в его голосе нотки сожаления.

– Жалеете?

Он пожимает плечами:

– Прожив здесь почти двадцать пять лет, жалеть о чем-то было бы глупо, но иногда я думаю, как сложилась бы моя жизнь в Санкт-Петербурге, если бы я остался... Видите ли, никто не ожидал, что Россия так изменится.

– Это да, – соглашаюсь я. – Но, кажется, мы двинулись в обратном направлении.

– Да, однако это происходит на совершенно другом общественном фоне. Здесь я сначала год работал продавцом в магазине одежды и учил язык, потом год – русским гидом у первых советских туристов, а потом мой диплом признало Министерство науки и образования Израиля (бюрократия здесь еще та, на элементарную вещь им потребовалась два года), и я начал работать в Иерусалимском университете, на кафедре истории... И вот, понимаете, когда к вам в руки периодически попадают пергаменты с фрагментами из Евангелия, датированные V, IV или даже III веком нашей эры, и при этом, выходя с работы, вы регулярно видите стену Старого города... Вы, как бы это сказать... очень погружаетесь в тему. И хотя сначала просто, почти как турист, бываете в местах, описанных в этих пергаментах, постепенно у вас возникает мысль не то что о подлинности описанных событий, но вы к ним как-то... привыкаете. Мысль о подлинности появляется позже, один раз, и исчезает. Потом еще раз. Потом еще. Потом она не уходит. Спустя год сосуществования с этой мыслью я первый раз пришел в Иерусалимский Храм Воскресения, русские почему-то называют его Храмом Гроба Господня, а потом в храм при русском монастыре Марии Магдалины над Гефсиманским садом – не совсем как турист, скажем так. Потому что я вдруг поймал себя на том, что я молюсь!.. Слов молитвы я не знал, греческий знал плохо, церковнославянский тоже, и молился я своими словами: «прости меня», «подай», «помоги» и так далее – что обычно просят люди у Бога... А то и без слов, одним мычанием. Где-то через год после этой первой молитвы я принял таинство крещения... Вот и всё. У кого-то этот маршрут короче, у кого-то длиннее, у меня всё вместе заняло года четыре.

– А сан-то как вы приняли? – спрашиваю я. – Вы закончили семинарию?

– Нет, для семинарии я слишком стар, и в Иерусалиме давно нет православной семинарии, – отвечает отец Марк. – Монахи заметили, что я часто прихожу в храм, в непраздничные дни народу в нем немного, и однажды попросили меня помочь в чем-то хозяйственном, куда-то съездить, что ли, у меня тогда уже появилась машина. Причем весьма интересно, что ходил я и в храм Воскресения, и в

монастырь Марии Магдалины, а ведь они принадлежат разным Церквам. Хорошие отношения возникли у меня в обоих местах. Монастырь же тогда принадлежал РПЦЗ. Вы знаете, что такое РПЦЗ*?

Мы энергично киваем.

– Ну, вот... Потом было еще какое-то поручение, и еще, а потом один из священников храма Воскресения предложил мне помогать ему во время службы в здешней, Назаретской, церкви – послушником... Примерно в это же время от меня ушла ленинградская жена – в Израиле выяснилось, что у нас разные цели в жизни: она не понимала и не приняла моего... увлечения, даже не христианством, а религией вообще. Она, как многие научные работники советской школы, была человеком абсолютно светским, и ей казалось, что наш отъезд на Запад был посвящен одному – улучшению качества жизни. Это было довольно неприятно, особенно если учитывать, что у нас был двенадцатилетний сын и у меня – никаких родственников в Израиле... Но давайте отвлечемся от моей персоны – то, что произошло со мной, в каком-то смысле довольно обыкновенно. Что вас привело сюда?

Я неожиданно испытываю приступ какого-то странного стеснения:

– Желание разобраться.

– Разобраться в чем?

– Есть ли Бог.

Отец Марк улыбается:

– Ну и как, разобрались?

– Вроде да.

Отец Марк мельком смотрит на меня, потом соглашается:

– Ну и хорошо.

Некоторое время мы молчим. Я смотрю на него. Обычное российское лицо, как будто не было 30 лет в Израиле; он не похож на еврея – аккуратная, небольшая русая борода; он даже не очень похож на священника, но что-то в этом лице останавливает взгляд. Спокойствие? Нет, не только, – в нем какая-то уверенность. «У-в-веренность...» – думаю я.

– Простите, – говорю я, – вы сказали, что приняли крещение. Это было на Иордане?

– Нет, зачем? Я крестился в Иерусалиме.

– Здорово, – говорит жена. – Правильное место.

Он пожимает плечами:

– Да тут все места такие... – говорит отец Марк. – Как вы говорите, «правильные». Но это не очень важно – где вы креститесь. Важно не отнестись к этому, как к формальности.

* РПЦЗ – Русская Православная Церковь за границей, Russian Orthodox Church outside Russia, создана в Сербии в 1921 году православными архиепископами-эмигрантами, не признавшими Советскую власть.

– А Иордан – это далеко? – спрашиваю я.

– Отсюда – да, но если вы соберетесь сначала в Тверию – нет. Оттуда около десяти километров. Страна то маленькая... Только имейте в виду: место, куда вы собираетесь, не является местом Богоявления, то есть местом, где Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа. Это – распространённая ошибка.

– Не понял? – слегка опешив, говорю я.

– Что же здесь непонятного? – спокойно говорит отец Марк. – В век Интернета ваш вопрос даже странен. Комплекс «Ярденит», куда обычно ездят паломники, построен Израильским министерством туризма в начале 1980-х годов. О месте исторического крещения Христа историки до сих пор спорят. Наиболее вероятным считается Яд-аль-Вахуд, у самой Иорданской границы, – потому что там обнаружены развалины церкви ранневизантийского времени. Но и этот вариант неокончательный, за последние две тысячи лет река наверняка меняла свое русло.

– То есть опять, всё – где-то рядом, и всё – вопрос веры, – бормочу я.

– Что? Простите, я не расслышал. – Отец Марк наклоняется ко мне.

– Я говорю, что это всё опять – вопрос веры.

Священник некоторое время смотрит на меня:

– А вы как хотели бы? Христианство – не точная наука.

Он опять молчит, потом накрывает мою ладонь рукой:

– Послушайте... – говорит он. – Многие неглупые люди, как ни странно, приезжают сюда за доказательствами. И, естественно, уезжают разочарованными. Случай Николая Васильевича Гоголя, который вы, наверное, знаете – самый известный и поучительный для русских... Увы, он показателен. Потому что однозначных свидетельств и исторических данных очень мало. Мы же не ученые, у нас, как говорится, хотите – верьте, хотите – нет. Вы это понимаете?

Он не убирает руку, и я чувствую, какая теплая и до странности тяжелая у него ладонь – для такого, в общем, небольшого человека.

Я киваю:

– Стараюсь.

– Вы читали митрополита Антония Сурожского?

– Конечно!..

– Помните, у него есть такой афоризм: «Вера – это уверенность в вещах невидимых»? Вообще, это высказывание принадлежит апостолу Павлу, но в данном случае – неважно.

– Помню, – говорю я. – Но Антоний Сурожский сказал это еще в советское время.

– Да, советскому военному летчику, который спросил, где находится Бог, – в небе он никакого Бога не видел.

– Но сейчас 2014 год, и здесь, в Назарете, *здесь-то...*

– А что «здесь»? Здесь это всё происходило. *Как происходило* –

более-менее описано. Но описано людьми – и спустя годы... То есть, как обстояло точно, мы не знаем и, скорее всего, никогда не узнаем. Мы можем только верить Евангелиям – и всё, пожалуй. *Верить* – понимаете? А не *знать*.

– А сколько стоит крещение, если попросить об этом вас? – спрашивает жена после довольно длинной паузы, в которой мы размышляем над услышанным, а я одновременно смотрю на колышущиеся зеленые листья акации, нависающие над нашим столиком. Сквозь листья просвечивает солнце, и это делает их края золотыми. «И это апрель месяц...» – думаю я.

– А вы уверены, что хотите принять таинство крещения? – спрашивает священник.

– Ну... – говорит жена, – если быть неуверенной здесь, то где же тогда?

Отец Марк пожимает плечами

– Еще раз говорю, место значения не имеет. Вы проходили огласительные беседы в России?*

– Да.

– Хорошо, – кивает отец Марк; он на минуту задумывается: – Вы на машине?

Лиза немного удивляется:

– Нет, а что?

– Жаль. Будет дороже. Если вы хотите креститься в Аль-Вахуд – то семьсот шекелей плюс такси.

Увидев нашу реакцию, священник добавляет:

– Я должен буду взять с собой старинные книги, а они тяжелые. Жаль, что у вас нет машины. Может быть, есть какие-то местные друзья с автомобилем? Я-то последние годы безлошадный.

– А нельзя прочесть те же молитвы из Интернета? – спрашивает Лиза. – У нас есть с собой смартфон, который почти всегда на связи.

Отец Марк улыбается:

– Нельзя. Все-таки это таинство.

– Хорошо, мы подумаем, – говорю я. – Нам еще две недели жить здесь, а денег не то чтобы много, простите... – я немного теряюсь от названной суммы, это около 250 долларов США.

– Да, конечно, – спокойно говорит отец Марк. – Позвоните тогда. – Он диктует телефон, потом говорит: – Я могу сделать вам скидку процентов десять, но не больше: это официальный обряд и, хотя вы иностранцы, я должен буду сделать запись в книге и отчитаться перед церковной кассой. Я же не могу крестить вас частным образом.

– Почему вы отметили, что мы иностранцы? – удивляюсь я.

– Потому что, если бы ваша жена была израильтянкой, я должен

* Огласительная беседа – беседа об основах веры с желающими принять крещение. До 2015 года не была обязательной в России.

был бы не только записать вас в церковной книге, но и сообщить о вашем крещении в Министерство по делам религий.

– Что?!

От неожиданности я не могу вымолвить ни слова.

– Но... зачем?! Здесь же не СССР! – наконец говорю я.

– Не СССР, но все израильтяне, принявшие ислам или христианство, регистрируются.

– И вы зарегистрированы?

– А как же.

– Это влечет за собой какие-то ограничения?

– Социальных – почти никаких. Мусульмане не служат в израильской армии, но я не думаю, что они от этого сильно расстраиваются. Христиане служат. Еще кое-что... Могут отказать в регистрации брака, например.

– И как вы лично относитесь к этому? – слегка ошарашено спрашиваю я.

– Отношусь плохо, но считаю даже полезным – для местных христиан и Церкви в целом. Во-первых, даже небольшие ограничения делают ваш религиозный выбор более осозанным, во-вторых, христианам полезно быть немного гонимыми, как-никак мы с этого начинали; а в-третьих, это сохраняет некоторую дистанцию с государством. Наша Церковь никогда не приближалась к власти на столь близкое и рискованное расстояние, как это делают дорогие русские братья.

– Потому что местное государство исповедует другую веру, – говорю я.

– Отнюдь не только поэтому. Уверяю вас, возможностей для сближения больше, чем вы думаете... Просто мы учитываем исторический опыт; за время существования Иерусалимского патриархата на этой земле сменилось столько властей, что если я начну их перечислять – вы заскучаете. Будь мы близки хоть с одной из них, что с нами было бы при ее смене? Мы не тянемся к земному царству и его царям; наше царство – если цитировать Христа – не здесь.

– Ну, – говорю я, – бессребрениками вас тоже назвать трудно. – Я опять немного сержусь. – Иерусалимский патриархат владеет в Израиле обширными землями, и я где-то читал, что даже дворец президента Израиля построен на церковной земле, и вам платят аренду.

– Нам нужно содержать наши храмы, – спокойно отвечает отец Марк, – чем-то кормить священство и монашество и поддерживать те благотворительные проекты, в которых мы участвуем... У нас же нет связей с властями, которые могут обязать местных богатых людей выплачивать нам неформальную ренту, как это происходит в России. Я даже не говорю, плохо это или хорошо – этого просто нет.

Некоторое время мы молчим. «Вот и поговорили», – думаю я.

Священник улыбается:

– Занятно, там, где собираются больше трех русских – тут же

начинается спор о политике. Интересно, что вы, как я понял, поддерживаете Церковь и одновременно ходите на протестные шествия. Я считал, что «протестанты» в России, в основном, – атеисты.

– Это не так, – говорю я.

– Давайте не будем больше о политике, а? Мы всё равно ничего не выясним... Я хочу задать вам один важный личный вопрос, – вдруг произносит жена, – даже два. Можно? Если они покажутся вам резкими – заранее извините.

– Пожалуйста, – соглашается отец Марк, – задавайте. Я люблю резкие личные вопросы. Моя паства, увы, задает их редко. Может быть, от недостатка времени. Здесь не такая уж легкая жизнь...

– У вас бывают сомнения?.. – после паузы спрашивает Лиза.

– Конечно, – сразу отвечает священник.

Он несколько мгновений пристально смотрит на нас. Мне кажется, он немного разочарован. Но чего он ждал, какого вопроса?

– Они у всех бывают и бывали, – продолжает он. – Даже у апостолов. Даже у Иоанна Предтечи. Помните, как он послал ученика к Христу: «Ты ли это, или нам ждать другого?..» Куда уж больше.

Мы молчим.

Отец Марк снова улыбается:

– Я ответил вам?

Я смотрю на Лизу.

Она кивает головой, но не очень уверенно.

– А что вам сказали в Москве? Или там уже не задают подобных вопросов священникам?

– Почему не задают, задают. Некоторым во всяком случае.

– И что вам сказали?

– Примерно то же самое, что и вы.

– Ну видите, всё в порядке... А какие конкретно сомнения вы имели в виду, не хотите рассказать?

Лиза некоторое время думает:

– В Евангелии написано, что Христос был из рода царя Давида, – говорит она. – Так?

– Абсолютно точно.

– Потому что из рода царя Давида был святой Иосиф?

– И это верно, – отец Марк смотрит на мою жену с интересом.

– Но ведь святой Иосиф был только Его отчимом, причем тут царь Давид? – жена выпрямляется на стуле и с напряженным вниманием смотрит на священника. – А если царь Давид причем, то тогда святой Иосиф – *не отчим?*..

– Вы сомневаетесь в царском происхождении Иисуса? – отец Марк продолжает улыбаться. – Его часто пытались скрыть... Для вас это важно?

– Я не думаю, что это важно, – говорит жена, – но я хочу понимать, что написано. Кто был отцом Иисуса?

Священник кивает:

– ОК. У святых отцов про это сказано так: во времена Иисуса у евреев родословие считали по отцу*. Кроме того, когда об Иосифе говорили и писали, что он из рода Давида, тогдашним читателям-иудеям, а других в то время не было, сразу понятно, что и жена Иосифа тоже из рода Давида, иначе по их законам было нельзя жениться. Я вам ответил?

– Более-менее... Откуда вы это взяли?

– Я же сказал, у святых отцов, святой Иоанн Златоуст, например. Слышали про такого?

– Именно что *слышали*, – говорит Лиза.

– Уже хорошо. Еще есть вопросы? – мне кажется, отец Марк смотрит на нас с любопытством.

– А вас мои вопросы не задевают? – спрашивает жена.

– Нисколько. Наоборот, мне интересно.

– Тогда... Благовещение, которое происходило здесь неподалеку, описывает только евангелист Лука, я права?

– В канонических Евангелиях – да.

– Но Лука не знал Христа лично или знал его мало, так?

– Да, конечно.

– Тогда откуда он узнал про Благовещение?

Я тихонько передвигаю на столе чашки и смотрю на Лизу: ну вот зачем? Такие вопросы – и в праздник.

Но отец Марк спокойно кивает:

– Я вас понял... Об этом иногда спрашивают, но почему-то спрашивают европейцы. Может быть, потому что русским братьям и сестрам всё уже ясно... Святой Лука знал Божью Матерь лично, вы согласны? Потому что, по церковному преданию, некоторые известные Ее иконы писал он, и писал с натуры.

– Точно, – говорю я. – Вот оно что!..

Лиза, не отрываясь, смотрит на отца Марка.

– И, может быть, и даже наверняка, во время сеансов живописи Она разговаривала с ним, что-то рассказывала о Себе и Сыне – ведь молчать во время «портретирования» тяжело... К тому же Она была женщиной. А всё, что связано с рождением детей, тем более первенца, тем более, единственного сына, женщина обычно запоминает хорошо и это для нее важно – это первое, о чем она расскажет портретисту. Такой ответ вас устроит?

Лиза неуверенно улыбается:

– Про иконы я как-то не связала.

– Будете в Иерусалиме, помолитесь у Кувуклии Воскресения об избавлении от сомнений, – говорит отец Марк. – Помогает. А еще почитайте письма апостола Павла... К христианам Рима, например.

* Родословная у евреев велась по материнской линии, что было закреплено в Талмуде (II-III века н. э.). Лишь некоторые конфессии иудаизма признают еврейство по отцу, однако это не является общепринятым, особенно в контексте религиозных канонов.

Вот пример веры, и при этом очень хорошо написано. Он был образованным человеком и обладал несомненным даром слова... При этом, не забудьте, у него было всё, включая, выражаясь современным языком, квартира-машина-карьера и даже более того – устоявшаяся картина мира, но он от всего отказался и пошел за довольно странным, казненным за бунт против Цезаря, пророком новой веры.

Я вдруг думаю, что, наверное, каждый человек выбирает из Евангелия тот пример, который ему наиболее важен.

– Еще не могу себе представить Вознесение, – вдруг говорит жена. – Он что, стоя полетел?

Отец Марк, начавший было собираться, останавливается.

«Ну, – думаю я, – пошло-поехало... Лиза, она вообще такая.»

– Но вы в это верите? – спрашивает он.

– Не знаю... Хотела бы верить, – после паузы говорит Лиза. – Но представить не могу.

Отец Марк некоторое время думает.

– Лично я думаю, что это было похоже на большую птицу. Аиста, например... Вам знакомо имя покойного отца Александра Меня?

– Да, конечно.

– Он где-то хорошо написал, что для него важно не понимание, а вера. Кстати, именно про это чудо... А его ведь нельзя было назвать человеком не думающим, правда?.. К сожалению, я не помню название работы, но если вспомню, пришлю вам смс.

Я снова смотрю на тень акации на столе. Вспоминаю, как еще студентом был на лекции отца Александра Меня в «Доме медиков» в Москве, году в 1987-88-м, – битком набитый зал и странное, почти физическое ощущение легкости, когда он вошел. Теперь в этом здании театр «Геликон-опера». «Смс, – думаю я. – Геликон-опера... Вера в чудо. Отец Александр Мень... Москва, 1987-й – Назарет, 2014 год.»

Отец Марк смотрит на часы. Я обращаю внимание, что часы старые, но ремешок из красивой, почти щегольской светло-коричневой кожи. Впрочем, я уже знаю, что на местном рынке кожа стоит недорого.

– Простите, мне пора. В Иерусалиме я должен быть к началу всеобщей, а тут еще есть дела. Если задержитесь – я вернусь в Страстную пятницу. Звоните просто так и если всё же надумаете ехать на Иордан – тоже звоните. Еще можем общаться по скайпу, так дешевле, я пришлю вам логин. Вы задаете интересные вопросы... Почему вы не спросили про Благовещенье? Обычно здесь спрашивают и о нем – непорочное зачатие, как это могло произойти...

Он поднимается и, несмотря на мой протестующий жест, оставляет несколько монет на столе:

– Здесь не принято платить за других.

Я мельком смотрю на окружающих нас соседей за другими столиками, особенно местных, мне интересна их реакция на православного священника.

Реакции – никакой. А вот на нас смотрят.

Отец Марк протягивает мне руку, я пожимаю ее. После некоторого колебания спрашиваю:

– Почему они смотрят?

– Не обращайтесь внимания, – говорит священник. – Вас принимают за европейцев, вот и смотрят. Европейцы редко общаются с православным клиром. Дайте как-нибудь понять, что вы русские, – перестанут.

Он улыбается моей жене, крестит издали ее и меня.

– Креститесь, – говорит он Лизе. – Неважно где – здесь, в России... Повторяю, место не так важно, просто выберите священника... поумнее... И не бойтесь сомнений. Кстати, это не я, это Христос говорил, – он опять улыбается: – Помните откуда?

Мы качаем головами.

– Найдите эти места в Интернете, и прочтите – я думаю, это будет полезно... Ну, до свидания, ангела-хранителя вам в дорогу. Бог даст, увидимся.

И он уходит.

Некоторое время мы сидим молча.

– А почему у него ряса белая? – спрашивает жена.

– Не белая, а светло-бежевая. Праздник же.

Я смотрю вслед отцу Марку.

– Энергичная у него походка, – говорю я. – У наших тоже такая бывает... Иногда.

– Климат такой, – говорит Лиза. – Благоприятный.

Официантка в обтягивающей темной майке, но с длинным рукавом, уважающим местные традиции, подходит к столу, молча забирает чашку отца Марка и его деньги.

Спрашивает нас:

– Anything else?

– Нет, – говорю я по-русски, – спасибо, достаточно.

И, удивительно, отец Марк был прав: девушка улыбается.

Я смотрю на площадь перед кафе, на колокольню церкви Благовещенья, на пальмовые листья на церковных воротах, на дома вокруг и думаю о том, какой с виду длинный путь привел ленинградского востоковеда на эту площадь... И нас, кстати, тоже.

– Ну, что скажешь? – говорю я Лизе.

– А что говорить? – удивляется жена. – Всё более-менее ясно, по-моему.

– Симпатичный человек, – говорю я. – Хорошо про святого Луку сказал. Кстати, я где-то читал, что его настоящее имя было Луций, как у Сенеки.

– Да, сказал хорошо... Это верно... Но одновременно денег попросил многовато. Хотя, не знаю – место такое. И далеко, наверное... На автобусе только до Тверии больше часа, я уже посмотрела. Кстати, цена крещения в Иордане в Русской миссии – сто долларов, если ты

с группой, я узнавала. То есть оптом – дешевле. Или дешевле у отечественного производителя?.. А если ты индивидуалист, плати... – Она усмехается. – Кстати, я не поняла, в чем разница чтения молитвы из книги и с телефона. Ведь главное – слова, причем тут носитель? Хоть на глиняных табличках.

– Я не спец, – говорю я, – но думаю, что книгам, которые он хотел взять с собой, минимум лет сто, а то и двести. Представляешь, сколько раз по ним читали молитвы за эти двести лет? Все слова впитались в бумагу... Это как церковь: вчера построенная – или старая, намоленная. Есть разница?

У жены немного отсутствующий вид. Она машинально кивает.

Я примерно знаю, что она испытывает сейчас – необычную тишину в душе и отстранение. Так бывает после хорошей службы или исповеди, если вы подходите к этому делу серьезно, или если просто хорошо поговорить с каким-нибудь священником или диаконом... Если вам повезет, и он будет не усталым, не глупым, и будет хотя бы отчасти воспринимать вас как свое «духовное чадо», а не как докучливого посетителя, от которого надо поскорее отделаться, – вами овладеет это необычное состояние, его трудно спутать с чем-то. А вместе с ним придет боязнь – быстро потерять, рассеять всё это в окружающей жизни... Потом, отец Марк действительно явил нам пример так называемого «двойного послания» – говорил замечательно, а денег попросил много. Если кто не знает, в России крещение бесплатное – за любое пожертвование, только за крестильную рубашку могут взять деньги, рублей четыреста-пятьсот, ну, сейчас семьсот, наверное. Я думаю, что эти двойные послания часто сопровождают церковную жизнь – и что с ними делать?..

– Да... – произносит Лиза. – Наверное. Апостол Луций, говоришь?.. Закажем что-то? Ты же не завтракал.

– В отель пойти не хочешь? Там нас ждут.

– Не хотелось бы как-то уходить отсюда, – жена кивает на площадь и на церковь, где всё еще толпится народ. – Давай что-нибудь легкое, а там посмотрим.

Мы подзываем официантку и заказываем салат, хлеб и чай, предварительно спросив, есть ли мясо в салате, и чай в пакетиках или в чайнике? Tea-in-kettle? Официантка не сразу понимает нас, но с помощью жестов и сломанного английского мне удается выяснить, что пакетики, tea-bags в кафе «Данте» hand-made, то есть делаются прямо здесь, на кухне и, если мы хотим, нам могут добавить туда мяты или ромашки с местных склонов.

– Здесь растет ромашка? – удивляемся мы. – Жарко же...

– Весной растет, – говорит официантка. Она что-то спрашивает по-арабски у своей коллеги, такой же красивой брюнетки, только постарше, та кивает, смеясь, что-то отвечает, и наша официантка машет на нее рукой. Обе хохочут.

– Да, здесь растет chamomile. Тут много чего растет, в этих горах.

Нам приносят болгарский салат из ярко-красных помидоров с болгарским перцем и чай. Тарелка с салатом меньше, чем в Нетании и Тель-Авиве – там кормят так, что трудно встать из-за стола, но значительно больше, чем в Москве.

Я думаю про брынзу в салате – нарушение это поста или нет, завтра же Вербное воскресенье; спрашиваю у жены – она думает, что нарушение. В брынзе – животный жир и молоко, так что мы грешим, увы.

Сделаю небольшое лирическое отступление. Скажу вам, дорогой читатель, если вам интересно конечно, что строгий пост в еде мы не держим, только в конце Страстной недели – на Великие Четверг, Пятницу и Субботу. От бифштексов и спиртного в эти дни отказываемся, любовью не занимаемся, но вот и всё. Отчасти это из-за недостатка усердия, но больше из-за того, что (возможно, ошибочно) я считаю, что дело не совсем в этом – «не в котлетах», как написал мне когда то один очень симпатичный священник из Белоруссии. Строгий пост – он для монастырей, справедливо написал он.

А в чем – *дело?* – спросите вы.

Отвечу: как и мой адресат, я считаю, что дело, например, в том, чтобы не злиться на окружающих, близких и далеких; мелких и покрупнее гадостей им не делать и при этом не лицемерить – есть такое полузабытое, но очень актуальное слово. До войны я знал людей в Москве, которые долго говорили со священником на исповеди – класть или не класть им сливочное масло в кашу (скажу по секрету, священники от этих разговоров лезут на стену), и при этом очень дулись на случайного человека на дороге, который «подрезал» их машину, или в метро, если на них кто-то плохо посмотрел, а если уж толкнули – о-о!.. Или месяцами злились на коллегу по работе, не говоря о членах семьи и прихода... А уж воевать, убивать или оправдывать войну – это вообще запрещено, однако происходило и во времена действия моего романа и позже, увы.

В общем, в пост, по-моему, хорошо бы хотя иногда испытывать те чувства, что перечислены в известной старинной молитве Ефрема Сирина (Эфраима Сирийского): «Господи! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дай мне; дух же смирения, терпения, целомудрия и любви даруй мне, рабу твоему!...». Кто вдруг не знает эту молитву, очень советую – пять-шесть раз прочтете, настроение улучшится и уныние уходит. Честное слово. Попробуйте, она очень короткая.

Но если от жизни церковной перейти к жизни обычной, мирской, тут снова появляется то самое «двойное послание». Священника, который мне когда-то написал, что строгий пост, в общем, предназначен для монахов, зовут отец Савва М., он и сам монах. Мы познакомились в Москве, в большом книжном на Новом Арбате, а до того я читал его книжку «Неизбежность Пасхи. Великопостные письма», где подробно изложены взгляды на эту тему. Молодой, умный, современный, верующий человек – увы, это сейчас бывает нечасто... Но, забежим немного

вперед, – наступил 2020 год, белорусские власти начали безжалостно подавлять многотысячные протесты, начавшиеся после выборов, полиция жестоко избивала людей. И, о ужас – отец Савва, судя по его публикациям в Интернете, поддержал власти... Когда я увидел это, я не поверил своим глазам. Протестовать было опасно, но он мог промолчать, хотя бы промолчать!.. Я хотел написать ему, да побоялся подвести, ведь наверняка все письма известным людям в Белоруссии читались. Как это совместить, как мне теперь читать его книги?..

Не надо смешивать богословские, религиозные и политические воззрения – посоветовал мне один опытный человек в Москве: – Церковная жизнь и политика – разные вещи. Но как же разные! Оглянитесь вокруг – как их «не смешивать», как?!..

Простите меня, если я становлюсь здесь немного пафосным и сбиваюсь на публицистику... Но вопрос и правда для меня важный, и ответа на него до сих пор нет.

Полузапрещенный салат был вкусным. Когда наша девушка забирает тарелки, я делаю совершенно недопустимую вещь с точки зрения политкорректности – соседи-немцы (или датчане, голландцы, мы с женой потом спорили) на нас оглядываются: я спрашиваю у официантки по-английски – не христианка ли она?

С точки зрения странствующего идадьго – исследователя жизни – я не делаю ничего предосудительного, тем более – если учитывать данные путеводителей: в городе до сих пор живет около двадцати процентов арабов-христиан (десять лет назад их было почти сорок, многие уехали от страха перед радикальным исламом), но с точки зрения жителя современного Запада я совершаю почти преступление.

Я спрашиваю у нашей Адибы (уточнил имя):

– Are you Christian, sorry?

Девушка немного смущается:

– No.

– Muslim?

Адиба бросает быстрый взгляд вокруг, чуть наклоняется над столом и, немного понизив голос, снова говорит:

– No.

И громко смеется.

Вряд ли кто-то расслышал ее реплику, но смех слышен, и группа проходящих мимо местных бородачей в красивых белых рубашках навыпуск и модных голубых джинсах в обтяжку неодобрительно смотрит в нашу сторону.

«Что такое у них с женщинами? – думаю я. – Не хочется употреблять это слово, но ведь это похоже на... дискриминацию?..»

– Можно спросить официантку, ходила она вчера на митинг на площади? – предлагаю я, когда Адиба уходит. – Спорю на кофе, что нет.

– Не надо, – говорит Лиза. – Поставишь ее в неловкое положение. И так прохожие оглядываются... Они могут понимать английский.

Некоторое время мы молча пьем свой чай chamomile.

– Смотри... – жена кивает в сторону церкви.

Я оборачиваюсь и вижу, как из ворот, украшенных пальмовыми листьями, в сопровождении двух священников выходит очень пожилой седой человек в черной рясе, белом клобуке и с посохом в руках, – я, кажется, видел его в церкви, – и медленно, прихрамывая, идет в нашу сторону. Оставшиеся на площади прихожане кланяются в сторону этой маленькой процессии.

– Насколько я понимаю, это митрополит Назаретский Кириак, – говорю я.

– Митрополит, – говорит жена, – пешком, без охраны?

Старик идет медленно, тяжело опираясь на длинный посох и недовольно смотря по сторонам. Видно, что он устал, ему жарко, и что даже этот небольшой подъем улицы для него тяжел. В одном из сопровождающих священников я узнаю отца Марка.

Пока митрополит приближается, я думаю, что нам делать. Наш столик и атмосфера кафе, несмотря на наши взгляды, в целом выглядят немного неуместно в кадре с идущим к нам митрополитом.

Но с другой стороны – сегодня Праздник. И слова отца Саввы... И еще я где-то читал, что в Вербное воскресенье допускаются послабления Поста. Но, главное, что нам делать, когда он поравняется с нами, – встать и поклониться? Немного театрально и даже смешно. Остаться сидеть – тоже как-то нехорошо. Еще и отец Марк с ним рядом...

– Хорошо, что, прости, Господи, хоть омлет не взяли, – тихо говорю я.

– За что «прости» – за омлет или за то, что взяли бы его не вовремя? – спрашивает Лиза.

– Как ты себе это представляешь? – торопливо и почему-то понизив голос, говорю я. – Он идет мимо, а мы сидим за своим столиком, попиваем чай и весело им машем: – Hi, priests!.. Или по-российски делаем вид, что никого в упор не видим?..

– Давай встанем, в чем проблема? – сердито говорит жена.

Машинально я смотрю на соседние столики – посетители на приближающегося митрополита не обращают ни малейшего внимания. Из этого факта я делаю вывод, что в кафе «Данте» сидят либо убежденные атеисты, либо мусульмане. Немцы (датчане или голландцы) через столик от нас, правда, тоже находятся в некоторой ажитации, но я бы, скорее, назвал ее ажитацией этнографического характера. На митрополита нацеливается несколько объективов производства ведущих мировых фирм. Сейчас защелкают затворы. Старик мельком смотрит в нашу сторону и устало опускает голову.

Так и не приняв никакого внятного решения, тем не менее, когда священники подходят ближе, мы встаем.

– Может, подойти под благословление? – тихо спрашивает жена.

– Из-за стола неудобно, – говорю я.

– Почему? Он что, не ест?

– Всё равно неудобно.

– Не говори глупостей.

Кроме нас в кафе не встает никто. Даже наши братья по Хантингтону* и, возможно, по вере (внутрихристианские разделения я в расчет не беру) остаются сидеть и удивленно на нас смотрят, но тут же политкорректно отводят глаза. Местная часть публики настроена удивленно-насмешливо – я ловлю несколько ироничных взглядов.

Тем временем маленькая процессия проходит мимо. Я улыбаюсь и от смущения слегка кланяюсь. Конечно, это получается нелепо. Жена тоже улыбается и, когда священники равняются с нашим столом, решительно направляется к митрополиту Назаретскому, сложив руки ковшиком... Ответной улыбки мы, увы, не получаем, хотя митрополит слегка наклоняет седую голову и, чуть замедлив шаги, перехватывает посох в левую руку, а правой быстро крестит мою жену.

Но отец Марк смотрит на нас весело.

– Устал митрополит-то... – говорит жена, возвращаясь за наш столик. – Ему лет семьдесят пять, не меньше, а служба началась в восемь тридцать утра – я смотрела в Интернете.

– Да уж... – говорю я.

– Ты мне лучше скажи, почему он все-таки идет пешком? – спрашивает Лиза немного погодя.

– В смысле, не едет на черном «Гелендсвагене» с мигалкой?

– Не обязательно «Гелик», можно ведь и на «Хюндаи». Или хотя бы такси взять.

– Могу тебе изложить свою точку зрения.

– Давай.

– Потому что, во-первых, денег у здешней Митрополии негусто, а во-вторых, демонстративная роскошь, как в России, здесь не принята – рядом конкурирующие за паству ислам, иудаизм, а за церковной оградой – светская израильская пресса. За насмешливый репортаж по местному ТВ израильская прокуратура следствие точно не возбудит. И потом – ему элементарно близко идти.

Митрополит медленно удаляется от нас вверх по улице.

– Денег нет?... Близко идти?... – переспрашивает жена. Она задумчиво допивает чай. – Не думаю, что дело в этом. Он идет именно *пешком*. Не знаю, может, это показуха, но как-то здесь некоторые вещи правильно устроены... Как должно быть. – Добавляет она после небольшой паузы.

Я допиваю свой чай, мы в молчании рассчитываемся и, помахав Адибе, знакомой дорогой идем в отель. Часть пути мы идем вслед за митрополитом, но у *Russian House* улица раздваивается, и мы уходим...направо и вниз, к себе.

Иерусалим, 2023

* Имеется в виду книга С. Хантингтона «Другая цивилизация» (1996) о цивилизационной разнице между мусульманской и христианской культурами.

Владимир Салимон

* * *

Из старой радиолы ящик
для обуви соорудил,
для щеток, баночек блестящих,
в которых гуталин хранил.

Когда его я открываю,
хотя тот ящик пуст давно,
я запах кожи ощущаю.
Иль у него двойное дно?

И там, как в корабельном трюме
рабы, томятся день за днем
сапожки, купленные в ГУМе
в году так в семьдесят седьмом.

И башмаки, и сандалеты,
которым мы заткнули рты
клочками выцветшей газеты,
чтоб не стонали без нужды.

* * *

Такие вот – серые будни:
весь день дождь колотит в окно,
хотя только три пополудни,
как в сумерках, в доме темно.

А Чехов Суворину пишет
о том, где б ему раздобыть
довольно денег, чтобы лыжи
отсюда скорей наострить.

Каюту взять первого класса
на лайнер морской, где всегда
хорошеньких барышень масса
и ветреных дур до черта.

Суворин ему отвечает
пространным и долгим письмом,
но, не дописавши, бросает
в корзину под длинным столом.

Темно в моем доме и сыро.
В дни распри,
в годину войны
до ужаса хочется мира,
любви, красоты, тишины.

* * *

По всем приметам – скоро осень.
Из времени на всем ходу
я б выпрыгнул, как Подколесин,
от страха, что с ума сойду.

В свое прекрасное далеко,
сверкая линзами очков,
смотря, я вижу – дело плохо
в грядущем в лучшем из миров.

И я, очки снимая с носа,
напрасно стекла тру и тру,
как будто в дом вошел с мороза
иль вышел из дому в жару.

Когда краснеет лист кленовый.
Березовый желтеет лист.
Над головой моей садовой
сверкает неба аметист.

* * *

Иль перспективы нет иной?
Одна единственная только –
обратная, когда с тоской
глядишь в себя, как то ни горько.

Глядишь, как человек в окно
вагона с темного перрона
без интереса – всё равно
ему, что там – внутри вагона.

Сквозь пыльное стекло глядит
во мрак – чужая жизнь потемки.
Она течет, а он стоит,
как будто бы у водной кромки,

стоит перрона на краю,
то ль электричку поджидает,
то ль ждет харонову ладью,
иль просто так – ворон считает.

* * *

От стука окон и дверей
чуть свет проснешься, негодуя
на озорующих детей,
а это – ливень, ветер, буря.

Ветвятся молнии во мгле,
как купины неопалимой
кусты на горестной земле,
моей единой, неделимой.

Хотя из всей одной шестой
ни четверть и ни половина,
заросшие густой травой
мои лишь только три аршина.

Мое прибежище, приют –
окопчик для одной персоны,
блиндажик крохотный, редут –
рубеж последней обороны.

* * *

Он притворился мотыльком,
сидящим на цветочной грядке,
а был он вырванным листком
из ученической тетрадки.

И налетевший ветерок
трепал, как будто плоть живую,
кем-то исписанный листок
в линейку тонкую косую.

И я себе вообразил,
как острое перо стальное
макая в пузырек чернил,
в любви клянусь и всё такое.

Но ждет напрасно адресат
от друга милого посланье,
его уносит ветер в сад
на гибель и на поруганье.

* * *

Эпопея моя, одиссея!
Уж Итака моя – дом родной –
показалась, как чайка, белея
над высокой стеной крепостной.

Но пока мой кораблик к Итаке
предначертанным курсом плывет,
рядом с нашим поселком в овраге
неприметная речка течет.

Мы здесь прожили долгие годы,
но не знали, что рядом – река,
чья мерцают зеленые воды,
как бутылка из-под коньяка.

Мы так страстно любили друг друга,
что не знали до старости лет –
за границу узкого круга
есть ли жизнь, или жизни там нет.

* * *

В траве запутались дожди,
что шли и шли часа четыре,
и встали прямо посреди
равнины неоглядной шири.

Стоит недвижно столб воды,
который, двигаясь по кругу,
не обойдешь и за день ты,
к невесте следуя, иль к другу.

Я вспомнил, глядя на него,
гудящего, как рой пчелиный,
что, если б был резон, легко
моей мог смерти стать причиной,

рисунок Дюрера «Потоп»,
меня когда-то поразивший –
воды обрушившейся столб,
всё на пути своем крушивший.

Борис Кокотов

Аварийная ситуация

АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ

провинциал и хабалка
протоптали тропинку к светофору
обитающему на втором этаже
углового дома без лифта
но когда взорвался самогонный аппарат
в полуподвальном помещении
арендованном рыболовецкой артелью
для своих нужд
навигационные устройства и узловые трансформаторы
гражданского военного округа
пришли в замешательство
из-за чего сбились с курса не только
рыболовецкие подводные лодки
но и многочисленные регулярные посетители светофора
который полностью переключился на желтый свет
через три с половиной минуты после упомянутого взрыва
сейсмическая станция на курильских островах
зарегистрировала подземный толчок
в три с половиной балла
курс флорина упал до уровня зайчика
после чего они продолжали падать вместе
что касается моста в Балтиморе
как показало предварительное расследование
его обрушение не было связано
с вышеописанными событиями

ПОЛКИ

заставленные диковинными бутылками
дискетами песни и пляски
поделками из словозаменителя

есть ли жизнь на антресолях
вопрошает случайная муха
а как же откликается местный паук

кто из вас знает почему
после хороших и ласковых встреч
альбомы бесследно исчезают с полок

кто из вас знает почему
одной из них суждено обрушиться
под тяжестью сфабрикованных обвинений

ПАДЕНИЕ С ЛЕСТНИЦЫ

в тот самый момент
когда нога теряет точку опоры
пространство искривляется
и переливчатый смех гравитонов
смолкает как по команде

прогибается сетка координат
навигатор траектории
переходит в автономный режим
миллисекунды машут флажками
призывая тумбочку посторониться

потому что если не удастся
избежать столкновения
и ей придется принять удар на себя
несчастный случай может отказаться
отвечать за последствия

происходящее фиксируется
в краткосрочной памяти
доступной только ангелу-хранителю
с чисто символическими крыльями
и фломастером в руке

которым он старательно размечает
на обшарпанном полу
площадку для приземления
совпадающую с контуром
физической оболочки тела

лестничная клетка пользуется
подвернувшейся возможностью
пересчитать ребра грудной
без заметного ущерба
для перил и ступенек

после чего передает эстафету
спрессованной до невесомости
метафоре вневременного полета
которой событие явлено
в виде застывшего жеста

ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

послевоенная суша поделена на квадраты
в центре каждого памятник устранным
к которому возлагают холостые патроны

выполнен он в виде колонки с краном
откуда в установленные часы течет
настоящая опресненная вода

дважды в день строго по расписанию
обладателям талонов разрешается
набрать поллитровую банку

чтобы ее наполнить требуется время
вода льется тоненькой струйкой
очередь движется медленно

но поскольку количество уцелевших
постоянно убывает можно ожидать
улучшений в ближайшем будущем

границы квадратов непроницаемы
во всех направлениях
для чего казалось бы их охранять

тем не менее пограничная служба
является нравственным императивом
и основным занятием уцелевших

помимо полиэстера и дикого акрилика
на выжженной почве произрастает
огнеупорная разновидность агавы

чьи плоды листья и соцветия
служат основным продуктом питания
обитателей послевоенной суши

в силу этого широко распространен
культ упомянутого растения
вытеснивший предвоенные верования

из-за проблем с логистикой
вызванных изолированностью квадратов
перепись уцелевших неосуществима

поэтому те отрывочные сведения
об их численности и образе жизни
которые доступны в настоящий момент

могут быть использованы исключительно
как исходный материал для дальнейших
наблюдений и исследований

ОСТОРОЖНО КНИГА ЗАКРЫВАЕТСЯ

в последний момент
отталкивая друг друга
работая локтями
наружу выскакивают он она они
вид зачумленный
интрига словно лиана обвивает ноги
имена как репей цепляются к одежде
уволенный с очередной работы
гневно протестует
отшившая трех соискателей
горько сожалеет
вернувшиеся с передовой
слышат грохот канонады
он она они прожившие чужую жизнь
второпях листая страницы
пребывают в растерянности
мало что запомнили
хотели бы вернуться
вдуматься в каждое слово
в каждый вопросительный знак
он она они косятся друг на друга с опаской
больше не узнавая себя
в литературных героях
он она они с тоской озираются вокруг
местность сомнительна
он она они разбредаются кто куда
удрученные тем
что превратности судьбы
истолкованы были превратно

Сергей Шабалин

* * *

Мальчишка странный, уличный курьез,
пример пытливой, вдумчивой натуры,
освоил роль и постепенно врос
в орнамент городской архитектуры,

он в рюкзаке мартини приберег,
бутылку колы и травы немного,
и в парке рядом с ратушей прилег,
совпав с фигурой греческого бога.

Он, придавая полдню моветон,
взглянул с надеждой на девичьи попы,
но приоткрыл едва початый том,
вникая неспеша в «Закат Европы».

Ну, что ж, закат, сказал он, так закат,
возьмем consensus omnium на веру,
а вдалеке сгушались облака,
и самолет буравил атмосферу,

но он не для того свой день украл,
чтоб разгадать маршрут авиалиний,
косяк туристов, площадь и экран
с анонсом сериала «Плач богини».

Нет, он презрел тогда ручки всех слез
и скучный город – бытопись порядка,
и даже лепту мысленную внес
в живую ленту раннего упадка...

Он заведет собаку и детей
и, сделавшись успешным адвокатом,
не опознает собственную тень,
туристов презиравшую когда-то,

закажет мази для спины больной,
заварит кофе и домучит триста,
и застолбит нежданный выходной,
избрав в парламент левого центриста.

И раз в пять лет, обескуражив мир,
нащупав брешь меж службой и футболом,

семьей и псарней... он закатит пир
достойный кисти позднего Тьеполо.

Он будет вяло изменять жене,
чтоб пантеон служивых озадачить
и вызвать зависть белую, как снег,
у друга по детсаду, не иначе,

ну, а жене расскажет про тайгу,
посетует на мир, что стал преступней,
и отчитает сына за прогул,
и вентиль, с мясом вырванный, на кухне.

Но воду в ступе перестав толочь,
откроет пацану секрет в карьере,
и свой рецепт того, как превозмочь
порочный тренд крушения империй,

и пес его растрогает до слез,
и он приварит вентиль автогенном.
И старший отпрыск, сгорбленный курьез,
приблизит гибель Рима (Карфагена)...

ПОБЕГ

На подходе к проспекту побег беспризорной травы,
одичалый наследник однажды сметенного парка...
Здесь весной оживали рассады цветов, но увы,
неудобную флору сочли неоправданно яркой.

Неслучайный побег не забыл всё, что было потом,
как пейзажный объект умерщвили рабочие в касках,
завалили песком... задавили грунтовым катком,
как зачем-то прислали патрульных в скафандрах и масках...

«Космонавты, должно быть», – решил удивленный росток
и едва не погиб под ударом монтажной лопаты,
он качнулся всем стеблем на Север, но видел Восток
и казненное солнце в багровой кровищи заката.

Между тем у ограды (огнюдь не для праздничных действий)
собиралась толпа и, казалось, народ не рассеешь,
но пришельцы в скафандрах случайно вязали людей,
и топивших за парк, и любителей пива и зрелищ.

Их тогда развели по учебнику... по одному,
в отдаленных местах дожимали особо упорных,
и недавние дети побои прошли и тюрьму,
дабы не был повторно провален экзамен на твердость.

Здравствуй, юный побег, ты как прежде задирист, упруг,
не забыв об ошибках и плиты брусчатки раздвинув,
ты напомнишь сегодня о «завтра» загубленном вдруг,
и о том, что нельзя забеременеть наполовину.

Что осталось от парка? Топоним былой и сирень
за огрызком ограды, и кадры из хроник отснятых,
где под лязг автозаков и вой полицейских сирен
малышне объяснили, как скверно прослыть демократом.

Легендарный побег, словно отзвук поруганных дней,
как оттиснутый слоган на прочном площадном картоне,
буйства цвета в нем нет, есть тепло неистлевших корней,
что транслирует свет на корявом протестном жаргоне,

что поможет побуквенно вспомнить спонтанный проект,
где отдельных достоинств однажды наметилась спайка,
чтоб сберегшие память пришли на безликий проспект,
обнаружив цветы у ограды сметенного парка.

* * *

В начале жизни дискотека,
гудит от счастья детвора,
затем приходит ипотека,
счета оплачивать пора.
Инстинкт простого человека
верстает сущностей словарь:
сбербанк, гостиница, аптека,
над переносицей фонарь.

Нехитрых дней ингредиенты,
едва сведенные концы,
подачки, взятки, алименты,
занапки, грядки, огурцы.
Мы все обуты и одеты,
что не вагон, то ресторан,
а в телевизоре ракеты
и государь во весь экран.

За ним рекламные картинки,
гламур от пяток до голов,

блондинки, лыжные ботинки,
повторы сплетен и голов...
Ужель так будет до могилы,
микрорайон, где всё окрест
стократ исхожено, хватило б
запала хоть на переезд.

Похоже нет, куда мне, где ж нам?
Присев на пыльный парапет,
он с пивом импортным надежду
домучил, пестуя запрет,
из списка вынес осторожно,
усилив прочие табу.
Замена импорта возможна,
чего не скажешь про судьбу.

В начале жизни – стать, харизма,
в конце – свинцовая заря.
Народ боится катаклизмов
и голосует за царя.

ALTER EGO

Осторожным дедом-домоседом
вопреки былому становлюсь,
навестить приятеля не еду,
на халат и шлепанцы молюсь,

сторонюсь культурного динамо...
Шариков с избытком воплотил
агрессивно тривиальных хамов,
но забыл вербальных чикатил,

что пришьют за несколько копеек
в суете салонов и пивных,
опасаюсь воздуха кофеен
и улыбок кукол надувных...

Некто взглядом въедливо упорным
сверлит душу бедную, хоть плачь.
За углом мелькнул прохожий в черном,
видно, завербованный стукач.

Поднят воротник мой, плащ запахнут,
мизерная зоркость настает,

это все немолодостью пахнет,
прочностью футляра отдает,

не изменишь времени и места,
где погас безвременно пожар,
но в театре мимики и жеста
помнят мой былой репертуар.

Вездесущ испуг интеллигентский,
но не ждите выгод, пошляки,
пригвожденный гопниками к стенке,
не подставит заново щеки,

не смолчит, опешив, и не вставит,
отступая, ноги для рывка,
и за жестом вежливым направит
искрометный образ кулака...

В толчее зверей и бандерлогов
жест его понятен мне без слов,
я покину место диалога
и защелкну сцену на засов,

вольным режиссером-одиночкой
пробегу по теме пантомим
и не поспешу поставить точку
в пьесе, что писал в тандеме с ним...

Алексей Уморин

БОМ-БОРИ-БОММ!

Ночью, в поселке, безумие колокола.
Это, наверно, Христос воскрес.
Лупят, как будто бы роют золото.
Или, за золото, ставя крест.
Лупит, нагретый и гордый силою,
это и кажется ему
верным, последней защитой, милым и –
звук, разбухая, качает тьму.

Лупит, измучив мои хрустящие
уши, ломая людской уют. Лупит
и чувствует: настоящее!

Бомм! – по железкам.

Они – поют.

Бьет, по плечам подымая мускулы,
крепко, как прежде, такой же вот,
молотом, в руку Его, узкую
гвозди... Ногою прижав живот.

Бомм-бори. Бомм-бори. Бам-бори. Бом-бори!

Лупит, как песню слагая, как
ротой, когда-то давно, солдатами
шли отбивать на горе кишлак.

Выжили двое: бьющий и – с краю что.

Вместе,

от страха холодный пот.

Приняв положенные державою

«двести»,

стреляли кому-то в рот.

Л-лупит! – последнее, ему оставшееся.

Лупит, – предчувствуя, сейчас
кончатся в Небе запасы жалости,

Руки потянутся выдавить глаз.

Вынуть сердца, до аорты ржавые,

Вбить по колена, на месте, тут

...Лупит.

Ангелы щеку его шершавую

глядят.

– Попросит,
 – они
 поют.

Слышно ли сверху ли «Бом-м», за облаком?
 Звуки достигнут, – хотят ли знать?
 Сколько исплакано. Сколько, о, сколько нам
 ждать избавленья, как смерти ждать?

Бомм-бори, – деточки! Бомм-бори, – милые!
 Я отведу, уходите прочь! С новою,
 вечно последней силою,
 грешник взрывает руками ночь.
 Может, впустию?
 Сильны проклятия.
 Может, навеки закрыл глаза
 Тот, к кому вся наша лейка-братия
 после, закончив, придет назад?

Бомм-бори, – деточки! Бамм-бори, – милые!
 Бьющий, – за каждого из вас
 выйдет на крест. Хоть живым в могилу,
 но только здесь и только сейчас.
 Бомм-бори! – Борется.
 Бомм-бори! – Мучает.
 Жилы змеятся на плоти рук.
 Господи, дети твои горячие
 просят – подай им хоть малый звук.

Бомм!..
 – Помолчи, отзовется боженька.
 Бомм!
 – Погоди, не стучи, размерь...
 Тихо.
 Упал. Ослабели ноженьки.
 плечи дрожмя задрожали.
 ...Зверь.
 Плачет.
 – Что скажете? – люди добрые
 Как-то решат Небеса дела?
 Тихо.
 Глаза опустив покорные,
 баба, вздохнув, к своему пошла.

ТОЛЬКО ЗВУКОВ БЕССМЕРТНУЮ ДРОЖЬ...

Только звуков бессмертную дрожь,
этот цокот систем,
возлагающих длани на горло, их мощную похоть,
победит, может быть, острый нож
на ажурной цепочке морфем,
заставляя квадратный день спать. Или сдохнуть.
Занавески прогнулись вовнутрь – сквозь стекла живот
моей бабки, зачерённой ночи,
из окна.
– Заходи целиком, раз такой оборот!
Извини, обормот
внук живет
тут
не очень.
Заходи.
Не вино. Только водка.
Вино-то зачем?
Им балуются дамы,
да люди Востока.
Так красиво и пошло пить
сладко. Как жить без проблем.
Нет, старуха, здесь водка.
И мне одиноко.
– Нет, простите, стаканом!
...Посплю на полу,
ты – ложись на диване.
Забыл, старый, женщин.
Да, давно. Да, дурак! – Ну, еще?
...Потерплю.
Ты родня мне, что делать.
Уменьшим
вполовину оставшийся влаги объем.
Закуси, рыба вот, – я не стану.
Не для сыту же, знаешь,
мы бродим под медным дождем.
И, ночами, стаканом...
Чёртов мир!
Поздно, поздно!
как мертвым – к врачу:
всё поделено, драться не буду.
Стыдно, веришь? И, честно, не очень хочу.
...Разве, старая, вымой посуду.
...Разве, даму вот эту, на снимке,
мечтая вернуть,

представляю дуэль, пистолеты.
 Но Ле Пажи немодны. А время
 давно слито в Лету.
 Вот и
 – ночью,
 «на грудь».
 Вот и...
 – Спиться?
 А что, это ход.
 Вечный мат миру хитрых и твердых.
 Выйдет день в нарукавниках, чтобы меня под расчет,
 да, с оттяжкой.
 Глядь – пусто. Я мертвый.
 Глядь – и пусто...
 Да, мысль!
 Там, в Израиле друг
 он всё делает правильно, только напрасно уехал.
 Буду здесь завершать,
 допивая свои километры,
 всё-всё-всё, что ты мне надарила на круг.
 Ну, ложись, отдыхай.
 Я пойду. Завтра новенький день.
 Ты его не удержишь, твоих внуков мало.
 А ведь знаешь, я помню, да, помню сирень,
 что ты мне подавала.
 Что ко мне отпустила
 босую, огромным пучком,
 тяжким, мокрым,
 пушистым.
 Я ее...
 Я не той!!
 Ах, как злы эти чёртовы числа!
 И,
 как мало мы, люди, живем!

ЧТОБЫ БЫЛО КУДА ВЕРНУТЬСЯ С ВОЙНЫ...

Чтобы было куда вернуться с войны,
 он выстроил каменный дом,
 но, поскольку мужчины богам равны,
 трубач его вызвал днем,
 И время пошло себя считать,
 ногой отбивая час,
 и каждый второй не последним стал,
 в свой самый последний раз.

А каждый хотел вернуться потом
когда отойдут дела,
туда, где ждал его крепкий дом
и та, что в дому жила,
И всякий думал: Пусть, не меня,
Боже, возьми того...
Тот одинок, никому не родня,
а мне – так нужней всего.
Но стали, летящей куда пошлют,
пусты молитвы живых,
и пулеметы не устают,
хотя слабей штыковых,
последних, как точка, трехгранных ран,
куда и смотреть не сметь,
обратно оттуда выход не дан
и крови, а вход – на смёрть.
Одним глазком она смотрит в прицел
и каждого, кто живой,
считает на пальцах. – Покуда цел,
солдат, давай, стороной.
Усни, без оглядки скользя во днях,
ползи, куда гонят всех, –
там дот стоит, хобота подняв,
и лает огонь, как смех,
Дот тоже дом и людей приют, –
на вес сундуков свинца
меняют жизни гостей и ждут
сигнала или конца.
Когда наконец пропоет труба,
закончится странный мир,
и каждый пойдет по свои гроба,
залатывая мундир.
Так спи, приятель, забыв жену,
надеясь, что друг не спит,
с ружьем, на цепи стережет войну,
убитый вчера, стоит.

МИМО РЕВЕЛЯ, ШВЕЦИИ, ПОЛЬШИ...

Мимо Ревеля, Швеции, Польши упрямых полков.
Через Балтику, Англии с Францией мимо,
Ты меня поднимаешь. Уже наравне облаков
плавно в небо.
И белая строчка резины
протянулась до шарика,
помнишь, из детства, ответь,

на смолистом краю белой палочки
шар окаянный,
покрути его – станет угрюмо гудеть,
стукнешь по лбу – и шишка. А он деревянный
под цветною фольгою, тяжелый.
Венгерка, едва
выносила, когда посильней раскрут́ится.
Я не помню ни звёзд, ни дворцов – голова
деревянна, как шарик.
– А, снова бы, знаешь, родиться.
Снова я-самолет, через ночь, на бегу
разгудевшись, шмелём полечу через запахи лета,
сквозь цветы по бульварам,
до моря, и дальше смогу,
еще дальше,
где нитка другого рассвета
пролегла, словно завтра в заботливый плен,
окружает с улыбкой,
– А ну, что случилось?
Дай, царпину смажу. И, после начала измен,
тотчас спать...
Уноси, уноси, сделай милость!
Яви силу в ручнице, Ты всё-таки Бог,
Мой давешний, волшебный, забывший меня ненадолго.
Правда, жизнь промелькнула, как старая синяя Волга,
мимо глаз и руки.
...Или волк.
...Или заяц.
Что, жизнь, – это кот?
Отпустил и ушла на неслышных и маленьких лапках.
Или птица без клетки, забывшая код
птичий, вызова в свет, уходящий на Запад?
Что есть жизнь? Для чего я повис
На резине Твоей, детским шаром гудящим?
Раскрути меня, Бог, чтобы с каждой петлёю мой визг
подымался.
– Сорваться, взлететь к настоящим
тем, кто прежде, вращаясь, скрывались в лесу
до полета навек, навсегда без оглядки, до края.
Как и я.
Ты же видишь, сгораю.
Раскрути меня напрочь над миром
и – дерни лесу.

Елена Дубровина

Ленинградский ноктюрн

ГЛАВА 1

Человек начинается с горя...

Алексей Эйсер. «Надвигается осень»

В ту холодную январскую ночь Кира Артуровна долго не могла уснуть, прислушиваясь к ночной мелодии. Тяжелые хлопья снега прилипали к оконному стеклу, ложились слоями на хрупкие ветки, а они под тяжестью мокрого снега ломались и, подхваченные порывом ветра, метались за окном, будто в поисках спасительного убежища. Постепенно ночь поглощала сумерки, уходили в тишину дневные звуки. Только ветер не слушал указаний ночи и пел за окном свою тревожную зимнюю песню.

Теперь она часто думала о своей почти прожитой жизни, о тех ошибках, которые совершила и которые уже не могла исправить. Жизнь подходила к концу, и на этой финишной линии ей хотелось вернуться в прошлое, куда много лет она не разрешала себе заглядывать, чтобы не растревожить забытые чувства и не пережить заново давно ушедшую боль.

Снег лежал на земле толстым пластом. Одиноким фонарь высвечивал узкую снежную дорожку, на которой застыл, будто неживой, большой красивый олень. Трудно было оторвать глаза от этой картины. Олень, видимо, потерял свою стаю, и, гордо подняв голову, стоял в ожидании чуда. Потом он вдруг опустился на снег, наклонил голову и замер, словно в ожидании смерти, уже не сопротивляясь ни холодному ветру, ни голоду, ни хлопьям мокрого снега, покрывавшего его одинокую, застывшую фигуру.

«Наверное, умереть можно и будучи живым», – пронеслось в мыслях у Киры Артуровны.

В доме стало прохладно. Она накинула на плечи теплый платок и снова посмотрела в окно – олень все так же неподвижно лежал на снегу, только его силуэт уже почти слился с белыми хлопьями снега, которые накрыли его легким пушистым саваном, едва мерцающим в приглушенном свете фонаря.

Кира Артуровна вернулась на кухню, поставила на плиту чайник и задумалась, наблюдая переход красок в темные тона глубокой ночи. Темнота бездонна – так же, как бесконечно время. Ночь погружает

мир в неизвестность, в глубокий, таинственный сон, создавая вокруг тишину и покой. Тогда можно укрыться, спрятаться в своем одиночестве, в том маленьком карточном домике, откуда уже давно исчезли все мечты и надежды, рассыпались, как карты, и собрать их нет ни желания, ни сил.

Кира Артуровна зажигает настольную лампу. Свет от настольной лампы ровно рассеивается по открытой тетради, куда она лихорадочно заносит новые стихи.

Как в комнате тихо. Смертельный покой
Едва нарушает движение мысли.
И тихо считает всю ночь метроном
Часы и минуты – о жизни, о смысле...*

«Счастье – это свет, за которым приходит тьма и наступает долгая ночь. Но с рассветом надо снова жить, двигаться, работать, на чем-то сосредоточивать свое внимание, на чем-то неважном, ненужном, незначимым», – думает Кира Артуровна. Не уснуть. Тени от лунных бликов ползут по ковру к кровати, от кровати на стену, причудливо изгибаясь на черном полотне ночи. Мысли приходят в полночь, такие же странные и причудливые, как эти лунные тени, мысли вчерашние и новые, странные и отчетливые... это воспоминания – об ушедшем и невозвратном, о жизни, такой же неясной, как неясна смерть. И она наспех записывает в тетрадь строчки, которые наплывают назойливо и неотвязно, одна за другой.

Ночью съезжилось время в комочек,
только тень от луны на полу,
будто кто-то оставил подстрочник
на страницах судьбы. Поутру
выползают минуты из норки,
превращаясь в часы на стене;
тени прошлого, будто осколки,
бродят всё еще в утреннем сне.

Кира Артуровна пишет, слова опережают мысли, будто кто-то невидимый водит ее рукой, нанизывает их, словно рассыпанные бусы, на тонкую нить воспоминаний. И сейчас ей беспокойно, она не в ладу с собой, тревожно. Она закрывает тетрадь и прислушивается к тишине. Ей кажется, что она нашла ту точку соприкосновения с миром, когда ничто окружающее уже не волнует: ни шепот за окном тяжелых снежных веток, ни густой ночной мрак, ослепивший своим непроницаемым равнодушием, ни сердечная боль, которая беспокоит уже много дней. Именно теперь она может хладнокровно думать о том,

* Здесь и далее – стихи автора.

что случилось почти полвека назад, там, в другом мире, другой стране, о которой остались только фрагментарные вспышки воспоминаний, – остальное Кира Артуровна спрятала в темном углу памяти, куда не разрешает себе наведываться.

И только один отрывок жизни всё еще четко высвечивается, словно наплывающий из густого тумана мерцающий огонек забытого времени. Сейчас как никогда ясно понимает она, что пришло время, когда можно спокойно окупнуться в тот океан памяти, куда Кира давно забыла дорогу. Она пытается собрать осколки далеких воспоминаний в одно целое. Здесь, в Америке, – дом, в котором она нашла покой, равновесие, эмоциональный баланс. Там, в России, остались детство, юность, первая любовь...

А жизнь проходит между строк,
запутавшись в дыханье звука,
слов недосказанных, дорог,
не пройденных. И эта мука
была давно предрешена,
не знаю кем, возможно, Богом,
что счастья нет, есть тишина –
на миг, и к вечности – дорога.

Только под утро она забывается тяжелым сном. Наступает момент, когда в одной точке сходятся в ее гаснущем сознании настоящее, прошедшее и будущее.

ГЛАВА 2

20 декабря 1978 года. Кира улетает в Америку. Там, под тяжелыми ленинградскими облаками, оставались детство, юность, любовь, ненависть, страсть, страх, страдания, радость. В своем бегстве Кира искала силы подавить те чувства, которые с годами нарастали и превращались в безумие, горевшее внутри медленным, разрушающим пламенем. Она улетала с надеждой, что однажды сможет избавиться от прошлого, развеять его над океаном и начать жизнь сначала.

Но судьба – это не дорога, усыпанная цветами, а перекресток, на котором выбираешь свой путь. Ведь куда бы человек ни стремился уйти, прошлое все равно остается с ним.

Самолет отправляется через два часа. Кира прощается с родными. Слез нет, есть только непонимание происходящего, будто она наблюдает со стороны за какой-то чужой драмой. Милая мама, когда снова она увидит ее? Папа старается подбодрить Киру, скрыть слезы. А она – будто окаменела: ни боли, ни радости отъезда. Кира машинально прощается, идет к самолету, но сердце ее остается. Она там, с любимыми, за чертой невозвращения.

Самолет медленно поднимается над белым заснеженным городом. В дымящемся тумане едва различимы крыши домов. Туман

поглотил детство, юность, город, который она любила. Кира закрывает глаза, мысленно возвращаясь назад, стараясь удержать в памяти любимые места родного города: Летний сад, Эрмитаж, набережную Невы, Невский, дом, в котором она жила... Кира достает тетрадь и лихорадочно записывает набегающие строчки:

А в сумерках тает янтарная лунность.
 Как в кадре из фильма, бледнеют виденья.
 Гуляет по Невскому старая юность,
 Обняв голубое свое привиденье.

Прощаюсь навечно. И грустно, и горько.
 Пора просыпаться, но тянет обратно,
 Где память и юность, и детства осколки.
 Всё это куда-то ушло безвозвратно.

Ее окликает стюардесса – принесла лимонад. В салоне тихо, видно, что многие уже уснули. Рядом с ней спят муж и дочь, милая сероглазая девочка, уставшая, растерянная и затихшая. Что ждет ее впереди? Сумеет ли она сделать ее счастливой? Сможет ли она сама однажды сказать себе, что прожила свою жизнь правильно? Но Кира не готова сейчас размышлять о будущем. Она прощается с прошлым, которое проявляется снова и снова, как на старой засвеченной пленке: неясные образы, полузабытые слова, истлевшие, как зола, чувства. Но в этой золе есть маленький уголек, который может вдруг вспыхнуть и превратиться на секунду в огонь, вспышку мгновенной памяти. Кира поспешно записывает в тетрадь:

Я вымощу улицу лунным свеченьем,
 Рассыплю по крышам я звездную пыль,
 И вспыхнет на небе всего на мгновенье
 Прошедшего счастья погасший фитиль.

Самолет летит плавно, разрезая густые серые облака, летит в неизвестность, в новый завтрашний день. В салоне гаснет свет. Кира не любит яркий свет, в нем есть какой-то излишек блеска – как в женщине, на которой много украшений. Она погружается в темноту, но и ночь имеет свой свет – это свечение естественно, как и тишина со своими звуками, их только надо уметь слышать.

Кира закрывает глаза – и погружается в вечность, в ту недостижимую для глаза глубину. Это и есть время, которое отсчитывает жизнь; оно проходит по кругу циферблата и возвращается снова туда, откуда начало свой ход.

Однажды в детстве Кира тонула. Она всё еще помнит это состояние беспомощности, когда тебя затягивает на дно, а ты борешься с неизвестной силой и не можешь всплыть на поверхность. И тебя зятя-

гивает всё глубже и глубже. Но Кире не страшно. Без борьбы идет она ко дну, ничего не ждет, ни на что не надеется. Вокруг – огромное, непостижимое пространство, а она – маленькая, никому не нужная точка, в нем затерянная. Кира делает попытку выбраться, но погружается всё глубже и глубже. Именно в таком состоянии находилась она все эти последние годы, пока не поняла, что пришло время бороться за себя, за свою жизнь и жизнь дочери.

Незадолго до отъезда Кира была в театре, где выступала молодая, но уже известная оперная певица. В конце выступления в переполненном зале зажглись люстры, и яркий свет, словно прожектором, осветил уставшее, но счастливое лицо женщины. Старый бархатный занавес цвета высушенной морковки плавно опустился, отгородив молодую, искрящуюся радостью певицу от взбудораженной толпы. В зале кричали «браво», и она снова выходила на сцену, взволнованная, бледная и недостижимая. Покидая Россию, Кира ощущала себя той певицей, последний раз вышедшей на знакомую сцену, чтобы попрощаться с теми, кто подарил ей часы радости, волнений и разочарований.

Самолет вошел в плотный слой облаков. Однообразная серо-белая масса пеной укрыла его продолговатое тело. Потом стало так темно, что за окном иллюминатора уже ничего не было видно. В салоне все уснули, и Кира тоже медленно погрузилась в сон...

ГЛАВА 3

После окончания института, когда ее дочке уже исполнился год, отец устроил Киру на работу в «Отдел научно-технической информации» (ОНТИ), не то научно-исследовательского, не то проектного института.

Первый рабочий день Киры начинался с пасмурного, промозглого утра. Низкое, нахмурившееся небо было завешено серыми тучами самых странных и причудливых форм. Но вот они расплывались в длинный овал, и сквозь их полупрозрачную пленку просвечивался кусочек бледно-синего неба. Просыпался город, по-февральски угрюмый, с завалами неубранного вчерашнего снега, все еще окутанный легкой дымкой утреннего тумана.

...Кира не торопится, до начала ее первого рабочего дня остается еще минут двадцать. Мимо бегут на работу прохожие, шуршат шинами проезжающие автобусы, из-под колес которых вылетают на мостовую грязные комья снега. Кира проходит мимо серого мрачного здания. «Вот он, известный Большой дом», – думает она с содроганием. Наконец она поворачивает за угол и останавливается у двери невысокого темного здания с массивной дверью. Кира с трудом читает залепленную снегом табличку: Гипроникиностройполиграфпроект.

«Да, мне сюда. И кто только придумал такое название? Здесь, в этом здании, мне придется проводить длинные рабочие часы», – с грустью отмечает Кира.

Мимо нее равнодушно идут сотрудники. Входная железная дверь

то открывается перед ней, то закрывается. Она ведет в пугающий, новый мир. Кира на минуту задумывается. Ей хочется повернуться и уйти. Жизнь напоминает ей сейчас поезд, несущийся куда-то вперед, в неизвестность, а она стоит на платформе и наблюдает, как он, постепенно набирая скорость, пронесется мимо нее. Неожиданно пожилой мужчина в каракулевой шапке-ушанке и старомодном теплом пальто с меховым воротником прерывает поток ее мыслей и вежливо распаивает перед ней тяжелую дверь, пропуская вперед. Человек обгоняет Киру, обращившись и, улыбнувшись, исчезает где-то в глубине полутемного, длинного коридора, по которому торопятся ее новые коллеги. Лица этих людей показались ей одинаково серыми и унылыми.

Кира идет вместе с ними в потоке, ее несет по течению, как пловца, потерявшего ориентир. И сама мысль, что и она будет принадлежать этому незнакомому, странному миру, пугает ее. До сих пор она не может понять, чем занимались сотрудники этого огромного учреждения. В чем будет заключаться ее работа, она себе тоже плохо представляла, вернее, не представляла совсем. На ее вопрос, где находится ОНТИ, ответить никто не мог, пока Кира не догадывается спросить проходящего мимо уверенным шагом молодцеватого мужчину внушительного вида с увесистым портфелем в руках, – как потом оказалось, директора института. Он усмехается: «Вы новенькая?» – и указывает Кире на узкую лестницу, ведущую вниз, в подвал.

«Точно в комнату пыток», – думает Кира.

Лестница была длинная и плохо освещенная. Еще один узкий полутемный коридор вел куда-то в бесконечность. На первой открытой двери она прочитала табличку: «Отдел снабжения».

«Даже ‘Отдел снабжения’ запихнули в этот подвал. Интересно, чем они тут снабжают?» – усмехается про себя Кира.

Из комнаты кто-то выбежал и, не обращая на Киру никакого внимания, прошмыгнул мимо, громко сморкаясь на ходу. Кира посторонилась, прижавшись к стене, давая ему пройти. На следующей двери она заметила приклеенную бумажку, на которой крупными жирными буквами было криво выведено: ОНТИ. Кира растегнула пальто, развязала теплый шарф, тяжело вздохнула. Неожиданно ей стало жарко и беспокойно от волнения. Поставив с минуту у двери, она, наконец, постучала и, осторожно ее приоткрыв, вошла в небольшую, квадратную, плохо освещенную комнату. Посмотрела боязливо по сторонам. В комнате было четыре стола, два грязных окна с решеткой выходили на улицу. Спиной к ней у окна стояла женщина в блестящей норковой шубке. Женщина повернулась к Кире лицом и приветливо улыбнулась, стягивая с себя шубу. Она была настолько красива, что Кира замерла в дверях, с любопытством ее разглядывая.

– Новенькая? – спросила женщина. – Вот ваш стол, у двери, а мой сбоку. Меня зовут Елена Анатольевна, будем дружить. – И она протянула Кире руку, на которой, как заметила Кира, красовался огромный золотой перстень с темно-красным рубином.

Елена Анатольевна, несколько полная, высокая, действительно очень красивая и нарядная дама лет сорока, была похожа на добрую фею из детской сказки. Как Кира позже узнала, она – жена не то генерала, не то какого-то известного партийного работника, живет в просторной отдельной квартире на Литейном проспекте и очень гордится своей 16-летней красавицей-дочкой. Кире она показалось приветливой, открытой, но несколько говорливой.

– А этот угрюмый старинный стол – нашей новой начальницы, – поясняет Елена Анатольевна, указывая на еще пустующий стол у окна, находящегося почти вровень с землей. Кира еще раз подозрительно взглянула на оконную решетку и вздрогнула, вспомнив о «комнате пыток». Елена Анатольевна перехватила ее взгляд.

– Не обращайтесь на эту решетку внимания, она для безопасности. И не беспокойтесь, Кира, сюда никто и не заходит. Да никто и не знает, чем мы тут должны заниматься. Отдел только что создали. Я его первый сотрудник. Скучно одной было, а теперь вы присоединились, – скороговоркой сообщает Елена Анатольевна.

«Присоединилась ничего не делать», – с горечью отмечает про себя разочарованная Кира.

Ровно в девять их беседу прервал телефонный звонок. Старый черный аппарат, единственный в комнате, зло трещал на столе начальницы. Елена Анатольевна поспешно и как-то испуганно подняла трубку.

– Это вас, Кира, на ковер, к главному инженеру, на третий этаж. Его зовут Марк Захарович. Будьте осторожны, он, говорят, любит молоденьких девочек. А вы прехорошенькая. – Она усмехнулась и вернулась на свое рабочее место.

Кира поняла, что ее вызывал к себе папин друг, заместитель главного инженера, Марк Захарович Рубенчик. Она поднялась на третий этаж по узкой лестнице. Кабинет Рубенчика находился в конце коридора. Небольшого размера комната была заставлена широкими книжными полками, на стене висела фотография симпатичного молодого человека в военной форме. От папы Кира знала, что Марк Захарович был в плену (в каком – папа не уточнил), перенес личную трагедию, но обладал жизнелюбивым характером, свободно говорил на пяти языках и прекрасно знал мировую литературу. Кира сразу узнала в нем того самого человека в каракулевой шапке, который утром вежливо открыл для нее дверь. Почему-то страх сразу пропал.

Марк Захарович произвел на Киру впечатление настоящего старого интеллигента: аккуратно одетый в хорошо отутюженный темно-синий костюм, высокий, худощавый, в массивных роговых очках. В глубине глаз – боль, а резкие складки вокруг губ выдавали перенесенное страдание. Редкие седые волосы были аккуратно разделены на косой пробор. Кире, обычно нелюбопытной до жизни других людей, захотелось узнать больше о Марке Захаровиче, но она понимала, что старые люди молчат. Молчали ее родители, прошедшие войну, молча-

ли соседи по коммунальной квартире, пережившие блокаду и что-то еще, о чем говорить было нельзя.

Марк Захарович встретил Киру приветливо, с широкой доброй улыбкой, но Кира застыла в дверях, не зная, что делать. Представиться? Сказать, что это папа ее сюда устроил? Нет, будто бы неудобно. Она мялась у порога, как провинившийся ребенок перед строгим учителем.

– Проходите, проходите, садитесь, Кира. Как по отчеству-то? Ну да, конечно же, Артуровна. Будем знакомы. Много слышал о вас... хорошего, конечно. Ваши знания языков нам здесь пригодятся. Кстати, сегодня должна выйти на работу ваша новая начальница. Надеюсь, что она вам понравится. – При этих словах Кира заметила, как в его глазах промелькнула какая-то веселая искорка.

– Вот вам ваше первое задание, Кира Артуровна, – бодро произнес Марк Захарович и, внимательно посмотрев на притихшую Киру, протянул журнал. При этом в его чуть прищуренных глазах промелькнул насмешливый огонек. К ее ужасу, она должна была сделать перевод с немецкого длинной статьи из научного журнала. Дрожащей рукой Кира взяла журнал и жалобно посмотрела на Марка Захаровича. Папа, видимо, перепутал, когда просил устроить дочь сюда на работу: Кира хорошо знала английский, немного французский, но по-немецки – ни слова. Итак, свое первое задание она с треском провалила.

– Ничего, не расстраивайтесь, – утешил ее Марк Захарович, направляясь к двери, давая понять, что аудиенция окончена, – первый блин всегда комом. Найдем для вас что-нибудь поинтереснее. Можете идти, вас внизу, наверное, уже ждут.

Марк Захарович галантно открыл перед Кирой дверь и почему-то хитро подмигнул. Кира осторожно спустилась по узкой, почти винтовой лестнице, не встретив ни одного сотрудника. Было так тихо, словно здание пустовало. На втором этаже она заметила вдоль длинного коридора много дверей. Все они были плотно закрыты.

«Ghost town», – подумала она, вспомнив недавно прочитанный ею на английском роман Эдгара По «Убийство на улице Морг». – «А может, и правда бывшая тюрьма», – и она поспешила быстрее в «свою камеру».

По дороге Кира заглянула в библиотеку, которая примыкала к «Отделу информации». Там царил нелепый беспорядок. Журналы вперемежку с книгами и патентами были разбросаны на столе у входа, так называемые «новые поступления» трехмесячной давности. В библиотеке работали две Гали. Одна была шумная, высокая, почти рыжая, похожая на лису, с вкрадчивыми и обходительными манерами и ослепительно белой кожей в веселых веснушках. Она была библиотечкарем. Другая – невысокого роста, неопрятно одетая, с темными распущенными волосами, круглым лицом и немного раскосыми глазами, занималась патентами. Кира постояла с минуту, поговорив с Галями, и вернулась в «свой» отдел.

Не успела Кира войти, как Елена Анатольевна тут же поведала ей историю двух Галь. Оказалось, что обе они были несчастны – первая Галя никак не могла найти себе мужа, а вторая Галя только что ушла от мужа, застав его в постели с первой Галей, при этом обе они оставались лучшими подругами. Эту подробность Елена Анатольевна успела сообщить Кире шепотом, нервно поглядывая на дверь.

– С этими девочками надо быть настороже. Преду...

Неожиданно она замолчала, оборвав себя на полуслове. За спиной Киры широко и с треском распахнулась дверь, и в комнату ввалилось что-то неопределенного возраста, с короткой мужской стрижкой. Полная, краснощекая, в мешковатом черном деловом костюме, она произвела на Киру впечатление важного партийного работника. Женщина сняла очки, протерла их рукавом жакета, угрожающим взглядом обвела комнату, наполненную тяжелым ароматом духов «Красная Москва», которыми щедро надушилась Елена Анатольевна, и поморщилась. Видимо, она собиралась представиться, но ее опередил влетевший вслед за ней маленький лысый человечек с красным взволнованным лицом, глава институтского парткома. Кира почему-то сразу обратила внимание на его галстук: он был слишком длинным и висел на шее, как петля у собиравшегося покончить жизнь самоубийством. Кира улыбнулась, но, поймав на себе неодобрительный взгляд вошедшей начальницы, уставилась в стол. Мужчина нервно посмотрел по сторонам и кивнул Елене Анатольевне, явно не замечая Киру. Во всей этой ситуации было что-то комическое.

– Разрешите представить, Татьяна Васильевна Деревянная, ваш новый начальник, партейная, – подчеркнул писклявым голосом секретарь парткома. – Работа эта ей хорошо знакома, до этого была начальником цеха на обувной фабрике. Прошу любить и жаловать. – Он как-то торжественно посмотрел на Елену Анатольевну, и, повернувшись ко всем спиной, исчез в полумраке коридора.

Взгляд Киры невольно упал на туфли новой начальницы. Похожие на изношенные галоши, примерно сорокового размера, туфли напоминали отплывающие от причала старые, выдавшие виды лодки. А сама начальница походила на лагерную надсмотрщицу из какого-то военного фильма. С гордо поднятой головой она широким шагом промаршировала к своему рабочему столу и, вытащив из толстого новенького портфеля кипу бумаг и журналов, произнесла громовым голосом, как на партийном собрании, короткую, но значимую речь:

– Итак, товарищи! Задача нашей партии вмядрить новую информацию в массы, чего мы тяперь и будям делать, то есть – вмядрять!!! Понятно, товарищи?

Только сейчас Кира заметила стоявших в дверях двух хихикающих Галь, которые с интересом наблюдали прибытие нового командира. Кира перехватила смешливый взгляд Елены Анатольевны, но Деревянная строго посмотрела на них – смущенная и раздавленная

под ее взглядом Елена Анатольевна стала что-то быстро записывать в увесистую тетрадь. Кира тоже открыла новую тетрадку, но писать было нечего. Она так и просидела до обеда с авторучкой в руке, изредка поглядывая на начальницу, которая молча разбирала старые журналы. Неожиданно Елена Анатольевна оторвалась от своего занятия и нервно взглянула на свои золотые часики. Подошло время обеденного перерыва, о чем извещил громкий, как в школе, звонок, доносившийся со второго этажа.

Татьяна Васильевна открыла свой портфель и вытащила из него огромный, завернутый в газету бутерброд. Запах докторской колбасы почти заглушил аромат «Красной Москвы». Накинув пальто, Кира поспешно вышла на улицу, не зная, куда пойти. Шел мокрый снег, веселые хлопья кружились в воздухе и быстро таяли на асфальте, образуя новые грязные лужи. Елена Анатольевна вышла сразу вслед за Кирой.

– Опять мокрый снег, – поежилась она, – а вы без головного убора, – совсем по-матерински проговорила она. – Если нет планов, хотите вместе пообедать? Мы обычно идем в столовую Дома писателя. Она рядом, рукой подать, – потом, посмотрев по сторонам, добавила уже тише, – там питается всё наше начальство и обе Гали.

По дороге в столовую Елена Анатольевна неожиданно повела Кире мрачную историю здания, в котором они работали.

– Кирочка, как вас наш подвал, не напугал? У этого помещения история, в общем-то, страшная. Эта улица называлась раньше, до революции, Шпалерной, а дом, в котором находится сейчас наша организация, был доходным домом полковника Дмитрия Полубояринова. В нем располагались паровая, скоропечатня, переплетно-брошюровочная мастерская, книжный склад, типография, где издавалась газета «Русское знамя», и что-то еще...

– Откуда вы всё это знаете, Елена Анатольевна? – удивилась Кира.

– Муж по секрету рассказал. Но это только между нами, Кирочка. Договорились? Вижу, что вам верить можно.

– Да, да, конечно. А что же дальше было?

Кира уже не могла дождаться конца этой истории в предчувствии ее страшного завершения.

– Так вот, после смерти в 1905-м владельца здания домовладение перешло к его жене. Она же была активным членом черносотенного движения. В своей типографии, называвшейся «Отечественная», она печатала газету. А теперь самое интересное: в 1909 году Полубояринова была обвинена в том, что поселила людей в подвале своего дома, не приспособленного для жилья. Её оштрафовали, а несчастных людей выселили. А вот теперь мы там обитаем. Понятно? В подвале, не приспособленном для жилья, – повторила Елена Анатольевна, улыбаясь загадочной улыбкой. – А в девятнадцатом – кстати, 15 февраля, сегодня годовщина, – даму эту расстреляли, – добавила она, будто даже

торжественно, и с сожалением посмотрела на испуганную Киру. – А вот мы и пришли. Да не бойтесь, Кирочка, с нами ничего не случится. Не расстреляют.

ГЛАВА 4

В Дом писателя на улице Воинова пускали не всех, но сотрудникам института почему-то разрешали пользоваться писательской столовой. Раньше этот дом, похожий на дворец, принадлежал графу Шереметьеву, но от прежнего величия и красоты убранства остались только воспоминания. Кира слышала, что в Доме писателя была прекрасная библиотека, однако попасть в «Дом Маяковского», как его называли, можно было только членам Союза писателей, людям, имевшим пригласительный билет или пришедшим в сопровождении членов Союза. После скандала в конце января 1968 года*, о котором Кира слышала от отца, атмосфера когда-то оживленного места встреч стала мрачной.

Скучная очередь в столовую тянулась вдоль длинного коридора. «Не успеем», – подумала боязливо Кира, осматриваясь, будто пыталась увидеть здесь тени прошлого, но Елена Анатольевна прервала ход ее мыслей.

– Не беспокойтесь, Кира, здесь обслуживают быстро. Столовка ведь для писателей, и еда неплохая.

За большим круглым столом они оказались вместе с двумя Галями и главным архитектором института, Арамом Георгиевичем Акопяном, как он сам представился.

Вместо того чтобы назвать свое имя, Кира растерянно промолчала. Акопян сделал вид, что не замечает ее, повернулся к одной из Галь и, близко наклонившись к той, что-то прошептал. Она смущенно покачала головой. Кира поймала себя на том, что открыто разглядывает главного архитектора. На вид ему было лет 37-40; черные, как

* 30 января 1968 года в Союзе писателей состоялся вечер творческой молодежи Ленинграда. Проводило его объединение экспериментальной прозы, инициатором был Борис Бахтин. На первом этаже одновременно открылась выставка картин художника-абстракциониста Якова Виньковецкого. Литературную часть вел Яков Гордин, а Борис Бахтин – дискуссии по живописи. Среди выступавших были и те, кто не состоял в Союзе. Вечер в Белом зале прошел с огромным успехом, люди, что называется, «висели на люстрах». Иосиф Бродский декламировал «Остановку в пустыне», читали свои тексты Игорь Ефимов, Владимир Маразмин, Татьяна Галушко, Валерий Попов, Владимир Уфлянд и Сергей Довлатов. Его рассказ «Чирков и Берендеев» был воспринят с восторгом. На следующий день три молодых литератора – Валентин Щербаков, Николай Смирнов и Николай Утехин – написали письмо в ЦК КПСС и в Ленинградские обкомы партии и комсомола. Они назвали вечер в Доме писателей «хорошо подготовленным сионистским художественным митингом». Ленинградский обком на «сигнал от товарищей» отреагировал оперативно. С должности председателя комиссии Союза писателей по работе с молодыми авторами сняли Веру Кетлинскую, уволили ответственного за проведение вечера зам.директора Дома писателя. Как стало понятно впоследствии, этот вечер поставил крест на легальной литературной карьере Иосифа Бродского, Сергея Довлатова и Владимира Уфлянда. (Е.Д.)

смоль, вьющиеся волосы спадали почти до плеч. Легкие очки в тонкой металлической оправе, казалось, только увеличивали большие светло-карие, выразительные и несколько насмешливые глаза на смуглом, утонченном лице. В его взгляде Кира отметила и странное, обволакивающее сияние, и тепло, идущее откуда-то из глубины. Арам Георгиевич был одет в серый вязаный свитер и темные брюки, что сразу выделяло его из числа посетителей столовой. Почти все сидящие за столиками «писатели» были в темных костюмах и красных галстуках, как если бы они собрались на очередное партийное собрание.

– Кира ее зовут. Кира Артуровна, – выручила ее Елена Анатольевна, – наша новая сотрудница, только институт окончила, родила дочь – и к нам, в «Отдел информации», – бойко заключила она.

Это всё, что она знала о Кире, да и знать особенно было нечего, так обыкновенна жизнь ничем не примечательной 23-летней сотрудницы ОНТИ.

Разговор за столом затянулся. Обсуждали напечатанный в «Иностранке» роман Франсуазы Саган «Немного солнца в холодной воде». Арам Георгиевич, видно, в этой женской компании чувствовал себя уютно. Кира отметила, что он умел создать вокруг себя атмосферу какой-то доверительности. Все расслабились и стали быстро пережевывать только что принесенные официанткой котлеты с макаронами.

– А вы знаете, что в название романа вошла строка из стихотворения Поля Элюара «И я вижу её, и теряю её, и скорблю, / И скорбь моя подобна солнцу в холодной воде»? Почему писательница так назвала свой роман? – повернулся к двум Галям Арам Георгиевич, не обращая внимания на Киру, которая без всякого удовольствия жевала остывшую котлету и прислушивалась к разговору за столом.

Но обе Гали молчали, молчала и Елена Анатольевна. Пауза неловко затянулась. Кира аккуратно отодвинула тарелку с недоеденной котлетой, сделала глоток чуть теплого чая и, заикаясь, попыталась встрять в разговор.

– Я... я считаю, что автор пытается в заголовке передать такую мысль: никакой холод не может остудить скорбь несчастливой любви, ибо любовь – вечна. Или, может быть... – Кира на минуту задумалась, – даже солнце настоящей любви не может согреть холодную воду, в общем, как-то так. Ведь главная героиня романа в конце умирает, понимая, что любовь Жилия к ней прошла, – здесь Кира запнулась и мельком взглянула на Арама Георгиевича.

Он чуть наклонился вперед, пристально разглядывая ее, будто только сейчас заметил.

– Я... я, между прочим, очень люблю стихи Элюара, его верлибры. Он много писал об одиночестве, – выпалила вдруг Кира и процитировала, всё еще заикаясь от волнения, любимые строки – и название символично: «Наша жизнь».

Не в одиночку мы к цели идем а вместе с любимой
Понимать научившись любимую мы научимся всех понимать
Все мы друг друга полюбим наши дети будут смеяться
Над черной легендой о человеке который был одинок.*

Все молчали. Елена Анатольевна на минуту перестала стучать вилкой по тарелке. Гали удивленно переглянулись между собой, пока, наконец, Арам Георгиевич, взглянув с любопытством на притихшую Киру, продолжил:

– Да, он писал много о любви, посвятив целый ряд стихов своей жене. Она умерла внезапно от эмболии. Поэт очень тяжело переживал ее смерть. Вот одно стихотворение из этого цикла. Его считали сюрреалистом, но я бы назвал его, скорее, поэтом-экспрессионистом. Почувствуйте всю горечь его утраты:

Я закрыл глаза чтобы больше не видеть
Я закрыл глаза чтобы плакать
Оттого что не вижу тебя

Где твои руки где руки ласки
Где глаза твои прихоти дня
Всё потеряно нет тебя здесь
Память ночей увядает.

Кира слушала внимательно, подперев рукой подбородок. Ей нравилось, как он читал, – тихим голосом, без надрыва, без пафоса, словно строчки лились из самой глубины его сознания.

Темленькая Галя доела свой обед и открыто зевнула.

– Ну, это же не поэзия, а проза... Скучно и непонятно. То ли дело Эдуард Асадов. Он тоже пишет о любви, но, по крайней мере, у него все ясно.

Слова ее не произвели впечатления, и все молча вернулись к своим тарелкам. Тишину прервала Елена Анатольевна, обращаясь к Араму Георгиевичу:

– Завтра же попрошу мужа достать мне этот журнал с романом Саган. Вы, кажется, говорили, что *роман* был опубликован в 69 году? – при этом она сделала ударение на слове «роман». – Звучит очень заманчиво. Люблю *романы* про любовь, – кокетливо прошептала Елена Анатольевна, надевая шубку и первой направляясь к выходу.

За ней поспешно последовали обе Гали. Та, что была пониже ростом, оглянулась и позвала Арама Георгиевича присоединиться. Но он то ли не услышал, то ли сделал вид, что не слышит. Неожиданно он подхватил Киру под локоть, давая понять, чтобы она немного отстала от сотрудниц.

* Перевод М. Ваксмахера

– Вы любите читать?

Его вопрос озадачил. Кира растерялась, ей казалось, что читать любят все.

– Да, люблю, конечно, очень люблю.

– Читали «Черного принца» английской писательницы Айрис Мердок, который только что вышел в той же «Иностранке»? Мне было бы любопытно узнать ваше мнение об этой книге, – поинтересовался Арам Георгиевич, застегивая теплую куртку.

Кира радостно на него посмотрела и замедлила шаг.

– Да, я как раз в выходные этот роман читала. Папа достал журнал на два дня. Мое мнение... – переспросила она, на секунду задумавшись: – Если честно, то роман меня просто поразил. Я его за одну ночь проглотила. Он задел какие-то новые, незнакомые струны, взволновал необычайно! До сих пор нахожусь под впечатлением – и не потому, что этот роман о любви, о разрушительной, почти шекспировской, страсти. Меня потрясло другое: как мастерски писательница сумела передать состояние главных героев, их такие сильные эмоции. Наверное, хороший писатель, создавая образы, не только перевоплощается в каждого из героев, но и сам как бы умирает вместе с ними. Знаете, на мой взгляд, настоящее произведение искусства может глубоко воздействовать на наше подсознание. А здесь ведь именно так и случилось. Помните, что всё начинается с разговора о «Гамлете»? – Кира говорила оживленно, эмоционально, забыв, что рядом идет совершенно незнакомый ей человек.

– Да, конечно. Согласен. Роман непростой, многослойный, философский. Меня же впечатлило совсем другое: как переполняющие главного героя чувства гнева, обиды, страсти полностью подчиняют его своей стихии. Разве это не есть трагедия человека, жаждущего быть счастливым? Разве не шквал разрушительных эмоций порой делает человека несчастным?..

Они пересекли Литейный проспект, когда Арам Георгиевич забеспокоился. Он вдруг прервал себя, посмотрел на часы и заспешил.

– Кажется, вам надо торопиться. Я слышал, что у вас очень строгая новая начальница. Давайте продолжим наш разговор завтра. Мне не хочется его заканчивать. Вы ведь будете здесь опять обедать? И, кстати, поздравляю с первым рабочим днем в нашей *замечательной* организации, – он сделал ударение на слове «замечательной». Кире показалось, что он произнес это с иронией

Послеобеденный звонок уже прозвенел, только несколько человек, опаздывая, спешили занять свои рабочие места. Кира быстро сбегала вниз по лестнице, с опаской приоткрыла дверь и вошла. Елена Анатольевна уже сидела за столом, несколько смущенная. Видно, что ей досталось за опоздание. При виде Киры Татьяна Васильевна взглянула на часы и произнесла низким, угрожающим голосом:

– Вы опоздали на семь минут. На нашей фабрике вас тут же уволили бы, так как из-за вас задержался бы весь обувной конвейер. Вы

видите, *как* я уже завалена работой. В первый же день я вся *завишилась*, – добавила она серьезно и даже несколько печально.

Произнося эту тираду, Татьяна Васильевна демонстративно переложила все принесенные из дома бумаги справа налево. Вскоре и Кира переняла этот трюк. Каждый раз, когда неожиданно начальница входила в комнату, Кира начинала лихорадочно переключать первые попавшиеся бумаги справа налево, слева направо. Работала эта тактика безотказно.

Остаток дня тянулся невероятно долго. Татьяна Васильевна после обеденного перерыва где-то пропадала, а Кира не знала, чем заняться. Елена Анатольевна вышивала под столом какой-то платочек и при этом что-то оживленно рассказывала. Кира была погружена в себя, и щебетание Елены Анатольевны едва доходило до нее. Она рассеянно просматривала принесенный из дома журнал «Крокодил», мысленно возвращаясь к разговору в столовой. Поток ее мыслей прервала вошедшая в комнату одна из Галь – та, что темленькая, с длинными распущенными волосами. Она пришла узнать, где начальница, но Кира почему-то решила, что Галя пришла из-за нее. Было в ее поведении что-то театрально-наигранное, манерное, неестественное. Наконец, перебросившись несколькими словами о погоде с Еленой Анатольевной, Галя выплыла из комнаты, бросив Кире на ходу приторно ласковым голосом:

– Будет время, заходи, Кирюша, в библиотеку, поболтаем, посплетничаем, введем тебя в курс дела. – В коридоре глухо застучали ее каблучки.

Только что с нежностью смотревшая на нее Елена Анатольевна прошипела негромко, но так, чтобы Кира могла услышать:

– Терпеть ее не могу – актриса-комсомолка, черт знает, какую роль она здесь играет! – И снова достав свое вышивание, хладнокровно принялась за работу.

Наконец, прозвенел долгожданный звонок об окончании рабочего дня. Ровно в пять часов, со звоном, как послушная школьница, Елена Анатольевна вскочила с места, убрала в ящик несколько лежавших на столе бумажек, засунула в сумку вышивание и подала Кире знак собираться. Начальница, или «надсмотрщица», как они ее между собой теперь называли, неожиданно шумно появилась в комнате и, тяжело плюхнувшись на стул, стала что-то записывать в лежащую перед ней тетрадь.

– Наверное, стучит на нас донос. Завтра уволят, – подумала Кира с облегчением.

– Когда так много работы, то можно и не бежать домой, – укоризненно покачала головой начальница, продолжая писать.

На секунду Кира остановилась, как вкопанная, в дверях, но Елена Анатольевна подтолкнула ее вперед и, делая вид, что они не слышали замечания, с важным видом вышли из комнаты, влившись в поток спешащих домой сотрудников.

Кира задержалась у выхода на улицу, вдохнув свежий морозный воздух. Вечерело. Напротив здания уже зажегся уличный фонарь, тускло отражаясь в замерзших лужах. В желтом его освещении Кира заметила Арама Георгиевича. Он стоял несколько в стороне и курил папиросу. Она заторопилась к метро, когда, завернув за угол, услышала, как кто-то позвал ее по имени. Сердце почему-то на минуту дрогнуло. Это был Арам Георгиевич.

– Вы на метро?

Кира кивнула, не отвечая.

– Я вас провожу, мне в ту же сторону. Просто хотел продолжить наш разговор о «Черном принце». Вы же не торопитесь, правда?

ГЛАВА 5

Кира всегда жила в своем мире, нереальном, чаще прислушиваясь к подсознанию, чем включая сознание. Такое переплетение рассудочного и иррационального помогало ей уйти от собственных бед – болезни ее девочки, несчастливого брака. Понимать людей умом Кира не умела, не умела анализировать их поступки, но интуитивно могла отличить ложь от правды. Так и в книгах. Она шла по наитию за мыслью автора, поддавшись эмоциям и чувствам его книжных героев, становясь частью чужой, книжной жизни. Кира понимала весь драматизм своего существования. С помощью книг она разделяла судьбы других людей, узнавала их тайны, оставляя свою личную жизнь в стороне, нетронутой, неприкосновенной. Она понимала, что человек появляется на свет, чтобы познать мир, который его окружает. Однако вместо этого Кира погружалась в мир книжный, уводящий ее от реальности.

В «Черном принце» она улавливала неистовые страсти, почти по Достоевскому, – как в «Идиоте», «Неточке Незвановой» или «Преступлении и наказании». На время Кира сливалась с этими героями; они оживали и поселялись глубоко в ее душе, и в такие моменты, когда она перевоплощалась в эти книжные образы, она становилась то Настасьей Филипповной, то Неточкой Незвановой. И тогда глубина чужой трагедии заглушала ее собственные переживания.

Но эта ее внутренняя жизнь была тайной, куда она никогда никого не впускала. И вот рядом с ней шел совсем незнакомый человек, казавшийся ей в то же время странно близким. Кире вдруг захотелось разделить с ним свои мысли, слушать его спокойный, приветливый голос. Они дошли до метро «Станция Чернышевская», потом свернули на соседнюю улицу, вышли на какой-то бульвар. Кира уже не следила, где они и куда идут. Ей было хорошо идти рядом с ним, говорить о любимой книге, делиться мыслями, зная, что ее слушают и понимают. Ведь самое близкое расстояние между двумя людьми возникает тогда, когда есть понимание. Вот и между ними установилась эта еле ощутимая связь, будто начало какого-то нового взаимного познания.

Арам Георгиевич первым вступил в разговор, продолжая начатую днем тему.

– Признаюсь вам, Кира, что эта книга подействовала на меня, как наркотик, а в Брэдли Пирсоне я увидел самого себя.

Она удивленно на него посмотрела, поражаясь его откровенности, но он продолжал, словно не замечая ее удивления.

– Ведь его история – это история творческих исканий несчастного человека, поиска любви и правды. Представьте, как часто творческие люди несчастны в жизни. И только в творчестве они находят спасение. Брэдли погубила любовь, он стал рабом своих страстей. У Джулиан осталась только память. И все-таки всё ею пережитое привело ее к творчеству, к поэзии. Не странно ли это?

Кира задумалась над его словами.

Ей было только 23, а ему?.. Почему он так откровенно выражает вслух свои мысли? Или он тоже улавливает какую-то неожиданно возникшую между ними связь? Или он сравнивает себя и ее с главными героями романа? И опять вопрос – почему? А ведь он был действительно прав. Эта мысль об уходе от трагедии в творчество прослеживается в книге – мысль, которую поняла и пережила она вместе с героями романа. Кира вспомнила вдруг фразу, которую часто повторяла ее учительница английского, цитируя строчку из Т.С. Элиота: «Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; It is not the expression of personality, but an escape from personality»*.

– Нет, вовсе и не странно. Горе заставляет человека видеть мир глубже, чувствовать тоньше. Человек начинается с горя, как, на мой взгляд, и настоящая поэзия, в которой должна преобладать душа, познавшая всю глубину страдания. Мы ведь часто говорим «дух творчества». А почему? Я это понимаю как «божественная душа, которая водит рукой творца», то есть что-то данное свыше. Да, и вы, конечно, были правы, заметив, что роман философский. Однако для меня в этой книге важна еще и психология человеческих отношений, – Кира остановилась, пытаясь подобрать нужные слова. – Даже не знаю, что важнее здесь – сам запутанный сюжет, который так затягивает, или мысли автора, которые заставляют размышлять о собственной жизни. Ведь и в жизни всё так же сложно и запутанно... Мы живем будто в зимней спячке, которая затягивает всё глубже и глубже, и нам кажется, что это и есть жизнь, пока не случится что-то страшное... или...

Кира не закончила фразы, запутавшись в своей собственной откровенности, и замолчала. Он слушал ее внимательно, чуть наклонившись вперед, будто хотел всмотреться в ее лицо, понять ход ее мыслей.

– Мне кажется, что вы слишком эмоционально принимаете жизнь, Кира. Смотрю на вас и удивляюсь: в вас есть какая-то открытость и даже незащищенность. Вы, наверное, иногда теряете связь между ре-

* Поэзия – не выплеск эмоций, но бегство от них; она – не выражение личности, а бегство от нее. (анг.)

альностью и иллюзией, построив между ними стену. Попробуйте сломать ее, войти в жизнь, как бы страшно вам ни было.

Кира молчала; не дожидаясь ответа, он продолжил:

– Я хорошо понимаю, что вы имеете в виду, – теперь он старался говорить медленно, почти растягивая слова. Голос у него был низкий, ласковый, немного певучий. – Мы принимаем этот длинный сон, это наше, так называемое *внутреннее бытие*, за реальность, а потом вдруг неожиданно нахлынет поток страстей, как у Черного принца, и мы просыпаемся, понимая, что прошло полжизни и мы ее просто проспали. – Он сделал длинную паузу, будто что-то вспомнил. – Уже поздно, вас, наверное, ждут дома – муж, семья?

Кира не ответила. Улица уходила куда-то вдаль, едва освещенная появившейся на черном небе бледной, просачивающейся сквозь тучи луной. Он поднял голову, и лунный свет упал на его лицо – задумчивое, одухотворенное, ставшее ей до боли близким в этой странной вечерней подсветке. Еще никто не относился к ней как к взрослому, зрелому человеку. Родители считали ее еще ребенком, муж ею не интересовался вовсе. Подруг было мало да и все они были ее ровесницы, занятые собственными проблемами. И только Арам Георгиевич сумел понять, что она умеет мыслить, сопереживать жизням ее книжных героев, осязать чужую боль. Говоря с ним о творчестве, она думала о том, что именно творчество может стать тем лечебным бальзамом, который прикладывают к ране, чтобы успокоить боль. Искусство задает ритм человеческой жизни, драматизирует ее, замечая самое важное – то, что может захватить воображение, увести в дебри чужих переживаний, как в «Черном принце». Однако многое в клубке страстей героев романа оставалось ей до конца непонятным – как и он, человек, идущий рядом, был для нее еще таким далеким.

ГЛАВА 6

Уже совсем стемнело. Луна постепенно уходила вглубь тяжелого неба. Рассыпанные по его полотну мелкие звезды стали гаснуть, и густые зимние сумерки поглотили их свет, заволокли небо. Холодный ветер налетел неожиданно и начал моросить дождь вперемежку с мокрым снегом. Легкие снежинки светились, словно маленькие светлячки, в сетке электрического света, падающего от уличного фонаря. Кира открыла зонтик, но порывом ветра его вырвало из рук. Они остановились, посмотрели влед летящему по дороге зонтику, и оба рассмеялись.

– Вот так и в жизни, – сказал Арам Георгиевич, – один порыв ветра может ее полностью изменить.

Они подошли к станции метро, пора было прощаться. На малолюдной платформе, ожидая поезда, Кира размышляла о сказанных им словах, о том, что она ничего еще не знала ни о нем, ни о его жизни, планах, работе. Кира ехала в полупустом вагоне, и на душе было светло, в ней звучала тихая, счастливая музыка. Никто не обра-

щал на нее внимания – кто-то читал газету, кто-то мирно похрапывал, уронив голову на грудь, и только одна женщина, сидящая напротив Киры, почему-то изредка с любопытством на нее поглядывала.

«Наверное, я не могу скрыть, что творится внутри меня. То, что случилось сегодня, и есть счастье». – Кира на минуту забыла о скучной работе, о тревоге за дочь, о нелюбимом муже. Душа ее будто парила над ней, полная неизведанной доселе пронзительной радости, и в этот момент в нее пускало корни, словно вращало, новое «я».

На остановке автобуса под ледяным дождем еще стояло несколько человек. Толстая женщина в старом потертom пальто, маячившая прямо перед Кирой в очереди, та самая, что сидела напротив в метро, повернувшись к ней лицом, презрительно осмотрела Киру с ног до головы: серое клетчатое пальто с широким поясом, кожаную черную сумку, высокие сапоги. Кира увидела ее злые, полные ненависти глаза, когда женщина закричала громким срывающимся голосом – так, чтобы услышали все, кто ожидал автобуса:

– Вот такие, как эта, и крадут наших мужей. Только посмотрите на нее. – И она рассмеялась мелким, хриплым, почти гортанным смехом, широко расставив ноги в старых стоптанных туфлях.

Люди в очереди зашевелилась. У безликой и безмолвной толпы появился голос: кто-то ей посочувствовал, кто-то встал на защиту Киры. А Кира стояла как вкопанная. Ей стало вдруг стыдно за себя, за свое нарядное пальто, импортные сапоги, и в то же время обидно до слез.

«Почему я, что я ей сделала? – мысль вдруг стала лихорадочно работать. – Ну а что, если она права?»

– Видно, что сумасшедшая, – посочувствовал пожилой, хорошо одетый мужчина и с сожалением посмотрел на Киру. – Не расстраивайтесь. Жизнь сейчас такая... – серая. Люди стали обозленными.

Кира кивнула, вышла из очереди и, не оборачиваясь, быстро перешла на другую сторону улицы. Она брела по ночному, вымершему городу. В окнах горел свет, а за окнами жили счастливые люди – их ждали, их любили. Кира шла, не обращая внимания на холодный дождь, мокрый снег. Под ногами блестел обледенелый асфальт, в мелких, замерзающих лужах отражалась тень засыпающего города. Волосы покрылись мокрой коркой льда. Постепенно она выходила из состояния оцепенения, будто ветер, подхвативший тот зонтик, нес и ее, Киру, в неизвестность, оставляя за собой лишь руины ее прежней жизни. И опять, как бред, слагались в строчки слова:

Брожу по улицам.
Тупое одиночество разлук
в прищуре сумерек. Вокруг
проходят тени по холодным лицам,
безликим лицам города чужого.

Я думаю – в чем зыбкость наших чувств,
о невозвратности,
и в чем ее основа.
Шаги, шаги –
след в каждой клетке слова...

Не успела она мысленно дописать последние строки, когда увидела подъезжающий к следующей остановке автобус. Кира села на первое сидение, стряхнула с волос мокрый снег, вспоминая со стыдом недавнюю сцену.

Когда она вернулась домой, было уже почти девять вечера. Мужа дома не было. «Ну и слава богу», – сказала она вслух, потушив свет и забираясь под теплое одеяло.

ГЛАВА 7

Порою жизнь делает щедрые подарки, когда ты этого совсем не ожидаешь, но так же быстро забирает их из твоих счастливых рук. То, что когда-то было фантазией, становится реальностью, но лишь на короткое время. Счастье, как воздушный шар, подхваченный ветром. Он лопается в воздухе, и в руке остаются только маленькие лоскутки и нитка, на которой он держался. И человек снова погружается в свой замкнутый мир иллюзий, полусна-полуяви. После встречи с Арамом Георгиевичем, этим уже познавшим жизнь человеком, Кира вдруг увидела мир глазами не книжной героини, а настоящей, уже повзрослевшей Киры. На следующий день она торопилась на работу без страха, но с надеждой снова его увидеть, продолжить прерванный разговор.

Татьяна Васильевна появилась только перед обедом, объяснив им, что ей еще надо было разобраться с делами на старой работе. Назначение на эту должность партийным комитетом было для нее несколько неожиданным.

Во время ее отсутствия две Гали и Елена Анатольевна судачили о событиях в институте.

– Это же бомба! – кричала рыжая Галя. – Эллочка завела роман с главным инженером, а у нее муж, а у него жена да еще двое детей. Я сама видела, как они шли сегодня на работу, открыто, представляете, открыто взявшись за руки.

Вторая Галя понимающе кивала головой.

– Весь институт о них только и говорит, а им хоть бы что. Давно к этой Элле приглядываюсь. И что он в ней нашел?

– По-моему, она хорошенькая, к тому же умная. Ну и что в этом такого – два человека полюбили друг друга, – рассудительно заметила Елена Анатольевна, – да, да, два человека полюбили друг друга. При чем здесь брак? Любовь не подвластна бумажке из ЗАГСа. Зачем вы их осуждаете, Галочка? И с вами такое могло бы случиться. За его жену переживаете? Понимаю... – добавила она, явно намекая на измену бывшего мужа Галочки.

– Что за глупости, Елена Анатольевна! Ну уж нет, я-то замуж теперь точно не выйду. Мне хватило одного брака, – глубокомысленно взглянув на Елену Анатольевну, взбунтовалась обманутая Галя и – быстро переведя тему. – А что это за кольцо у вас на пальце сияет? Новое опять? – и она с завистью уставилась на маленькое бриллиантовое колечко на левой руке у Елены Анатольевны.

Та, в свою очередь, поблднела, и на лице появились отчетливые красные пятна, выдававшие ее волнение.

– Забыла снять. Да, муж вчера подарил. У нас была годовщина свадьбы. Он теперь редко дома бывает – работы, говорит, много. Мы с дочкой в основном вдвоем. – Она опустила голову, пытаясь скрыть смущение.

Разговор не клеился, и каждый вернулся к своей работе: Кира – читать журнал «Нева» с новой повестью Даниила Гранина «Дождь в чужом городе», Елена Анатольевна – вышивать очередной носовой платочек, а две Гали отправились в библиотеку обсуждать Кирину прическу и новое колечко Елены Анатольевны.

В обеденный перерыв опять всей компанией отправились в писательскую столовую, но Арам Георгиевич не пришел. Напрасно Кира смотрела по сторонам в надежде, что он где-то здесь, за другим столиком. Ее нервозность не осталась незамеченной. Елена Анатольевна вдруг громко сообщила, что утром видела главного архитектора, он шел с какой-то сотрудницей, кажется, из «Строительного отдела», очень привлекательной молодой женщиной. Две Гали между собой переглянулись – новая тема для разговоров вдруг всплыла сама собой.

– Говорят, что первая жена ушла от него к соседу по коммунальной квартире. Представляете? Он очень переживал ее уход, ее предательство, мечтал о детях, а потом встретил на старой работе какую-то Наташу, чертежницу, она ему дочь родила. Говорят, что она очень некрасивая, но любит его без памяти. Они так и живут не расписавшись, – пояснила темненькая Галя, видимо, хорошо осведомленная о личной жизни Арама Георгиевича.

– Откуда такие познания? Девочки, вам не надоело целыми днями сплетничать? Займитесь своей личной жизнью. А вам, Галя, – обратилась Елена Анатольевна к темненькой Гале, – кажется, и самой нравится Арам Георгиевич? Да, и не удивительно – мужчина интересный, обаятельный; как посмотрит своими томными глазами, так голову и потеряешь, – она хитро посмотрела на Галю. – Ну вот, надо рассчитаться и бежать, обеденное время себя исчерпало.

Кира медленно и с неохотой доедала суп.

– Вы идите, а я доем суп и вас догоню, – сказала она.

Кире хотелось хоть несколько минут побыть одной. Гали переглянулись и хихикнули. Отношения с ними у Киры явно не складывались.

Прошло еще несколько рабочих недель. Кира заставляла себя забыть о нем. Мысль о том, что кто-то узнает, поймет ее состояние,

приводила в ужас. Внутри было полное смятение, новое таинственное чувство переполняло, мешало сосредоточиться на чем-то важном, на работе, на быте. Она потеряла счет времени – всё слилось в один длинный, скучный, нескончаемый поток каких-то мелких дел, суеты.

За это время Кира успела познакомиться и даже немного подружиться с Эллочкой, у которой был роман с главным инженером. Эллочка была миловидная, стройная, ярко-рыжая, улыбчивая и, как Кире показалось, очень умная женщина лет 35. После работы ее часто встречал муж, с которым она познакомилась Киру. Маленького роста, не в меру полный, он выглядел лет на двадцать старше Эллы.

– Элла, что тебя с ним связывает? – спросила ее как-то раз Кира.

– Ничего, но он добр, заботится обо мне и любит, очень любит.

– А ты, ты его любишь?

– Не знаю. Скорее всего, что нет. Я сейчас влюблена в другого. Ты ведь, наверное, уже слышала разговоры в институте? Но влюбленность – это лихорадка, состояние скоротечное. Пройдет, – усмехнулась Эллочка.

Через несколько месяцев, заглянув однажды к Кире, она призналась: они оба вдруг поняли – роман их пришел к концу, исчерпал себя.

– Ты переживаешь?

– Вовсе нет. Я почувствовала облегчение. Да и дома, видно, у него начались неприятности. Любовь не вечна; чтобы по-настоящему глубоко полюбить, нужно время, а потерять – одно мгновение, – произнесла она задумчиво.

ГЛАВА 8

Вскоре Марк Захарович сам принес Кире новую статью для перевода. На сей раз это была статья на английском, за которую Кира взялась с энтузиазмом. Надсмотрщице приход Марка Захаровича к Кире не понравился, и она с неудовольствием посмотрела сначала на нее, а потом на журнал с красочной блестящей обложкой.

– Отрывают от работы всякой ерундой, когда мы и так сидим тут все завшившись. О чем статья-то? – поинтересовалась она, убирая в ящик журнал «Работница» и приглаживая рукой растрепавшиеся от беготни по коридору жидкие волосы.

– О новых полиграфических машинах, переходе на офсетную печать и внедрении электронной верстки, – проговорила Кира, не отрываясь от статьи.

– Зачем нужны эти новые, когда и старые хорошо работают. У нас вон на фабрике поставили новое оборудование, так никто и пользоваться толком не умел. И что из этого вышло? Вернули старое, – проворчала Татьяна Васильевна, обращаясь к Елене Анатольевне, но та ничего не ответила, делая вид, что очень занята.

Пробормотав что-то невнятное себе под нос, недовольная начальница вышла, энергично хлопнув дверью. При этом все бумаги на столе Киры подпрыгнули и плавно опустились на пол.

– Опять на месте ей не сидится. Кирочка, бросьте бумаги собирать с пола и складывать на столе. Отправьте сразу в мусорную корзину, – посоветовала сквозь смех Елена Анатольевна, – завтра принесу из дома еще какие-нибудь старые журналы, разложим на столах для рабочего вида.

Кира тоже весело рассмеялась и, последовав совету, с радостью избавилась от ненужного бумажного хлама, оставив только журнал со статьей и толстую тетрадь. Статью закончила она только к концу рабочего дня. К ее радости, Марк Захарович переводом остался доволен, и на следующий день отправил Киру на международную полиграфическую выставку за каталогами и плакатами, чем вызвал новое нареkanie надсмотрщицы.

Полиграфическая выставка разместилась в нескольких огромных залах Дома печати. Стенды украшали яркие плакаты, на столах были разложены толстые каталоги. Повсюду слышалась чужая речь. Кира попала в какой-то новый для нее красочный мир. В одном из павильонов она разговорилась с представителем швейцарской фирмы, который похвалил ее английский язык и предложил уехать с ним в Швейцарию. Он подарил ей несколько красивых плакатов и каталоги своей фирмы.

Поездка на выставку отвлекла Киру от мрачных мыслей, подняла настроение, пока она не наткнулась у одного из стендов на секретаря парткома, Павла Павловича (кажется, и фамилия у него была Павлов). Он внимательно рассматривал каталоги известной английской фирмы. Вид у него был потрепанный, мрачный, будто только что вышел пораженцем из уличной драки.

– А, Кира Артуровна, вот и хорошо, что вы здесь. Можете у него спросить, сколько стоит у них издать такой каталог? Вы только посмотрите, какая бумага, какие краски, – рассуждал, будто сам с собой, Павлов. Но, вдруг спохватившись, что рядом стоит Кира, изменил тон. – У нас и правда лучше издают. Это они для выставки пыль в глаза пускают. Пойдемте, Кира Артуровна. Пора возвращаться на работу, – приказал он начальственным тоном.

Кира улыбнулась, заметив, что портфель его растопырился от набранных каталогов и брошюр.

Уходить не хотелось, но пришлось подчиниться. На работу возвращалась с Павлом Павловичем. В тесно переполненном автобусе Киру постоянно толкали раздраженные пассажиры, но Павлов, не обращая внимания на толпу, почему-то всю дорогу аккуратно расспрашивал Киру о Елене Анатольевне, о чем она рассказывает на работе, какие у нее отношения с сотрудниками и с новой начальницей. Однако Кире этот разговор был неприятен, и она отделалась тем, что новенькая, и сотрудников пока еще знает плохо. Из автобуса их почти вытолкнули на остановку раньше. Кира должна была еще целый квартал тащить сумку с каталогами и плакатами, наблюдая, как Павел Павлович, тяжело вздыхая, с трудом нес свой нагруженный

портфель. Уже у самого входа в институт, придерживая массивную дверь, он вдруг догадался предложить Кире взять ее сумку.

«Какой галантный», – усмехнулась про себя Кира, спускаясь по лестнице к себе в отдел.

Там ее уже ждала раздраженная начальница.

– Ну и набрала же ты мусора! И кому это всё надо, – ворчала Татьяна Васильевна, внимательно перелистывая яркие страницы каталогов, которые вытаскивала из сумки Киры.

После обеда Кира поднялась наверх к Марку Захаровичу, захватив с собой весь принесенный с выставки «мусор». Один, самый большой, плакат был репродукцией с картины Модильяни, на которой была изображена женщина с красивой лебединой шеей.

– Спасибо, Кира, за Модильяни. Похоже, что это портрет Анны Ахматовой. Вы знаете, что у них был недолгий роман?

Кира кивнула.

– Приходилось ли вам, Кира, когда-нибудь видеть портрет поэтессы работы Натана Альтмана? Если нет, как-нибудь я обязательно приглашу вас к себе домой. Ваш папа говорил, что вы любите читать, а у меня прекрасная библиотека, включая альбом работ Альтмана, изданный в 1916 году обществом «Бубновый Валет». Придете?

Кира растерялась.

– Да, спасибо за приглашение, Марк Захарович. Я уже видела портрет Анны Ахматовой работы Альтмана, когда случайно несколько лет назад набрела на него на малоизвестной выставке в Доме Союза художников на Герцена.

Он улыбнулся широкой улыбкой, похлопал Киру одобрительно по плечу и проводил до двери, немного сутулясь, старчески шаркая по потертым половицам паркетного пола. В компании Марка Захаровича Кире всегда было как-то очень неловко, и даже его галантность вызывала у нее только смущение.

На обратном пути на лестнице она столкнулась с Арамом Георгиевичем. Он был, как всегда, аккуратно одет – серый вязаный свитер оттенял копну вьющихся черных волос. При виде Киры он резко остановился, приветливо улыбаясь.

– А, Кира, добрый день. Я как раз собирался к вам навеститься. Был утром в библиотеке, заглянул в ваш отдел, но вас не было, только Елена Анатольевна. Хотите сегодня после работы пройтись по набережной? Погода чудесная, потеплело вдруг, весной запахло.

Они вместе спускались в подвал. Он ждал от нее ответа. Но Кира молчала, в голове плотно засели слова Гали о женщине, с которой он жил, о его долгожданной дочери, слова Элочки, потом молниеносно вспомнила крики женщины на остановке. Кира с трудом пересилила желание согласиться и, спокойно посмотрев ему прямо в глаза, через силу улыбнулась.

– Спасибо за предложение, Арам Георгиевич, хотела бы, да не могу. Как-нибудь в другой раз.

Возможно, в ее глазах он прочитал другой ответ, потому что вдруг взял Киру за руку. От прикосновения его горячей руки она вздрогнула. Глаза его потемнели, в них сейчас не было солнечных искорок. Кира увидела в них разочарование, даже какую-то неприязнь. Он словно понял ее состояние, заметил неуверенность в ее словах.

– Ну что ж, Кира, пусть будет «как-нибудь в другой раз». Я в библиотеку, посмотреть новые журналы по архитектуре. Увидимся.

Когда она вошла в комнату, зазвонил телефон. Татьяна Васильевна сняла трубку и молча, долго кого-то слушала. Лицо ее медленно бледнело, теряя обычную краску. Она повесила трубку и быстро вышла из комнаты.

– Что это с ней? – удивленно поинтересовалась Елена Анатольевна и вытащила из сумки новое вышивание. – На ней лица не было. Сегодня утром раздраженно сделала мне замечание, что вся комната пропахла моими духами. Кстати, а вы знаете, Кира, что делать надо, чтобы запах духов долго сохранялся? Нет, конечно. А женщина должна такие вещи знать. Вы кладете ватку, пропитанную духами, себе в лифчик. – И она вытащила из выреза серого шерстяного платья ватку, смоченную духами, отчего запах «Красной Москвы» стал в комнате еще резче.

– Что с вами, Киричка, я вижу, вы не в настроении. Что-то случилось? Марк Захарович вас обидел? Все последние дни вы какая-то мрачная, – и неожиданно перевела тему. – Вот и мой муж ходит мрачнее тучи, меня будто не видит и с дочерью разговаривает сквозь зубы. А я, между прочим, дочке такие сапожки достала – красные, высокие. Могу и вам. Хотите?

Говорила она очень много, без остановки, так густо, что Кира даже не пыталась вступать в разговор. Лицо у Елены Анатольевны было доброе, ласковое, холеное. Гордо посаженная голова, царская поступь – всё выдавало в ней аристократическое происхождение, и вместе с тем было в ней что-то бабское, домашнее.

– Все-таки она милая, – подумала Кира, но не ответила, погружившись в свои мысли.

Увидев, что Кира всё еще чем-то расстроена, Елена Анатольевна, наконец, замолчала и снова вернулась к своему вышиванию.

В конце дня в комнату вбежала раскрасневшаяся, взволнованная Галя. Обычно распущенные темные волосы были перехвачены сзади яркой розовой лентой.

– Елена Анатольевна, у вас есть с собой «Красная Москва»? Дайте подушиться. У меня свидание.

Елена Анатольевна вытащила из сумки флакон «Красной Москвы» и многозначительно посмотрела на Галю. Хотела что-то сказать, но промолчала. Галя обильно прыснула духи себе на волосы и убежала из комнаты.

Начальница вернулась за десять минут до конца рабочего дня. Она казалась чем-то раздраженной.

– Господи, нечем дышать. Я же просила не душиться. У меня на запахи нехорошая реакция, вроде этой, как ее – аллергии, – и она не то укоризненно, не то с жалостью взглянула на Елену Анатольевну.

Наконец наверху прозвенел «школьный» звонок. Кира поспешно вышла из здания, домой идти не хотелось. За тускло горевшим уличным фонарем она заметила силуэт Арама Георгиевича. Он как всегда курил и, видимо, кого-то ждал. Она завернула за угол и пошла медленно в надежде, что он ее окрикает. За углом обернулась, но его не было.

«Человек должен себя наказывать, чтобы не повторять одни и те же ошибки. Моим наказанием будет одиночество. Лучше одиночество, чем страдание», – размышляла Кира, вспоминая последние дни.

Ей снова захотелось уйти в свою «зимнюю спячку». Кира понимала, что это наилегчайший способ существования – отгородиться от действительности, подавить в себе ту энергию, которая толкала ее окунуться с головой в жизнь, проходящую параллельно с ее детскими, наивными иллюзиями. Она могла страдать за других, испытывать их боль, жалеть, но только при этом Кира должна была сохранять душевный покой, а покоя не было. Если бы она могла познать такую философию, которая научила бы ее жить в гармонии с окружающим миром! Не ведая того, он оставил ожог в ее душе, и боль эта дала росток новому чувству – не унижению, нет, напротив, – гордости и отчужденности.

Кира всегда считала, что всё, что происходило с ней в жизни, было только ее виной: брак не по любви, непонимание и равнодушие со стороны мужа, тяжелая болезнь ее девочки. В чем-то Кира была еще сама ребенком, выброшенным в водоворот жизни из счастливого детства. Было сознание того, что жила она не по своим законам, а по какому-то плану, начертанному для нее кем-то другим, и с этой заранее подготовленной дороги Кира не должна и не могла свернуть. Но иногда внутри нее возникал бунт, хотелось всё перечеркнуть: законы, правила, долг – и просто жить, беззаботно, как в детстве. Работа стала новым пунктом в кодексе кем-то прописанных для нее законов.

ГЛАВА 9

Весенние дни не принесли облегчения. Последние снежные заносы усугубляли и так плохое настроение. И все-таки это была весна, воздух наполнился запахом первых цветов, потеплело. Вся жизнь Киры состояла теперь из двух половинок: одна – это дом, в котором росла ее девочка, другая – работа, где она ждала встречи с ним. Выходу из состояния внутреннего разлада, постоянного беспокойства, неуверенности в себе, неожиданных наплывов чувств, страхов за дочь – помогало ночное творчество. И ей опять казалось, что она тонет, не может найти под ногами твердую почву, и ее несет в неизвестность тяжелая волна.

Восьмого марта, в пятницу, неожиданно выдался теплый, почти

летний день. Таял снег. Лучи солнца переливались в лужах, растапливали последние сугробы. На углах продавали первую мимозу. Люди как-то повеселели, прихорошились, особенно женщины. Кира тоже постаралась выглядеть в этот день красивой, хотя муж и забыл поздравить ее с праздником. В четверг она, наконец, решилась отрезать свои длинные косы, и теперь волосы спадали тяжелой волной на плечи. Кира купила по дороге цветы и конфеты. Их мрачная комната в этот день выглядела по-особому нарядно.

– Кира, ты подстриглась? Где твои роскошные волосы? Будешь потом жалеть, уверяю тебя, – воскликнула вошедшая в комнату Эллочка.

Даже начальница удивленно посмотрела на Киру и неодобрительно покачала головой, запивая пирог с грибами чаем из термоса. Елена Анатольевна одобрительно кивнула Кире и кокетливо поправила выбившуюся из прически прядь светлых волос.

Перед обедом заглянул Арам Георгиевич поздравить всех женщин с праздником.

– Наверное, он пришел ради меня, – решила Кира, но он ушел, едва на нее взглянув, будто избегая встретиться с ней взглядом. И всё же в этот день она угадывала в себе какую-то перемену, словно покинуло ее на короткое время обычное состояние угнетенности и, переживая какое-то трепетное волнение, она включилась в общее праздничное настроение. Была где-то в глубине мимолетная надежда, что сегодня ее детская фантазия, иллюзия станет реальностью, как в сказках со счастливым концом, и ничто не испортит ее весеннего настроения.

Обед решили устроить на рабочем месте. Пришли обе Гали, нарядные и шумные. Кто-то из сотрудников подарил им по букету цветов. Они принесли с собой печенье и пирог, начиненный яйцами, рисом, изюмом и сухим творогом, который приготовила темненькая Галя. Особенно хвалили пирог, ибо, как выяснилось, Галя была хорошей хозяйкой, знала много татарских блюд. Она была явно польщена.

– Этот пирог называется по-татарски губадия. Мама научила. Она у меня из крымских татар.

«Вот откуда эти темные волосы и раскосые глаза, – отметила про себя Кира, – а ведь у нее внешность необычная, есть в ней какая-то экзотика».

Елена Анатольевна красиво разложила на большом старинном блюде принесенные из дома пирожные: эклеры, трубочки с кремом, корзиночки и «картошку».

– Кушайте, девочки! Я сама их приготовила. В следующий раз вам такой торт испеку! Обожаю готовить, – сообщила она, доставая из сумочки ажурные бумажные салфетки.

Кира открыла к чаю коробку конфет «Белочка» и положила на круглую пластмассовую тарелку бутерброды с сыром. Татьяна Васильевна, в новом платье и новых блестящих сапожках, была особенно оживлена.

– Кавалер мой вчера принес мне в подарок вот эту брошь и цветы, – вдруг разоткровенничалась она, указывая на маленькую, в виде цветка, брошку, прикрепленную к новому платью.

В комнате наступила внезапная тишина, пока рыжая Галя воскликнула неестественно радостным голосом:

– Боже, какая прелесть, Татьяна Васильевна!

«А ведь она – не командир в синем мундире, а такая же, как мы все, женщина, желающая простого женского счастья». – Кира приветливо улыбнулась Татьяне Васильевне, вдруг осознавая, что она уже не испытывает по отношению к ней никакого страха. Сразу после обеда все куда-то разошлись. Кира осталась в комнате одна, когда зазвонил телефон.

– Кира? – услышала она в телефонной трубке. – Я как раз хотел с вами поговорить. Если вы после работы не заняты, можете уделить мне один час вашего времени? – Голос Арама Георгиевича был теплый, вопрошающий. Кира молчала, собираясь с мыслями, а потом, сама не отдавая себе отчета, радостно согласилась.

– Я буду ждать вас на набережной, возле аптеки. Придете?

– Приду, да, да, приду, – поспешно ответила Кира и повесила трубку. В комнату входила Татьяна Васильевна и, видимо, услышав последние слова Киры, многозначительно на нее посмотрела.

– Кому это вы встречу назначаете, Кирочка? Будьте осторожны. Вы еще не знаете, какие мужчины сейчас коварные. Молодая вы слишком, – вздохнула начальница, видно, что-то припоминая из своей собственной молодости.

Она села за рабочий стол и уставилась в решетчатое окно, видимо, что-то вспоминая. Наверху прозвенел звонок, извещающая о конце рабочего дня. Кира хотела посмотреть на себя в зеркало, чтобы поправить новую прическу, но застеснялась начальницы.

– Подождите меня, Кира, я тоже иду. Хотите, пройдемся немного? – предложила появившаяся вдруг Елена Анатольевна.

– Нет, нет, не могу, к сожалению, – испуганно запротестовала Кира, – я домой тороплюсь.

И ей вдруг стало стыдно за свою ложь. На минуту пришло сомнение – а может быть, действительно, лучше поехать домой... Но там Киру никто не ждал. Дочка находилась в будние дни с родителями, и Кира забирала ее только на выходные.

– До свидания, Татьяна Васильевна, хороших праздников, – пожелала она уже в дверях.

Однако начальница не ответила, она всё еще сидела, уставившись невидящими глазами в окно.

ГЛАВА 10

К аптеке на набережной Кира подошла пять минут шестого. Почти стемнело, за рекой садилось белое весеннее солнце, вспыхивая серебряными лучами на темной глади Невы. Прошло полчаса, но

его не было. Редкие прохожие поглядывали на одинокую фигуру Киры с удивлением. Подул с Невы холодный ветер, растрепав волосы, забираясь за воротник пальто. Кира покрепче обвила вокруг шеи длинный шерстяной шарф и медленно направилась в сторону метро. Настроение резко испортилось. Она ругала себя за бесхарактерность, за ту ложь, в которую она сама себя загнала. Мечты о чем-то невозможном, может быть, желание быть любимой, опять стали для нее иллюзорными. Теперь ее тревожила мысль, как она посмотрит завтра ему в глаза, что скажет. Покажет, что она обижена, разочарована, или сделает вид, что ничего не случилось?

Арам Георгиевич догнал ее за углом.

– Кира, милая, ради Бога, простите меня, заговорился на работе, мы там праздновали, и я чуть было не забыл.

Он ласково посмотрел на нее и протянул маленький букетик фиалок.

– Давайте пойдём куда-нибудь, посидим. Или, хотите, просто погуляем?

Он взял ее под руку и потянул за собой, не дожидаясь ответа.

– Вы сегодня очень красивая, Кира, только какая-то другая. Мне жаль, что вы подстригли свои роскошные волосы. Хотя вы еще очень молоды, отрастут, надеюсь. – И он засмеялся тихим, искренним смехом. Рассмеялась и Кира, поправив спадающие волной густые волосы. И – тотчас забыв об обиде:

– Нет, не отрастут. Я долго не решалась. Для меня этот поступок – как шаг вперед, из детства – к взрослению. Понимаете?

– Конечно, понимаю. А все-таки жаль. Может быть, перейдем на «ты», Кира? Так я буду лучше чувствовать твою близость. Замерзла?

В этом простом вопросе она уловила заботливые ноты. И Кира поверила. Мысленно собирала она сейчас воедино разбитые осколки жизни, блуждала в запутанном лабиринте чувств, словно в это мгновение жизнь становилась именно такой, какой она представляла ее себе: все ее мечты, желания сходились в одной исходной точке, которую она называла любовью.

Они шли по Литейному проспекту в сторону Невского. Арам Георгиевич любил архитектуру города, хорошо ее знал и, показывая Кире на каждое здание, рассказывал его историю. Он мог часами говорить о каждой пройденной ими улице, о подъезде, украшенном золотыми львами, о резных оконных рамах на старых, обшарпанных домах, о маленьких магазинчиках, которые когда-то славились своими винами, о книжных лавках, в которые захаживали именитые писатели. Кира никогда не обращала внимания на то, что окружало ее, не задумывалась, что было здесь раньше. Вместе с ним она стала теперь частью этого города, увидела город его глазами. Она шла с ним в ногу, подчиняясь его ритму, словно загипнотизированная, окунаясь в ранее неведомую ей историю.

– Здесь каждый камень, каждая улица, подъезд, хранят свою

тайну. Петербург – мистический город, загадочный. Например, знаете ли вы, чем был знаменит Литейный проспект? Удивитесь – книжными магазинами, в которых сейчас, между прочим, не достать книг, – пошутил он. – А знаешь ли ты, что в 1852 году в этом доме под номером 12 жила графиня Зинаида Юсупова, славившаяся своей красотой. Над постройкой особняка работали лучшие архитекторы, отделка интерьера была из редких материалов, особенно красив был зеленый малахит, который придавал комнатам особый шарм. Внутри здания находился зимний сад с подогревом. В конце жизни Юсупова очень напоминала героиню повести Пушкина «Пиковая дама». Даже существует легенда о том, что Пушкин списал с нее старую графиню. Однако, увы – к 1852 году «Пиковая дама» давно была уже написана, а Пушкина не было в живых.

– Пушкин создал «Пиковую даму» предположительно за двадцать лет до этого, в 1832 или 1833 году, в Болдино, – встала Кира, радуясь, что вспомнила дату.

Проходя мимо Дома офицеров, они прочитали афишу об открытии через неделю выставки художника Ильи Глазунова.

– Всегда хотел посмотреть его картины. Кстати, а у тебя есть мечта, Кира?

– Посмотреть выставку Глазунова, – рассмеялась Кира.

– Тогда пойдем. Я приглашаю.

Кира радостно кивнула.

– Но ты не ответила на мой вопрос, есть ли у тебя мечта?

– Не знаю, не думала об этом. Наверное, просто хочу быть счастливой.

– А что для тебя счастье?

– Любить и быть любимой. А у Вас? – потом, спохватившись: – То есть, у тебя?

– Твоя мечта может сбыться, Кира, ты еще молодая. А моя? Спроектировать новую Армянскую церковь, которую будут посещать все желающие, не оглядываясь назад, не боясь никаких репрессий. Знаешь ли ты, что Армения в 301 году стала первой страной в мире, принявшей христианство как государственную религию? Религия всегда была неотъемлемой частью армянской идентичности. Ты была когда-нибудь в армянской церкви? – и, не дожидаясь ее ответа, продолжал. – Интерьер армянского храма отличается от православного простотой убранства и тем, что снаружи и внутри храма нет позолоченных куполов, нагромождения росписей и иконостасов. Там важны только два элемента: тuff и свет, лучи которого удивительно преобразуют храм.

Кира слушала его внимательно. Он сделал паузу, словно подбирая нужные слова:

– Ты когда-нибудь была в таком храме?

– Нет, никогда не была. Только один раз няня водила меня в Никольский собор.

Оба долго молчали. Небо окрасил холодный бледный закат; улицы почти опустели. Расставаться не хотелось.

– Кира, давай купим что-нибудь перекусить и поедем ко мне. Я очень проголодался. У меня есть комната в коммунальной квартире, здесь, недалеко. Мы оба уже замерзли, да и сегодня праздник. Никуда уже не попадем. Или тебя ждут дома?

Этот вопрос – ждут ли ее дома – застал Киру врасплох. Она не ответила, ведь дома ее никто не ждал. Муж заранее предупредил, что на работе будут праздновать, и он вернется очень поздно. Что же, она будет одна дома, когда все отмечают женский день? Первый раз в жизни Кира ощутила свою слабость и его власть над ней, но сейчас ей хотелось быть слабой, подчиниться его воле. Бессознательно, полностью доверившись, шла она навстречу новому, неведомому до сих пор чувству. В нем она находила убежище от повседневных забот, с ним пребывала в другом мире, где разговоры о творчестве, книгах, музыке стали для нее толчком к более глубокому познанию не только искусства, но и жизни.

На улице было уже совсем темно, когда они приехали к нему домой, прошли вдоль закрытых дверей по длинному коридору, заставленному какой-то рухлядью, мимо маленькой кухни, в самый конец. Он распахнул дверь, приглашая Киру войти в новый для нее, загадочный мир его жизни. В комнате почти не было мебели – стол, два стула, кровать, окно без занавесок, смотрящее в колодез двора, и больше ничего, но на стенах висели необыкновенные, словно светящиеся, акварели. Это были в основном пейзажи, от которых Кира не могла оторвать глаз. Дух света и надежды, поэтическое цветовое освещение доминировали в этих работах. Пейзажи походили на фантазии художника, а не на точное восприятие виденного. В них она уловила присутствие чего-то мистического, какой-то тайны. Они были близки ей по духу, близки ее поэзии. Он заметил ее восторженный взгляд.

– Это мои ранние работы. Сейчас уже некогда заниматься живописью. Тебе, кажется, понравились мои акварели?

– Да, очень. Особенно освещение, будто свет льется откуда-то из вечности; потусторонний свет, какое-то, я бы сказала, фосфорическое свечение, от которого невозможно отвести взгляд.

– Спасибо, Кира. Я рад, что ты оценила мое творчество. Для меня та черта, которая проходит между миром земным и миром призрачным, как мы его называем, «потусторонним», очень тонка. Поэтому то свечение, которое Бог посылает на землю, художнику удастся увидеть или, скорее всего, почувствовать невооруженным глазом. Если ты когда-нибудь обращала внимание на работы голландских мастеров, то отметила бы, как меняет картину освещение, особенно небесное, придавая живописи ощущение какой-то неразгаданной тайны.

Он явно старался втянуть Киру в разговор: – Придет время, и я покажу тебе свои другие работы.

Он помог ей снять пальто, ласково посмотрел в глаза. Она опустила голову – ей стало неловко. Неясный, непонятный страх тонкой каплей просочился на лбу. Она потянулась за пальто, сделала спасительный шаг к двери. «Зачем я сюда приехала?»

– Мне нужно домой, – сказала Кира, будто разговаривая сама с собой.

Он сделал вид, что не слышит, взял пальто из ее рук, притянул к себе. Она осторожно высвободилась, подошла к окну. В отражении, из черного пролета ночи на нее смотрела чужая, незнакомая женщина. Ей почудилось, что она осуждающе рассматривает Киру, изучает. Кира отошла от окна, тень исчезла, и она снова вернулась к его картинам. Свет, льющийся с полотен, словно освещал, согревал комнату теплом. Покой, струившийся с картин, легкими мазками ложился на душу. Страх отпустил – словно его поглотил этот легкий, потусторонний свет.

Он незаметно вышел из комнаты, однако вскоре вернулся, неся тарелки и чайник с горячим чаем. Ловко накрыл на стол, поставил бутылку вина, разлил его в тонкие фарфоровые чашки, сделал бутерброды. Только сейчас Кира поняла, как голодна. Он смотрел на нее как-то по-особому внимательно, расспрашивал о ее жизни, сам не говорил, больше слушал, а ей казалось, что вот этот момент, рядом с любимым, и есть настоящее счастье. Он слушал ее серьезно, вникал в ее правду, старался увидеть мир ее глазами.

Всем своим существом понимала Кира, что он еще видел в ней ребенка, что ему нравилась ее искренность, нравилось быть старшим. В нем даже появилось что-то отеческое в разговоре с ней. И эта его порой неожиданная надменность, его знания, эрудиция, влекли к нему еще сильнее. Кира окунулась в его мир, умело плыла в нем по течению навстречу опасности. Ей было всё равно, потому что впервые в жизни она ощутила, что она желанна, любима. Кира потеряла себя во времени, будто будильник возле кровати не отсчитывал минуты ее короткого счастья. Чувства поглощали мысли, переполняли, уводили ее от реальности в новый, неведомый мир. В какие-то мгновения лихорадочного непокоя Кира будто пробуждалась ото сна, но снова волна его желаний накрывала ее, и она задышалась от нахлынувших чувств.

Было уже поздно, когда он проводил ее до остановки такси. Расстались молча. По дороге домой Кира вспоминала этот вечер – его глаза, полные нежности, тепло его тела, его горячие руки, согревающие ее холодные ладони. Ей было хорошо и мучительно страшно. В голове крутилась заученная цитата из какого-то произведения Тургенева: «Тайны человеческой души велики, а любовь – самая недоступная из этих тайн».

Теперь она знала о нем больше, чувствовала глубже, понимала тоньше. Снова и снова переживала она тот момент, когда исчезла связь с реальностью. Весь мир, вся жизнь сошлись только в одной точке соприкосновения с нереальным, едва осязаемым сознанием

полета в бесконечность, когда сердце перестает биться, и только тишина режет слух, а пустое пространство комнаты отделяет от завтрашнего дня, серых забот, ненужной суеты. Возможно, что через много лет сможет она, наконец, осмыслить, что именно иллюзии сделали ее слепой, не видящей и не ощущающей того страха, который всё еще подсознательно не покидал ее.

Однако сейчас Киру обуревало чувство вины – не перед мужем, перед самой собой. Она не могла и не умела лгать. Она понимала, что именно сейчас возникла дистанция между ней, Кирой сегодняшней, и Кирой вчерашней, будто приобрела она новый опыт, другое понимание счастья, увидела и восприняла всю красоту и утонченность духовной и телесной близости, но в этот вдруг нахлынувший поток новых чувств примешивалась ложь. И это было страшно и жестоко.

Домой Кира вернулась около полуночи. На цыпочках вошла она в спальню, боясь разбудить мужа. Он крепко спал поперек кровати, не раздеваясь. В комнате стоял запах перегара. На полу валялся пиджак от его нового костюма. Кира осторожно подняла его, чтобы повесить на спинку стула, когда заметила выпавший из кармана листок бумаги с телефоном: «Позвони завтра. Алла». Кира положила записку обратно в карман и ушла спать в комнату дочери. Она еще долго лежала с открытыми глазами, стараясь избавиться от настойчивых строчек, мешающих ей уснуть.

Устала до боли. До точки бездушья.
Спускаемся ниже – от солнца в отчаянье.
Излучины счастья – неверно случайны.
И ночь задыхается в вечном удушье,
Как вечная тайна.

ГЛАВА 11

За ночь опять выпало много снега, на улице стало скользко, ветрено, по-зимнему неуютно. У входа в здание Кира поскользнулась и чуть не упала. Чьи-то сильные руки вовремя подхватили ее. Она подняла голову – доброе, улыбчивое лицо Марка Захаровича было совсем близко. Впервые Кира заметила на его лице глубокий шрам – знак пережитого. Марк Захарович задержал Киру в дверях, стряхивая с пальто и шапки тяжелый снег.

– Ну кто же в такую погоду надевает сапожки на высоких каблуках? Впрочем, вы моя должница, Кира, я спас вам жизнь. Приглашаю вас сегодня в «Дом кино» на просмотр нового фильма Кончаловского «Романс о влюбленных». Хотите пойти, Кира? Не отказывайтесь, – улыбнулся Марк Захарович.

Кира поблагодарила его. Нет, она не могла, надо было торопиться домой к дочке. Однако предложение Марка Захаровича ее озадачило и расстроило. Зачем он так? Она вспомнила слова Елены Анатольевны...

– Как там у вас на работе, всё в порядке? – спросил он уже серьезным тоном, но Кире показалось, что он хотел что-то еще добавить. Однако промолчал.

Когда Кира вошла, в комнате было полутемно. Горела только настольная лампочка на столе у надзирательницы. Рядом лежал ее портфель, на стуле было брошено, видно впопыхах, ее пальто. Кира обвела комнату испуганными глазами. Только сейчас заметила она, что Елена Анатольевна уже сидела на своем рабочем месте, обхватив голову руками, и плакала. На ней было надето старенькое черное пальто, которое она еще не успела снять. Обычно гладко зачесанные назад волосы были наспех, неопрятно собраны в пучок.

– Милая Елена Анатольевна, что случилось, почему вы плачете?

В этой полутемной, полупустой комнате было какое-то зловещее затишье, будто перед страшной грозой. Елена Анатольевна ничего не ответила, только стала еще громче всхлипывать. Кира стояла рядом, растерянная, не зная, как успокоить, какие слова подобрать, чтобы ее утешить.

Ровно в девять в комнату влетела взъерошенная надзирательница, за ней быстрым шагом шел сам директор института, за ним – с расстроенным лицом Марк Захарович, заключал эту процессию взмокнувший и красный секретарь парткома.

– Кира, подождите, в коридоре, а вы оставайтесь, Елена Анатольевна, – велела Татьяна Васильевна.

Кира только мельком успела увидеть испуганное лицо Елены Анатольевны. «Вот оно, началось.» Кира внутренне содрогнулась, проникшись невероятной жалостью к жертве «надзирательницы». Она стояла в пустом полутемном коридоре, прислонившись к стене и машинально прислушиваясь к голосам за дверью. Рядом приоткрылась дверь «Отдела снабжения», откуда появилась голова любопытного начальника.

– Что там у вас происходит? Кажется, вот-вот взорвется бомба, – неуместно пошутил он, затем что-то прошипел себе под нос и, не дождавшись от Кире ответа, помчался наверх, смешно подпрыгивая на каждой ступеньке для ускорения.

От страха Киру била мелкая дрожь. Она почему-то вспомнила, что Елена Анатольевна предупреждала ее о начальнике этого отдела. – «Обходи его стороной, Кира, стучит на всех.» Тогда она не поняла, о чем это и зачем ему на кого-то «стучать». Теперь Кира старалась подавить вдруг охвативший ее липкий, неприятный страх, понять, что же произошло и происходит за закрытыми дверьми. Какой суд свершается сейчас? Вспомнилось на минуту, как забирали ночью из коммунальной квартиры соседа, дядю Ваню. Все жильцы, еще сонные и озадаченные шумом, высыпали в коридор. Они стояли, словно тени, боясь привлечь внимание. Плакали только его жена, тетя Нюра, и Кира, совсем еще маленькая, разбуженная криком за стенкой. Плакала громко, растирая рукавом ночной рубашки бегущие по лицу

слезы. Плакала, потому что любила этого уже немолодого и доброго человека, читавшего ей страшные сказки про колдунов. Проходя мимо Киры, он подмигнул ей и горько улыбнулся. В глазах его не было страха, но Кира впервые в жизни увидела страшную боль. С тех пор она никогда не видела ни дядю Ван., ни его жену тетю Ньюру. Они исчезли той ночью, а соседи о чем-то шептались вечерами на кухне, только маленькая Кира не знала, о чем. Вот и сейчас ей хотелось плакать от предчувствия, что должно произойти что-то страшное. Сострадание к беде другого, постоянно мучившее ее с детства, с той ночи, когда уводили дядю Ваню, не оставило ее и сейчас.

«Почему они допрашивают Елену Анатольевну? В чем ее вина?» – размышляла Кира в недоумении. Неожиданно в коридоре откуда-то появилась рыжая Галя и поманила Киру зайти в библиотеку. Там уже сидела с испуганным лицом вторая Галя и чем-то расстроенная Эллочка.

– Вы слышали новости? Елену Анатольевну собираются уволить.

– Как уволить? Но почему? – вырвалось одновременно у Киры и у Гали-второй.

– Говорят, что в четверг, пока она была на работе, арестовали ее мужа, якобы по какому-то серьезному обвинению. Дома был обыск, забрали много вещей и собираются выселить ее с дочерью из квартиры. Приказ якобы сверху был – ее уволить.

Кира ощутила, как мороз прошел по коже, язык прилип к нёбу. Сердце переполнила невероятная жалость и к Елене Анатольевне, и к ее мужу, и к дочке.

– Откуда ты это узнала? – поинтересовалась побледневшая вторая Галя.

– Конечно же, от секретарши директора, нашей ходячей газеты. Весь институт только об этом и говорит. После обеда будет общее собрание. Всех сгоняют в актовЫй зал.

– Жаль ее, – грустно произнесла Эллочка.

– А чего жалеть. Нечего было приходить на работу в таких нарядах. Будет теперь такая же, как мы все, – выпалила темненькая Галя. Глаза у нее были совсем безжалостные, узкие и злые.

– По-моему, самое страшное, что может быть в человеке, – это ненависть. Почему у людей отсутствует чувство добра, справедливости, милосердия, почему их разум вдруг ослепляет зависть? – произнесла громко вслух Кира, ни к кому не обращаясь.

Наступила гробовая тишина. На ее вопрос никто не ответил, только слышно было, как рыжая Галя шуршит страницами журнала, будто ничего не случилось.

ГЛАВА 12

Зал, в котором обычно проходили институтские собрания и вечеринки, был узкий, продолговатый. В ряд аккуратно расставленные, уже поведавшие виды стулья, наверное, могли бы поведать много

историй, похожих на сегодняшнее представление. Так как зал был небольшой, то он едва вместил всех сотрудников института. На сцене стоял длинный стол, покрытый красной мягкой скатертью, за которым председательствовали директор института, секретарь парткома Пал Палыч, как его называли между собой обе Гали, и надзирательница. Кире показалось, что именно эта красная скатерть и портрет вождя на стене были предзнаменованием того, что должна разыграться на сцене какая-то старая, давно забытая пьеса с трагическим концом.

В первом ряду, укутавшись в черный шерстяной платок, сидела с заплаканными глазами Елена Анатольевна. С ней рядом – Марк Захарович, потом главный инженер, секретарша и кто-то еще, кого Кира не знала. Арама Георгиевича Кира заметила не сразу, он сидел недалеко от нее, рядом с сотрудницей его отдела, с которой о чем-то переговаривался. Многие в зале тоже в недоумении перешептывались, поэтому вокруг Киры стояло какое-то странное шуршание, похожее на шелест листвы перед ураганом.

Слово взял Пал Палыч. Он медленно поднялся со своего места. Серый, повывавший виды пиджак нелепо свисал с плеч, делая рукава длиннее, – так, что почти не видно было его рук. Павлов постоял несколько секунд в нерешительности, подтянул мешающий рукав, зачем-то поправил явно давящий шею длинный галстук, достал из кармана носовой платок и вытер вспотевшие ладони. Он всё еще стоял, бессмысленно уставившись в зал, пока директор недовольно приподнялся, давая ему понять, что пора начинать. И только тогда, собравшись с духом, Павлов начал тихим, неуверенным голосом читать заранее подготовленную речь:

– Товарищи, скоро в Москве будет проходить двадцать пятый съезд КПСС с участием многочисленных гостей из разных стран мира. И мы должны, товарищи, быть особенно бдительны, так сказать, на чеку. И мы не допустим в нашем институте присутствия людей, чье поведение недостойно того, чтобы находиться в стенах нашего учреждения... – По мере чтения голос его креп и постепенно переходил в писклявый крик, словно в зале все оглохли, а он пытался докричаться, донести до них смысл своей бессмысленной речи.

Кира почему-то вспомнила, что когда Пал Палыч звонил начальнице, он всегда представлялся так: «Звонит секретарь парткома – мужчина». Вот и сейчас его тонкий, почти женский голос совсем не соответствовал его угрожающей речи, и только бегающие по рядам белесые глаза внушали страх. Елене Анатольевне ставились в вину ее знатное происхождение, недостойное поведение по отношению к сослуживцам, нарушение трудовой дисциплины, использование рабочего времени в личных интересах и т.д. Оказалось, что в связи с этими нарушениями, а также с арестом ее мужа, бывшего генерала Остапенко, была создана специальная комиссия. Комиссия спешно собрала заявления сотрудников, заслушала различные показания и вынесла резолюцию – уволить!

Зачитывая приказ директора об увольнении Елены Анатольевны, секретарь парткома явно нервничал. Лицо его покраснело, на лысине выступила испарина. В зале стояла гробовая тишина.

– Надо еще по протоколу провести голосование. Кто «за» – прошу поднять руки, – пропищал Павлов.

Один за другим люди поднимали руки. Кто-то стыдливо опустил глаза, кто-то осматривал зал, будто ища поддержки. Кира обвела глазами комнату. Марк Захарович сидел в первом ряду, руки его были скрещены на коленях. Он что-то говорил Елене Анатольевне, видимо, успокаивал. Рядом с Кирой сидела Элла с заплаканным лицом. Кира заметила, что во время речи Павлова Арам Георгиевич вышел из зала.

– Кто-нибудь хочет выступить? – поинтересовался директор, но никто не отозвался. Люди поспешно расходились: одни – мысленно жалея Елену Анатольевну, другие – осуждая.

Когда Кира вернулась, в комнате были только начальница и две Гали. Они о чем-то шептались. Через минуту вошла растерянная и подавленная Елена Анатольевна. Она молча начала собирать вещи, повторяя, словно в лихорадке:

– Моего мужа посадили по ложному доносу. Он ни в чем не виноват. Завтра его отпустят. Галя, – обратилась она вдруг к рыжей Гале, – мы давно работаем вместе, вы же верите мне?! Не правда ли?! Напишите письмо в мою защиту. Помогите мне, Галя! Татьяна Васильевна, за что это мне? За что? Как я теперь жить-то буду?

Галя ничего не ответила и вышла из комнаты. Татьяна Васильевна сидела прямо, будто окаменевшая, только лицо ее преобразилось. Она беспомощно и жалостливо смотрела на Елену Анатольевну.

– Идите домой, милая, – посоветовала она сочувственно, – Бог в помощь. Авось образуется. Дочка ведь ждет вас, наверное. Будет другая работа. Свет клином на этой не сошелся.

В дверях Кира молча обняла Елену Анатольевну, слова будто застряли в горле. Вспомнила рассказы папы о начале 50-х, когда его уволили с работы. И стало не по себе. Остаток дня никто не работал. Это событие потрясло всех сотрудников института.

– Может быть, ей надо завтра позвонить? Ей ведь, наверное, очень тяжело, – сказала Кира, ни к кому не обращаясь. Но в комнате их было только двое – начальница и она, Кира.

– Я считаю, что сейчас ей лучше побыть одной, а в понедельник решим, что делать и как ей помочь. – В голосе начальницы звучало искреннее сострадание.

«Я совершенно не умею разбираться в людях, – подумала Кира, – а ведь у нее, кажется, есть сердце.»

Институт в этот день был действительно похож на «ghost town». Весь следующий день, пятница, прошел для Киры как в тумане. Вечером она отправилась к родителям, муж уехал к своей сестре на день рождения. У дочки поднялась температура, она сильно кашляла,

боялись воспаления легких. В восемь вечера Кира с трудом уложила ее спать и собиралась рассказать родителям, что произошло на работе, когда мама позвала Киру к телефону.

– Какая-то женщина тебя просит. Голос незнакомый.

Кира сняла трубку. Звонила Елена Анатольевна. Она говорила быстро, почти скороговоркой. Голос был тревожный, взволнованный.

– Кира, Кирочка, умоляю вас, напишите письмо в мою защиту. Дайте на работе людям подписать. На вас моя последняя надежда. Я в отчаянье, все от меня отвернулись. Боятся. Вы сделаете это? Да? Сделаете?

Она почти кричала в трубку. Видно, плакала. Но что Кира могла ей обещать, зная, что уже ничего не поможет ни ей, ни ее мужу. Рядом с Кирой стоял папа, прислушиваясь к разговору. По его побледневшему лицу Кира поняла, что ему не по себе. В глазах мелькнул страх за дочь.

– Елена Анатольевна, я не знаю, как я могу написать такое письмо. Я же пока никого не знаю, но я обязательно постараюсь. Позвоните мне в понедельник.

Но в понедельник утром, придя на работу, Кира узнала, что Елены Анатольевны больше нет. В воскресенье она покончила с собой, выбросившись из окна квартиры.

ГЛАВА 13

«Человек горит вместе с горем», – размышляла Кира, вспоминая последние дни, проведенные с Еленой Анатольевной. В ту ночь она не спала, и еще много последующих ночей не могла спать. Эти события терзали Киру каждый раз, она возвращалась к мысли о том, была ли она до конца честна сама с собой, было ли у нее достаточно мужества протянуть руку помощи человеку, стоящему над пропастью, был ли ее ум затуманен так, что она не могла видеть и четко понимать происходящее. Кира даже не пыталась оправдать себя, потому что страх завладел ею, осел где-то глубоко, на самом дне сознания. Еще долго не могла она от него избавиться. Каждый раз, когда она заходила кабинет, ей чудилась сидящая за своим столом Елена Анатольевна. Она смотрела на Киру с укоризной: «Что, струсила, – шептали ее губы, – может быть, ты будешь следующей...»

Вскоре на место Елены Анатольевны пришла новая сотрудница, Оля. На вид ей было лет тридцать, ничем не примечательная, невысокая, с вьющимися светлыми волосами, тоненькая, она в детстве переболела полиомиелитом, теперь хромала и носила специальную обувь. С Кирой они быстро нашли общий язык, подружились. Оля была простая, приветливая, открытая и очень несчастная. Как и Кира, Оля много читала, проводя всё свободное время над книгами. Жила она бедно, в густонаселенной коммунальной квартире: мать на пенсии, старшая сестра и Оля. Вскоре она поделилась с Кирой своей бедой. Ее лучшая подруга недавно вышла замуж за человека, которого Оля тайно

и долго любила. Она молча страдала, боялась, что кто-то узнает о ее чувствах. С ней Кира могла бы поделиться своими проблемами, однако она замкнулась, замолчала. Первое время ей было тяжело видеть другого человека за столом, где раньше сидела Елена Анатольевна. Самоубийство Елены Анатольевны и собственная слабость стали той червоточинной в жизни Киры, которая шаг за шагом разрушала душу, ум, сердце. Наплывающие минуты раскаяния были невыносимы. И все-таки она не могла ни с кем говорить о том, что так волновало ее. Она понимала, что рассказать – значит, пережить всё заново. А это было выше ее сил. Неожиданно жизнь перестала казаться сном, где можно было забыться, быть героиней книжных романов. Теперь она стала реальностью, жестокой и несправедливой.

О случившемся все вскоре забыли, имя Елены Анатольевны никто не произносил – то ли потому, что каждый чувствовал свою вину в ее смерти, то ли потому, что осуждали за слабость, то ли из страха, что такое может случиться и с ними. Институт будто умер. Сотрудники, как тени, двигались по темному коридору, избегая, не замечая друг друга. В ОНТИ никто не заходил, обходили стороной. Кире казалось, что и ее все избегают. Рабочие часы стали невыносимой пыткой. Чтобы как-то убить время, она начала сама составлять никому ненужную картотеку статей по тематике института. Начальницы почти никогда не было на месте, да ее и не интересовало, чем занималась Кира.

Так прошла еще неделя после смерти Елены Анатольевны. Арама Георгиевича Кира видела несколько раз в писательской столовой, где они только перекинулись несколькими словами. Кира ясно понимала, что и он избегает ее, словно она была виновата в смерти Елены Анатольевны. И это его равнодушие, непонимание причиняли ей особую боль. Теперь и Кира старалась его не замечать, часто оставалась в обеденный перерыв на рабочем месте. Иногда она хотела сложить в единое целое разрозненные фрагменты из своей жизни, но целого полотна не получалось. Мозаика событий была слишком бледной, как и ее существование. Внешне всё выглядело так же, но внутри нее шла борьба. Кира понимала, что запуталась в лабиринте внезапно нахлынувших чувств. Она лихорадочно искала выхода из этого, как ей казалось, безумия.

ГЛАВА 14

В тот памятный день Кира пришла на работу с опозданием. Татьяна Васильевна уже сидела за своим рабочим столом и что-то писала.

– Доброе утро, Кира Артуровна, – приветствовала она Киру, не реагируя на ее поздний приход.

«Что это она сегодня такая официальная и нарядная?» – отметила Кира, осматривая ее новое темно-зеленое платье с красным шарфиком, нелепо обмотанным вокруг шеи.

– А вы чего сегодня какая-то печальная, – проговорила начальница, отрываясь от бумаг, – садитесь, дорогая, поговорить надо с глазу на глаз. Сразу перейду к делу. Помните, в пятницу тут была некая суматоха. Так вот, дело в том, что я иду на повышение и через две недели от вас перехожу в другой отдел. А-а-а-а, вот и Пал Палыч пришел, – радостно приветствовала она входящего секретаря парткома, – а мы тут как раз о моем повышении и судачим.

– Всем здарсьте. Я ведь, на самом-то деле, к Кире Артуровне пришел по важному делу. Вы не уходите, Татьяна Васильевна, вас это тоже касается. Я вот о чем поговорить зашел: после вашего повышения я решил предложить поставить Киру Артуровну на ваше место. Только для этого ей надо хорошо подготовиться, а главное – в партию вступить, – возбужденно, скороговоркой проговорил Павлов, уставившись своими выцветшими голубыми глазами на Киру. Кира в ужасе замерла. Она вовсе не хотела возглавлять этот отдел «по ничегонеделанию».

– Пал Палыч, я вам очень признательна за доверие, но как я могу вступить в партию, если я не комсомолка.

Лоб Пал Палыча покрылся мелкой испариной: – Как не комсомолка? Какой кошмар! Проглядели!!! – Он почти кричал, с презрением буравя глазами замершую от удивления начальницу.

– Так получилось. Я когда институт окончила, на комсомольский учет так и не встала. Да вы так не переживайте, найдете кого-нибудь другого. Вот Олю, например.

Оля как раз входила в комнату.

– Что тут происходит? – спросила она испуганно, увидев секретаря парткома.

– Оля, вы партийная? – поинтересовался без всякого энтузиазма Павлов.

– Нет, а что? Я даже и не комсомолка.

Павлов побледнел и зло посмотрел на Ольгу, потом на Татьяну Васильевну. Кира испугалась, что у Пал Палыча может случиться удар.

– Ну, знаете ли, Татьяна Васильевна, у вас здесь полное разложение. Недосмотрели, проворонили. Безобразие! – Проворчал зло Павлов, громко хлопнув за собой дверь.

На минуту в комнате воцарилась тишина, потом громко рассмеялась Ольга, за ней Кира и Татьяна Васильевна. В комнате стало весело.

– Всех уволят, – радостно, сквозь смех произнесла Кира.

– Не переживайте, девочки, ко мне в новый отдел пойдете работать. Здесь всё равно делать нечего, – честно призналась Татьяна Васильевна, – от скуки умереть можно.

Всё это со смехом рассказала Кира Эллочке за обедом в Доме писателя. На их смех недовольно обернулись сидящие за соседним столиком две Гали. И сразу всем стало не смешно.

Кира расплачивалась за обед, когда заметила идущего к ее столу Арама Георгиевича. Эллочка первой встала из-за стола и, многозначительно посмотрев на Киру, заторопилась к выходу.

– Здравствуй, Кира, подожди меня, не уходи. Помнишь, я обещал тебе выставку Глазунова? Она скоро закрывается. Может быть, пойдем на нее вместе? – спросил он тихо, подходя ближе к ней так, чтобы никто не услышал.

Кира неторопливо застегнула плащ и, не зная, что ответить, с минуту молчала. Он ждал.

– Хорошо, приду. Спасибо.

– А сегодня ты торопишься домой?

– Нет, не очень.

– Тогда увидимся, Кира, я буду тебя ждать.

Выходя из комнаты после окончания рабочего дня, Ольга и Кира снова столкнулись в дверях с секретарем парткома. Вид у него был странный, как всегда, озабоченный. Не обращая на них никакого внимания, он ринулся прямо к столу надзирательницы.

– Закройте за собой дверь, – закричал он своим писклявым голосом.

– Что это с ним? Сегодня день какой-то странный, вроде как и веселый, и всё же беспокойный какой-то. Все куда-то бегают. Может быть, это как-то связано с высылкой Солженицына? – шепотом спросила Оля. – Что-то явно происходит... – лицо ее при этом нахмурилось.

Кира грустно посмотрела на Олю, приложила палец к губам, но не ответила, хотя дома она уже обсуждала с папой исключение из Союза писателей Лидии Чуковской и Владимира Войновича, арест и высылку Солженицына. Оля поняла знак Киры, посмотрела на дверь «Отдела снабжения» и сразу перевела тему разговора.

– Тебе хорошо провести вечер, Кирочка. Муж, наверное, ждет дома. – Помахала ей на прощание Ольга.

ГЛАВА 15

Очередь на выставку Глазунова тянулась длинной цепочкой по всему Литейному. Однако, видимо, долго там никто не задерживался, потому что цепочка быстро двигалась.

– Кира, а ты знаешь, что было в этом здании до революции? – поинтересовался Арам Георгиевич, пока они стояли в очереди.

– Нет, не знаю. Никогда раньше даже не задумывалась. – Ей нравилось, что он столько знает и щедро делится с ней своими знаниями.

– Можешь себе представить, что именно здесь до 1828 года была приемная графа Аракчеева, то есть, практически это была канцелярия Его Императорского Величества. Следующее здание рядом было построено по указанию Николая II в 1898 году специально для Офицерского собрания.

Кира заметила, что стоявшая впереди них очень пожилая пара внимательно прислушивалась к его рассказу. Неожиданно мужчина повернулся к ним лицом, пристально посмотрел – сначала на Киру, потом на рассказчика.

– А вы, молодые люди, знаете ли, что было здесь в 1950 году? – с нескрываемым раздражением спросил он. – А ведь не знает молодое поколение настоящую историю нашего города. Так вот, именно здесь проходили процессы по «Ленинградскому делу». – Он посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что его никто не слышит, и продолжил: – Это была серия судебных процессов над государственными и ленинградскими партийными руководителями по ложным обвинениям. Не буду вдаваться в подробности, но в конце сентября 1950 года главные лица «Ленинградского дела» были приговорены к смерти и расстреляны сразу же после вынесения приговора, – он кашлянул, достал из кармана белоснежный платок, высморкался и отвернулся.

Жена взяла его за руку, словно хотела успокоить. Кира и Арам Георгиевич застыли как вкопанные, не произнеся ни одного слова. Наконец Кира наклонилась и прошептала в спину пожилого человека: – Спасибо вам большое. Я ведь действительно ничего не знала.

– Ты знал об этом? – обратилась Кира к Араму Георгиевичу, когда подошла их очередь войти в зал выставки.

– Знал, конечно же, знал. Только говорить об этом вслух нельзя. После 1953-го всех подсудимых реабилитировали. Заходи, Кира. Начнем с первого зала.

После услышанного Кире хотелось уйти, давили стены. Но ее уже несло потоком в первый зал, где висели фотографии Ильи Глазунова с Джинной Лоллобриджидой, Софи Лорен, с президентом какой-то африканской республики и другие. Каждая подпись под фотографией начиналась с «Я и...»

– Это правда, что он зять Хрущева? – поинтересовалась Кира.

– Вообще нет, откуда ты это взяла? Он женат на Нине Виноградовой-Бенуа*, женщине с удивительной родословной: Бенуа, Серебрякова, Устинов. Кира, давай уйдем. Дальше смотреть не хочется, – прошептал ей на ухо Арам Георгиевич, уже заглядывая во второй зал, где висели картины, выполненные в народном стиле и украшенные настоящими стекляшками.

– Может быть, поедем ко мне? А хочешь, можно просто погулять в Летнем саду? Недолго, его скоро закроют – рано темнеет.

Было около семи вечера, над городом медленно сгустились сумерки. Взявшись за руки, бродили они по опустевшему саду.

– Кира, я давно хочу тебя спросить, только не отвечай, если тебе тяжело об этом говорить.

– Нет, нет, конечно, спрашивайте, – поспешила Кира, опять обращаясь к нему на «вы».

– Как ты думаешь, почему так внезапно покончила жизнь самоубийством Елена Анатольевна? Вы ведь вместе работали, и, кажется, дружили?

* Нина Александровна Виноградова-Бенуа (1936–1986), художница, искусствовед, трагически погибла при странных обстоятельствах, выбросившись из окна. (Е.Д.)

Кира остановилась, выдернула руку из его руки, вздрогнула, будто ее ударили. Боль, стыд, страх, забытое чувство вины волной прошли по всему телу. Поймет ли он ее? Ведь Кира испугалась тогда за себя, за папу, – или просто не могла представить себе всех последствий происшедшего. Она всё еще винила себя.

– Вы как хирург с острым скальпелем, который без наркоза режет по живому. Я сама задаю себе те же вопросы с тех пор, как не стало Елены Анатольевны, ведь я прихожу на работу и вижу ее тень в каждом углу комнаты. Мне очень тяжело. Я, правда, не знаю, как ответить на ваши вопросы, потому что всё это время виню и себя в том, что случилось с Еленой Анатольевной.

И Кира поведала ему о телефонном разговоре и о том, что произошло перед этим на работе. Голос ее дрожал, она боялась, что заплачет, а он сейчас повернется и уйдет, оставит ее стоять одну, утонувшую в мыслях, воспоминаниях.

Арам Георгиевич снова взял ее за руку.

– Кира, милая моя девочка, не вини себя. Откуда ты могла знать, что произойдет! Здесь виноваты лишь сам генерал и те, кто его посадил. Мы всё еще живем в страшное время. Моего отца расстреляли, когда я был совсем маленьким. Ты тогда еще не родилась, Кира. – Он приостановился, задумался. – Возможно, и равнодушные сотрудников повлияло на ее нервную и неуравновешенную натуру. Она просто сломалась. Однако может быть и еще одна версия – ей помогли уйти, Кира. Как ты думаешь, способна ли была Елена Анатольевна оставить мужа в такой беде и подростка-дочь?

Кира вздрогнула от этой мысли, задумалась, побледнела.

– Но разве такое возможно? – прошептала она, посмотрев ему прямо в глаза.

– Наверное, я зря тебе сказал. Это страшная трагедия, но ты всё равно не смогла бы ей помочь. Мы не можем знать, что действительно произошло в те дни. Может быть, обыски в квартире, вызовы в Большой дом, увольнение с работы... и, возможно, что-то еще...? Жаль ее дочь. Не терзай себя.

– Знаешь, мне иногда хочется войти в храм, покаяться. Я только один раз была в церкви, мне было года три-четыре, меня туда привела моя старенькая няня. Она крестила меня без разрешения родителей в Никольском соборе. Родители, когда узнали, очень расстроились, а я до сих пор помню красоту и убранство этого собора, его величие, органную музыку, росписи. Такое было странное осознание какой-то магической тайны. Я помню, что очень плакала, а няня меня всё время успокаивала. Это было давно, но всё до сих пор стоит перед глазами. После смерти Елены Анатольевны мне почему-то захотелось опять пойти туда, в Никольский собор, будто душу очистить.

– Давай вместе и пойдем. Если хочешь.

– Да, конечно хочу.

Они выходили из Летнего сада почти последними.

Светлая ночь очертила город новой краской, поглотив золотые блики дневного солнца. Воздух в городе, наполненный городской пылью, казался пепельным. Стал накрапывать мелкий неприятный дождь, смывая с асфальта утреннюю пыль.

- Кира, могу я увидеть тебя снова? – спросил он прощаясь.
- Когда? – неожиданно вырвалось у Киры.
- Завтра в шесть у меня. Придешь?
- Да, приду.

Всю оставшуюся неделю Кира виделась с Арамом Георгиевичем почти каждый день. Встречи с ним, с одной стороны – лихорадочные, с другой – как в замедленном немом кино. Высказанные вслух мысли, посещения выставок, концертов, просмотренные вместе фильмы, прочитанные книги... часы, проведенные рядом с ним, стали для Киры источником радости. Теперь даже переключивание бумаг справа налево и слева направо она делала весело, улыбаясь, словно не было в ней теперь раскаяния, что она живет во лжи, что он не ее, а чужой муж, что она крадет эти крохи своего счастья у другой.

У Киры теперь было две жизни – в одной жила ложь, в другой – ее правда. Она не управляла своей судьбой, будто какая-то сила несла ее по течению. Она принимала всё случившееся с ней как неизбежность, будто кто-то другой уже расписал за нее каждый последующий день ее жизни. Кира не думала о том, что будет завтра, что победит в ее борьбе с собой – ложь или правда, словно погрузилась она в полумрак, и как слепая, на ощупь, шла навстречу следующему дню.

ГЛАВА 16

Кира жила, окутанная ложью, которая уже не трогала душу. И всё же она не могла и не хотела так жить. Она знала, что у лжи есть такая особенность – рано или поздно она всплывает наружу. И однажды утром Кира собрала вещи, забрала дочь и переехала к родителям, ничего не объясняя мужу. Кира решила, что начнет с чистого листа, по-новому. Вспомнилась цитата из «Дяди Вани»: «Проснуться бы в ясное, тихое утро и почувствовать, что жить ты начал снова, что всё прошлое забыто, рассеялось, как дым». Решила, что и правда, как было бы хорошо! Теперь всё чаще задумывалась над тем, что она сама должна измениться, что живет неправильно. Однако сердце и разум редко существуют в согласии, и ее сердце интуитивно вело туда, где пересекаются дороги двух одиноких людей.

Выставка картин в Эрмитаже из нью-йоркского музея Метрополитен стала событием в городе. Арам Георгиевич позвонил Кире в пятницу на работу. К телефону подошла Оля.

– Тебя, Кира, мужской голос. – Улыбнулась она многозначительно, передавая Кире трубку.

– Кира, мы можем встретиться в воскресенье? Тебе удобно? У меня билеты в Эрмитаж.

– Да, конечно, – обрадовалась Кира, подумав, что она должна будет сказать ему при встрече, что теперь свободна и они могут видиться в любое время.

На это свидание Кира собиралась особенно тщательно. Примеряя перед зеркалом новое яркое платье, она заметила, как пристально наблюдает за ней мама.

– Кира, ты уверена, что правильно поступаешь? Боюсь я за тебя. Ты еще не знаешь жизни. Не соверши еще одну ошибку.

Кира задумалась на минуту:

– Я счастлива с ним, мама. Пожалуйста, не волнуйся за меня, ведь я уже взрослая.

Кира долго ждала его на набережной. Слова мамы почему-то мешали радоваться теплему майскому дню, их новой встрече. Он, как всегда, опоздал.

– Прости, Кира, дома были некоторые проблемы. Я ведь живу теперь в Наташиной квартире. Она устроила истерику. Ну да ладно, надо торопиться, у меня всего три часа. – Он взял ее за руку. – Нам хватит времени, чтобы обойти все залы. Ты расстроилась? – Он почувствовал, как дрогнула ее рука. – Ты должна меня понять – я женат.

Кира хотела сказать ему правду, но слова его причинили боль, и она замкнулась в себе. День был омрачен.

Молча обошли они всю выставку.

– Если у нас есть еще время, я бы хотела еще раз взглянуть на картину Эль Греко, – попросила Кира, переходя в последний зал.

Как замороженные, стояли они у полотна Эль Греко «Вид Толедо близ Неаполя». Работа была представлена отдельно на невысокой подставке. Это была настоящая магия искусства, борьба света и тени: под мрачным грозовым небом – город и зеленые холмы, залитые фантастическим освещением. Такое освещение и яркие, бунтующие краски как бы усиливали мистицизм и драматизм картины. У Кире было ощущение, что художник передал на полотне состояние ее души – мятущейся, неумной, но жаждущей равновесия и покоя.

– Кира, обрати внимание – рядом с картиной Эль Греко висит большой портрет женщины. Ты знаешь художника?

Кира не знала. Да и только сейчас заметила эту мастерски выполненную работу. Женщина была изображена во весь рост. Спадающее с плеч темно-коричневое бархатное платье подчеркивало бледность лица. Всеми красками, поворотом головы, мелкими деталями художник сумел передать ее характер – женщины гордой, надменной и всё же несчастной.

– Это картина американского художника Джона Сарджента.

Кира подошла ближе и прочитала название: «Мадам X. 1884 г.»

– Художник работал над этим полотном, живя во Франции. Портрет вызвал огромный скандал в высшем обществе, так как его модель, жена французского банкира, была известна как женщина легкого поведения, не хранящая верности своему старому мужу.

Кира мрачно посмотрела на него. «Наверное, он так и обо мне думает», – но ничего не сказала.

Они вышли из Эрмитажа. Белый майский ленинградский вечер казался сказочным. Спрятанная в облаках едва видимая бледная луна нечетко вырисовывалась на светлом небе. Полупрозрачный туман парил над городом, и сквозь него проступали очертания города, который был частью их жизни, частью их истории – последней страницей их неоконченной повести. Долго бродили они, затерявшись во времени, по вечерним улицам, мимо куда-то спешащих прохожих, словно слившись воедино с тайной этого города, глубоко скрытой в складках широких, уходящих вдаль улиц.

Они уже подходили к ее дому, когда он неожиданно остановился и, пристально посмотрев на Киру, снова заговорил.

– Кира, послушай меня внимательно. То, что я сейчас тебе скажу, очень важно для меня. Мне предложили работу главного инженера в одном из новых проектных институтов недалеко отсюда. Я перехожу на следующей неделе. Мы не сможем теперь часто видеться, особенно первое время. Я буду очень занят. Есть еще что-то, что я должен сказать тебе, еще... – лицо его вдруг показалось Кире побледневшим. Он остановился, заметив, как внимательно и напряженно, словно ожидая удара, смотрит на него Кира.

– Дело в том, что у меня будет сын, Кира. Очень скоро. Наташа беременна. Мне почти сорок, и я так его ждал. Ты должна меня понять, мы не сможем какое-то время встречаться.

Он замолчал, еще раз посмотрел на нее. В глазах Киры прочел всё тот же страх. Одним движением, словом, выстроил он между ними тот барьер, который нельзя было разрушить, потому что барьер этот – живое существо, его еще не родившийся сын. Боль, отчаянье, безнадежность, что она теряет его, – всё это он увидел в ее глазах.

– Кира, я не хочу тебя терять! Я... я буду тебе звонить.

Кира ничего не ответила, она стояла, низко опустив голову, чтобы он не заметил, как на ее глаза навернулись слезы. Она чувствовала, что он уходит от нее навсегда. Ведь она лгала себе, когда крала кусочки чужой жизни, эти короткие встречи были только мелкими подкачками, которые она принимала за любовь. Ей хотелось невозможного: быть той единственной женщиной, которую он любил. Любил ли он ее? Об этом они никогда не говорили...

– Поздравляю. Я очень рада за тебя, Арам. Уже поздно, дома, наверное, Наташа волнуется. Увидимся, – добавила Кира неопределенно.

Он притянул ее к себе.

– Я же никуда не исчезаю. Буду звонить.

Она еще долго стояла в подъезде дома, стараясь привести в порядок хаос мыслей. Каждая клетка ее существа бунтовала против этой безысходности. Может быть, пришло время переступить и через эту черту, начать новый этап жизни без него? Сможет ли?..

Когда Кира вошла в квартиру, все уже спали. Она зажгла на кухне свет, плеснула на лицо холодной водой. Достала из сумки тетрадь, открыла на новой странице. Ее лихорадило. Слова сами выходили из-под пера, мыслей не было; она писала переполнявшей ее болью.

В прищуре ночи, из прикрытых глаз,
Сверкает звезд серебряных алмаз.
Его лучи, как уличный фонарь,
Бросают свет на голубой хрусталь,
Где преломилась жизнь, и в этот час
Болит душа, в которой свет погас.

ГЛАВА 17

Наутро после бессонной ночи, едва Кира успела сесть за свой рабочий стол, как в комнату буквально влетела темненькая Галя. На этот раз она была одета в красное короткое платье, волосы собраны сзади в аккуратный пучок, глаза ярко подведены, отчего казались еще чернее.

– Девочки, у меня новость. Я уйду!

– Куда? – вырвалось у Оли. – Уж не начальница ли наша тебя к себе берет?

– Ну нет, не поверите! В четверг утром пришел Арам Георгиевич в библиотеку. Оказывается, он переходит главным инженером в другой институт.

– А ты-то тут при чем? – раздраженно поинтересовалась Оля. Она почему-то недолго любила обеих Галь.

– Да при том, что он пригласил меня работать с ним. Я буду начальником Отдела кадров! Представляете? Между прочим, и Галя тоже уходит к нему – библиотекой заведовать, – произнесла она громко, каким-то торжественным тоном.

Слова ее зависли в воздухе – в комнате воцарилось тишина. Кира ощутила неожиданный прилив негодования. «Как он мог? Почему ее, Галю, а не Киру? Почему скрыл?»

Молчание прервала Оля. Оглядев с ног до головы нарядную Галю, она нехорошо усмехнулась.

– Уходишь, значит? Только должна тебя огорчить – должность эта не для тебя. Не понимаю, как Арам Георгиевич мог пригласить именно тебя на эту работу? – Она отвернулась и с сожалением посмотрела на Киру, словно понимая ее состояние.

Не получив желанной поддержки, темненькая Галя, зло сверкнув черными подведенными глазками, покинула комнату медленной и важной походкой.

Кира долго сидела в оцепенении. Всё, что услышала она сегодня, было наказанием за ее доверие. Кира подняла голову и перехватила на себе сочувственный взгляд Оли. Нет, жалости к себе Кира не хотела.

Он еще звонил Кире раз или два. Она не отвечала. Жизнь ее продолжалась, шла монотонно по замкнутому кругу: дом, работа, книги, стихи. Однако убежать от себя не могла, мешали одни и те же мысли. Как жить дальше? Воспоминания были слишком четкими, размытым, и неясным оставалось только настоящее. Кира металась, пытаясь найти ту точку покоя, где она могла бы трезво думать о настоящем и будущем, но мучительная раздвоенность тянула назад, в прошлое.

Неясная тревога, которую она ощущала, новый, незнакомый доселе страх, заставляли ее быть в постоянном движении, искать убежище от беспокойных мыслей. Кира записалась в Эрмитаж на лекции по истории живописи, на курсы кройки и шитья, готовки экзотических блюд и чего-то еще. Она заполнила свою жизнь так, чтобы не было времени думать об Араме Георгиевиче (так она теперь мысленно к нему обращалась). За созданным ею образом счастливой женщины таились болезненная гордость, неуверенность в себе, глубокая неудовлетворенность миром, в котором она существовала.

ГЛАВА 18

...Ранняя осень в Америке похожа на ярко раскрашенные театральные декорации. Спектр красок – от желтого до густого красного – почему-то напоминал Кире Артуровне картину Диего Риверы «Вид Толедо». Она залюбовалась видом осеннего Питтсбурга. Город был будто нарисован, скопирован с полотна мексиканского художника.

– «Вид Толедо, – повторила про себя Кира Артуровна. Вспомнилась та выставка в Эрмитаже, картина Эль Греко с тем же названием... – Как давно это было. Кажется, прошла вечность. А боль? Нет, она еще живет», – подумала Кира Артуровна, стараясь уйти от назойливых воспоминаний.

До прибытия самолета из Нью-Йорка оставалось всего полчаса. Машина набирала скорость, но Кира Артуровна уже не следила за дорогой, торопилась, испытывая волнение от предстоящей встречи. Оля, ее давняя подруга, теперь живет почти рядом, в Нью-Йорке.

Она не сразу узнала Олю в полной, чуть прихрамывающей пожилой женщине в нарядном синем плаще, наброшенном на светлое элегантно платье. Оля резко выделялась из толпы быстро движущихся американцев, привычно одетых в джинсы и легкие куртки.

Обнялись, Оля прослезилась.

– Ты почти не изменилась. Всё такая же красавица. Так долго тебя искала. Столько надо рассказать... – щебетала расчувствовавшаяся Оля на пути из аэропорта. И действительно, разговор их затянулся до полуночи. Долго сидели за столом, вспоминали прошлое, Елену Анатольевну, «надсмотрщицу», Пал Палыча, Эллочку и даже «стукача» из «Отдела снабжения».

– Кира, как сложилась твоя жизнь? Ты счастлива? Я часто думала о тебе. Ты всегда была такая скрытная, но я догадывалась о ваших отношениях с Арамом Георгиевичем.

– У меня всё хорошо, правда, Оля. Окончила колледж, занимаюсь историей искусства. Два года назад овдовела. Дочь замужем. Счастлива ли? Даже не знаю, что сказать. Скорее всего, да. Я нашла то, что искала – душевный покой. Я теперь вижу мир вокруг себя другими глазами: без страха, без сильных изнуряющих эмоций. Так легче жить... А ты встречала его после моего отъезда?

– Только один раз, случайно. Это было незадолго до того, как ты улетела в Америку. Он много о тебе расспрашивал, Кира. Тогда я еще удивилась, почему только о тебе... У меня есть и плохие новости. – Наступила долгая пауза. Кира напряженно ждала.

– Я узнала, что Арам Георгиевич умер год назад от сердечного приступа. Потом слышала от Эллы, что он еще несколько раз был женат, жил где-то в центре города. Я даже побывала на его выставке в Доме офицеров. Он ведь стал известным художником. – Оля остановилась и с интересом взглянула на Киру. – Но это еще не всё. Ты будешь удивлена. Там, на этой выставке, я увидела сделанный им совершенно потрясающий рисунок – портрет женщины, как две капли воды похожей на тебя... Это был удивительный рисунок. Женщина сидела за столом, задумавшись, склонившись над чашкой чая. Я долга не могла отвести глаз от этой работы, столько в ее позе, в ее глазах было грустной экспрессии. Тогда я и поняла, что между вами что-то было.

Кира Артуровна побледнела и горько улыбнулась, стараясь скрыть удивление.

– Так, ничего особенного. Увлечение юности. Ну, а ты, Оля... – как сложилась твоя жизнь?

Оля с минуту подумала, хлебнула из бокала вина.

– Я знаю, Кира, тебе тяжело говорить о прошлом. Странное было время. А о себе особенно рассказывать нечего. Была замужем. Выростила сына. Вот и приехала к нему в Америку... Я смотрю, ты уже устала от наших разговоров. Давай помогу убрать со стола и пойдем спать. Повезешь меня завтра в город? Хочу посмотреть музей Карнеги Мелона, потом – домик архитектора Райта и, конечно же, коллекцию Фрика.

Кира подошла, обняла Олю за плечи. – Так рада, что ты приехала, Оля! С тобой я снова вернулась в свою давно прошедшую молодость. Завтра покажу тебе город. С Вашингтонской горы открывается такой вид! Питтсбург окружен холмами и озерами, его иногда называют маленькой Швейцарией. Особенно красиво вечером, когда город освещен тысячами желтых огней. И еще... он такой же холмистый, как и испанский Толедо. Давай встанем завтра пораньше и начнем с экскурсии по городу.

Кира Артуровна постелила Оле в спальне для гостей. Она слышала, как Оля еще долго ворочалась, потом ходила по дому. Она, как и Кира, не могла уснуть.

Кира Артуровна открыла окно в сад. Дальше за садом был виден

лес. В комнату вместе с теплым воздухом «индейского лета» ворвался запах сухих осенних листьев. Где-то вдали, в лесу, пели разгулявшиеся ночные птицы. Это были звуки тишины, которые она так любила. В такие минуты к ней часто возвращались мысли о прошедшей жизни, о нем.

«И все-таки, жизнь – это праздник, а смерть – наказание за него», – подумала Кира Артуровна.

Стало грустно от нахлынувших мыслей. В голове еще отдавался эхом рассказ о его выставке и о портрете женщины, похожей на Киру. И только сейчас почувствовала она сильное волнение, и снова прошлое воскресло в памяти. Если бы могла она снять с души эту давящую память, забыть?

Кира Артуровна идет на кухню, заваривает чашку крепкого кофе и возвращается к открытому окну. Она внимательно всматривается в ночь. И там, в пустоте черного квадрата, как на экране, проходят один за другим кадры последних лет ее жизни в России.

ГЛАВА 19

Развод с мужем прошел по обоюдному согласию. Мама чувствовала, что Киру что-то мучает, но не задавала вопросов. Только иногда она ловила на себе ее взгляд, усталый, печальный, всепонимающий.

– Кира, я слышала, ты ночью плакала. Ты хочешь мне что-то рассказать?

– Нет, всё в порядке, тебе показалось, мамочка.

Однажды, случайно услышав их разговор на кухне, отец недобро проворчал:

– Разводиться не надо было. Кому она нужна с большим ребенком.

Кира промолчала, но слова отца полоснули своей жестокостью.

Из-за болезни дочери ей пришлось уйти с работы. Девочке предстояла тяжелая операция. Кира была полностью поглощена заботами о ней. И только в частые бессонные ночи вспоминала она счастливые минуты, проведенные с ним. Иногда хотелось снять трубку и позвонить, но этот шаг она не разрешала себе сделать. Ей казалось унижительным напоминать о себе.

Весной дочке сделали операцию, поправлялась она медленно. Родители увезли ее на дачу, и Кира уехала с ними. Она всё еще испытывала сильное чувство вины. И именно это чувство давило так больно, что ей хотелось уйти навсегда от воспоминаний об Араме Георгиевиче. Ее правда и ее неправда, ее вина, с которой она жила эти годы, были не книжной фантазией, а реальностью.

Мрачное настроение усиливало по-ленинградски холодное, дождливое лето. В один из таких пасмурных дней она решила заночевать в городе. Открывая дверь в квартиру, Кира услышала настойчивый и громкий телефонный звонок.

Часы показывали семь вечера.

«Кто бы это мог быть? Что-то случилось на даче?» – подумала

встревоженная Кира. Звонок был долгим, требовательным. Она подняла трубку.

– Кира, это ты? – услышала она знакомый голос. – Как я рад, что наконец-то до тебя дозвонился. Ты свободна? Мы можем встретиться? Ты мне сейчас очень, очень нужна.

Она растерялась, не знала, что сказать. Отказать? Однако голос его показался усталым, с какими-то новыми горькими нотками.

– Что-то случилось? Хорошо, приезжай ко мне. Я дома одна. – Она старалась говорить как можно спокойнее, но голос дрожал, выдавал волнение.

– Жди. Я буду через час. – В трубке раздалась глухие ровные гудки.

Часы на стене медленнее, чем всегда, отсчитывали минуты. Четкий их звук эхом отдавался в душе, словно кто-то монотонно стучал, пытаясь вызвать внутри острую, давящую боль. В голове складывались строки стихов, но записывать не хотелось. Кира машинально повторяла их про себя:

Здесь тишина поет в углу об опозданье
всего на несколько минут,
а стрелки от часов бегут,
и, кажется, что век прошел в моем сознание.

Она сидела на кухне, наблюдая за двигающимися по циферблату стрелками, в ожидании, когда они сойдутся на цифре восемь. Кира терялась в догадках, почему он вдруг вспомнил о ней. Опять он врывается в ее только сейчас налаженную жизнь, нарушая ее равновесие, ритм, плавное и бессобытийное течение. Однако то, что произошло дальше, тот момент, когда она открыла ему дверь, изменил навсегда ее жизнь, бросил снова в океан страстей, неразумных, а порой безумных поступков.

ГЛАВА 20

Из оцепенения вывел громкий, дребезжащий звонок в дверь. Арам Георгиевич стоял на пороге осунувшийся, постаревший. Не было прежнего лоска, блеска в глазах, скорее, что-то мученическое отразилось в его темных зрачках. Она прочитала в них глубокую усталость, напряженность, озабоченность. Кира холодно поздоровалась и машинально провела на кухню.

– Хочешь чаю?

Он не ответил. Она наполнила чайник. Шум льющейся воды нарушал неловкую тишину.

– Кира, – начал он первым, низко опустив голову, не смотря ей в глаза, – я не буду ходить вокруг и около – у меня большое горе: Наташа моя умерла, неожиданно, месяц назад, от рака. Мне очень тяжело. Понимаешь, ты нужна мне сейчас, очень нужна. Я не могу

себе представить, чтобы другая женщина, кроме тебя, вошла бы в мой дом, стала матерью моих детей. – Он сидел, немного ссутулившись, мрачный. Теперь он выжидающе смотрел на нее, словно от ее ответа зависела его жизнь.

Кира была ошеломлена, всем сердцем поняла она его горе, как измучен он, как устал. Его беда вдруг стала ее бедой, ее ответственностью за его жизнь, за жизнь его детей. И всё же она не могла сейчас дать ему ответ – слишком много было пережито ею самой, не оправилась после операции дочь, и, наконец, Наташа умерла всего месяца назад. Кира промолчала, только обвила его шею руками, прижалась, словно хотела передать ему свое тепло, отдать ему свои силы пережить горе.

– Я налью тебе горячего чаю. – Она открыла полупустой холодильник, нашла лишь сыр и масло. Толсто намазала масло на хлеб, плохо понимая, что делает.

– Масло не надо, Кира. Я не голоден. Давай просто поговорим, как раньше. Я так давно тебя не видел. Скучал. – Слова его звучали так искренне, что она снова подчинилась ему, безотказно, как своей судьбе. В тот вечер он остался у нее. Будто не было разлуки, пережитой боли, снова плыла она по течению, по волнам новых нахлынувших чувств в новое завтра.

Однако вдруг обретенное счастье пугало ее. Подсознательно, медленно наплывало сомнение, словно ждала она от него чего-то большего, каких-то других слов. Такая неуверенность вызывала в ней неясную горечь, бунт, даже гнев – на себя, на неумение прийти к правильному решению. До сих пор и он, и его жизнь оставались для Киры загадкой.

Первый приезд к нему домой после смерти Наташи стал для Киры неожиданным открытием. Дети теперь находились у бабушки в Ереване, но Наташа всё еще обитала здесь, в этой квартире. На буфете, на журнальном столике, на кухонном прилавке – везде стояли ее фотографии. Милое, улыбочивое, ясное лицо, может быть, некрасивое, но с фотографии на Киру смотрела молодая, сияющая счастьем женщина. Возле дивана все еще лежали ее розовые домашние тапки, на стуле висел ее старенький, выцветший, розовый халат, будто она была здесь, рядом с ним. Легкий запах ее духов еще царил в каждом углу этой небольшой и уютной, как показалось Кире, квартиры. Только теперь поняла она, что ревнует его уже не к живой, а к мертвой Наташе, что не сможет сейчас увести его из прошлой жизни – Наташа еще долго будет стоять между ними.

– Ты сегодня какая-то притихшая, Кира. Тебя что-то беспокоит. Я вижу.

Он стоял рядом, дымя папиросой, сутулясь и опираясь всем телом на ручку кресла, словно боялся упасть. В воздухе стоял тяжелый запах «Беломорканала». В спортивных брюках, старой выцветшей майке он был для нее в этот момент таким домашним, родным,

но во всей его позе была какая-то непривычная отчужденность, словно это был не он, а призрак, измученный, неуверенный в себе. Из открытого окна потянуло летней прохладной свежестью.

Кира закашлялась от дыма. Его слова донеслись до нее не сразу. Она сидела на диване, низко опустив голову, прислушиваясь к тишине чужой квартиры. Взглянула на него, он выглядел подавленным. Стало жаль и его, и себя.

– Нет, я в порядке, просто устала. Я еще немного с тобой побуду и поеду. Мне надо вернуться на дачу.

– Хорошо, как знаешь. Я думал, что ты останешься. Впрочем, я тоже измучен последние дни. Неопределенность, дети. Как там, у Гончарова в «Обломове»: «А жизнь трогает, везде достает». Не так ли? – Он горько усмехнулся. – Пойдем чай пить. Я купил конфеты, лимонные, как ты любишь.

Кухня была крошечная, почти всё пространство занимал квадратный стол, накрытый старенькой красной клеенчатой скатертью. На полке напротив стояла фотография Наташи с детьми. Кира старалась на нее не смотреть, ела свои любимые конфеты, не чувствуя их вкуса и запивая уже остывшим чаем. Говорили о чем-то неважном, но ей казалось, что он не с ней, где-то далеко, и ему стоит нечеловеческих усилий вернуться к ней, поддержать ничего не значащий разговор, что слова ее просто падают в пустоту. Часы с кукушкой прокуковали семь...

– Помнишь нашу первую встречу? Тогда ты прочитал строчки из стихотворения Поля Элюара, посвященные его рано ушедшей жене: «Всё потеряно нет тебя здесь / Память ночей увядает»...

– Да, конечно, помню, и эти строчки, и наши разговоры о «Черном принце». Как ясно литература отражает нашу жизнь... судьбы героев так неожиданно переплетаются с нашими судьбами. Даже если жизнь напишет другой сценарий, кто-то всё равно будет в ней играть роль Брэдли, а кто-то роль Джулиан.

«Как странно, – подумала Кира, – столько лет прошло со дня нашей первой встречи. Затянувшаяся театральная пьеса, в которой главную роль играл он – Брэдли, но Джулиан была... не она, Кира, а другая женщина. Может быть, та женщина, которой уже нет в живых, – женщина, которую он любил...»

ГЛАВА 21

Лето подходило к концу, потянулись дождливые дни, а он всё еще терпеливо ждал от нее ответа. Ответа не было. Кира металась, не могла принять решение. Ей казалось, что он хочет полностью погрузить ее в свою жизнь, в свои проблемы, заботы. Но у нее была и ее собственная жизнь, и она не была готова полностью отдать ее. Ей нужно было поставить на ноги дочь, а главное – привыкнуть к мысли, что она может стать матерью чужим детям. Да, он был несчастлив, растерян, измучен – и все свои несчастья он проецировал

на нее. Кира сопротивлялась его напору, тянула время, чувствуя при этом, что теряет его. Ложь, страх, унижение, которые терзали раньше, вернулись, удобно примостившись где-то в самой глубине сознания. Кира чувствовала, что она может сорваться, что искусственно созданный ею покой не может быть вечным. Она боялась своего собственного отчаяния, моментов вдруг наплывающей меланхолии. Даже теперь, когда Кире казалось, что жизнь с ним налаживается, она продолжала ощущать странное беспокойство, понимая, что ее нерешительность может причинить страдания им обоим. И она металась между желанием и страхом быть с ним.

Однако и он стал постепенно от нее отдаляться, находя предлоги видаться реже. В августе он улетел в Ереван, чтобы привезти домой детей. Обещал вернуться через две недели и сразу ей позвонить. Кира ждала месяц. В начале сентября стали разъезжаться дачники, опустел пляж. Густые тучи тяжело повисли над городом. Первые желтые листья покрыли асфальт. Они о чем-то таинственно шептались, разлетаясь под ногами и оседая в глубоких лужах. Осенняя тоска чувствовалась теперь в опустевшем курортном городке.

Кира шла по безлюдным улицам, разгребая ногами мокрые листья. Тишина пугала ее, как и нарастающее беспокойство. Наконец, Кира решила позвонить сама. Он долго не снимал трубку. Сразу по тону его голоса она почувствовала, что звонку ее не рад. В сказанных им фразах была туманная недоговоренность.

– Не приезжай. Я не один, Кира, – он сделал паузу, помолчал. Молчала и Кира. – Дело в том, что я женюсь. Детям нужна мать. Надеюсь, что ты понимаешь? – Она уловила в его голосе холодное раздражение.

– Это неправда, я не верю тебе. Еще не прошел год, как умерла Наташа. Я приеду. Ты должен сказать мне это прямо в лицо. – Она настаивала на встрече, словно была еще надежда что-то изменить.

– Хорошо, приезжай, но только сейчас, пока я дома один.

И Кира приехала. Он открыл дверь – отстраненный, другой. Квартира была чисто убрана. Фотографии детей стояли на этажерке, где и раньше, но фотографии Наташи исчезли. В комнате стоял легкий запах чужих духов. Кира подошла к открытому окну вдохнуть струю свежего воздуха. Было трудно дышать, словно на грани безумия, сбивчиво и порой несвязно пыталась что-то ему доказать, понять из его слов, что произошло за этот короткий месяц. Плакала, просила объяснить.

Они сидели на кухне. На столе лежала чистая белая скатерть, в стеклянной вазочке стоял букет ромашек. Он налил ей чай в новую фарфоровую кружку. Сам пить не стал, словно ждал, когда она уйдет. Чай уже остыл, а она всё еще говорила. Не верила, повторяла одно и то же.

– Почему? Скажи, почему? Не любил? Не любишь?

– Когда-нибудь ты поймешь меня. Ты еще слишком молода, Кира.

Ты будешь счастлива. Не слова важны, которые ты хочешь от меня услышать, а то, что чувствует твое сердце. – Он вытер ей слезы, обнял. – Я провожу тебя.

– Не провожай. Мне надо побыть одной.

Кира прошла мимо лифта, быстро спустилась по ступенькам, вышла на улицу. Солнце садилось, окрашивая небо красными, почти огненными красками. Они растекались неровными мазками, просачивались сквозь облака, постепенно исчезая где-то за горизонтом. Запах осени наполнял воздух, желтые листья кружились, подхваченные порывом холодного ветра. Широкая юбка ее легкого платья, подчиняясь ветру, обвила колени, мешая идти. Ноги не слушались. Кира постояла, посмотрела на его окна, поежилась от холода. В окне мелькнул его силуэт и скрылся за занавеской. Кира посмотрела на часы. Можно было еще успеть на поезд.

«Мама, наверное, волнуется», – вспомнила Кира. Но мысли о том, что произошло, мешали думать о чем-то другом. Она пыталась его оправдать, винила себя. Но обида была сильнее разума, сильнее его домыслов, ее оправданий. Она любила и понимала, что это Бог наказал ее за ложь.

«Наверное, человек не может управлять своей судьбой, судьба предначертала его путь заранее, и он идет по уже проложенной ему дороге, не ведая, где она готовит ему испытания» – подумала она.

Самым страшным испытанием для Киры стало не его предательство, а ее неумение справиться с ним. Вспомнила чьи-то слова: «Опасность больше там, где не видят твои глаза».

ГЛАВА 22

19 декабря 1978 года. Кира рано уехала из дома, ничего не сообщив близким. Она вышла на станции метро «Чернышевская» и пошла в сторону Литейного проспекта. Город просыпался, нарядный, белоснежный, озабоченный надвигающимися новогодними праздниками. Она остановилась у знакомого здания, постояла несколько минут, читая по слогам старую вывеску: «Гипроникиностройполиграфпроект». Вспомнила Елену Анатольевну. Стало грустно. Неожиданно дверь открылась, и Кира лицом к лицу столкнулась с Татьяной Васильевой. Она с трудом узнала в располневшей, хорошо одетой даме свою бывшую начальницу.

– Кирочка? Вы ли это? Дайте я вас хоть обниму. Часто о вас думаю. Как вы живете? Как дочь? Рассказывайте, милая, всё хочу знать. – И она крепко обняла Киру, смахнув снег с воротника ее пальто.

– Я, Татьяна Васильевна, завтра в Америку улетаю.

Она будто и не удивилась.

– Вот и умница, правильно делаешь. Может, и дочку подлечишь, – неожиданно одобрила ее отъезд бывшая начальница.

– Ну а вы как, Татьяна Васильевна?

– А я, Кира, замуж вышла, и ухожу из этой организации обратно

на фабрику, начальником цеха. Не мое здесь было. Да и Елена Анатольевна из головы не выходит. Трудное это было для нас всех время.

Кира тяжело вздохнула. – А вы что-нибудь знаете о судьбе ее дочери?

– Да, знаю, Кирочка, знаю. Мужа Елены Анатольевны недавно выпустили. Кто-то оклеветал, видно. Кто их разберет. Он теперь у нас на фабрике работает. Живет с дочерью. Она учится, поступила в институт. На мать похожа, красавица. Странная она, эта жизнь, жестокая. Жаль Елену Анатольевну. Поторопилась она свести счеты с жизнью. Гордая была. Ведь мы бы ее в беде не оставили, – помолчала, будто что-то припоминая. – Знаешь, ведь и Марк Захарович умер, прямо на рабочем месте. Сердце. Видно, много пережил в жизни, вот и оно не выдержало. А вот Пал Палыч ушел куда-то на повышение. Вот и все новости. А тебе счастья, девочка. – Татьяна Васильевна смахнула слезу, обняла Киру крепко, по-мужски, и, поправив съехавшую набок меховую шапку, быстрым, широким шагом направилась к метро.

Кира посмотрела ей вслед, потом на массивную входную дверь, подвальное окно с тяжелой решеткой, за которой провела она столько лет. Хотела изменить планы и вернуться домой, но какая-то сила тянула ее в прошлое, нужно было поставить последнюю точку, перевернуть еще одну страницу жизни. Долго и бесцельно бродила она по заснеженному аллеям Летнего сада, не замечая редких одиноких прохожих. Дорожки были не расчищены, и ноги утопали в снегу. Где-то вдалеке, сквозь прозрачную пелену зимнего дня, крепко обнявшись, маячила, взявшись за руки, одинокая пара.

Солнечное, холодное утро постепенно теряло краски, и бледные лучи солнца, лихорадочно цепляясь за облака, тонули в их белизне. Неожиданно потемнело, и крупными хлопьями пошел снег, будто черная туча упала на землю, поглотив дневной свет, покрыв город тяжелой пеленой декабрьской мглы. Она прошла мимо скамейки, напротив памятника Крылову – место их встреч. Скамейка была покрыта толстым слоем рыхлого снега, словно кто-то хотел замести следы, стереть из памяти их встречи.

«Опять, как всегда, идет снег». – Кира вспомнила их первую прогулку по городу, унесенный ветром зонтик и идущий стеной снег. Она вышла за ворота Летнего сада, постояла возле знаменитой ажурной ограды. Перед глазами открылась занесенная снегом Нева, ее гранитные берега, панорама города. Она любовалась этим зимним пейзажем, старалась сохранить в сердце ту картину, которая напечалит ей о детстве, юности, долгих прогулках с ним вдоль реки, к Дворцовому мосту, его рассказы о городе. Мистический, загадочный город, хранивший так много тайн, навсегда сохранит здесь и ее, Киру тайну.

Кира долго жила как в лихорадке, всё еще ждала звонков, надеялась. Ночью мучили сны-воспоминания. Однажды в метро встретила

своего бывшего одноклассника, через год вышла за него замуж, не по любви, от одиночества. Счастлива она не была, продолжая жить как раньше, своей внутренней жизнью, жизнью своих книжных героев. Как-то отправила стихи в «Ленинградскую правду», их напечатали, но радости это событие не принесло. Мысль о том, что надо начинать жизнь сначала, стала назойливой, неотступной. Были минуты счастья и минуты разочарований, но это и была жизнь, дважды которую прожить невозможно. Она стяхнула с пальто мокрый снег. Вспомнила строчки из старого стихотворения: «Жизнь на финишной ленте. Два шага вперед... / Тает память, как снег, на развилке дорог».

Кира посмотрела на часы, было время обеденного перерыва. Теперь, уже уверенной походкой шла она на встречу с ним. Поднялась по широкой лестнице здания, где он работал, вошла в ярко освещенную круглую прихожую. Здание казалось безлюдным. Кира нашла дверь с надписью «Главный инженер», постучала и, не дождавшись ответа, приоткрыла ее. Кабинет был освещен только дневным светом, падающим из широкого окна. Арам Георгиевич сидел за большим столом, писал. Белая, накрахмаленная рубашка выделялась ярким пятном на фоне темноокрашенных стен.

– Войдите, – сказал он, едва отрываясь от бумаг.

При виде Киры на лице не появилось ни удивления, ни радости, будто знал, что придет, ждал.

– Не удивлен, что я пришла без приглашения? – и, не дав ему ответить, быстро проговорила. – Я попрощаться. Завтра утром улетаю, навсегда.

Арам Георгиевич встал из-за стола, вышел навстречу, предложил сесть. Кира отметила, как он изменился, поправился, постарел. Волосы стали почти совсем седыми. Они сидели какое-то время молча, словно изучая друг друга. Перед Кирой был другой, незнакомый человек, только где-то в глубине глаз на минуту мелькнула забытая ею ласковая искра, а потом – что-то больное, будто нервная судорога прошла по лицу. Он придвинул стул, сел рядом, сжав рукой ее замерзшие пальцы.

– Замерзла? – спросил он по старой привычке и внимательно посмотрел ей в глаза. – Хочешь горячего чаю?

– Нет, ничего не хочу. Я только на минутку. Попрощаться.

– Когда ты улетаешь?

– Завтра, рано утром.

Он взял со стола пачку папирос «Беломорканал». Глубоко затянулся.

– С мужем? В Америку?

Вопрос показался ей странным. Она удивилась, что он знал о ее замужестве.

– Да, с мужем и дочкой. Откуда ты знаешь, что я вышла замуж и улетаю в Америку?

– От Оли. Встретил ее недавно на улице. Спросил о тебе.

Дым от папиросы, как густое белое облако, висел в воздухе. Он

стряхнул пепел, и Кира закашлялась, не зная, что сказать. Образовалась неловкая пауза.

– А ты? Как ты? Счастлив с новой женой?

– Счастлив ли? – он нехорошо усмехнулся. – Не совсем понимаю твой вопрос. Наверное, я смогу ответить на него тогда, когда выставлю за дверь ее чемоданы, а она проглотит унижение и вернется, – помолчал, – вернется ради любви к моим детям. – Лицо его стало хмурым.

Кира замерла. Эти слова звучали так жестоко. Ведь и она могла быть на месте этой женщины. Он будто прочитал ее мысли.

– Так было надо, Кира. Ради детей. Ты же сама решила, что мы должны подождать, чтобы прошел хотя бы год после смерти Наташи. Я ждать не мог.

– Кто она, твоя жена?

Он медлил с ответом. Она ждала, напряженно всматриваясь в его лицо.

– Ты ее, наверное, помнишь. Галя из библиотеки, темненькая, с раскосыми глазами. Ты удивлена, Кира? Знаешь, жизнь непредсказуема. Да, я встречался с ней раньше... но ты была той единственной женщиной, которую я любил.

Он еще что-то говорил, но Кира уже не слышала его слов. Она больше не верила ему, понимая, что их последние годы были ложью и ее напрасным стремлением дотянуться до него. Она постоянно пыталась избавиться от навязчивого чувства тревоги, порой какого-то, как ей казалось, неуправляемого безумия, страха наивной девочки, обретающей новое «я». Ради него она выросла, познавая минуты счастья и минуты отчаянья. И в этой борьбе с собой, с ним, она так и не смогла найти свой собственный путь.

Стараясь скрыть смятение, Кира встала, и, не попрощавшись, не оборачиваясь назад, поспешно вышла из кабинета – скорее на улицу, чтобы не задохнуться от слез, от обиды, ведь он предал всех – ее, Наташу, Галю.

Кира шла по засыпанной снегом набережной, вдоль обледенелой, покрытой белым саваном Невы, мимо знакомых и дорогих сердцу мест, зная, что здесь оставляет она свое сердце, прошлое, и что уже никогда сюда не вернется.

ГЛАВА 23

Кира Артуровна закрыла окно. Ночь стерла краски, потушила экран памяти. Она глотнула остаток крепкого кофе и вернулась на кухню. За столом сидела Оля в длинной ночной рубашке и пила горячий чай. Кира Артуровна вытащила из холодильника любимые Олины пирожные – заварные эклеры.

– Тебе тоже не спится, Оля? Возьми с чаем.

Кира почему-то вспомнила сейчас пирожные-эклеры, которые принесла Елена Анатольевна на работу в праздник восьмого марта, Галин пирог с яйцами, изюмом и творогом. Как давно это было.

Оля будто почувствовала, как далеко в прошлое ушли мысли подруги.

– Ты опять думаешь о нем?

– И да, и нет, Оля. Я ведь однажды видела его во сне. Знаешь, бывают ведь такие сны, которые трудно передать словами, потому что они так глубоко насыщены чувствами. Они настолько яркие и реальные, словно ты живешь в них новой жизнью или что-то переживаешь заново. Однако, когда хочешь вспомнить подробности, детали, передать вдруг возникшие эмоции, всё ускользает в никуда. А тогда, в том сне, я ехала на встречу с ним. Поезд остановился. Я вышла на безлюдную платформу в каком-то незнакомом городе. Его силуэт был едва виден в ночном тумане. Он шагнул вперед, навстречу мне... и растворился в паутине городского дождя. Я проснулась неожиданно, встала, прошла по комнате, ясно ощущая его присутствие где-то здесь, рядом, словно он пришел попрощаться со мной, но не успел. Странно, не правда ли?

– Ты заметила, что мы снова возвращаемся к теме об Араме Георгиевиче? Значит, не забыла еще.

– Мне кажется, Оля, что всё то, что произошло в прошлом, было лишь сном, а настоящая моя жизнь началась только тогда, когда я проснулась. Говорят, что сны забываются после пробуждения. Но этот я не забыла. Этот сон проложил мне дорогу к творчеству, к осмыслению мира, ведь всё в жизни имеет свой смысл, свои причины и последствия. Я не хотела больше жить в конфликте с реальным миром. Я стала чувствовать его остро, стала частью его. Я шла по той дороге, которую предназначала себе сама. Она была нелегкой, но я бы ничего в ней не изменила. – Кира посмотрела на сонную Олю. – Давай спать. Завтра у нас много дел, походов. Будем смотреть город. Я его очень полюбила и выбрала его по названию – Питтсбург, почти что Санкт-Петербург.

Кира проводила Олю и вернулась к себе. Стояла светлая, ясная ночь. Высоко в небе сияли золотым светом яркие звезды, чуть покачивались от ветра деревья, сбрасывая с веток прозрачные лунные блики. Сквозь шепот ночи пробивалась из сада красивая и какая-то зловещая мелодия.

Кира зажгла настольную лампу, открыла заветную тетрадь. Строчки стихов бежали вдоль страницы, и вместе со словами уходила боль, будто кто-то стирал из памяти далекое прошлое.

Луна, как очерченный круг циферблата с острыми стрелками лучей отсчитывала время. И снова, словно откуда-то издалека, возникли в памяти далекие образы тех, кто изменил кривую ее судьбы.

* * *

У каждого человека есть в жизни свой срок пребывания на земле и своя история, тайна, нерассказанная даже самым близким людям. Она, эта тайна, связанная из тончайших узелков памяти, порой уми-

рает вместе с человеком, рассеиваясь где-то в океане вечности. Время может подчинить человека своему ритму, заставить жить в настоящем, но научить забывать – никогда. Память – это маленькие осколки нашей жизни, цветные стекляшки в калейдоскопе событий, которые постепенно стираются и становятся черно-белыми кадрами из старого, давно забытого фильма.

Человек не умрет, пока не проживет тот отрезок времени, который предписан ему Богом. Но если глаза ослепли, сердце превратилось в камень и перестало любить, воспоминания стали похожи на стертую временем пленку, если не радуется больше прорастающий из земли цветок, золотистый блеск ночной луны, – значит, умерла душа, и жизнь завершила свой временной виток. Память умирает вместе с человеком. Но прежде чем погаснет ее фитиль, он может вспыхнуть на мгновение ярким пламенем, озарив воспоминания, вернуть детство, молодость, любовь, ненависть, заставить пережить их снова, чтобы потом этот огонь сжег их дотла, и наступила бездонная, крошечная тьма. Жизнь – закрытая книга, написанная судьбой, страницы которой мы постепенно переворачиваем, пока не дойдем до последней строки.

Многочисленные погрешности
превратятся в детали

Украшений и трезвой данности –
так ведь, правда, практичней?
Мне дизайнер кивает радостно,
интерьеров опричник,

Понимая привычки севера,
где так коротко лето,
На комод из массива дерева
прописал сухоцветы.

Листья станут канвой податливой
для дождя и прохожих:
Острой шпилькой, платформой, каплями,
проходя, их тревожат.

Просто времени ход естественный...
твердый шаг реконкисты...
Так зачем же нежность намерена
быть в ответе за листья?

Собирать их в букеты бережно
и вдыхать вплоть до лета,
И замалчивать правду, зная, что
в них нужды дольше нету.

4.

с переносицы полой по крыльям крыши
соскользну в декольте переулка взглядом,
в нервный визг электричек – посланниц свыше,
проносящихся рядом

в межвагонный лязг – гимн вокзалов столичных,
пассажиров замкадного круга братства;
суетливое в тамбурах чирканье спичек,
задымленье пространства

нахлобучена туча на мир капюшоном
в сладковато-цинковом привкусе неба
над поселком, где иномерным шпионом
чья-то тень реет немо

5.

Остатки охры климтовской дрожат
на тощих разветвлениях березы;
в клубки свернулся легион ежат;
над ним в анабиоз впадают розы.

Осенний воздух – звуковой админ –
преумножает капель ляп по крыше;
соседский дом за чередой рябин
прозрачнее становится и ближе.

Мне кажется или октябрь – пора
для автономного сниманья масок?..
Дает отмашку ноябрю – пора! –
дождем смывать слои любых окрасок.

6.

рёкуча в чашке,
речи реки текучи,
холодный ветер

срывает листья,
ветви зиме открылись,
кандзи пар вьется

над бледной кистью,
осени верной *майко*,
не ставлю точек

в тетради сердца,
рёкучи запятые
в рассказ впускаю

рёкуча – японский зеленый чай, дословно «волнистый чай», листья которого в процессе обработки сворачиваются в форме запятых.

кандзи – китайские иероглифы, используемые в современной японской письменности.

майко – гейша-ученица, прислужница старшей гейши.

7.

Эта хлесткая, голая правда
проникает в тебя ноябрем –
аудиторского парада
не прервать чифирем.

Эти голые, сырые руки
не тебя заключают в круг –

распадающейся округи
всех частот острый звук.

Это сирое в мир оконце –
в подсознание неба люк;
пересохшей клавишей солнце
западает на юг.

Эта режущая палитра –
бирюза, сажа, ржа, свинец –
завершающим словом титра
оглашает конец.

8.

Времени осталось немного –
пара месяцев да половина,
выпросить событий у Бога –
наспех план набросать мастихином.

Клин утиный в ультрамарине,
отмирает октябрь понемногу:
в бронзовой горячке рябины
и подагрой разбиты дороги.

Ломаной строкой-шарлатанкой
стих хромает: размер не дал маху –
селезнем из байки шаманской
заморочить пытается Раху*.

Кровь синкопой бьется о связки,
пляшут в радужках злые восьмушки,
музыка врывается в краски,
рифм случайных минуя ловушки.

Пятятся светила в эфире,
соскребая с небес позолоту:
выпадет победа ли Пиру?..
обернется на зов жена Лота?..

Путь к спасенью – тропка отлога...
поле боя окажется полым
мячиком в ладонях у бога,
Бог – ребенком: босым, звонким, голым.

* Раху – в индуизме демон, насылающий затмение, морок.

9.

Уже, казалось, поймана в силлок
силлабо-тоники всех смыслов мякоть,
уже от расслоившихся дорог
не ожидали бóльшего, чем слякоть;

Уже непригодившиеся сны
на антресоль отправлены в картоне;
с цепочкой ржавых рифм – вплоть до весны –
снегам оставлен велик на балконе;

Сухих надежд стряхнули шелуху,
отгородились шарфом безразличий,
свою тщету признали – на духу –
двухфакторны, двуполю, дву-... *безличны...* –

Как вдруг щекú коснулся из-за туч –
улыбкой наднебесного ответа,
ремаркой Бога – предзакатный луч...
Мне показалось, или флейта где-то?..

А позже – к ночи – в мир вошел туман:
в него, как в исцеляющую кому,
проваливался город-меломан,
под мерные удары метронома.

Марина Эскина

* * *

Утро привычно обещает,
вечер не обманывает,
помалкивает,
день суетится себе,
не замечаю его,
ночь заманивает
и оглушает снами...
Не так у Микеланджело
в капелле Медичи,
где все четверо
пришвартованы
к мраморным пирсам вечности,
а меня, глазеющую,
подбрасывают и отпускают
волны отчаянного счастья,
счастливого отчаяния.

УРОК

Помню белый щербатый таз в ванной на продавленном стуле,
В него летело всё, что с себя снимали перед вечерним душем.
Я, если возвращалась домой, когда все уснули,
Кралась по коридору в ванную на цыпочках, как можно тише.

Так в таз полетела золотая цепочка, подарок отца на шестнадцатилетие,
Утром он увидел ее и спрятал, нечасто я подарки от него получала;
Стыдно было ужасно, мучалась, что в ответе я
За подарок, да и цепочки было жалко, как я ее искала.

Дружок принес мне подделку, я надевала, чтоб избежать вопросов,
То есть лгала, и продолжала искать – каждый обшарила уголок,
Через несколько дней за ужином отец мне отдал цепочку, бросив:
«Испытания ты не выдержала, выгучи хотя бы урок».

Детство, отрочество... перевертыши памяти, станем
В дочки матери, а пойдут сыновья, невестки –
не проснуться бы стервой –
Невесть откуда вторая жизнь вдогонку незрелой первой,
И отец, ставший сначала ребенком, а после – гранитным камнем.

ГОВОРИТ СНЕГ

Какая старость? а-а-а, эти кочки серые на обочине,
забрызганные дорожной грязью,
те, что видят не облачные, но блочные
строения, и галдят бессвязно

по дороге к сточным люкам канализации.
Мне-то на речном берегу, на опушке леса
видно дальше, так называемой, цивилизации,
я почти не подвержен стрессу.

Да затвердел, кое-где превратился в лед,
но внутри (как, возможно, и в них) жива
снежинка, с которой начался полет,
а какие солнце мне навешало кружева –

любо-дорого, а не смерть, как вы говорите;
да, я убываю, теряю в весе и в силе,
но выпадаю не в кому, а в реку и в океан событий...
Кажется, вы о чём-то спросили?

Как я всё же был хорош для глаза и для лыжни,
мелкие подробности не важны.

* * *

Смешно оснастился ты для этого мира.
Франц Кафка. «Афоризмы»

Так была уверена – мне осень всего милей,
но разбилась лодка и весло унесло теченьем;
я учила старость и даже смирялась с ней,
а она оказалась преувеличеньем.

Не выталкивай, жизнь, меня, оттого что я
смехотворно оснастилась для войны и мира;
чертовски холодно под землей корням,
промерзает их пожизненная квартира
еще основательней, чем январский воздух.
Но весной опять убеждаюсь, что я – подросток.

* * *

Под окном снова косят траву,
косят истоиво, всю без разбора,
и косилка ревет: расчленю, разорву;
просыпаюсь, как для приговора.

Не с привычной косой, а в обличьи другом
Пронизало мне сонную взвесь
Так, что не разберешь – это гром ли, погром,
здесь ли, там, или там – это здесь.

* * *

Не начинай, даже не думай..
Я и не думаю плакать,
глаза наполняются, но слезы не льются,
Бен Джонсон сказал, что глаза – бездонны,
как два источника, два колодца –
вмещают горечь и сладость –
продолжим – тоску, восторги, перроны,
переполненные вагоны,
музыку, сирену «скорой», стоны,
беспамятство, память,
знакомый ли, незнакомый
пейзаж законный.
Я не могу заплакать...

* * *

Чем утешить тебя/себя в наших дней остатке
Тем ли, что с наблюдателя взятки гладки,
Тем ли, что любая речь на любую тему
Темным облаком проплывает мимо,
Тем ли, что пока сирена сжимает вокруг тебя тиски,
Я барахтаюсь в паутине своей тоски.

Чем утешить себя/тебя, детей во дворе,
Тем ли, что мир поскользнулся на банановой кожуре,
И вот-вот шархнется головою оземь,
Но возможно и устоит, если хорошо попросим
Господина всего, Создателя мира и кожур,
Чтобы смиростивился, не выходил из игры.

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Максим Макаров

Вдова

Ольга Николаевна Мечникова (1858–1944)

Я называю наш уголок «вдовый» – вдова Мечникова (80 лет), ее невестка вдова Белокопытова (68), вдова Саши Черного (69), вдова Богданова (60), вдова Гольде (60), вдова Федорчук (56)...
А.А. Швецова. Письма из Фавьера (1938-39)

Большая часть дач в Фавьере принадлежала вдовам от 60 до 85 лет, похоронившим на местном кладбище своих мужей.
В.А. Оболенский. Фавьерский дневник (1942-43)

Вдовы русской эмиграции... Их мужчины уходили раньше. Виноват ли в том коварный союз статистики и биологии, или преждевременная смерть была следствием чего-то более высокого, кто знает. Однако, думается, мужья страдали от своей никчемности сильнее, чем жены, – те обеспечивали повседневную жизнь семьи, а потому размышлять о бренности бытия у них не было ни времени, ни сил. А мужчины остались не у дел, наедине со своими думами: там, в прошлом, они что-то да значили, здесь же, в изгнании, были никому не нужны.

Обобщать, разумеется, не стоит – у кого-то просто подошел возраст, кого-то подвело здоровье, кому-то «не повезло». Судьбы у всех разные. Вот только результат один: на французских кладбищах одна за другой появлялись всё новые русские мужские могилы, а в эмигрантских домах оставались одинокие женщины – вдовы.

Вообще, если задуматься, «вдова такого-то» – в этом есть некая несправедливость: отныне ты становишься лишь тенью ушедшего. Ведь только так теперь будут звать тебя соседи, только так запишут в твоих документах, даже письма ты будешь получать, словно доверенное лицо этого самого ушедшего: вдове такого-то. А где же твоё лицо, твоё собственное?..

Если набрать в строке поиска МЕЧНИКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, то всезнающий интернет выдаст нечто вроде: «Илья Ильич Мечников женился на 16-летней Ольге...», «Второй брак (1875–1916)», «Ольга и ее учитель Мечников...». Еще минут десять поисков, и справка *a-ля Wikipedia* будет готова: «МЕЧНИКОВА Ольга Николаевна (1858–1944) – жена Нобелевского лауреата И.И. Мечникова (1845–1916), под руководством которого она работала в Институте Пастера и переводила его научные труды. Обладая художественным талантом, постоянно участвовала в парижских Салонах. До войны жила на

Лазурном берегу, где обустроила мастерскую и создала музей Мечникова...»

Тут всё – правда. Вернее, маленькие кусочки разных «правд». Однако в том-то и беда, что из правдивых кусочков сложить правдивое целое не всегда получается. Тем более в данном случае, когда на переднем плане неизменно оказывается «национальное достояние», Нобелевский лауреат, основатель учения об иммунитете, сподвижник легендарного Пастера и, наконец, просто крупный мужчина с внушительной бородой¹. И лишь где-то сзади, в густой тени *небожителя* смутно угадывается его миниатюрная спутница, «ученица и помощница», на совместных с мужем фотографиях – всегда в профиль, редко, почти никогда, анфас. Точно так же в тени, на этот раз своей золовки, оказалась и Лидия Карловна Белокопытова, известная более как «невестка Мечниковой», вдова уж и вовсе неразличимого в сплошном тумане лет некоего «полковника Белокопытова».

ТУРГЕНЕВСКАЯ БАРЫШНЯ

Ольгу² Николаевну Мечникову порой сравнивают³ с героинями романов Тургенева, собирательный образ которых давно превратился в стереотип: тонко чувствующая девушка, чистая, скромная, неплохо образованная, как правило, интроверт с глубокой внутренней жизнью, которая влюбляется в главного героя, оценив, прежде всего, его высокие идеи, и преданно следует за любимым, несмотря на внешние обстоятельства или неприятие ее выбора родителями. Такое сравнение отнюдь не лишено смысла. Вот, например, совершенно независимые впечатления трех мужчин (к тому же принадлежавших к трем разным поколениям), близко знавших Ольгу Николаевну: один вспоминает ее совсем юной, второй – в расцвете жизни, третий – уже в преклонном возрасте.

«Обе барышни [сестры-близнецы Оля и Катя Белокопытовы] были очень хрупки, белокуры, тихи или даже робки, молчаливы и необщительны, но отличались обе если не сильным характером, то настойчивостью, и, пожалуй, упрямством.» (Н.П. Кондаков)⁴

«[Сестры Белокопытовы] обе чрезвычайно добрые, нежные, хрупкие, внутренне изящные, последние цветы последних дворянских гнезд. Тихая, задумчивая Ольга Николаевна уже была немолода, но сохранила женственную грацию и чрезвычайную мягкость движений. Она стремилась к гармонии и не любила говорить худо о людях, своей кротостью смягчая любую напряженную ситуацию.» (Н.П. Анциферов)⁵

«Ольга была хороша собой, красотой неброской, но утонченной. Всё вокруг она воспринимала словно молодая девушка – свежо, открыто, без каких бы то ни было задних мыслей, подозрений, негативных интерпретаций. Я ни разу не слышал, чтобы она говорила о ком-либо что-то неприятное. И свое обаяние молодой девушки она сохранила на всю жизнь, даже голос у нее до конца оставался девичий.» (И.Е. Вольман)⁶

«БОЖЕ, ДА ОНА СОВСЕМ ДИТЯ!»

Васе – будущему «полковнику Белокопытову» – еще и семи лет не было, когда осенью 1874 года приключилось событие, перевернувшее жизнь не только его старшей сестры, но в дальнейшем и его собственную. Вот как о том рассказывала сама Ольга Николаевна⁷:

«Время [после смерти первой жены 20 апреля 1873 г.] проходило, но Илья Ильич не мог привыкнуть к одиночеству. Он <...> жил совершенным аскетом, отдавая всё, чем располагал, но ничто не утоляло его потребности к более интимной привязанности и к семейной жизни.

В то время [1874] наша семья проживала в одном с ним доме [в Одессе, ул. Херсонская 36], этажом выше. Нас было восемь душ детей, от годового до шестнадцатилетнего возраста, – соседство шумное и, вследствие этого, для него неудобное. Каждое утро И.И. просыпался от шума из нашей кухни, где рубили мясо на котлеты для детей. В конце концов, не выдержав, он поднялся к нам с просьбой сделать хоть что-нибудь. Отец пообещал распорядиться, чтобы по утрам не шумели.

В это время все сидели за утренним чаем. При появлении постороннего мы с сестрой быстро собрали учебники и убежали в гимназию, не успев даже разглядеть незнакомца (единственно, нас обеих тогда поразила его бледность). Спустя какое-то время мы вновь встретились у общих знакомых и, оказалось, что И.И. частенько замечал из окна, как мы с сестрой перепрыгиваем через непересыхающую лужу во дворе перед домом, и всякий раз наша храбрость его веселила.

Один из учеников И.И. служил преподавателем в нашей гимназии. Расспросив его и узнав, что я интересуюсь естественной историей, И.И. предложил моим родителям давать мне частные уроки зоологии. Согласие было дано, чему я страшно обрадовалась, и мы с большим рвением принялись за дело.

Проникнувшись ко мне симпатией, И.И. вскоре вернулся к давней мечте самому подготовить себе из девушки будущую супругу, воспитав ее согласно своим собственным представлениям о браке. Быть может, он и смог бы сначала воспитать меня, а уж затем взять в жены, но наткнулся на категорический отказ со стороны моего родителя. Отец был прекрасным, в высшей степени благородным человеком, но – ‘старый барин’ – принадлежал к эпохе других воззрений и нравов. То было типичное столкновение поколений отцов и детей, когда непонимание и конфликты были неизбежны. И.И. ничего не оставалось, как сразу же просить моей руки.

Мать была гораздо моложе отца и испытывала симпатию к молодому поколению. Идеалистка, полная поэзии и кроткой доброты. Способная, в юности она играла на виолончели и занималась живописью, но раннее замужество и последовавшее за ним почти непрерывное материнство (восемь детей) вынудили ее оставить искусство, о чем она сожалела потом всю жизнь. Между нею и И.И. сразу возникла глубокая симпатия. Он изложил ей свое видение брака, признался в чувствах ко мне. Однако мать очень смутила мой возраст – слишком юный для брака. И.И. уверял ее, что понимает рискованность своего плана, что готов принять все его возможные последствия и что если ему не удастся сделать меня счастливой, то он найдет в себе силы помочь мне создать иную, более подходящую жизнь.

Я и не подозревала о чувствах моего учителя и была глубоко смущена, узнав, в конце концов, о них. Я совершенно не могла понять, как он, такой умный и выдающийся, может жениться на девочке вроде меня. Мысль, что во мне ошибаются, приводила меня в ужас, словно я иду на экзамен, к которому совершенно не готова.

Я успела привязаться к И.И. Своей личностью он восхищал меня (и не только меня). К тому же на мое детское воображение повлияло и его прошлое, и интересная внешность, несколько напоминавшая в то время Христа – бледное и худое лицо его было освещено добрым, лучистым взглядом, вдохновенным, когда он увлекается. Сердце влекло к нему, но я еще совершенно не созрела для брака, и потому столь неожиданное предложение выбило меня из равновесия.

Страшась оказаться не на высоте, боясь наскучить, я мучительно придумывала ‘умные’ темы для разговора, достойного учителя; но всё, что мне приходило в голову, казалось таким ничтожным и глупым, что я отбрасывала один сюжет за другим. А потом появлялся И.И. и заставлял меня врасплох. Он не понимал всей глубины моего смущения, и мое поведение старательной ученицы вряд ли было ему по душе.

Венчание наше состоялось 14 февраля 1875 года. Зима тогда стояла суровая, повсюду лежал толстый слой белоснежного искрящегося снега. Незадолго до выезда мои братья запряглись в салазки, чтобы меня покатасть: ‘Иди скорей, – звали они, – вечером ты уже будешь дамой, и тебе нельзя будет больше играть’.

Мы с увлечением носились по снежному ковру во дворе нашего дома, пока нас не прервал взволнованный голос мамы, выглядывавшей из окна: ‘Дитя мое, да о чем же ты думаешь! Давно пора причесываться, одеваться!’ ‘Еще один круг, мамочка, ведь это в последний раз!’

Много других чисто детских волнений пережила я в тот серьезный день. Венчальное одеяние было моим первым длинным платьем, и я боялась наступить на подол. С ужасом думала о том, как войду в церковь на глазах всех присутствующих. Мой маленький братик старался меня подбодрить, обещая всё время держать мою руку, а мама для храбрости отпаивала меня шоколадом. У дверей церкви нас уже ждал И.И. Смущение мое еще больше усилилось, когда вокруг послышались вздохи: ‘Боже, да она совсем дитя!’»

Оля даже гимназию не окончила. «Ольга Николаевна вышла замуж за Мечникова шестнадцати лет от роду. Сеченов, вероятно беспокоясь за удачность брака при такой разнице в годах <...> подшучивал над И.И., что ему лучше бы взять жену до поступления ее в школу.» (Кондаков)

Между осенним утром 1874 г., когда, поднявшись к шумным соседям, И.И. впервые увидел Олю, и их венчанием в феврале 1875 г. прошло от силы четыре месяца. Согласие же на брак было наверняка получено заранее, скажем, за месяц до свадьбы (к ней же нужно подготовиться). Вот и выходит, что вовсе не тургеневская девушка «решилась на замужество вопреки воле родителей», а *выдали* ее «за достойного человека», который, убедив родителей, взял ее *себе* в жены. И Оля Белокопытова – теперь уже Ольга Николаевна Мечникова – переехала в квартиру этажом ниже.

«МАМАША»

Про научные заслуги Ильи Ильича Мечникова рассказывать нет смысла – фигура слишком на виду, а потому любой может с легкостью прочесть массу интересного о наследии «духовного ученика Дарвина и Пастера». Однако для того, чтобы лучше понять героиню нашего рассказа, нельзя, разумеется, обойти вниманием ее супруга.

«Сама мадам Мечникова в первые годы считала своего мужа ‘стариком’, так как ему было больше 30 лет. На их вечера собиралось много народу, но хозяйничал исключительно сам Илья Ильич, который вел всё хозяйство в доме, сам закупая, что получше, ибо был большой гастроном.» (Кондаков)

«Горячее участие принимал Илья Ильич решительно во всех сторонах моей жизни. До замужества я не успела сдать гимназических экзаменов и теперь должна была держать их по всему курсу перед экзаменационным комитетом. Илья Ильич помогал мне готовиться даже по катехизису, внося во всё веселость и оживление. Интересным общеобразовательным чтением он скрашивал самые сухие материи. Он во всем приобщал меня к своей жизни, делился мыслями, вводил в свои занятия, у него была отличная дикция, и он охотно читал вслух. Его радостью было баловать меня. Мы часто посещали концерты и театры. Его живость, общительная веселость, любознательность, способность всё отлично организовать делали его несравненным товарищем и руководителем.» (Olga Metchnikoff)

«Сеченов называл Мечникова своею ‘мамашею’ и, действительно, начиная с хлопот по выбору Сеченова в профессора⁸ и кончая его водворением на жительство в Одессе, вся жизнь Сеченова была предметом непрестанной заботы ‘мамашы’, хотя сам Иван Михайлович, как человек более чем самостоятельный и к тому же своенравный, вовсе не подавал к тому повода и, напротив того, над его заботами постоянно потешался.» (Кондаков).

Самому Мечникову такое сравнение отнюдь не претило, он – «мамка», «мамочка». Вот, например, довольно типичное окончание письма И.И. своей жене: «Крепко-крепко обнимаю и расцеловываю тебя, мой дружок, приезжай скорее и отдохни в нашем зеленом гнездышке возле своей мамочки, кот. тебя ужасно сильно любит и еще, и еще целует». (17 сентября 1901 г.)⁹

Много позже, уже во Франции, в Институте Пастера ближайшие коллеги и ученики Мечникова будут звать его за глаза *papa Metch* – за порой чрезмерную заботливость. Та, которая лучше, чем кто бы то ни было, знала своего мужа, деликатно поясняет: «Им всегда двигало желание осчастливить всех вокруг себя. Случалось, что его понимание счастья не совпадало с мнением окружающих, и его старания оставались тщетны. Человеческая душа – загадка, жизнь с ее причудами сложна и запутана. А потому порой *нужно судить не по результатам поступков, но по их побуждениям*». Тут курсив мой, ибо с последним утверждением трудно согласиться. Ну, в самом деле...

Нет никакого сомнения, что Мечников совершенно искренне

желал счастья своей юной жене, которая позднее напишет: «Что касается меня, то привязанность, забота и доброта И.И. всегда были безграничны». Вопрос – удалось ли ему реализовать свое высокое «побуждение»?

ПИГМАЛИОН

Осенним утром 1874 года, когда гимназистка Оля Белокопытова, ещё ничего не подозревая, отвечала в классе урок, «профессор снизу» сидел напротив ее ошарашенной матери, с воодушевлением излагая ей свое виденье брака. В чем конкретно это виденье заключалось, не так уж трудно догадаться, зная предысторию.

Середина 1860-х. Совсем недавно Император и Самодержец Всероссийский даровал своим «крепостным людям права состояния свободных сельских обывателей». И даже если отвыкать от рабства всем снизу доверху придется еще очень-очень долго, многие, казавшиеся незыблемыми, вековечные устои общества заметно зашатались.

«Когда осенью 1863 года из деревень и дач все снова съехались в свои насиженные петербургские гнезда, необыкновенное оживление в интеллигентских кружках сразу дало себя чувствовать. Всюду шли толки о романе Чернышевского ‘Что делать?’. В настоящее время трудно представить себе, какое огромное влияние имел этот роман на своих современников. Его обсуждали не только в собраниях, специально для этого устраиваемых, но редкая вечеринка обходилась без споров и толков о тех или других вопросах, в нем затронутых. Автор сумел уловить биение пульса людей 60-х годов с их повышенной температурой и дать наглядное представление о лихорадочном трепете жизни того времени. Идеи романа согрели юные сердца.»¹⁰

Студент отделения естественных наук Харьковского университета Илья Мечников и есть одно из этих «юных сердец», ему и двадцати еще не исполнилось...

«В основе деятельности людей 1860-х годов лежала вера в могущественное значение естествознания. Действующие лица романа, как и их современники, проникнуты непоколебимой, трогательной, наивной верой в то, что труд, приобретение знаний и забота о ближних произведут скоро, очень скоро полный переворот в нашей жизни. Трудно представить себе, с каким волнением читала его тогда интеллигенция, какую веру пробуждал он в пользу знания и науки, какую надежду подавал он тем, кто шел на завоевание счастья для себя и ближнего. <...> В семейной жизни автор романа стоит за свободу любви, за идеально честные, откровенные, деликатно-чистые отношения между супругами. Роман ‘Что делать?’ породил множество подражаний и попыток устроить свою жизнь точь-в-точь такую, какую она является у действующих лиц.» (там же)

Вскоре после университета 22-летний доцент Илья Мечников приезжает в Петербург. Одному в холодной, чужой и негостеприимной столице ему пришлось довольно нелегко.

«И.И. отводил душу в семье Бекетовых¹¹. В этот период впервые почувствовал он потребность сердечной, личной жизни, мечтал о подруге, соответствующей его идеалам. Он очень привязался к девочкам Бекетовым, с которыми у него установилась нежная дружба, – он водил их на прогулки, в театр, читал вслух и всячески баловал, говоря себе, что, быть может, руководя развитием этих детей, ему удастся воплотить в одной из них свой идеал женщины. Всех более интересовала его старшая – живая, уменькая и способная девочка 13 лет». (*Olga Metchnikoff*)

Однажды Илья Ильич, до того регулярно навещавший Бекетовых, вдруг куда-то пропал. Хозяин дома разволновался и послал жившую с ними племянницу¹² проведать Мечникова. Удостоверившись в довольно плачевном состоянии друга семьи, Бекетовы взяли его под свою опеку.

«Когда я сделался нездоров, то Бекетовы перевели меня к себе. Живя у них, я имел отличный случай убедиться в том, что мои возлюбленные дети меня совершенно не любят, особенно та, к которой я был более всех привязан. Так и лопнули планы, о которых я мечтал.» (*Из письма Мечникова матери*)

То, что девочка-подросток не проявила ожидавшегося от нее (женского? взрослого?) интереса к занемогшему «дяде», – это нормально. И так же совершенно естественно, что больной молодой человек обратил внимание на ухаживающую за ним ровесницу – тихую и ласковую Люсю:

«Я в нее не был влюблен, но находился с ней в очень дружеских отношениях, и хотя не считаю ее идеалом женщины, но все-таки был уверен в том, что она вполне честный, добрый и хороший человек». (*Из письма Мечникова матери*)

Отношения развивались положенным путем, и вскоре И.И. принимает решение жениться. Мать восприняла новость с осторожностью, опасаясь, что ее мальчик, известный своей нервозностью, принял обычное увлечение за нечто серьезное. Сыну такое недоверие к нему (взрослому! ученому!) не понравилось, и он постарался подробно объяснить свой выбор – академически сухо, по пунктам:

«Она недурна собой, но не более. У нее хорошие волосы, но зато дурной цвет лица. Ей почти столько же лет, как и мне, т.е. 23 с лишком. Эта Людмила весьма старательно была посредником между мною и детьми Бекетовых, к которым я был очень сильно привязан. Но она сама меня тогда любила, хотя и уверяла себя постоянно, что я, так сильно любящий детей Бекетовых, ни под каким видом не могу ей сочувствовать. И она была совершенно права, но до тех только пор, пока сохранялась моя любовь к детям. С тех же пор, как она прекратилась, я, само собой разумеется, стал больше обращать внимания на расположение ко мне Люси и не удивляюсь поэтому, что сильно полюбил ее. В ней такие недостатки, которые, на мои глаза, покажутся большими, чем тебе, но что же с этим делать! Хорошо, что она сама их знает. Недостаток ее самый существенный заключается в слишком спокойном характере. Но зато,

будучи покойным, у нее характер сильный – она может много переносить и оставаться вполне рассудительной. Она в высшей степени добрая и милая, и в характере у нее я до сих пор не нашел ни одной грубой черты. Как бы мрачно я ни смотрел на будущее (а мой характер не особенно побуждает меня смотреть сквозь розовые очки), все-таки я не могу не признавать того, что, живя вместе с Люсей, я, по крайней мере, на довольно долгое время сделаюсь спокойным и перестану страдать от той нелюдимости, которая на меня напала в последнее время. А это для меня крайне важно. Детей иметь не предполагается, это тебе говорит эмбриолог, т.е. специалист по истории развития. Предполагается, напротив, как можно меньше связываться».

Вот так. Ни много ни мало. Чистой воды трезвый эгоистический расчет. Первоначальный план самому сотворить для себя жену согласно своим собственным представлениям и потребностям провалился, что ж – пусть будет Люся, – так себе, ничего особенного, но... подойдет «по крайней мере, на довольно долгое время». Цинично, зато честно. Сей откровенный эгоизм не должен шокировать современного читателя – то было, опять же, веяние времени:

«Роман ‘Что делать?’ ярко отразил своеобразную мораль и психологию людей 1860-х годов, его действующие лица в своих взглядах и поступках придерживаются принципа ‘рационального эгоизма’, под чем подразумевалась тогда честно понятая выгода. Эту своеобразную моралью честного эгоизма очень многие были тогда сильно проникнуты. Выражения вроде ‘правильно понятая выгода’, ‘разумный эгоизм’ то и дело срывались с уст людей того времени». (*Водовозова*)

Свадьба состоялась, но к тому времени невеста уже была серьезно больна (туберкулез), что, несмотря на все усилия, и свело ее в могилу четыре года спустя. После кончины жены Мечников пытался покончить с собой: «Он спрашивал себя: ‘к чему жить?’ и, не видя исхода, проглотил весь свой запас морфия, не зная, что слишком большие дозы вызывают рвоту и тем самым удаляют из организма яд. Так и случилось». (*Olga Metchnikoff*)

То была первая из трех известных его попыток «самоубийства». Кавычки здесь поставлены умышленно, ибо, во всяком случае, два раза И.И. использовал заведомо *нелетальный* способ. Еще гимназистом Мечников посещал лекции на медицинском отделении Харьковского университета. Даже если основная его специальность в описываемое время была эмбриология, но при его-то способностях и эрудиции... Право же, в это «не знал» (о реакции на большие дозы морфия) верится с трудом. Тем более, что в Одессе, уже будучи женатым на Ольге и уже зная про опиум по своему первому опыту, в минуту очередного срыва он вновь прибегнул точно к такому же способу:

«Однажды – дело было весною – уже около двух часов ночи, кто-то сильно постучал к нам в парадную дверь, я отворил, то была Ольга Николаевна Мечникова, в большом смятении: ‘пожалуйста, пойдите к нам, с мужем

дурно', 'но лучше позвать доктора', 'нет, доктора не надо, пойдите Вы, он Вас послушает'. Покорившись, иду, она идет рядом и молчит. У самого дома говорит: 'Он, кажется, принял очень много опиума по ошибке. Ему дурно. Но он не хочет принять меры, он знает, что нужно'. Входим в квартиру, Мечников ходит по комнате, встречает меня без всякого возражения, начинается разговор на тему о необходимости сварить кофе покрепче. Не помню кто, но начали варить крепкий кофе, Илья Ильич выпил, много раз потом смотрел в зеркало на свои зрачки, затем успокоился; дело обошлось только головной болью. Что было в действительности, я не спрашивал и, собственно, не знаю...» (Кондаков)

Впрочем, здесь же Никодим Павлович сам и отвечает на свой вопрос, точнее, пытается объяснить произошедшее и, думается, он не так уж и далек от истины:

«Мечникова жила со своим мужем, можно сказать, всегда душа в душу, хотя, конечно, много страдала от его неровного, порывистого и раздражительного темперамента. Он сам к ней был страстно привязан всё время, и разлучались они только на самое короткое время, и тем не менее, а может быть, именно поэтому естественный в людских отношениях временный разлад или даже ссоры протекали у них крайне остро».

О том же говорит и сама Ольга Николаевна: «Если в первые годы совместной жизни между нами иногда и возникало недопонимание, то причиной тому было мое детское упрямство и его природная нервозность». Позже со слов своей свекрови она запишет следующее:

[В детстве И.И.] «был весь – огонь, впечатлителен, вспыльчив, нервен и подвижен, как ртуть. Его прозвали Monsieur Vif-Argent¹³. Как и остальные дети семьи, он был чрезвычайно избалован. Но его мать баловала больше всех. Вследствие таких условий он и был особенно избалован и капризен. Мать называла его 'нервным ребенком', а сестра, которой часто приходилось воевать с ним, – 'убоищем'...»

И хорошо знавшие Мечникова тому вторят:

«Но уж такова была натура Ильи Ильича. Страстность и забвение всего остального, кроме того, что его занимало, было основною чертою не только его темперамента, но и ума. Недаром самые умные из наших дам, и притом в пору наибольшей близости их самих и их мужей к Мечникову, боялись его, как огня. И это не из-за одного злого язычка его. Они хорошо понимали, что пришедший к ним и столь ласковый и так расположенный к ним Илья Ильич мог в течение вечера вспылать к ним глубокой ненавистью. Подозрительность его не знала границ. <...> [Однако], зная его довольно коротко, я могу, положа руку на сердце, сказать, что все отзывы о его дурном характере, или даже его злобности и черствой душе, были совершенная и вопиющая несправедливость к нему. Он был только крайне раздражителен, нервен, и всегда утомлен работою, нетерпелив до крайности, лицепрятен или пристрастен, но и только. Раздражительность, крайняя нетерпеливость, преувеличенные страхи руководили Мечниковым не менее, чем его тонкий разум. Подозрительность его не знала границ». (Кондаков)

«Как-то раз мы ушли погулять в окрестности Севра и прогуляли доль-

ше, чем предполагали. Илья Ильич, крайне взволнованный, пошел нас искать. Мы встретили его совершенно красным от прилива крови. 'Илья! Илья! Что с тобой?' – говорила встревоженно его жена. Он долго не мог успокоиться.» (*Анциферов*)

«В странном противоречии с [его] железной волей находилась озадачивающая подчас импульсивность, которая выражалась резкими вспышками по поводу ничтожных обстоятельств, как назойливый шум, мяуканье кошки, лай собаки, трудность загадки и т.д. И.И. отличался нелюбовью ко всякой технике, несовместимой с его живостью и нервностью: руки его дрожали, препарирование не удавалось, он раздражался, иногда доходил до ярости, ругался и швырял свой материал. Вспыльчив он был и в личных сношениях, но тотчас после первого взрыва наступал полный разряд; его желание загладить вспышку бывало трогательно, когда он чувствовал себя виновным. В противном случае он нелегко забывал обиду и зло.» (*Olga Metchnikoff*)

То есть, с одной стороны – от рождения слабая нервная организация и крайне неуравновешенный характер, а с другой – натура сугубо аналитическая, рациональная, рассудок пытливым, но... лишенный гибкости: «трезвый и ясный ум Мечникова четко очертил круг, доступный его пониманию; всё, что было за пределами этого круга, И.И. отметал как ненужное», «страстность и забвение всего остального, кроме того, что его занимало, было основною чертою не только его темперамента, но и его ума».

Этот феномен хорошо известен. Даже самые выдающиеся из умов, создав для себя некую собственную «картину мира», впоследствии воспринимают окружающую действительность как бы сквозь призму личного видения. Их подсознание автоматически преломляет наблюдаемое, приводя его к уже привычному, а потому понятному. Любое отклонение на сторону их раздражает, отвергается.

Это касается не только сферы научной, но распространяется на вполне обыденные понятия. Так, начинающий ученый Илья Мечников создал свое собственное видение «матримониального предмета». Неудачная попытка Пигмалиона сотворить из девочки Бекетовой свою Галатею сподвигнула его к размышлениям о воспитании, взрослении и смысле жизни вообще. За время столь краткого и столь трагического первого брака Мечников публикует две статьи на эту тему (третья была им написана уже при Ольге Николаевне):

«В первом очерке, озаглавленном 'Воспитание с антропологической точки зрения' (1871), пессимистически настроенный еще очень молодой автор развивает ту основную мысль, что человеческий организм устроен настолько дурно, что приспособление его к окружающим условиям является чрезвычайно трудным или даже вовсе невозможным. Это несоответствие особенно резко проявляется в детском организме. Та же мысль проповедуется и в статье 'Возраст вступления в брак' (1872), где отмечается дисгармония в развитии функций, связанных с половой зрелостью и брачной жизнью. Первая развивается значительно раньше, чем способность к последней, откуда целый ряд тяжелых последствий и противоречий. Выводы первых двух очерков <...> обобщаются в статье 'Очерк воззрения на человеческую приро-

ду' (1877), в которой дается почувствовать, что последняя устроена настолько скверно, что, в сущности, и жить не стоит»¹⁴.

Так слегка иронизировать над самим собой – когда-то молодым, незрелым и самоуверенным – Мечников будет уже в самом конце своей жизни, но тридцать пять лет назад, осенью 1874 года, только-только опубликовав два обзора с массой примеров, статистическими выкладками и обширной библиографией, он во всё это искренне верил, этими мыслями он в тот момент жил, а потому, думается, именно об этом и рассказывал ученый жених своей будущей теще – рассказывал убедительно, взволнованно, рисуя перед ней «свое собственное виденье брака». Во-первых, «идеально честные, откровенные, деликатно-чистые отношения между супругами», «сны Веры Павловны», «только – знание, наука, работа» – это всё калька с Чернышевского, тема очень близкая собеседнице, симпатизирующей молодежи. Во-вторых, научно (!) доказанные тяжелые последствия поздних браков и сплошная гармония браков как можно более ранних, ибо так природой заложено: цифры, аргументы, латинские слова...

Обезоруживало то, что Мечников, уверенный в правильности своих светлых побуждений, в стремлении к обоюдному с женой счастью, к абсолютной гармонии их будущих отношений, был *абсолютно искренен*. Вряд ли в том разговоре И.И. признался в своем резко негативном отношении к деторождению – зачем создавать новые жертвы человеческих страданий в этом несовершеннейшем из миров? «Он считал преступным для сознательного человека производить на свет другие жизни.» (*Olga Metchnikoff*)

И вряд ли он тогда высказал сидящей напротив женщине свое мнение о женщинах вообще, которых считал самою природою поставленными на ступеньку ниже мужчин и чисто биологически неспособными на что-то великое¹⁵. В ту эпоху подобный взгляд на вещи был широко распространен, здесь И.И. мало чем отличался от своего окружения.

У читателя может создаться впечатление, что светлый образ великого ученого намеренно очерняется. Отнюдь! По свидетельствам современников, И.И. был *личностью*, но в том-то и дело, что чем значительнее личность, тем она сложнее. Именно эта многогранность, неоднозначность, противоречивость нам и важна. Ибо как бы потом хорошо ни отзывалась вдова о своем почившем муже, при жизни она видела не только (и не столько) его парадный портрет. А ведь там наверняка бывало всякое, но скрытое от посторонних глаз. Что, в общем-то, вполне нормально для любой семейной пары, не правда ли?

СЕРЬЕЗНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Про «недопонимание» в самом начале совместной жизни Мечниковых уже говорилось: шла совершенно естественная притир-

ка друг к другу. Первые три года предоставленные сами себе «молодые» варились в собственном соку: он – преподавал и занимался наукой, она – выросла под чутким руководством мужа-товарища.

Но в 1878 году умер отец И.И., и мать с младшими детьми переехала жить к сыну, который «окружал ее нежной заботливостью, простирившейся до самых мелочей жизни». А тут и Ольга потеряла родителей:

«Отношения с моим отцом стали таковыми, что, уже больной и чувствуя приближение смерти [1881], он поручил И.И. быть нашим опекуном; нежная дружба между ним и моей матерью длилась до самой ее смерти [1882], после которой он долго нес все семейные заботы и обязанности».

На плечи Ильи Ильича тогда легло не только опекуновство над несовершеннолетними братьями и младшей сестрой Ольги, но и хозяйственная забота о двух доставшихся в наследство довольно проблематичных имениях – основном источнике их дохода¹⁶.

Семейная жизнь Мечниковых неожиданно стала насыщенной. Рядом всегда находились родные, младшие, требовавшие постоянно участия и заботы. Скучать Ольге было некогда. Оно и к лучшему.

Но потом всё вдруг резко переменялось: осенью 1888 года Мечниковы переехали в Париж. Навсегда. Новый мир, новое окружение... – всё новое! И жизнь нужно теперь строить по-новому.

Ольге тридцать. Девочки-гимназистки уже давно нет, у нее за плечами больше десяти лет брака, теперь она – привлекательная молодая женщина, прекрасно образованная, владеющая языками, со средствами и известным положением в обществе: ее муж – заместитель великого Луи Пастера.

У Мечникова – своя лаборатория, он с головой ушел в работу. Причем здесь «с головой» – не просто банальное выражение, он действительно полностью погрузился в свои исследования: любимый микроскоп, статьи, книги, конгрессы... И.И. вставал в пять-шесть утра и возвращался домой лишь вечером. Он любил работать в полном одиночестве и с трудом переносил неизбежных посетителей, а потому обожал выходные и август, когда лаборатория временно пустела.

А жена? «Я помогала ему как лаборант»¹⁷. Прилежная ученица и преданная соратница готовит Учителю препараты, переводит на русский и английский все (!) его статьи, увеличивает в цвете его черновые наброски «картинок из микроскопа», иногда даже выполняет собственные небольшие наблюдения. Но то была именно что помощь «время от времени». Женщина в научной лаборатории по тем временам – нонсенс, наука – дело сугубо мужское, женщинам в нее путь закрыт. К тому же, если для него всё это составляло смысл жизни, то для нее – вред ли.

При этом в семье И.И. по-прежнему оставался «мамашей». Своей абсолютной заботой в самом начале их совместной жизни он не

научил супругу самому обыденному – она навсегда так и осталась «вне быта». Дом целиком был на Мечникове: продукты он закупал сам и, возвращаясь из Института, первым делом шел на кухню проверить работу приходящей кухарки (вегетарианке О.Н., как крохотной птичке, достаточно было лишь поклевать), договаривался натереть паркет, обсуждал детали с домработницей, с садовником, решал все административные проблемы (банк, вид на жительство, налоги) – всё взял на себя муж, ограждая от забот свою «девочку».

После провинциальной Одессы вокруг нее теперь – Париж. В конце XIX века именно Париж был центром вселенной, столицей мира. Недавно заново отстроенный бароном Османом блестящий современный мегаполис – с театрами и музеями, бульварами и кафе, последними достижениями науки и техники, всемирными выставками и гордо устремленной ввысь Эйфелевой башней – чудом света.

Признайтесь, мадам, когда вам тридцать лет, вы красивы, умны, любознательны, неужели вам не хочется окунуться в этот Праздник? Конечно, хочется! Проблема в том, что пятидесятилетний супруг в своем старомодном сюртуке и с решительным взглядом твердо знающего свою цель человека, увы, – «абсолютная антитеза фланёру». Чем дальше, тем всё с большей неохотой И.И. отрывался от «своей цели». Не то что далекие путешествия, даже небольшой отпуск потерял для него всякий смысл.

Единственный его отдых – полноценный сон. Встает он ни свет ни заря, а потому спать ложится очень рано. Значит, после восьмидесяти вечера в доме должна быть абсолютная тишина. Никаких вечерних гостей, никакого шума. Скрип паркета, шаги, звяканье посуды... – и он раздражается, не может заснуть, потом сердится.¹⁸

Ольга Николаевна чувствовала, что порой ее присутствие в доме просто мешает, а мешать мужу она ни в коем случае не хотела. Практически ежегодно на пару-тройку летних месяцев она уезжала в Россию к родным, а зимой... Вот тогда-то в ее жизни и появилась отдушина.

СКУЛЬПТОР И ЖИВОПИСЕЦ

Именно так говорят о ней сегодня. Сначала: «жена (вдова) Мечникова», его «ученица», «ассистент». И сразу после: «скульптор и живописец». Природные способности у нее были немалые, вот только развить их до почти профессионального уровня удалось лишь в Париже, и то не сразу, а именно тогда, когда стало ясно – что-то нужно делать, к чему-то, кроме мужа и его науки, необходимо прильнуть душой.

«Хотя я всегда интересовалась научными вопросами, но страстью моей жизни было искусство. Однако вследствие узкоутилитарных понятий, господствовавших во время моей юности, я не позволяла себе предаваться ему, считая его ‘роскошью жизни’, пока народ еле умеет читать. Когда же, наконец, я отделалась от этой неверной теории и дала волю своему природному

влечению, Илья Ильич первый деятельно способствовал моему художественному образованию.» (*Olga Metchnikoff*)

Произошло это в самом конце 1890-х годов. Первые пятнадцать лет в Париже Мечниковы снимали квартиру в типичном доходном доме, 18 rue Dutot, буквально в ста метрах от Института Пастера. Но живопись и тем более скульптура – ремесло хлопотное, довольно плохо сочетающееся с городскими условиями, тем более в доме, где стерильность и тишина возведены в абсолют. Всё свободное пространство захлामीли бы подрамники с натянутыми холстами, мольберт, занимающий полкомнаты, на паркете крошки угля и сангины, капли красок и лака, повсюду сильный запах скипидара и льняного масла, то тут, то там грязные кисти, палитра, тряпки... И в 1898 году Мечниковы покупают дом в «ближнем пригороде» Парижа – в Севре (28 rue du Guet, Sèvres), по ту сторону Сены, на склоне холма – «маленькая дачка», по словам О.Н. В саду за домом выстроили ажурную, сплошь застекленную беседку-павильон – мастерскую. О.Н. стала посещать занятия у друга семьи, живописца Эжена Каррьерера (Eugène Carrière, 1849–1906), и у скульптора Антуана Энжальбера (Jean-Antoine Injalbert, 1845–1933)¹⁹.

«Ездили мы с Анной Семеновной [Голубкиной] в Медон, где Мечникова жила с мужем. Дом был и снаружи и внутри необыкновенно чист. Ни одна пылинка не могла тут приютиться. Вокруг дома был сад, в котором расположена мастерская Ольги Николаевны. Мастерская была вся из стекла, и стены и потолок. В ней, разумеется, очень много света. Всё было радостно. Ярко-зеленые ветви касались стен и давали всюду зеленые рефлексы. Ольга Николаевна работала в радостных, светлых тонах, несмотря на то, что она была ученицей Каррьерера, работавшего, как известно, в темных тонах. Полотна ее, довольно больших размеров, стояли на мольбертах и отображали жизнь большого человека, ее мужа. Большею частью он был изображен в своей лаборатории за работой. Это было поиском его образа в наиболее соответствующей ему обстановке. А.С. ничего не говорила, но я видела, что она вполне оценила и одобрила эту радость, которой была окружена Ольга Николаевна. По возвращении она часто говорила, что вот так надо жить и работать художнику.»²⁰

Ученица была способная и трудолюбивая. Каждый год в Париже проходили Салоны, дающие возможность художникам самых разных направлений демонстрировать свое искусство. Пейзажи и портреты О.Н. на них появлялись регулярно. А работала она много – до сих пор, сто лет спустя, на аукционах нет-нет да и всплывет очередной холст *Olga Metchnikoff* из какой-нибудь частной коллекции. Но главным для Ольги Николаевны был не результат²¹, но захватывающий процесс творчества и связанное с ним общение.

Для работы у нее имелась теперь своя мастерская, а кроме того, появилась возможность (необходимость) периодически на неделю-другую отлучаться из дома – выезжать на пленэр. В отличие от музыки, к живописи И.И. был более-менее равнодушен, но пейзажи

любил и всячески поддерживал намерения жены, одобряя и субсидируя ее поездки в Нормандию – и ей развлечение, и ему покой.

Общение же составляет неотъемлемую часть жизни художественной богемы. На занятиях у Каррьера О.Н. знакомится с приезжими из России, в частности, с Елизаветой Кругликовой²², организовавшей в своей мастерской, 17 rue Boissonade, русский художественный кружок «Монпарнас».

«Ольга Николаевна Мечникова была исключительно интересным человеком. Талантливая художница, живописец, немного занимавшаяся скульптурой, на всё находила время. Внешний облик ее привлекал к ней симпатию всех окружающих ее; она была очень женственна, мягкость и доброта были ее основные качества. Она принимала живейшее участие в жизни Общества русских художников. Задачи этого общества заключались в том, чтобы приехавшие из России художники имели возможность наряду с работой во французских мастерских работать и самостоятельно, с живой натуры, которую легко и дешево можно было достать в Париже, где натурщики делали себе из этого профессию. По вечерам же в помещении общества устраивались вечера, на которых выступали приехавшие в Париж из России артисты. Пелись обычно русские песни и арии из русских опер. Иногда после концерта устраивались характерные танцы – русские, испанские и т. д. Мечникова организовывала чай.» (*Россинская*)

«Дорогая Ольга Николаевна, благодарю Вас за письмо. Я только от Вас и имею известия из Парижа, больше никто не пишет. Я вероятно приеду к 1 ноября. Надеюсь и Ел. Ник. вытащить. В Москве видела Протопопову²³. Она, верно, в конце сентября уедет в Париж. Куда потер[ялся] Шерваш²⁴? Очень Вам благодарна за то, что открываете обществ. жизнь. Целую Вас, люблю Вас. Е.К.» (*Из письма Елизаветы Кругликовой, 16 сентября 1905 г.*)

Кроме общественной жизни, были и другие отдушины: музыка, поэзия, философия... Музыку И.И любил, особенно камерную, свою домашнюю – она успокаивала. Ольге Николаевне взяли напрокат пианино (затем, в 1907 году появился и свой собственный хороший инструмент). Вечерами она играла, он слушал. Эти интимные музыкальные часы вдвоем составляли одну из главных радостей их совместной жизни. Позднее в письмах она часто будет повторять одну и ту же, видимо, на себе неоднократно проверенную мысль – музыка подпитывает²⁵, помогает переносить тяготы жизни, отвлекаться от проблем, держаться на плаву.

«Жить становится много проще, если иметь внутри себя какой-нибудь неиссякаемый источник радости. Можно лишиться чего-то материального, к чему мы привязаны, или что нам просто нравится, но ничто не может отнять у нас любовь к красоте во всех ее проявлениях. Такая любовь есть самая надежная опора в жизни, без нее горести и печали могут стать непереносимыми.»

«[Музыка –] это такой удивительный источник жизненных сил! Искусство и чтение не только поддержка, но и залог счастья. Я часто с благодарностью вспоминаю наши тихие вечера, когда мы одни с моим дорогим

мужем вместе читали или наслаждались музыкой. Эти занятия не только дарят нам удовольствие, но и помогают отвлекаться от обыденных проблем, которые так отравляют жизнь, если лишь о них и думать.»

О.Н. любила поэзию и даже пробовала сочинять сама. Владея языками, переводила на французский Пушкина, Блока, Данте. Много читала и старательно конспектировала разных философов²⁶. Вела дневник. Была лично знакома со многими интересными людьми, среди которых – как теперь, с расстояния века, хорошо видно, – было немало личностей по-настоящему великих, со всеми О.Н. переписывалась. Вот это и была – *ее* жизнь, насыщенная духовная жизнь, источник сил.

ДОКТОР РУ

Страдала ли О.Н. от отсутствия детей? Кто знает... да... нет... – оба ответа вполне допустимы.²⁷ Но что бы там ни говорили прогрессивные умы, а матушку Природу с ее всеильными гормонами не обманешь. Вам тридцать лет, мадам, Вы прекрасно знаете, что это Ваши лучшие годы! А Вы, по сути, с утра до вечера – одна. И какие бы аргументы Вы сами себе ни приводили, не страдать от *женского* одиночества Вы не могли. А потому совершенно не удивительно, что в Вашей семейной жизни «случались [связанные с этим] серьезные испытания».

Эмиль Ру (Émile Roux, 1853–1933), будущий директор Института Пастера, с первых дней пребывания Мечниковых во Франции стал другом семьи. Мужчин «сначала сближала общность научных и институтских интересов; постепенно личная симпатия возрастала; их стали связывать прочные нити дружбы, сотканые из бесчисленных жизненных фактов, внушающих взаимное уважение, доверие и привязанность». (*Olga Metchnikoff*) А с Ольгой... Между ней и Ру всего-то неполных пять лет разницы. Он тихий, очень скромный. Голова коротко острижена, аккуратная бородка. Спокойный и немного грустный взгляд, но когда улыбается, от глаз разбегаются лучики. Он одинок (и таким останется навсегда) и довольно слабого здоровья. Его хочется пригреть, окружить заботой и лаской. Со своей стороны, Ру тоже «сразу же попал под обаяние красивой молодой женщины элегантной славянской внешности, обладавшей художественным талантом и литературным вкусом, которых ему самому не хватало»²⁸. Одним словом, сложился довольно своеобразный треугольник, где всем друг с другом было хорошо и где каждый мог получить от одного то, чего ему не доставало в другом.

Нет никаких указаний на степень близости Ольги Николаевны и Ру. Скорее всего, отношения их остались чисто платоническими, но взаимное притяжение, безусловно, существовало. Во время разлуки (поездки Ольги в Россию или на этюды) Ру «спрашивает о тебе каждый день и как только увидит на конверте твой почерк, вместо того,

чтобы сначала прочесть полученные телеграммы, сразу же с нескрываемым возбуждением принимается за чтение твоего письма», – так пишет своей «милой девочке» муж, нисколько не смущаясь столь явным проявлением чувств посторонним мужчиной по отношению к его супруге. Более того, закончив письмо жене, он вкладывает в конверт еще и личную записку от Ру. Что Ольгу раздражало: «Оставь в покое Ру!» – ей казалось, И.И. делает это специально. От чего сам И.И. всячески открещивался: «Клянусь тебе всем на свете, что я ему ни разу не упоминал о писании тебе». Остается лишь гадать, насколько всё это искренне, или же то была просто... игра по принятым всеми тремя правилам.

Отчего эта терпимость? Возможно, так проявлялась усвоенная когда-то давно романтика «свободных высоких отношений» – сказывались юные 1860-е годы? Быть может, Мечников намеренно способствовал их сближению, ощущая в глубине души свою вину перед Ольгой, на что есть прямые указания: «Я так рад, когда ты говоришь [о Ру], так как это в известной степени восполняет мой большой долг перед тобой». Ру был всегда рядом, и в радости, и в горе. Перед смертью И.И. «говорил со слезами на глазах: ‘Я хорошо знал, что Ру добр и что он настоящий друг, но теперь только вижу я, какой он удивительный друг’...»

Когда осенью 1933 года 80-летний Ру, в свою очередь, покинул сей мир, и гроб с его телом выставили в фойе родного Института, которым он руководил почти тридцать лет, «мадам Мечникова подошла, тихо поклонилась и с благоговейным почтением незаметно положила ему на грудь букетик фиалок» – интимный жест, говорящий о многом²⁹.

ЛИЛИ

Париж, конец июля 1906 года. Жарко. Несколько дней назад Ольга Николаевна вернулась домой из очередной поездки на этюды в Нормандию – как раз к своим именинам 24 июля, чтобы отпраздновать их вместе с мужем. Но, не дождавшись, буквально на следующий же день села в поезд и уехала обратно в Houlgate, объяснившись довольно резким письмом. И вот Мечников сидит в одиночестве и пишет ответ:

«Не могу тебе сказать, до чего мне сделалось грустно по прочтении твоего сегодня полученного письма, моя бедная любимая, дорогая девочка. Ты пишешь, что тебе было ‘тяжело чувствовать, как возвращаюсь домой без уверенности в том, что ты будешь доволен; так резко почувствовала до какой степени теперь уже все твои интересы в других семьях, а не со мной...’ и т. д. Это мне напоминает первые годы нашего супружества. Ведь то, что ты чувствовала и о чем пишешь, есть плод твоей мнительности».

И здесь же, чуть дальше, он довольно неуклюже упрекает «бедную девочку»: «А твоя привязанность к Ру? Что ж, подобное есть и у меня».

«Другая семья», о которой с горечью в сердце говорит Ольга Николаевна, – их соседи, снимающие дом на той же улице в Севре, совсем рядом (14 rue du Guet) – Мария и Эмиль Реми (Marie и Émile Rémy). Их дочь Лили (Lili, уменьшительное от Élise) родилась в 1903-м, Мечников стал ее крестным. Потом у супругов Реми появится еще и сын, которого даже назовут в честь крестного – Élie. Дело в том, что... Впрочем, вот несколько выдержек из практически ежедневных (!) писем Мечникова своей крестнице и ее матери³⁰, это вторая половина 1900-х – первая половина 1910-х годов:

«Мои дорогие Мари и Лили <...> Моя любимая Лили, моя обожаемая Лили, прошлой ночью мне снова снилось, что ты со мной. <...> Целую вас обоих очень нежно. Искренне преданный вам...»

«Моя дорогая Мари, моя любимая Лили, моя милая, мой ангелочек! <...> Я люблю вас больше всего на свете. В дни, когда я не получаю от вас вестей, мне грустно и я чувствую себя несчастным. <...> Целую вас очень нежно, тебя, дорогая Мари, и тебя, моя маленькая крестница, которую я обожаю всем сердцем. Ваш преданный крестный отец и друг.»

«О, как бы мне хотелось поскорее увидеть тебя, чтобы поцеловать тебя и приласкать всей глубиной моего сердца. Целую тебя, моя дорогая, моя любимая. Твой крестный отец, который тебя обожает.»

«Я целую тебя тысячу и тысячу раз, моя любимая, которую я обожаю больше всего на свете. Твой старый крестный отец.»

«Моя обожаемая дорогая Лили, любимая моя. <...> Я люблю тебя больше всего на свете, ибо моя жизнь устроена в соответствии с твоей. Ты не можешь себе представить, какую тревогу я всё время испытываю за тебя. Утром я выхожу на улицу встречать почтальона, ожидая письма, и если не получаю, мой день испорчен, и я чувствую себя несчастным. После полудня с той же тревогой жду вечерней почты. <...> Всё, что касается тебя, меня глубоко трогает. Знай, моя милая, что тебя я обожаю больше всего на свете и всегда думаю о тебе. Обнимаю тебя всей силой моего сердца и моей любви к тебе, любви, которая не может быть сильнее. Твой старый крестный.»

«Моя дорогая обожаемая Лили. Ты снишься мне каждую ночь, моя милая. <...> Целую тебя так сильно, как люблю тебя, моя любимая и обожаемая крестница. Твой старый крестный.»

Из письма в письмо один и тот же рефрен: *je t'aime par dessus tout* – «люблю тебя больше всего [на свете]».

«Я была еще очень мала, но картинки в памяти остались навсегда: ежедневное присутствие Крестного утром перед его отъездом [в Институт Пастера], он грустный от переживаемых тогда моральных страданий, и чтобы утешить его, я перед ним пела и танцевала, что его глубоко трогало, я была для него источником радости, я его обожала, ощущая его бесконечную любовь с момента моего рождения – он был моим Богом.»³¹

Оговорка о «моральных страданиях» – они из-за обуревавших его тогда чувств? Так что ревность (или «мнительность») О.Н. понять можно. Она ведь прекрасно видела, что произошло при появлении на свет этой девочки, она была свидетельницей неожиданной всепогло-

щающей любви к ней и, разумеется, не могла не ощущать себя в какой-то степени оставленной. Ведь когда-то именно муж отговорил ее от собственных детей, и вот теперь, когда их у нее уже никогда не будет, Вы, отбросив эту ересь насчет «преступления производить новые жизни», вдруг... полюбили чужого (?) ребенка – своего рода предательство по отношению к Ольге Николаевне, во всяком случае, она именно так могла это чувствовать. И, право, «у тебя же есть Ру...» тут совершенно неуместно и недостойно.

Кстати, по поводу «чужого» ребенка. Существует версия, возникшая среди сотрудников Института Пастера еще при жизни И.И., будто был он не просто *крестным*, но *биологическим* отцом маленькой Лили. С ее матерью он познакомился еще в начале 1890-х, когда та обратилась к нему за консультацией по поводу анемии, а было ей тогда... 15 лет³². Позднее она вышла замуж за помощника (иллюстратора) И.И. Дом молодые сняли отчего-то по соседству с Мечниковыми, и именно там родилась Лили... Гипотеза эта ничем не подтверждается, хотя и по сей день «все об этом знают». Свои письма к девочке И.И. неизменно подписывает «твой крестный» и точно так же (только с заглавной буквы) во всех своих посланиях и воспоминаниях зовет его и сама Лили.

Уже после кончины мужа О.Н. будет вспоминать тот непростой период их бытия со свойственной ей деликатностью, тщательно подбирая слова. Несмотря на то, что история странной экзальтированной любви мужа тянулась больше десяти лет, она упомянет о соседской девочке лишь раз в рассказе о последнем годе жизни И.И.:

«Характер его становился всё ровнее и мягче. Он говорил, что его возрастающая любовь к детям есть расцвет инстинктов ‘дедушки’, возраста которого он достигал. Особенно трогательно любил он одну из своих крестниц, маленькую Лили; он так привязался к ней из-за ее исключительно доброго сердца, мягкости и ласки, которую она выказывала ему с самой колыбели».

Отношения с Лили О.Н. сохранит до конца своей жизни, они будут встречаться, переписываться. Дело прошлое... Да, был трудный (непонятный) период, но ребенок-то ни в чем не виноват, а девочка, в самом деле, подарила столько радости ее дорогому мужу. В своей книге лишь одной-единственной фразой, да и то вскользь, намекнет Ольга, что были они тогда с Ильей Ильичом, по сути, на грани развода: «Случались у нас и серьезные испытания, но всякий раз глубокая взаимная привязанность и наша дружба выходили из них лишь окрепшими. Так в какой-то момент, решив, что без него я буду счастливее, И.И. пожелал вернуть мне свободу и всячески доказывал, что я имею на то полное моральное право. Только благородство его поведения нас и спасло».

Думается всё же, не «благородство» мужа, но благоразумие самой Ольги Николаевны оказалось решающим. Если бы она тогда настояла, он, ради ее же блага, не стал бы упорствовать. Так что это

не он спас брак, но – она, смирившись и приняв единственно верное решение, о чем читается между следующих ее строк: «С годами наша жизнь становилась всё более гармоничной, мы жили в глубоком общении душ и постепенно достигли той степени взаимопонимания, когда исчезает любая тень, когда всё – свет». Очень достойный и вызывающий всяческое уважение заключительный этап жизни любых супругов, именно к этому высокому финалу и должна, наверное, *эволюционировать любовь*. Вот только...

В русском варианте (1926) воспоминаний Ольги Николаевны слово «любовь» встречается очень редко, причем в пяти случаях – это, разумеется, «любовь к науке»; девять раз «любовь» упоминается в связи с юношескими увлечениями И.И., его матерью и человечеством вообще, и лишь один-единственный раз мы встречаем вот это интимное: «Что касается лично меня, то его *любовь*, заботливость, доброта были всегда безграничны». Однако во французском оригинале (1920) и в английском переводе (1921) слово «любовь»... отсутствует вовсе, а в приведенной выше фразе вместо «amour» (фр.) или «love» (англ.) используется гораздо более нейтральное слово «affection», т.е. «привязанность».

Языками О.Н. владела свободно, все три варианта текста принадлежат ей лично, то есть этот ее выбор был наверняка сознательный.

ОДНА

Зима 1916–1917 годов. Самый тяжелый год войны. Холод вокруг, пустота внутри. Дом будто в сумерках с утра до вечера, гулкий даже днем, а ночью пронзительно тихий. Зимний сад вокруг поник – унылый, мокрый, голый. И никого рядом...

«То был очень тяжелый период моей одинокой жизни в первый год после смерти И.И. [15 июля 1916 г.]. Я жила совсем одна в Севре; все друзья были или мобилизованы войной, или уехали из Парижа (боялись осады). Ру был оперирован и лежал в клинике. Немецкие аэропланы постоянно бросали бомбы вокруг³³, я простудилась (не было топлива) и так заболела, что думала скоро умереть. В минуту горести, отчаяния одиночества я решила сжечь всю личную переписку, чтобы она не попала к чужим, равнодушным. Я сожгла его слишком интимную переписку с [первой женой] (во время болезни Ильи говорил, что ее не надо оставлять после его смерти). Сожгла и все свои письма Илье³⁴. Только его письма ко мне не смогла сжечь – хотела, чтобы их сожгли вместе со мной. Помню, как сидела на холодном полу перед камином в кабинете Ильи, как сначала перечитывала, потом бросала в огонь письмо за письмом. Не знаю, плакала ли я в самом деле, но помню, что чувствовала внутреннее рыдание и дрожь. Мне казалось, что я убиваю жизнь, сжавшуюся в горящих листах. Они вспыхивали, сворачивались, чернели, слова оставались белыми чертами, а при первом прикосновении всё распадалось в пепел. ‘Всё кончено, кончено’, – повторяла я в жару, и не знаю, вполне ли сознательно действовала, но это было ужасно, особенно когда всё стгорело. Точно об убийстве, не могу спокойно думать о том ужасном дне сожжения писем.»³⁵

«Думала скоро умереть...» Желала, ждала смерти? Еще в конце 1910-х, когда здоровье И.И. заметно пошатнулось, у Ольги Николаевны начали проскальзывать мысли о бессмысленности собственного существования после ухода мужа. Тайн между супругами не было, намерение это свое она озвучивала, за что ей, разумеется, доставалось.

Но ту страшную зиму она, слава Богу, пережила. Оставаться одной в пригороде было бессмысленно. Дом сдали в аренду, О.Н. переехала в Париж, сняв квартиру в привычном для нее районе недалеко от Института Пастера. И, главное, у нее теперь появилось ДЕЛО – она должна выполнить завещание любимого мужа:

«Кроме официального духовного завещания я пишу тебе эти строки, моя дорогая ненаглядная спутница, тебе одной, по всей интимности любви и дружбы. Прежде всего прошу тебя простить, моя дорогая, великодушная девочка, те горести и неприятности, которые я, отчасти невольно, мог причинить тебе и действительно причинял. Знай, что у меня к тебе не было другого чувства, кроме самой глубокой и искренней любви и большого уважения. Если же тебе случалось иногда причинять мне неприятности, то это происходило исключительно от твоей мнительности, в которой ты невинна...» (*Первое завещательное письмо, 20 апреля 1908 г.*)

«Всем на свете умоляю тебя, моя бесценная, чудная, обожаемая девочка, **жить** (Подчеркнуто в оригинале. – М.М.) ради себя самой и других. Я не могу примириться с мыслью о том, что ты говорила на случай, когда ты меня переживешь. Умоляю тебя ничего не делать против твоей жизни, здоровья и благополучия. Займись составлением и печатанием моей биографии и старайся найти удовлетворение в работе. Вспоминай те радостные минуты, которые мы проводили вдвоем.» (*Второе завещательное письмо, без даты*)

Первые главы биографии И.И. были начаты еще до войны. Изначально черновики писались на русском, но после революции, понимая, что шансы издать книгу в России в обозримом будущем невелики, О.Н. писала заново – по-французски. Два года ушло на работу, манускрипт был закончен в самом конце 1918 года, но потребовались еще два года усилий, чтобы книга наконец-то вышла в Париже в издательстве *Nachette* – на собственные средства О.Н. «Наконец-то моя несчастная биография запущена в печать. Мне ежедневно присылают готовые образцы, и если всё будет нормально, то книга может выйти месяца через два или даже раньше.» (*Из письма к Лили, вторая половина 1920 г.*)

На экземпляре, хранящемся в архиве Института Пастера, стоит дарственная надпись на французском: «Моему дорогому другу Э. Ру в память об Илье Мечникове, в знак признательности и глубокой привязанности. Ольга Мечникова».

ВЫПОЛНИТЬ МИССИЮ

Не появись на свет эта книга, вряд ли образ Мечникова воссиял бы столь ярко на оставленной им когда-то родине. В советском госу-

дарстве для того, чтобы официально стать «великим РУССКИМ (sic!) ученым», одних научных заслуг мало. Для этого требуется еще и политическая благонадежность, безупречный «светлый образ». Глянец на когда-то давно хлопнувшего дверью ученого со временем навели: его отъезд за границу преподнесут как форму протеста против «мрачной реакции в России» – своего рода политическая эмиграция чуть ли не революционера.

В реальности же всё было далеко не так, ибо «гордость русской³⁶ науки, прогрессивный ученый, вынужденный жить на чужбине из-за репрессий правительства», к политике вообще и к революционерам (для него – к «бунтовщикам»), в частности, относился крайне негативно, о чем не стеснялся высказываться вслух, в запальчивости позволяя себе порой пассажи довольно сомнительного содержания. Хаос в любом проявлении он не переносил, а социальная революция для него означала именно хаос. Ну, а что касается «русского человека» вообще...

«Свою характеристику русского человека [Илья Ильич] начал с заявления, что в Институте Пастера он принял за правило – не допускать, кроме себя, больше двух русских специалистов для лабораторных занятий, так как только при этом числе он уверен в том, что сумеет не допустить с их стороны комплота и интриги. Если их будет трое, они сумеют удалить его самого и Ру, и затем поселить хаос в самом институте. Русский человек – восточный человек, коварный и жесткий.»

От этих слов 74-летнего Кондакова можно и отмахнуться, если бы не другие источники, в искренности которых сомневаться не приходится: «Дорогая Лелечка, мы все очень просим тебя приехать на лето к нам в Крым. Дядю же Милого мы даже не осмеливаемся просить. Во-первых, потому, что он страшно занят, а во-вторых, мы знаем, что он не особенно любит Россию...» Именно так: Дядя Милый «не особенно любит Россию» (и об этом все знают) – пишет Ольге Николаевне в Париж ее племянник гимназист³⁷. Устами младенца...

Вот эти досадные огрехи биографии – (явная) НЕреволюционность и (скрытая) НЕлюбовь к России – и требовалось подретушировать, что старательные идеологи и сделали. Справедливости ради нужно отметить, что вернувшиеся из Франции на родину благодарные ученики Мечникова никогда не забывали своего Учителя: уже в 1918 году его именем назвали больницу в Петрограде, а в 1919-м учредили в Москве Мечниковский институт вакцин и сывороток. Но настоящая официальная канонизация Ильи Ильича началось лишь в 1926 году – уже после публикации в СССР его биографии.

Интересно отметить, что в фонде Ольги Мечниковой³⁸ нет ни одного (!) письма, присланного ей из Советской России в первые десять лет после смерти мужа. При том, что О.Н. очень бережно относилась к семейному архиву и всю входящую корреспонденцию хранила. Это отсутствие в 1916–1926 гг. интереса со стороны родины к ее великому мужу показательное.

Зато дошел до нас черновик письма О.Н. «по вопросу издания [в СССР] биографии И.И. Мечникова», отправленного в 1925 г. своему давнему знакомому Льву Тарасевичу, занимавшему тогда высокий пост в Москве³⁹. Годом раньше, будучи в Париже, он навещал О.Н., а потому о книге знал, и благодаря его протекции через год она вышла в Москве в Государственном издательстве⁴⁰. И вот только тогда и стали наконец-то приходить в Париж письма из СССР.

Тарасевич знал о громадном архиве Мечникова:

«Когда в 1923 г. приехал [в Париж] Лев Александрович Тарасевич, я делилась с ним, как с другом, своей заботой⁴¹. С обычной отзывчивостью он стал придумывать разные комбинации. Он уверял меня, что в России научные учреждения примут с радостью материалы, касающиеся памяти И.И., и что если я решусь на разлуку с ними, то он теперь же начнет зондировать почву. Не стану говорить о своих внутренних переживаниях по этому поводу. Победило желание обеспечить будущность оставшемуся в моих руках сокровищу и дать возможность давно покинутой родине пользоваться как бы посмертным даром И.И. Однако я хотела сначала увериться в том, что дар этот соответствует желанию родной страны. Поэтому было решено, что он будет сделан лишь в том случае, если инициатива Льва Александровича встретит сочувствие со стороны русского ученого мира и если последний выскажет желание основать музей И.И. в России.»⁴²

Одним словом, уговорил-таки вдову деятельный друг Лев Александрович передать все материалы Советскому Союзу. В августе 1926 года О.Н. привезла в Москву первую часть архива (их с И.И. переписка осталась пока в Париже), лично оформила экспозицию, и 23 сентября музей был торжественно открыт в двух небольших комнатах Института экспериментальной терапии и контроля сывороток и вакцин по адресу Сивцев Вражек, 41. А самой Ольге Николаевне тогда милостиво «разрешили» вернуться во Францию⁴³. По приезде она тут же подала прошение о получении французского гражданства (без которого спокойно жила последние сорок лет) и год спустя его получила – какой бы наивной О.Н. ни была, увиденное на родине доверия ей не внушило. Тем не менее, десять лет спустя уже французская гражданка Olga Metchnikoff решится на повторную поездку в СССР – возраст подходит к восьмидесяти, силы на исходе, а *высокая миссия* ею пока не завершена: она намерена хлопотать об издании академического собрания сочинений мужа и, главное, везет с собой оставшуюся (интимную) часть своего архива – личные письма И.И. к ней. Перечитав их еще раз, она посчитала своим долгом написать короткую записку, в которой постаралась объяснить то, чего посторонний человек сам понять не сможет.

«Решив передать письма Ил. Ил. ко мне его музею, я перечитала их систематически все подряд и при этом нашла, что из них придется, быть может, исключить иные слишком интимные, другие касаются мелких, незначительных инцидентов обыденной жизни, без всякого общего интереса.

Ретроспективный взгляд на общее собрание писем, вместе взятых, вполне подтверждает верность и глубину слов Тютчева: 'Мысль изреченная есть ложь'. Действительно, мысль или проявление, выхваченное из общей связи характера, мышления, вообще из жизни, неизбежно носит отрывочный характер, случайный, как и случайное обстоятельство, вызвавшее это отрывочное проявление. При этом соответствие с действительной, общей нормой может быть вполне нарушено. При чтении писем Ил. Ил. мне постоянно приходилось подтверждать этот вывод. Иногда даже, читая иное его отдельное письмо, я просто не узнавала в нем Ил. Ил., которого, однако, знала так хорошо.

Эта зависимость от обстоятельств минуты становится понятной лишь при знании его удивительной впечатлительности, зависимости от совершенно незначительных нарушений нормальной, обычной жизни; надо было знать его повышенную нервность, чтобы понять, как он часто реагировал совсем несоответственно своему настоящему, нормальному характеру. Вследствие постоянной усиленной умственной работы мозговой отдых, получаемый благодаря сну, играл огромную роль в его жизни; малейшее нарушение или сокращение сна отражалось неблагоприятно, мешало работать и вызывало нервность. Нарушение же сна Ил. Ил. зависело от совершенно незначительных причин, как например от отсутствия полной тьмы, лая собаки, перемены обычной обстановки и т.п. Он становился раздраженным, и весь его психический облик менялся иногда до неузнаваемости. Читая некоторые его письма, даже я, так близко знавшая его, получала от них совершенно ложное впечатление, и если бы не знала внутренней, закулисной причины такого превращения, то несомненно думала бы 'ну что это за неприятный, желчный человек, что за мизантроп!' Между тем он совсем не был таким, напротив, он был добр, весел, часто даже душой общества.

Внутренняя отрицательная сторона писем, о которых идет речь, однако не мешает тому, что, в общем, они всё же дают важную характеристику Ил. Ил., его всеобъемлющую, беззаветную страсть к науке и глубину его привязанности к близким, доходящую до болезненного беспокойства и заботливости о них. Эти черты с удивительной цельностью проходят как через всю его жизнь, так и в его письмах. Даже за несколько часов до смерти трогательно проявлялась его необыкновенная заботливость. Уже дрожащей, слабеющей рукой сделал он надписи на конвертах, чтобы облегчить материальные затруднения в первые ужасные дни после его смерти.»⁴⁴

Кроме писем, О.Н. отвезла и оставшиеся у нее портреты И.И. По возвращении из СССР она пишет крестнице своего супруга:

«Моя дорогая Лили, твое письмо доставили уже после моего отъезда в Россию. Путешествие и пребывание там прошли хорошо. Важно прежде всего то, что я смогла получить всё, что хотела, для музея моего мужа. Я всё сама устроила, и мне официально обещали издание полного собрания сочинений Ильи. Это лучший памятник в его честь, который только можно сделать. Все портреты собраны в музее, который похож на часовню (гражданскую), ибо ты не можешь себе представить царящий в России настоящий культ Ильи! Это меня так тронуло. Теперь я уверена, что выполнила свою миссию, собрав воедино все реликвии и научные документы в одном месте, где они будут бережно сохранены и использованы для науки и образования. Огромная для меня жертва – расставание с тем, что мне было наиболее доро-

го – оправдана воздвигнутым в память об Илье монументом – музеем и собранием его сочинений.» (20 октября 1935)

Увы, обещанное Академическое собрание сочинений И.И. Мечникова вышло лишь тридцать лет спустя. А что касается архива, то его судьба довольно печальна. Комната-музей, любовно оформленная лично О.Н., просуществовала 35 лет. Потом его фонды переехали из Института им. Тарасевича сначала в НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, а 10 лет спустя – в Институт им. Гамалеи. Эта ведомственная чехарда прекратилась в середине 1970-х довольно радикальным способом: одна часть материалов была передана рижскому Музею истории медицины, а другая часть легла на полки архива АН СССР. Тем самым было нарушено завещание О.Н. Мечниковой о неделимости материалов, переданных ею России. После распада СССР значительная часть коллекции Мечникова, включая его нобелевскую медаль, вновь оказалась за границей⁴⁵.

Но память («культ», по славам самой О.Н.) осталась. Сегодня повсюду в России – многочисленные улицы Мечникова, проспект Мечникова, поселки, станции метро, больницы, институты, университеты, академии и общества им. Мечникова, Мечниковские стипендии и медали, Мечниковская простокваша (ГОСТ Р 53505-2009), корабль «Илья Мечников», почтовые марки и открытки, портреты в школьных классах, лунный кратер Мечников и пр., и пр. – память потомков вполне заслуженная, но... Сознаемся, без вдовы Мечникова, без ее верности памяти мужа, без ее таланта и усилий всего этого не случилось бы.

В ОЖИДАНИИ ВСТРЕЧИ

Из писем 1918–1919 гг. Ольги Николаевны к Лили Реми:

«К счастью, эпидемия [испанки] закончилась. Я начала выходить, хотя всё еще немного кашляю. По-прежнему никаких известий из России, единственные полученные письма – мои же, отправленные родным еще в январе, с пометкой 'сообщение прервано'. А значит, они не получали от меня писем уже целый год! Постоянно себя спрашиваю, живы ли они?» (ноябрь 1918)

«После письма от брата больше нет никаких известий о моих. Из России по-прежнему плохие новости, и я вновь волнуюсь. Господи, когда же наконец настанет настоящий мир!» (апрель 1919)

«Наконец-то подписали мир⁴⁶, но, видимо, он ненадолго, такой ненадежный, сердце беспокойно.» (июль 1919)

«По-прежнему никаких новостей от моих! Чувствую себя получше, наверное, благодаря вынужденной неподвижности – всё еще болит бок, и я не могу особо двигаться, <...> а после вечерней работы не могу потом заснуть.» (ноябрь 1919)

Когда-то давно, еще до Первой мировой войны, профессор Метальников⁴⁷ стажировался у Мечникова в Париже. Теперь же, счастливо вырвавшись из Красного Крыма, он сам заведовал лабораторией в Институте Пастера. Переживая и заботясь о многих вокруг себя, он

пишет тревожное письмо в Новый Симеиз, где уже три года безвыездно живут на своей даче младший брат Ольги Николаевны – Василий Николаевич (Виля, Вилёк, Вилёчек) и его жена Лидия Карловна (Лида, Лидочка) Белокопытовы.

С.И. МЕТАЛЬНИКОВ – В.Н. И Л.К. БЕЛОКОПЫТОВЫМ

29 февраля 1920 г.

Дорогие Василий Николаевич и Лидия Карловна,

Хочу написать Вам об Ольге Николаевне. Последнее время ей стало несколько хуже, но главное, что беспокоит меня, это ее душевное состояние. Она ужасно страдает в одиночестве и беспокоится обо всех своих близких и о Вас. Живет она совершенно одна без прислуги. Женщина приходит к ней по утрам на два-три часа помочь по хозяйству, а остальное время она совершенно одна. Доктора говорят, что у Ольги Николаевны невроз сердца, пока настоящего порока сердца нет. Когда у нее случаются сердечные припадки, ей некому помочь. А это бывает по ночам, главным образом. Питается она из рук вон плохо. Вообще некому о ней позаботиться. Я много раз хотел остаться ночевать у нее, но она самым решительным образом отказывается от всяких услуг. К сожалению, я нигде не могу найти ей помощницу поблизости от нас. Всё это заставляет меня думать, что Ваше присутствие здесь крайне необходимо. Если Вы не придете и если около Ольги Николаевны не будет жить кто-то из ее близких, она не выдержит и погибнет. Вот почему приезжайте возможно скорее. Очень прошу Вас об этом. <...>

Поезжайте прямо на Константинополь и дайте оттуда телеграмму. Разрешение на въезд во Францию Вы получите очень скоро благодаря связям Roux. Когда я был на Мальте и обратился с той же просьбой к Ольге Николаевне, она устроила мне разрешение через Roux в несколько дней. Деньги в Крыму не меняйте, а купите золотых и серебряных вещей. Узнайте в Ялте и Севастополе, нет ли каких-либо английских или французских пароходов. Они довезут Вас даром до Константинополя.

Здесь жизнь очень спокойная и недорогая. Да и Вам, я думаю, будет лучше здесь пожить, пока не пройдет революционная буря в России. Итак, до свидания. Ваш С. Метальников.⁴⁸

О.Н. МЕЧНИКОВА – В.Н. И Л.К. БЕЛОКОПЫТОВЫМ

17 мая 1920 г.

Дорогие мои Вилёк и Лидочка.

Сергей Иванович Метальников сообщил мне, что его хороший знакомый едет прямо в Ялту и любезно вызвался передать вам это письмо и прилагаемые сто франков, которые могут вам быть полезными в настоящее время, т.к. франки стоят так высоко на русские деньги.

Совсем изныла, напрасно ожидая вас! Эта неизвестность ужасно мучительна. Последнее ваше письмо, в котором вы говорите, что уже совершенно готовы к отъезду, оно от 4 февраля, и с тех пор – никаких вестей. Коля⁴⁹ же писал мне из Софии, что вы не приедете, боясь оставить дачу, и что эвакуации Крымских жителей не будет. Ради бога, напишите мне что-нибудь определенное. Если вам нельзя из-за дачи уехать, то напишите, могу ли я приехать к вам к осени, когда, надеюсь, наконец биография будет напечатана. <...>

Крепко и нежно целую вас обоих. Пишите или приезжайте. Любящая вас Леля.⁵⁰

О.Н. МЕЧНИКОВА – В.Н. БЕЛОКОПЫТОВУ

19 июля 1920 г.

Дорогой мой Вилёчек,

Сейчас получила второе твое письмо из Константинополя. Если бы вы знали, с каким нетерпением, с каким трепетным чувством жду вас, мои дорогие. Уже раз писала вам в Марсель, так что вы получите два письма там, если только первое не пошлют мне назад. Два штемпеля твоего письма, Вилёк, стоят всех трудностей вашего путешествия и ваших жертв. Конечно, я бы ни за что не звала вас, если бы не мысль о бедствиях еще больших, которым вы подвергались в России. Но обо всем этом наговоримся. Пока крепко и нежно целую вас и до свидания!! Ваша Леля.⁵¹

ПОЛКОВНИК БЕЛОКОПЫТОВ

Ну, во-первых, не полковник (как его зачастую величают в редких мемуарах), а подполковник. А во-вторых, не знал Сергей Иванович Метальников, отсылая в Крым свое тревожное письмо-вызов, что Василий Николаевич с супругой уже давно готовы к отъезду:

«Новый Симеиз, 4 января 1920 г. Отставной подполковник Василий Николаевич Белокопытов, 52-х лет, с женой своей Лидией Карловной, желает отправиться в Париж по настоянию его сестры, вдовы покойного профессора Мечникова, помощника директора Пастеровского института в Париже. Г-жа Мечникова, будучи в преклонном возрасте, больная и одинокая, требует попечения родных и поэтому вызывает их в Париж. Она имеет собственный дом в Севре. В.Н. Белокопытов проживает в Н.-Симеизе в Крыму с декабря месяца 1917 г. после возвращения с войны. Правильность вышеизложенного подписью и приложением печати свидетельствуется»⁵².

Хотя, что греха таить, брат Коля в какой-то мере был прав – так непросто было бросать на произвол судьбы свою дачу в Симеизе...

Жизнь Лёли Белокопытовой и младшего братика Вили круто изменилась практически одновременно – ее выдали замуж, а его опре-

делили во Владимирский Киевский кадетский, который он десять лет спустя благополучно окончил. 1887-й – юнкер Николаевского кавалерийского училища, 1888-й – корнет, 1892-й – поручик Крымского дивизиона, а уже в 1896-м зачислен в запас армейской кавалерии по Одесскому уезду.

Ему тридцать лет⁵³, он честно тихо-мирно отслужил десять лет: заведовал дивизионной библиотекой, периодически отлучался в Ливадию охранять Их Величества (за что всякий раз был Высочайше жалован полугодовым окладом) да пару раз участвовал в кавалерийских полевых поездках. Через три года его из запаса призвуют «офицером для усиления» в штаб Одесского военного округа, но ненадолго. Про дальнейшую военную карьеру Василия Николаевича ничего не известно – последняя запись в его Послужном списке сделана в 1899 году. В документах 1910 г. он упоминается как «отставной подполковник», в конце 1917-го «подполковник Белокопытов возвратился с войны».

Василий Николаевич был «женат на дочери Потомственного Почетного гражданина Карла Карловича Зеgebарта девице Лидии Карловне, православного вероисповедания» (их свадьба состоялась 2 июля 1893 г.). Своих детей супругам Белокопытовым Бог, увы, не дал, и они всячески привечали многочисленных племянников и племянниц. Так, когда у старшего брата, Николая Белокопытова, из-за его довольно беспутной жизни брак затрещал по швам, жена Елена Николаевна, стремясь уберечь от пагубного влияния родителя сыновей Вову (Всеволод, 1890–1917) и Тусю (Константин, 1892–1908), фактически завещала их Лидии Карловне, которая детей любила, мечтала даже основать свою школу, что-то «типа гимназии, но с совершенно особой программой». Женщина она была образованная, в меру прогрессивная, активная, с практической жилкой, добрая и склонная «видеть в людях прежде всего хорошее» (тут они с О.Н. совпадали). И, конечно же, она взяла под крыло Вову и Тусю после смерти их матери (1907).

Крым Белокопытовы полюбили давно, приезжали туда регулярно, нанимая на сезон дачу попросторнее для себя и родных-знакомых, а летом 1912 года приобрели, наконец, свой собственный довольно большой участок на окраине Симеиза с уже почти достроенным домом.

«Это был один из самых дальних (верхних) участков в западной части Нового Симеиза. Проектированием и строительством дома занимался главный зодчий Нового Симеиза, военный инженер генерал-майор Яков Семенов. Двухэтажное здание с каскадом лестниц и дорожек, создающих впечатление большой крутизны склона, сооруженное с использованием элементов модерна (особенно в отделке окон), имело одиннадцать комнат.»⁵⁴

Михаил Пришвин в 1913 году путешествовал по Крыму и застал своего петербургского знакомого Василия Николаевича Белокопытова и его супругу как раз в период их «крымского оседания»:

«Крым и Петербург – внутренняя связь: мечта о юге в Петербурге. Белокопытовы оседают, не уезжают. Симеиз. Колючки. Глициния. Цветет миндаль, дикие груши цветут, абрикосы. Садовые большие фиалки. Дачи-корабли на море: будто плывешь, встанешь – море и всё море, корабль так идет, и большой свет, и всё синее... Старые маслины на берегу моря, тысячетлетние, выдавшие настоящих греков и генуэзцев и скифов-тавров. Молодые кипарисы как дети-послушники в монастыре и, старые, прекрасные, стоят и чуть-чуть колышутся, и кажется мертвые, а близко – каждая веточка колышется, дышит. Хозяева с утра сидят за планом нового дома... стали подсчитывать, и оказалось, без нового дома никак не обойтись, и тут же решили устроить новый. Это очень просто. Вот и Белокопытовы... никак не обойтись без третьего дома: сначала построили для себя только, потом стали отдавать комнаты, увлеклись, построили другой дом, и вышло так, что без третьего дома нельзя... – Не обойдется без третьего! Выйдет [Василий Николаевич] гулять, и только о [том, сколько] комнаток и размышляет. Супруга [Лидия Карловна] хочет вогнать побольше комнат, а он – чтобы красиво было, вот и думают»⁵⁵.

Упомянутый «другой дом», двухэтажный флигель с семью небольшими комнатами, был построен в том самом 1913 году внизу, ближе к дороге. А вот третий дом, для которого даже прикупили соседний участок, Белокопытовы возвести не успели – война планы порушила.

Л.К. БЕЛОКОПЫТОВА – О.Н. МЕЧНИКОВОЙ

27 февраля 1915 (?)

Дорогая, милая Лёлочка, <...> У нас всё пока благополучно, о дальнейшем никто ничего не знает. Конечно, Виля очень полезен на своей службе. Все живем войной и газетами. В Симеизе, если прислали уже раненых, постараюсь устроиться при лазарете или в Комитете [неразб.] Крепко тебя и дорогого Ил. Ил. целуем.

Ваши Л[ида] и В[иля].

«Весной 1917 года я был в Новом Симеизе и посетил опустелый дом Белокопытовых. Я подошел к пианино и взял несколько аккордов. Как печально прозвучали они в пустом доме», – вспоминает Анциферов, до войны часто здесь гостивший.

После Октябрьского переворота многие владельцы крымских дач бежали из бурлящих столиц на юг. Приехали к себе и Белокопытовы, надеясь переждать вдалеке смутные времена. Здесь, в глуши, у моря, всё так привычно, так хорошо, так тихо! Пока... Вызов в Париж спас Белокопытовых от страшной участи – не пройдет и полгода после их отъезда, как большинство владельцев дач Нового Симеиза будут расстреляны в Багреевке под Ялтой – молох сожрал всех «бывших», то был Красный террор в Крыму 1920–1921 гг., то жарко пылало «Солнце мертвых».

Но для Белокопытовых, слава Богу, тогда всё обошлось. Во вто-

рой половине 1920 г. они наконец-то добрались до Парижа и встретились с Ольгой. Чтобы уже никогда не разлучаться.

ВСЕ ВМЕСТЕ

Во всей многолетней переписке Ольги Николаевны с братом и невесткой есть только одно-единственное «окно» с момента их встречи в Париже в 1920 г. и до покупки в 1927 г. дачного участка на юге Франции. Писать им в ту пору друг другу было просто незачем, все эти шесть лет они жили вместе. Как именно жили, тому, к сожалению, свидетельств мало – лишь несколько писем (по-французски) О.Н. любимице покойного мужа Лили и ее отцу Эмилю Реми.

О.Н. МЕЧНИКОВА – ЛИЛИ РЕМИ*

1.

25 января 1921 г.

<...> Мы [с братом и невесткой] хотим снять небольшой деревенский дом, жить в котором будет дешевле, чем в Париже. По-прежнему нет никаких вестей от моего брата⁵⁶, который служил на фронте у Врангеля, но его имени нет в списке эвакуированных. Другой мой брат⁵⁷ написал из Болгарии, что по-прежнему без места, упоминал про плотницкие работы, что ему очень тяжело. Теперь у него грыжа, и, что самое неприятное, он ослеп на один глаз. Всё это так печально!

2.

(начало 1920-х)

[начало письма отсутствует]

<...> большевики обещали его не расстреливать, и моя сестра надеется, что, возможно, его отправят на принудительные работы, как они обычно поступают в подобных случаях. А оттуда ему, быть может, удастся когда-то сбежать (надежда довольно слабая). Другой племянник, сын умершего старшего из наших братьев⁵⁸ и тоже единственный сын, уже год как пропал без вести. Так что... все мальчики этого поколения нашей семьи – всех уже нет. Остались только две дочери моей сестры⁵⁹. В революцию сестра бежала с девочками в Крым, а теперь вернулась в Киев. Квартира ее оказалась занята большевиками, а всё имущество конфисковано. Вместо этого ей с мужем и дочерью дали комнатенку с одной кроватью и столом. Старшая дочь осталась в Крыму охранять дом моего брата [Васи], который теперь здесь. Это всё, что мы знаем о наших родных. Про Россию я и не говорю – из газет вы знаете о тамошних несчастьях. Сердце болит об этом думать. <...>

* Все письма к Лили Реми – перевод с французского.

Сняли Белокопытовы тогда небольшой дом с садом в старинном городке Вильпрё (Villepreux), недалеко от Версаля. Навсегда сдружались там со своими новыми соседями и хозяевами Алисой и Жоржем Прево (Alice и Georges Prévost). Василий Николаевич в те же годы познакомился где-то с русским эмигрантом – одиноким кубанским казаком Мосоловым. Вот, собственно, и всё, что известно о том промежутке времени.

Зимой 1926 года баронесса Людмила Сергеевна Врангель (урожд. Елпатьевская) задумала учредить в местечке Фавьер на берегу Средиземного моря «профессорский кооператив» по образу и подобию аналогичного созданного ею ранее в Крыму. В первую очередь она обратилась к своим бывшим соседям по дачному Крыму, в том числе к проф. Метальникову, который тут же пригласил Ольгу Мечникову и Белокопытовых.

Летом того года, когда О.Н. была занята подготовкой музея Мечникова в Москве, Лидия Карловна и Василий Николаевич (с казаком Мосоловым в придачу) впервые оказались в Фавьере. И сразу же загорелись идеей повторить на новом месте «свой Симеиз» – точно так же, как и другие члены кооператива: Людмила Врангель повторила «свой Батилиман», Метальниковы – «свой Артек», Соломон Крым – «свой Новый Свет», Швецовы – «свою Ялту»...

Летом все приезжали к морю отдыхать и обустроиваться, но осенью, когда жизнь в неустроенной деревенской глуши становилась трудной, Лидия Карловна возвращалась в Париж к Ольге Николаевне. Их «милый Виля», которому в столице делать было нечего, проводил всю зиму на юге – вместе с Мосоловым они строили дачи и для себя, и для соседей.

«На помощь всей нашей братии полковник Белокопытов привез с собой из-под Парижа знакомого казака П.Г. Мосолова, который и начал строить нам наши дачи, а впоследствии выстроил и себе большой заправский дом на земле проф. Метальникова. Прекрасный хозяин и строитель, энергичный, он часто смотрел насмешливо своими быстрыми серыми глазами на наше неумение устраиваться.

Белокопытов, когда-то имевший дачу в Крыму в Симеизе, первый построил совместно с Мосоловым уютный домик для себя с женой и для своей сестры О.Н. Мечниковой. У них в саду со множеством цветов, освещенных фонариками, часто танцевали наши дети-подростки. Белокопытов столарничал и делал нам незатейливые столы и скамейки для наших надобностей. Жена Белокопытова ходила в Ла Фавьере в пижаме и длинных поло-сатых штанах, за что Мосолов прозвал ее 'Клара Цеткин в портках'.

Ольга Николаевна жила на другой половине их дома в своей спальне и мастерской с лепным портретом своего мужа и своими картинами – она была очень хорошая скульптор и художница. По вечерам в тихие сумерки леса, окружавшего их домик, она любила играть на фисгармонии в своей мастерской. Несмотря на свой почти 80-летний возраст, О.Н. шла своей легкой походкой в черном аккуратном платье с белым воротничком, с палитрой и красками в лес, и Мосолов говорил вслед ее легкой фигурке: 'Во, наша гим-

назистка рисовать пошла'. Впоследствии для множества картин и скульптуры, накопившихся за всю ее долгую жизнь, О.Н. выстроила внизу своего сада павильончик, где собрала много ценных вещей и семейных реликвий.»⁶⁰

«С многочисленной и пестрой семьей, в своей дачке, отдыхал здесь и крупный ученый, а вместе с тем и взрослый ребенок, добрейший проф. Метальников. Рядом прилепилась на склоне приземистая дачка полковника Белокопытова, когда-то владельца великолепного имения на Украине с домом-дворцом, сказочным парком, фотографии которых у него чудом сохранились. Этот стройный величественный старик, брат чудесной старушки художницы – вдовы Мечникова, имел обыкновение, при приезде любимых им дачников, к которым я имел честь принадлежать, подымать над домом, на высоком шесте, русский флаг, и когда, перевалив холм, отделяющий бухту Фавьера от низменности Лаванду, я охватывал взором русские дачки и трепещущий над ними трехцветный флаг, мне казалось, что я вернулся домой. Интересно, что французские власти, желая придать свободной русской колонии привычные им формы, официально почитали полковника Белокопытова нашим мэром и направляли на его имя все официальные бумаги общего значения.»⁶¹

В 1927 году Лидия Карловна и Василий Николаевич переселились в Фавьер, и переписка с оставшейся в Париже Ольгой Николаевной возобновилась. Окончательно в Фавьер О.Н. переедет лишь десять лет спустя. А пока она проводит у моря мягкую зиму, приезжает в Париж в середине мая ко дню рождения И.И., чтобы лично украсить цветами его урну в Институте Пастера, и возвращается на юг в конце сентября, уже после окончания летнего сезона – слишком жаркого и шумного для нее.

В их немногочисленных, но столь непосредственных, искренних, теплых письмах сквозной нитью проходит бережная забота друг о друге. Масса, казалось бы, мелких и посторонних деталей (продажа пианино, покупка печки, выбор колера для окраски стен, проблема линолеума и штор, птичий грипп, новости от соседней...) создают полную атмосферу присутствия. Меняется дата, проходит год, другой. Герои наши стареют, слабеют и один за другим уходят. Радостный тон их писем постепенно переходит в отстраненную грусть. А вокруг тревожные события, война...⁶²

В.Н. БЕЛОКОПЫТОВ – О.Н. МЕЧНИКОВОЙ
И Л.К. БЕЛОКОПЫТОВОЙ

21 сентября 1929 г.

Дорогие, получил Лелино письмо. Удивительно благородно Коля держит себя по отношению к Оле¹. Но, конечно, главный стимул здесь это любовь.

У нас всё по-старому. Сергей Иванович [Метальников] заболел прострелом – лежит. Вчера Крым² читал у Метальниковых воспоминания о пребывании у Беспалова – очень живо и хорошо. Дези³ необыкновенно добросовестно ухаживает за курами. Сегодня у меня было два урока с мальчиками. Катя⁴ приходила шить на машине; к ней

приехал какой-то француз, просила позволить переночевать у Милоковых – конечно, позволил; в понедельник едет с подругой на день-два к Крыму [в его поместье под Тулоном]. Вчера я заходил по поручению Крыма к Жакельсонам (sic), пил у них чай – очень милые старики. Где буду вечером, еще не решил. Таня принесла бифштекс – спасибо. Фураж закупил у Николая [Красулина]. Сегодня прохладно – мистраль. Куры благополучно. 3-х петухов продал [неразб.]. Ну, вот и всё наше житье.

Крепко целую обеих, приезжайте. Ваш В.

1. Здесь «Оля» – Ольга Михайловна Вивденко, в первом браке Белокопытова, во втором – де Клапье де Колонь. Родилась в 1892 г. в Киеве. Окончила Фундуклеевскую женскую Маринскую гимназию. Училась живописи в Париже в Académie de la Grand Chaumiere, слушала курсы истории в Сорбонне. Поступила на Высшие женские Бестужевские курсы (юридическое, затем историко-филологическое отделение). В годы войны служила сестрой милосердия. Была невестой «Вовы» – Всеволода Николаевича Белокопытова, после смерти которого (1917) сблизилась с его отцом Николаем Николаевичем (упоминаемый тут и в других письмах брат «Коля»), с которым вместе эмигрировала через Константинополь во Францию. Сотрудничала с парижскими театрами. Оставила воспоминания о Бестужевских курсах, отрывки из мемуарной прозы «Книга о любви и семи смертях» печатались в «Русской мысли» (1964).

2. Крым Соломон Самуилович (1867–1936), общ.-полит. деятель, надворный советник, член Гос. Думы I и IV созывов, председатель Таврического земского собрания, глава Второго Крымского краевого правительства (ноябрь 1918–апрель 1919). Агроном, крупный землевладелец Феодосийского уезда, совладелец Банкирского дома братьев Крым. Принадлежал к знатному караимскому роду Крыми (дословно «из Крыма»).

3. Старшая внучка С.И. Метальникова – Варвара Борисовна Шупинская (род. 1925).

4. Екатерина Сергеевна (род. 1902), в замужестве Андрусова – дочь С.И. Метальникова.

В.Н. БЕЛОКОПЫТОВ – Л.К. БЕЛОКОПЫТОВОЙ

25 сентября 1929 г.

Дорогая девочка,

<...> У нас скоро начинается разезд. Черепнины уехали, завтра уезжают Врангели, в воскресенье Метальниковы (О.В. остается) и Юревичи. В субботу Швецовы (А.А. остается). 5 окт. приезжает [Лев] Оболенский принять от Красулина должность [управляющего у Швецовых], но водворится с 1 ноября. К Милоковым приехала дама (подруга Станкевич) – теперь опять полно. Только что узнал, что Гольдрины уже приехали.

Я справляюсь, очень помогает Дези. Питаюсь хорошо. Сегодня ужинал у Швецовых – очень любезны и милы, чувствую себя уже, как в семье. Красулин в таком периоде, когда я его не люблю, но не пьет.

У кур все благополучно, насморк меньше. Одну курицу, которая была больна еще при тебе, отдал Мосолову. <...>

Надо начинать с постройкой. Не знаю, как и приступить. Как решила с линолеумом в Лелиной мастерской? Красулин, конечно, никаких материалов не привозит.

Получил от Гольде письмо, соболезнование о Коле, – прочел в газете¹.

1. Родной брат Вас. и Ольги Белокопытовых, Николай Николаевич, покончил с собой в Париже 16 сентября 1929 г. «Брак этот не был счастливым. В Париже Н.Н. Белокопытов ослеп, вся тяжесть заработка легла на Ольгу Михайловну. Шли годы. Однажды Н.Н. получил письмо от жены. Она извещала, что приняла заказ на несколько картин и уехала в провинцию для работы. Н.Н. бросился к своему другу (кажется, киевскому банкиру), которого подозревал в ухаживании за О.М. Прислуга сообщила об отъезде своего хозяина и назвала тот город, куда поехала О.М. Тогда Н.Н. написал отчаянное письмо, умоляя ее вернуться, и указал в письме срок, до которого будет ждать ответ. Ответа не было. На паперти Notre Dame Н.Н. застрелился. Вернувшаяся О.М. уверяла родных, что письма не получила. Однажды, перебирая книги мужа, она нашла коробку с патронами, одного не хватало, и О.М. лишилась чувств. Ее брак остался для меня загадкой. Любила она сына, а вышла за отца. Следы ее затерялись на неведомых мне и чуждых путях жизни.» (*Анциферов*)

**В.Н. БЕЛОКОПЫТОВ – О.Н. МЕЧНИКОВОЙ
И Л.К. БЕЛОКОПЫТОВОЙ**

5 октября 1929 г.

Дорогие мои, сегодня есть открытка от Лиды.

Приезжайте отдыхать. У нас разъезд продолжается. 7-го уезжают Черные, а 8-го хотя Гольдрины. Крым не приехал, как хотел. Красулин собирается ехать 10-го, но мне кажется, что не уедет. Вообще уже пусто. По вечерам все уже в комнатах – осенняя картина. Погода хорошая.

Почему, Лида, думаешь, что я устал – вовсе не устал. С курами благополучно, у четырех или пяти есть насморк в носу, а рыжий петух осел на ноги, но в общем ходит целый день. Курятник дезинфицировал и чищу каждый день, на ночь завешиваю оба. По вечерам читаю Тургенева. Каждый вечер захожу к Аполин. [Алексеевне Швецовой] и за письмами. Сегодня был у Гольдриных, был его последний у меня урок, так он мне помог относительно условий с подрядчиком. У Метальниковых бываю сравнительно редко – чувствую, что я не ко двору. Думаю, что завтра приедет [Лев] Оболенский повидаться с Красулиным. Мосолов перебрался в дом Безсонова¹.

Пока крепко целую обеих и жду. Ваш В.

1. Безсонов Николай Алексеевич (1885–1951), химик, микробиолог, в начале

1920-х годов в своей Парижской лаборатории впервые в мире выделил в чистом виде витамин С.

О.Н. МЕЧНИКОВА – В.Н. БЕЛОКОПЫТОВУ

1930 г. (?)

Дорогой мой Виля,

Прежде всего, от всего сердца благодарю тебя и Лиду за ваши добрые заботы обо мне и прошу простить меня за все неприятности, что могла невольно доставить вам. Верьте, что я всегда думала о вашем благе и, как могла и умела, старалась способствовать ему. Также и теперь хотела бы, чтобы моя последняя воля дала вам как можно меньше хлопот и, напротив, насколько возможно, обеспечила вас.

Поэтому оставляю официальное краткое завещание, в котором говорю, что всё свое имущество завещаю тебе, своему брату Василию Белокопытову, и это только малая часть моего долга к тебе.

Тебя же прошу исполнить следующие мои обязательства и желания.

Всё, касающееся памяти Ильи Ильича, должно быть отдано в его музей в Москве (41, Сивцев Вражек, Научный Институт им. Л.А. Тарасевича). Сюда относятся: всё писаное его рукой, его рукописи, его письма (его письма ко мне все собраны в папке), заметки и т.д., его сочинения, особенно те, в которых надписи ко мне, его портреты и посмертный бюст, кроме портрета последнего, кот. я писала (он у меня в Париже), его надо будет дать Паст[еровскому] Институту. Так как знаю, что тебе будет неприятно сноситься с музеем И.И. в Москве, то прошу тебя только передать все Ал. Мих. Безредке¹, кот. попрошу взять это на себя, он это охотно сделает.

Лида сказала мне, что хотела бы, чтобы моя художественная библиотека оставалась пока у вас. Пусть так и будет, я только прошу вас сохранять ее в цельности, не раздавать книг, чтобы, если вы уедете в Россию, или она вам не будет больше нужна, передать ее в какое-нибудь художественное учреждение, так как она в целом имеет художественную ценность, и я бы хотела, чтобы ею могли пользоваться серьезные художники.

Хотела бы, чтобы пианино и классические ноты достались, в конце концов, Верочке Радз. Орган же – Лидочке, если она пожелает. Пока же пианино пусть будет у вас, т.к. вам может доставить удовольствие Ек. Серг. Боткина-Шуман [фамилия неразб.].

Из других не художественных моих книг оставьте себе что хотите, а остальное раздайте моим друзьям: Ру, Мальфи, Безредке, Соломону Львову², пусть сами выберут.

Мои картины, имеющие отношение к нашей прежней жизни с И.И., оставьте себе что хотите (только куда вы их повесите?), но не для продажи, передайте музею, а то, что хотите, сохраните себе, остальное раздайте на память обо мне моим друзьям: Ксении – мой

портрет, писанный Кудрявцевым, и три пейзажа (ей и девочкам). Ру – Севрский пейзаж и мой портрет в белом (копия с того, что подарила вам), Метальниковым [неразб.]. Остальные все картины, писанные мною здесь, – постарайтесь продать в свою пользу. Я не завещаю вам картин, т.к. вижу, что и теперь вам неудобно развешивать их.

Другим близким знакомым дайте какие-нибудь вещицы – вазочки, полотенца и т.п. Если вернетесь в Россию, дайте что-нибудь на память Марусе Фавицкой [фамилия неразб.] и Володиным, Федоровичу и Наташе Яблонской [фамилия неразб.].

Я бы очень хотела, чтобы меня сожгли. Если умру в Париже, это легко сделать, а тут [в Фавьере]... Может быть, можно в Тулоне. Тогда пепел отправьте в Париж. Я попрошу Ру, чтобы высыпали в Ильину урну, там место есть.

Всё это даст вам много хлопот. Но думаю, что вам всё равно придется поехать в Париж, а там упростится, и друзья мои помогут.

Ну, кажется, всё! Простите, дорогие, за хлопоты. <...> Крепко обнимаю вас. Не поминайте лихом. Я вас очень любила и все последние годы думала, как бы сделать [так, чтобы] вам было лучше. Кончая жизнь, прихожу к выводу, что главное в ней – чистая совесть. Крепко обнимаю и люблю. Леля.

1. Безредка Александр Михайлович (Alexandre Besredka, 1870–1940), микробиолог и иммунолог, ученик И.И. и друг семьи Мечниковых, оказывавший большую помощь О.Н. после смерти ее мужа. Был женат на француженке Jeanne Couté (1881–1970).

2. Львов Соломон Константинович (1858–1939), психиатр, главврач психиатрической лечебницы в пригороде Парижа. Его жена Мария Яковлевна (урожд. Симонович) приходилась двоюродной сестрой Валентину Серову, хорошо известен ее портрет «Девушка, освещенная солнцем». Их сын André Michel Lwoff (1902–1994), микробиолог, Нобелевская премия по физиологии и медицине (1965).

О.Н. МЕЧНИКОВА – В.Н. И Л.К. БЕЛОКОПЫТОВЫМ

1.

10 мая 1930 г.

Дорогие,

Наконец могу дать вам подающие надежду вести: 8-го в четверг Даррасс приезжал с Hénault – marchand de tableaux¹ смотреть мои картины в институтском складе. Так как они предупредили меня за день, то накануне я пришла всё прибрать и расставить на вид картины. Оказывается, всего их около 80, но для выставки я полагала около 70. К счастью, день был не очень пасмурный, так что освещение было недурное. <...> Hénault – очень милый господин, добродушный и простой, не «страшный». Картины ему понравились, кажется, искренне. Во всяком случае, он сказал: «mais vous devez faire une exposition individuelle, vous en avez largement quantité et qualité»². Затем предложил

взять сейчас несколько картин к себе на комиссию. Выбрал, по моему, лучшие, так что, видимо, понимающий. Вот какие 8 он взял³:

Осень – прудик в Гарше № 10 (куплена уже Даррассом).

Осень в Villepreux в парке, если помните, очень огненная, которую я больше всех любила. № 10 paysage (уже, чем № 10 обыкновенный).

Сену в Triel[-sur-Seine], у Darrasse (квадратная, серебряная).

Маленький (№ 5) пейзаж серенький, поле с лесом вдали и красными крышами, который делала в Trie-Château, у [неразб]; я его любила.

Сосны в дюнах в Фавьере, возле розовой дачи.

Наш пляж с тихим морем (№ 5).

Закат с виноградниками Gattu.

Eau (нормандская Венеция, розовые дома).

Он спросил мои цены; я сказала, что не знаю и что прошу его самого назначить и вообще дать мне руководящий принцип для цен. И вот что он сказал: «Vous ne devez pas vendre le moindre tableau moins de 300 fr. Et en principe vous pouvez demander (le moins) en calculant le № de vos toiles plus 100 francs»⁴. То есть если № 3, то цена 400 фр., № 5 = 600, № 8 = 900 и т.д. Для примера скажу, что пейзаж, который выбрали Голдрины «St.-Clair» он оценивает в 1200 франков! Я бы никогда не решилась назначать такую цену (это № 12, но paysage).

Предлагает залу свою даром, потому что она в то же время служит для продажи других objets d'art⁵. Publicité⁶ тоже берет на себя. Только возьмет % с продажи, не знаю еще какой; но даже если бы и 50%, то думаю, что это выгоднее, чем чтобы картины стояли в débarras⁷.

И вот совершенно неожиданный парадокс: всё в зависимости от биржи! Если будет подъем, то выставку он сделает, если будет падать – нет, т.к. не будут покупать. Во всяком случае, меня очень поощрило, что он, видимо, опытный и понимающий (так как выбрал все лучшие), отнесся очень хорошо к моей живописи. Теперь не буду больше себя сдерживать, а буду свободно писать, т.к. если не сейчас, то потом работа моя пригодится. <...>

1. продавец картин (фр.)

2. Вам нужно устроить персональную выставку, для этого у вас всё есть – и количество, и качество. (фр.)

3. Далее номера соответствуют стандартным размерам живописного холста.

4. Вы не должны уступать, неважно какую картину, меньше, чем за 300 фр. В принципе, минимальная цена подсчитывается как № полотна в сотнях франков плюс еще 100 франков (фр.)

5. предметов искусства (фр.)

6. реклама (фр.)

7. кладовка, чулан (фр.)

2.

15 июля 1930 г.

Дорогие мои,

Сегодня¹, вернувшись из Института – ходила туда раньше девя-

ти, чтобы быть одной, – застала твое доброе письмо, дорогая Лидушка. Как и ты, часто думаю о том, какое счастье, должно быть, религиозным – уметь молиться. Но что поделать, когда это не дано или отнято рациональным мировоззрением! Последнее – религия сильных и тогда очень возвышенная, но силы-то не всем даны. В этом случае и приходится страдать и нести жизни гнет. Да, сегодня 14 лет, как Ильи нет больше. Кажется, ужасно много, и в то же время точно это случилось вчера. Несмотря на свое «рациональное мировоззрение», окружила его урну цветами. Так красиво вышло. Урны совсем не видно, а только цветочки. <...>

Вчера вечером (14-го) забежал Сер. Ив. [Метальников] сказать, что сегодня [его жена] О.Вл. с Асей и внуками едет к вам, и спросил, нет ли поручения. Я, конечно, ничего не могла уже сделать и просила взять только халву и 2 кило каши. Не знаю, сделает ли это! Крепко обнимаю и целую. Еще спасибо за письмо. Ваша Лёля.

1. День смерти И.И. Мечникова, когда О.Н. ежегодно приходила в Институт Пастера украсить цветами урну с прахом мужа, хранящуюся в библиотеке Института.

О.Н. МЕЧНИКОВА – АЛИС ПРЕВО

Фавьер, 21 ноября 1932 г.

<...> У нас большое горе, умер мой любимый брат¹. Случилось это 6 ноября. Мы были настолько потрясены, что я не отважилась вам написать сразу, зная, что и для вас наш траур станет ударом. Всю осень и даже в тот фатальный день брат чувствовал себя хорошо, и вдруг ни с того ни с сего боль в животе, которая не утихла три часа, и затем всё – конец. Вы поймете наше отчаяние <...>

1. Скоростипажно скончался Василий Николаевич Белокопытов (21 марта 1968 – 6 ноября 1932 г.). Все письма к Алис Прево – перевод с французского.

О.Н. МЕЧНИКОВА – Л.К. БЕЛОКОПЫТОВОЙ

Париж, 17 октября 1933 г.

[начало письма не сохранилось]

<...> каникулы кончены, и опять у меня толчея, которая очень меня утомляет. Так как почти все хотят приходиться отдельно, то выходит, что каждый день занят кем-нибудь, усталость накапливается опять.

Доктор Могах сказал, что состояние моего глаза во всяком случае не ухудшилось, что больше ничего нельзя сделать, а надо лечить общее состояние вен, постоянно принимать йод, не утомляться и т.д.

Лидушка, дорогая моя, я бы так хотела, чтобы ты поверила и прониклась мыслью, что теперь у меня больше нет никаких личных желаний, а исключительно одно, чтобы тем немногим близким, которые остались, быть полезной и способствовать тому, чтобы сколько

возможно после всего пережитого жилось лучше. Здесь же ты одна у меня родная, и поэтому вся моя забота направлена на тебя. Поэтому всё, что тебе будет лучше, то и мне. Крепко обнимаю тебя, дорогая.

Твоя Лёля.

О.Н. МЕЧНИКОВА – СЕМЬЕ РЕМИ

7 октября 1934 г.

Мои дорогие друзья.

Вы наверняка недоумеваете, что я до сих пор не подтвердила получение от вас 1000 фр. [за пианино]. Дело в том, что оба раза почтальон меня не застал (я задержалась в Viroflay¹). С тех пор я уже трижды ходила на почту, и всякий раз мне отвечали «приходите завтра», не могли отыскать перевод, а когда нашли, то тут уже я сплеховала – забыла принести свое удостоверение личности. Вот и выходит, что только завтра утром смогу наконец-то получить эти 1000 фр. Я вам очень благодарна, моя бедная сестра так нуждается в деньгах. Получила письмо от племянницы, она рассказывает, что у отца или рак, или туберкулез кишок, так что 500 фр., полученные от меня в прошлом месяце, уже почти все ушли на оплату лечения. Мне очень жаль, что я не могу просто отдать (Подчеркнуто в оригинале. – М.М.) пианино для Лили, но это всё из-за моей племянницы, которой сама я не в состоянии собрать такую сумму.

Лечение глаз вынуждает меня задержаться дней на десять, и я была бы очень рада, если бы вы смогли меня навестить в следующее воскресенье, на неделе вам некогда, да и я почти ежедневно хожу к окулисту.

С радостью узнала о свадьбе Лили в следующую субботу, я ей сразу напишу, чтобы поздравить и выразить мои искренние пожелания.

Преданная вам О. Мечникова.

1. Пригород Версаля на юго-западе от Парижа, по той же ветке поезда, что и Севр, и Villerreux. В Вирофле жила подруга О.Н. – Александра Иосифовна Парманина, принимавшая деятельное участие в ее судьбе. Письмо – перевод с французского.

О.Н. МЕЧНИКОВА – ЛИЛИ РЕМИ

1.

9 октября 1934 г.

Дорогая Лили,

Из твоей записки я узнала о предстоящем счастливом событии и хочу послать тебе мой свадебный подарок, который я давно для тебя хранила, чтобы передать, когда он тебе понадобится для твоего устройства. Я предпочитаю послать тебе эти 4000 фр., чтобы ты их использовала по своему усмотрению и согласно твоим вкусам.

Посмотришь потом на купленные тобою от моего имени предметы и вспомнишь о своей старой подруге. <...> От всего сердца поздравляю тебя, моя дорогая Лили, и желаю вам обоим счастья, насколько это вообще возможно в этом мире.

2.

Фавьер, 22 ноября 1934 г.

<...> Конец года был для нас грустный. Муж моей сестры умер от рака. А моя племянница, его дочь, которую сослали на крайний Север за ее религиозные убеждения, не перенесла сурового климата и тяжелых условий жизни, заболела туберкулезом и сейчас, когда ее помиловали, вынуждена жить в лечебнице.

Здесь [в Фавьере] жизнь монотонна, но тиха и спокойна настолько, что если бы не доходящие извне новости, то можно подумать, что повсюду в мире всё прекрасно. Но газеты пишут о новой волне репрессий в России, о массовой безработице во всех странах и особенно об опасении возможной новой войны, несмотря на совсем недавние ужасы Великой войны.

3.

Фавьер, 6 января 1935 г.

Моя дорогая Lili-Miryem (правильно именно Miryem и не Miriam?)

Как я была рада получить наконец-то от тебя хорошее подробное письмо [о твоей свадьбе]! Ты не представляешь, насколько я была приятно взволнована, узнав о твоём счастье! Наконец-то у тебя нормальная семейная жизнь. Я уверена, что твой свёкр, как только узнает тебя получше, обязательно тебя полюбит. Ну, а ожидаемый ребенок всё окончательно расставит по своим местам. Береги себя, дорогая, будь осторожна, не навреди твоему здоровью.

Мне был очень интересен твой рассказ о переходе в иудаизм. Нужно всегда уважать верования других и никогда не оскорблять их религиозных чувств. В принципе, все религии, в их изначальной сути, сводятся к стремлению к высшему идеалу. Именно это и нужно в них видеть и ценить. Всё остальное – вопросы истории, народностей, морали и т.д. Иудаизм дал очень многое всему человечеству благодаря своей концепции: Бог един и Закон Его – Десять заповедей, что явилось базой христианства и тем самым связывает обе религии. А в остальном, моя дорогая, нет нужды тебе об этом говорить, я уверена – твой такт и твои моральные принципы послужат тебе наилучшими проводниками, иудейкой ты будешь так же честна, благородна и чиста, какой ты была и христианкой, а лишь это и важно. <...>

4.

Париж, 20 октября 1935 г.

Моя дорогая,

Твое письмо доставили уже после моего отъезда в Россию.

Путешествие и пребывание там прошли хорошо. Важно прежде всего то, что я смогла получить всё, что хотела для музея моего мужа. <...> В России я увидела очень большие материальные изменения к лучшему. Ленинград, Москва и Киев – три города, которые я видела, – полностью восстановлены, улицы вымощены, идет современное строительство, повсюду много зелени, метро слишком шикарное (все станции в мраморе)¹, автобусы, трамваи и пр. Население [городов] настолько выросло из-за наплыва из провинции и многочисленных рабочих, занятых в строительстве, что квартиры переполнены – несколько совершенно чужих друг другу семей живут вместе. Когда новые дома будут возведены, всё устроится, но пока эта коммунальная жизнь очень тяжела. Нищета вроде уменьшилась, продукты питания менее <...> [окончание письма не сохранилось]

1. Первые «мраморные» станции московского метро открыты 15 мая 1935 года.

О.Н. МЕЧНИКОВА – АЛИС ПРЕВО

Фавьер, 27 декабря 1936 г.

<...> Здешняя жизнь настолько мирная, что если бы не газеты, то о мировом смятении и не подозреваешь.

Этим летом невестка моя просто вымоталась из-за гриппа и перенапряжения – очень много понаехало народу, все комнаты у нее были сняты, на весь сезон. Теперь на заработанные таким образом средства она пристраивает к своему дому еще одну комнату для сдачи – с северной стороны, где летом не так жарко.

Состояние мое без изменений, но позволяет работать, читать, рисовать, что уже много. Этой осенью я выполнила два портрета и еще два намечены на зиму. Не на заказ, но всё равно приятно.

Осень стояла холодная, дождливая, но потом весь декабрь было чудесно, прямо по-весеннему.

О.Н. МЕЧНИКОВА – ЛИЛИ РЕМИ

Фавьер, 8 апреля 1937 г.

<...> С нетерпением ожидаем возвращения французских врачей и биологов с Московского конгресса. Безредка и Вольман входят в состав делегации, владение русским языком и старые связи помогут им понять многое, что для обычного иностранца было бы невозможным. Письма, что мы получаем из России, посвящены исключительно семейным делам. И тем не менее чувствуется, что экономическая ситуация там очень тяжелая, так как нас постоянно просят прислать предметы первой необходимости.

Любящая тебя твой старый друг О. Мечникова.

С.Л. ФРАНК¹ – О.Н. МЕЧНИКОВОЙ*[1939 г.]*

Дорогая Ольга Николаевна,

Я слышал, что Вы хвораете и физически страдаете. Душевно жалею, что не могу Вас навестить. Но мне хотелось бы послать Вам хоть письменно самый задушевный привет и пожелать выздоровления. Позвольте мне сказать Вам, что я душевно полюбил Вас, что знакомство с Вами было за последние годы большой радостью моей жизни, и что я принимаю самое близкое участие в Вас. И еще позволю себе напомнить Вам, что именно в самые трудные минуты жизни мы должны остро сознавать, что Божий Свет, Божье Добро и Правда всегда с нами. «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Позвольте сердечно обнять Вас.

Ваш С. Франк

1. Философ и религиозный мыслитель Семен Людвигович Франк (1877–1950) жил в Ла Фавьере с 1938-го по 1942 год.

О.Н. МЕЧНИКОВА – С.Л. ФРАНКУ

Фавьер, 22 февраля 1939 г.

Дорогой Семен Людвигович,

Очень меня трогает Ваше доброе письмо. Душевно радуюсь благоприятному результату медицинского исследования Вашего сердца. Теперь главная задача – полный отдых. Так как Вы закончили свою книгу, то можете спокойно отдыхать. Сердечно благодарю Вас за обещание прислать мне ее. Прочту ее с величайшим интересом и вниманием.

Поздравляем Вас обоих и милую Наталью Семеновну¹ и искренно желаем ей наилучшего семейного счастья. Мы часто встречаем Алексея Семеновича и его жену². У них цветущий, веселый и бодрый вид. Они довольны новой постройкой, своим домом и пансионерами. Приятно видеть всю эту веселую молодежь.

Часто вспоминаю с благодарностью и глубоко ценю ту отзывчивость, с которой Вы отнеслись к моему «духовному голоду», временами одолевавшему при очень большой оторванности от интеллектуальных условий жизни. Сердечно жму Вашу руку. <...> Глубоко преданная Вам Ол. Мечникова.

1. Дочь С.Л. Франка, Наташа, только что вышла замуж.

2. Сын С.Л. Франка, Алеша, и его жена англичанка Бетти Франк устроили в Фавьере пансионат для англичан «Золотой петушок».

О.Н. МЕЧНИКОВА – ЖАКУ ТРЕФУЭЛЮ¹*Фавьер, 1 февраля 1941 г.*

Господин Директор,

По совету доктора Ру, тогдашнего директора Института Пастера, я доверила Институту Пастера свои облигации Национальной обороны. В настоящее время это 61 тысяча франков. Пожалуйста, после моей смерти передайте их моей невестке госпоже Лидии Белокопытовой, урожденной Зеgebар, с накопившимися процентами. Она предъявит вам свои документы, удостоверяющие ее личность.

Мне бы не хотелось уйти в мир иной, не выразив Институту Пастера глубокую благодарность за то, что он дал моему мужу Илье Мечникову возможность заниматься его научной работой, предоставив ему лабораторию и бактериологические службы Института.

Я также благодарна моим друзьям из Института Пастера за постоянную заботу, которую они оказывали мне после смерти моего мужа.

Прошу их после моей смерти, если необходимо, защитить мою невестку Лидию Белокопытову и помочь ей добрым советом, потому что она останется очень одинокой и беспомощной.

С бесконечной благодарностью и глубокой преданностью я прощаюсь со всеми моими друзьями в Институте Пастера.

Ольга Мечникова

1. Jacques Tréfeuël (1897–1977), французский химик, директор Института Пастера с декабря 1940 года. Письмо – перевод с французского.

О.Н. МЕЧНИКОВА. ДНЕВНИКОВАЯ ЗАПИСЬ

Фавьер, 16 сентября 1942 г.

Пишу и даже говорю так неуклюже, так плохо выражаю свою мысль, что смолкнуть бы совсем! Не делаю этого лишь (как говорю себе) из-за твоего завтра, друг любимый, дорогой. Может быть это имеет интерес всякого психологического проявления?

16/IX 42 † Сегодня 13-ая годовщина смерти бедного, дорогого Коли (1929), несчастного, непонятого и нецененного. Бедный, какая страшная нравственная [неразб.] привела его к этому концу. И, быть может, возможно было бы спасти его, поняв вовремя. Бедный мой Колечка, простил ли ты меня за то, что [не] сделала этого? Какой ужас!

Непонятый, покинутый, обиженный мой бедный брат,
Расстался с жизнью ты.

И только у навек закрытых могилы твоей врат
Твое все благородство мы поняли.
Но было поздно, слишком поздно.

Ты выпил чашу всю до дна...
И говорит мне совесть грозно,
Что если б раньше поняла –
Могла спасти тебя!!

Эти строки говорю тебе: прости, прости меня. Вся моя жизнь – сплошное раскаяние и горе. Что ни случится – заслуженное!

9/II † Умерла Ксеничка. Бедная, тихая, скромная, добрая, бедная девочка. Ты была голубка добрая и гораздо глубже и даровитее, чем казалась из-за своей застенчивости, бедная моя Ксюрочка!

28/II 40 † Умер Безредка. Не жестока ли судьба: почти накануне решения своей задачи [неразб.] заразился сам во время опытов своих [неразб.].

31/III 40 † Умерла Катя Боткина! Как примириться с такой смертью? Молодая, добрая, талантливая, красивая и такая благородная. Еще одним другом меньше.

25/IV 41 † Умерла Алекс. Иосифов. Парманина. Добрая, милая, родной друг мой! Какие душевные беседы вели мы, когда ходили убирать Колечкину могилу и как уютно и тепло было с нею в их 73 avenue Gaston Boissier [в Viroflay]. Еще смерть, с которой и уму, и сердцу трудно помириться.

6/IV 41 † Умер Malfi.¹ Верный, благородный, одухотворенный, преданный друг мой, общение наше, главным образом, на философской почве. Сколько перечли мы и перебеседовали, часто спорили! Какой пример мужества давал он отношением к своей слепоте! Он утешался мыслью: может, это к лучшему, «я лучше могу сосредоточиться в себе, в своих мыслях», – говорил он. И какой любящий, верный друг, какое чудное сердце. Caro amico mio, Malfi!

1. Giovanni Malfitano (1872–1941), итальянский химик и микробиолог, зав. химической лаборатории Института Пастера, философ. Жена – Вера Говорова.

Л.К. БЕЛОКОПЫТОВА – АЛИС ПРЕВО

Фавьер, 30 декабря – 1942 г.

<...> Мы пережили очень тяжелый период¹, я была сильно больна, за мной ухаживала моя невестка, теперь получше. Плохо с питанием, но духом не падаем, как-то выкручиваемся.

1. Во второй половине 1942 г. тяжелобольная О.Н. Мечникова, теряющая зрение и слух, была эвакуирована с юга Франции (как и многие жители прибрежных районов, из-за подготовки немцев к отпору возможного десанта англо-французских войск), через Тулон в Париж.

О.Н. МЕЧНИКОВА. ПОСЛЕДНЕЕ ЗАВЕЩАНИЕ¹

Париж, 29 декабря 1942 г.

Я хочу, чтобы меня кремировали по гражданскому обряду (Подчеркнуто в оригинале. – М.М.), как и моего мужа. Ни за что на свете мне бы не хотелось причинить боль сестрам монахиням, которые были так добры и преданы мне, и я благодарю их за их искренние молитвы, но, и это мое окончательное и последнее желание, меня, как и моего мужа, нужно кремировать по гражданскому обряду. Ольга Мечникова

Мне приятно думать, что, если это возможно, мой прах будет рядом с прахом моего мужа.

1. Перевод с французского

Л.К. БЕЛОКОПЫТОВА – АЛИС ПРЕВО

28 июля 1944 г.

Мадам Белокопытова с болью сообщает Вам о смерти своей невестки мадам Мечниковой, 27 июля в 10 часов вечера в возрасте 87 лет. Вынос тела состоится 31 июля в 3.15 в госпитале Пастера на rue Vaugerard, метро Pasteur.

ЭПИЛОГ

Итак, Лидия Карловна осталась совсем одна, ее пансион в Фавьере разрушен немцами, да и, сохранись он, сил вести хозяйство уже нет, ей 75 лет, а война сильно подорвала здоровье. У нее нет французского гражданства, а даже французам в разоренной стране приходится туго. Но решение было продумано заранее еще при жизни Ольги Николаевны. В какой-то степени это решение было завещанием «ее Лидочке» – собрать всё уцелевшее, принадлежащее когда-то дорогому Илье Ильичу, и отвезти на родину в его музей, тем самым обеспечив возвращение и себе.

Что Лидия Карловна и исполнила. Она съездила в Фавьер в надежде отыскать хоть что-то из там оставленного, но увы... Библиотеку вывезли оккупанты, мастерскую взорвали, а остатки вещей из развалин растащили местные жители. Но кое-что сохранилось в Париже и по знакомым. Поэтому вдовий план вполне удался – дар музею Мечникова открывает двери. В Советском посольстве «бывшую буржуйку, вдову царского офицера и белоэмигранта» встретили ласково, помогли упаковать собранное, выдали советский паспорт, оплатили перелет (!) до Москвы, где выделили комнату в общежитии. Так что последние десять лет жизни Лидия Карловна смогла провести достойно, чему можно только порадоваться.

*Посольство СССР во Франции
31 июля 1945 г.*

Посольство СССР во Франции настоящим удостоверяет, что Мадам БЕЛОКОПЫТОВА направляется на юг Франции для поиска имущества, принадлежавшего великому русскому ученому Мечникову. Посольство СССР во Франции просит все военные и гражданские власти оказывать Мадам БЕЛОКОПЫТОВОЙ в случае необходимости всяческое содействие.

Атташе Посольства СССР Петров.*

Из письма Г.С. Родионовой к А.С. Эфрон (1969): «Когда умерла Мечникова, то Белокопытова [Л.К.] оказалась владелицей всех бумаг, рукописей и пр. и пр. Мечникова. Она весь этот материал** передала Сов. Союзу, и за это ей предложили приехать и поселиться у нас задолго до того, как начались массовые отъезды эмигрантов на родину. Жила где-то в доме отдыха в Сокольниках...»

Из писем А.А. Швецовой:

«Моя знакомая [Белокопытова], улетевшая в Москву, долетела на самолете хорошо. Живет в доме отдыха ученых под Москвой. Страшно рада родной обстановке, березкам и соснам, словом – счастлива. Но она невестка Мечниковой и, конечно, находится в исключительных условиях.» (13 марта 1946 г.)

«Читаю восторженное письмо из Москвы от своей приятельницы Белокопытовой: ‘Получила солнечную комнату с ванной, душем и газовой плитой. Чистота кругом идеальная’. Очевидно, живет в общежитии. Но она невестка Мечникова и, возможно, что и живет при музее Мечникова, ей 77 лет. Жизни не видит. Есть от других иные письма: ‘Живу в деревне недалеко от города. Как бывшая буржуйка, не могу жить в больших городах. Несу тяжелую работу физическую, голодаю, пошлите хотя бы сухарей’, – и это есть. Бедная наша родина!» (10 августа 1946 г.)

[Мы все] «так были рады, что невестка Мечникова [Л.К. Белокопытова] здорова и живет неплохо, ей сделали операцию катаракты глаза, видит теперь хорошо, а ей уже 88 лет. Она уехала в Москву в 45 году, было два письма, потом умолкла, и мы думали конец. Как вдруг теперь весточка – жива, здорова и с глазами.» (7 октября 1957 г.)

Великая вдова... Рассказ о *вдове* был бы неполон без вот этого письма Ольги Николаевны, точнее, черновика из ее дневника, на французском языке, без даты, хотя есть основания предполагать, что это 1917 год.

«Месье. Возможно, мой ответ Вас разочарует, тем более, что намерения Ваши были самые добрые, однако, должна признаться, меня очень удивили

* АРАН Ф.584 Оп.6 Д.141 Л.1.

** РГАЛИ Ф.1190 Оп.2 Д.196 Л.21-26, 27-40.

два Ваших последних письма, а потому я чувствую необходимость рассеять закравшееся между нами недоразумение.

Я ведь писала Вам без всякой задней мысли, по-простому, как пишет пожилая женщина, чтобы поблагодарить за проявленную к ней доброту (присланный Вами рисунок и Ваши соболезнования по поводу моей недавней утраты). Соболезнование, которое я выразила Вам по поводу Вашего траура, было естественным и от сердца, ведь я сама пережила подобное несчастье, а потому хорошо понимаю глубину Вашего горя. Предыдущие же разговоры наши на темы совершенно отвлеченные тоже не могли, на мой взгляд, ввести Вас в заблуждение. Тем не менее, это произошло, о чем я искренне сожалею. Хотя, казалось бы, мой преклонный возраст исключает саму возможность недопонимания – я пожилая женщина, живущая лишь прошлым.

Мне нравится природа, искусство и, как Вы поняли, я люблю заниматься самообразованием. Всё это, однако, не может отвлечь меня от размышлений о смерти, о которой думаю теперь много чаще, чем о жизни. Я стараюсь, как могу, не удручать тех, кто со мною рядом, и, допускаю, что такое поведение внушает всем уверенность в моей жизнеспособности. Однако сама идея начать новую жизнь мне настолько чужда, что кажется абсурдной и нелепой – нечто совершенно невозможное и, более того, не только невозможное, но даже противное мне. Жизнь моя устремлена теперь к совершенно иному, и на пути к ее концу я уже не изменю своего поведения.

Благодарю Вас за добрые чувства, будем считать инцидент исчерпанным, но прошу Вас не прекращать нашу переписку, хоть и приведшую, увы, к столь досадному недоразумению. Уверяю Вас, Месье, в искренности моих сожалений. О.М.» (АРАН Ф.584 Оп.6 Д.5 Л.3-4)

«Я пожилая женщина, живущая лишь прошлым», «думающая о смерти более, чем о жизни...» Ольге Николаевне еще нет и шестидесяти. И хотя она про то не знает, но дарованы ей будут еще целых 25 лет жизни – отнюдь не одинокой, довольно насыщенной, деятельной и, что интересно, направленной именно в будущее. Категорически, хотя и со свойственным ей тактом, отказываясь от, видимо, сделанного ей предложения, О.Н. отнюдь не «ставит на себе крест», но всецело посвящает себя – его памяти. Выбор этот сознательный. Наконец-то она вышла из тени, наконец-то оказалась на авансцене, наконец-то у нее *заглавная роль* – его вдовы. И роль эту, надо сказать, она сыграла (прожила, пропустила через сердце и душу) с блеском, навсегда оставшись в памяти тех, кто стал тому свидетелем, именно как «вдова Мечникова».

Култ Мечникова в СССР возник исключительно благодаря самоотверженности его вдовы. Она написала и опубликовала *его* биографию – на трех языках! Она составила *его* архив. Она перевела на русский все *его* иностранные труды. Она создала *его* музей. Не будь всего этого...

История знает великих жен великих людей. В данном случае – история *великой вдовы* великого человека.

P.S. Великое не есть синоним абсолютного совершенства. «Мосолов говорил вслед ее легкой фигурке: 'Во, наша гимназистка рисовать

пошла'» (Л.С. Врангель). Дело тут не только в девичьем облике, что более глубокое подметил фавьерский казак «от сохи» – по-детски наивное мироощущение старушки-соседки. «Всё вокруг она воспринимала словно молодая девушка, – вспоминал Elie Wollman, – когда в 1943 году моих родителей-евреев депортировали в Аушвиц, Ольга Николаевна утешала меня: ‘Знаете, Илья, в какой-то мере я даже рада за них, Ваша матушка последнее время была такая уставшая, хоть там в лагере отдохнет...’» Родители Elie Wollman погибли в газовой камере.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «Мечников обладал импозантной внешностью русского ученого. У него была львиная голова. Над высоким и широким лбом – грива темных волос уже с проседью, спускавшихся к широким плечам. Длинный мясистый нос, окладистая борода, зоркий взгляд небольших глаз. Роста он был выше среднего. В его позе, в движении грузного тела чувствовалась большая сила, не физическая сила, а та сила, которую ощущает в себе победитель в жизненной борьбе, победитель в творческих начинаниях.» (Анциферов, Н.П. *Из дум о былом*. М.: Феникс, 1992)
2. Мало кто знает, но Ольга – лишь второе имя Анны Николаевны Белокопытовой, в замужестве Мечниковой. Именно Анной ее нарекли при рождении, так она именуется во всех заветаниях своего мужа и в официальных русских и французских бумагах.
3. Например: Vikhanski, Luba. *Immunity: How Elie Metchnikoff Changed the Course of Modern Medicine*. Chicago: Review Press. 2016.
4. Кондаков, Н.П. *Воспоминания и думы*. Прага: Политика (1927). Профессор истории искусств Никодим Павлович Кондаков (1844–1925) и профессор зоологии И.И. Мечников в 1870-е годы оба служили в Новороссийском университете в Одессе. Знакомство И.И. с будущей женой и первые годы молодой семьи проходили у него на глазах.
5. Анциферов Николай Павлович (1889–1958) встречался с Мечниковыми в их доме в Севре в 1911 году, Ольге Николаевне чуть больше пятидесяти.
6. Вольман Илья Евгеньевич (Elie Wollman, 1917–2008) был сыном Евгения Марковича Вольмана – ассистента Мечникова в Пастеровском Институте. Семьи были близки, даже имя мальчику дали в честь недавно скончавшегося мэтра. Elie Wollman хорошо знал Ольгу Николаевну уже 70-80-летней.
7. Далее приводятся переводы из вышедшего первым французского издания книги: Metchnikoff, Olga. *Vie d'Elie Metchnikoff (1845–1916)*. Paris: Hachette. 1920. В СССР книга появилась лишь шесть лет спустя: Мечникова, О.Н. *Жизнь Ильи Ильича Мечникова*. М.: Госиздат. 1926. Причем русский текст местами отличается от французского, на что до сих пор никто из историков и биографов не обращал внимания.
8. В 1869 году 40-летний профессор И.М. Сеченов (1829–1905) предложил Императорской медико-хирургической академии 24-летнего И.И. Мечникова на вакантную должность заведующего кафедрой зоологии. Кандидатура не прошла, и в знак протеста Сеченов из Академии демонстративно уволился. На следующий год уже Мечников ходатайствовал о принятии Сеченова в

Новороссийский университет, Сеченов был выбран профессором физиологии и переехал в Одессу.

9. В академическом издании: Мечников, И.И. *Письма к О.Н. Мечниковой (1900–1914)*. Под ред. А.Е. Гайсиновича и Б.В. Левшина. М.: Наука. 1980. Концовка писем часто опущена, и бесконечные пассажи такого рода заменены многоточием.

10. Водовозова, Е.Н. *На заре жизни*. М.: Художественная литература. 1964.

11. Бекётов Андрей Николаевич (1825–1902), профессор ботаники, вскоре будет выбран ректором Петербургского университета. У них с супругой Елизаветой Григорьевной (Урожд. Карелина, 1834–1902) было три дочери: Екатерина (1855–1892), Александра (1860–1923) и Мария (1862–1938). Средняя, Сашенька, станет матерью поэта Александра Блока.

12. Федорович Людмила Васильевна (1846–1873).

13. месяц Ртуть (*фр.*)

14. Из предисловия к книге: Мечников, И.И. *40 лет искания рационального мировоззрения*. М.: Госиздат. 1925.

15. И даже на *невеликое*: «Если я захочу вкусно поужинать, то выпишу повара-мужчину», – отвечал он журналисту, задавшему вопрос на эту тему. «Он считал гениальность вторичным мужским половым признаком. ‘Женщины, – говорил он, – не создали ничего гениального даже в тех областях, которые были им издревле доступны, как музыка и всякие прикладные искусства, а слишком редкие исключения только подтверждают правило’...» (см. в книге: Metchnikoff, Olga. *Vie d'Elie Metchnikoff (1845–1916)*. Paris: Hachette. 1920).

16. «Благодаря наследству, полученному нами от моих родителей, он имел возможность <...>, подав в отставку из Одесского университета, не искать места, а самостоятельно заняться научной работой.» (Olga Metchnikoff).

17. «Je lui servais de préparateur» (*фр.*)

18. Сон «играл огромную роль в его жизни; малейшее нарушение или сокращение сна отражалось неблагоприятно, мешало работать и вызывало нервность. <...> Он становился раздраженным, и весь его психический облик менялся иногда до неузнаваемости.» (Ольга Мечникова. АРАН Ф.584 Оп.6 Д.5 Л.10-12).

19. «Гостиную Мечниковых украшали несколько полотен Каррьера» (Кругликова, Е.С. *Жизнь и творчество*. Л.: Художник РСФСР. 1969).

20. Из воспоминаний Елены Дмитриевны Россинской (Урожд. Чигагова, 1874–1971), подруги скульптора А.С. Голубкиной (1864–1927), вместе с которой она училась и ездила в Париж в 1897–1899. Цитируется по: Голубкина, А.С. *Письма. Несколько слов о ремесле скульптора. Воспоминания современников*. М.: Советский художник. 1983.

21. Из писем О.Н. видно, до какой степени она была далека от всего, что связано с «результатами» работы живописца: как найти покупателя, организовать выставку, оценить стоимость холста... Всё это было ей абсолютно невдомом и, думается, в то время (1900-е годы) не интересовало вовсе – Мечниковы не нуждались, и средств на «увлечение» супруги у знаменитого мужа вполне хватало.

22. Кругликова Елизавета Сергеевна (1865–1941), график; в 1895–1914 жила в Париже. «Кругликова была такая живая, такая смешная с виду (носатая, похожая больше на стареющего мужчину, чем на женщину) и в то же время такая добродушная и благожелательная, что все ее очень быстро принимались любить и всячески ей это выражать. <...> Она отличалась исключительной живостью темперамента, страстно всем интересовалась, что и позволило

ей устроить у себя в Париже, на улице Буассонад, что-то вроде русского художественного центра, усердно посещаемого не только русскими; была она и очень отзывчива, разные бедняки и неудачники нередко прибегали к ее кошельку. Она же устраивала у себя простодушные балы, из которых мне особенно запомнился один костюмированный, когда весь дворовый садик перед ее дверью был завешан цветными фонариками, а в ее двойной мастерской была устроена сцена, на которой выступали разные любители с шансонетами и монологами. <...> Угощение на таких пирушках бывало в высшей степени обильным, но и совершенно беспретенциозным, 'домашним'. Непременным гостем Кругликовой бывал добродушный Макс [Волошин]...» (Бенуа, А. *Мои воспоминания*. Книга 5, гл. 1 (1905–1906). М.: Наука. 1990.

23. «Секретариха худ. кружка Е.А. Протопопова» (из дневника 1906 А.Н. Бенуа).

24. Шервашидзе Александр Константинович (1867–1968), живописец, график, театральный художник.

25. О.Н. использует фр. слово *ressourcer* – «восстанавливать силы».

26. «Свои поступки молодости понимаешь только в старости, говорил Гёте. О нем мы часто говорили с Ольгой Николаевной Мечниковой, он ее любимый писатель, но она, воспитанная реализмом, ценила его больше как ученого (за его теорию красок), только потом как философа, художника и поэта. А я бы, пожалуй, начала с поэта.» (Тз письма А.А. Швецово́й, 1949.)

27. Кроме чисто «идейных» аргументов (мужа!) против потомства, существовал еще и аргумент чисто физиологический: Екатерина, сестра-близнец О.Н., скончалась после родов, и в ряде воспоминаний встречается, что врачи настоятельно отговаривали ее от беременности, предупреждая о возможной опасности. Сам И.И. придерживался того же мнения («Да, Ваше пророчество исполнилось в грозной форме...» – из письма А.О. Ковалевского к Мечникову от 12 июня 1893 г. сразу после смерти Е.Н. Чистович, урожд. Белокопытовой) и потому неудивительно, что он сильно опасался за жизнь супруги, решишь та, по примеру сестры, на аналогичный шаг («Она [О.Н.] такая эфирная, что просто страшно подумать, как она будет переносить эти способы лечения.» – Там же).

28. Lagrange, Émile. *Monsieur Roux*. Bruxelles: Goemaere. 1954.

29. Delaunay, A. *L'Institut Pasteur des origines à l'aujourd'hui*. Paris, France-Empire. 1962.

30. Копии писем на французском хранятся в Archives de l'Institut Pasteur, DEL.D2.

31. Воспоминания Лили (1970), Archives de l'Institut Pasteur, DEL.D2.

32. По другим данным – 22, но по ряду причин эта вторая датировка вызывает большие сомнения.

33. Прямо напротив Севра, рядом, меньше километра, напрямик через Сену, располагались заводы «Рено», где выпускались снаряды (больше 2 млн. за 1914–1917 гг.), танки и прочая военная техника. Разумеется, именно здесь и сбрасывали свои бомбы немецкие асы и, увы, не всегда точно, так что попадало и в дома мирных жителей.

34. К счастью, не все. В Archives de l'Institut Pasteur, МТО.1 хранится почтовая карточка, подписана она по-французски фиолетовым карандашом, довольно небрежно, как бы впопыхах: «М. Мечникову, Институт Пастера, Париж. – Всё хорошо, дорогой муж мой любимый. Пишу тебе за обедом. Возилась весь день. Всё идет хорошо. От тебя нет письма еще только. Целую. Твоя девочка.» – Штемпель «1 июля 1914».

35. АРАН Ф.584 Оп.6 Д.5 Л.8об.-10.

36. Сегодня И.И. Мечников одновременно и «великий русский», и «великий еврей», и «великий украинец» (Илья Ілліч Мечніков). Его отец был из молдавских бояр, а мать – дочь еврейского литератора (ради второго брака принявшего лютеранство). Родился Илья Мечников близ Харькова, там же окончил университет, ученым стал в Германии и Италии, диссертации защитил в Петербурге, но профессором служил в Одессе. Россию покинул навсегда (и впоследствии официально отказался возвращаться, несмотря на лестные предложения) и почти тридцать самых плодотворных лет работал во Франции, где и приобрел мировую славу (Нобелевская премия); большинство его научных статей и книг написаны на немецком и французском (перевод на русский делала его жена)... Всю жизнь, от рождения и до смерти, Илья Мечников оставался «подданным Российской Империи».
37. Archives de l'Institut Pasteur, DEL. D 2.
38. АРАН Ф.584, Оп.6.
39. Тарасевич Лев Александрович (1868–1927), один из учеников И. Мечникова, иммунолог, эпидемиолог, микробиолог, патолог и, что важно, блестящий организатор здравоохранения и медицинской науки. В 1920–1927 гг. – директор Государственного института народного здравоохранения им. Пастера.
40. Из предисловия: «Картина работы научной мысли правдиво освещена автором на фоне общественной и политической жизни, среди которой она развертывалась. <...> Правда, автор биографии писала ее вне России, в далеком Париже. Она не пережила с нами отвратительной картины разлагающегося царского режима, ее не было среди нас, когда этот режим свергался, она не пережила с нами Октября и гражданской войны, она не дышала воздухом, не мыслила думами Советской России. И это не могло, конечно, не отразиться на самой книге. Вследствие этого в тоне ее повествования часто слышатся уже чуждые нам мотивы...».
41. Первоначально О.Н. мечтала открыть музей Мечникова в его собственной лаборатории Института Пастера (как, например, французы сохранили в неприкосновенности лабораторию Лавуазье). Обещания давали, но свободного помещения не было, а строительство нового здания откладывалось.
42. *Музей памяти И.И. Мечникова*. М.: Госмедиздат. 1930. – «Настоящая книжка издается по постановлению Научного совета Государственного научного института народного здравоохранения от 21 марта 1928 г.»
43. Удостоверение «на возвращение в Париж» подписано лично Наркомом здравоохранения Н.А. Семашко – АРАН Ф.584, Оп.6, Д.17.
44. АРАН Ф.584 Оп.6 Д.5 Л.10-12.
45. Колотилова, Н. «И.И. Мечников и музей его памяти (к 100-летию со дня смерти)». «Жизнь Земли». 2016, вып. 38, № 1.
46. Версальский мирный договор, положивший конец войне между Германией и антигерманской коалицией, был подписан в Версале 28 июня 1919 года.
47. Метальников Сергей Иванович (1870–1946) – зоолог, иммунолог, эволюционист. Его карьера началась еще в 1890-х, и до революции он неоднократно работал в ведущих европейских лабораториях, в том числе и во Франции. В 1919 году пятидесятилетний проф. Метальников приехал в Париж по личному приглашению директора Института Пастера.
48. АРАН Ф.584 Оп.6 Д.134 Л.1-2.
49. Уже уехавший из России брат Николай Николаевич Белокопытов (1865–1929).
50. АРАН Ф.584 Оп.6 Д.135 Л.4-5об.

51. АРАН Ф.584 Оп.6 Д.135 Л.6,7.
52. АРАН Ф.584 Оп.6 Д.140 Л.1.
53. В Послужном списке поручика Белокопытова В.Н., хранящемся в РГВИА, значится дата рождения 21 марта 1868 г., хотя во всех других источниках неизменно упоминается год рождения 1867 г.
54. <https://simeiz.gardenacademia.com/villas/belokopyitova/>
55. Пришвин, М. *Крым – «Ранний дневник» (1905-1913)*. СПб., Росток. 2007.
56. Белокопытов Александр Николаевич (1879–1919).
57. Белокопытов Николай Николаевич (1865–1929).
58. Белокопытов Владимир Николаевич (1863–1909).
59. Белокопытова Ксения Николаевна (1870–1942) вышла замуж за профессора Киевских высших женских курсов Алексея Григорьевича Радзиевского (1864–1934). В 1919–1921гг. (до переезда в Киев) А.Г. служил профессором кафедры общей хирургии медицинского факультета Таврического университета, а затем возглавил кафедру госпитальной хирургии Киевского медицинского института.
60. Баронесса Врангель, Людмила. *Воспоминания и стародавние времена*. Вашингтон, Изд. Victor Kamkin Inc. 1964.
61. Станюкович, Н. «Саша Чёрный». Париж, «Возрождение», 1966, № 169.
62. АРАН Ф. 584, Оп. 6. Автор благодарит Сергея Щербинина (Петербург) и Наталью Комиссарову (Москва); Archive Institut Pasteur МТО.1, Sandra Legout (Париж); Archive «Saada Collection», Luba Vikhanski (Тель-Авив).

Париж

К 100-ЛЕТИЮ НАУМА КОРЖАВИНА (1925–2018)

Эпоха длиною в жизнь

В этом году мы отмечаем 100-летие со дня рождения поэта Наума Коржавина (1925, Киев, СССР – 2018, Дарем, США). Трудно сегодня предсказать, что когда-то в Бостоне «Новый Журнал» пышно отмечал его юбилей, – так, кажется, давно это было, столь радикально изменился мир и мы. Обратившись к многочисленным публикациям поэта и мемуариста на страницах нашего журнала, в том числе к его забытой сегодня «Поэме греха» (НЖ, № 116, 1974), мы лишний раз убедились, как современно звучат они в контексте наших дней. В одном из интервью 2015 года Коржавин заметил: «Еще в 1972 году в 'Поэме греха' я писал о нас, о нашем общем, а не одного лишь Сталина грехе...» Предлагаем читателю вновь погрузиться в ту давнюю публикацию «свежего иммигранта» Коржавина. Предваряем поэму отрывками из юбилейного интервью Наума Моисеевича «Новому Журналу», опубликованного к 80-летию поэта в 2005 году.

– Думаю, Наум Моисеевич, мы не найдем в русскоязычной диаспоре человека, который не знал бы, кто такой Коржавин. Вы и сегодня, в свои 80 лет, много печатаетесь, активно выступаете, поэтому брать у Вас интервью – сложно. Но я не стану выдумывать каких-либо оригинальных журналистских ходов и не начну раскрывать неведомые тайны Коржавина. <...> Вот что мне интересно: Ваша жизнь вместила в себя целую эпоху – эпоху советского государства. Оно Вас не жаловало, да и Вы его тоже. А как складывались сначала ваши отношения?

– Родился я, как теперь выясняется, очень давно. В 1925 году, 80 лет назад. Родился в Киеве. Мать была зубным врачом, профессию свою выбрала от общей тогда тяги к образованию. Отец мой, Моисей Мандель, образования не имел, был он духовного происхождения. Из семьи отец ушел еще до революции, по принципиальному, так сказать, несогласию. По рождению он должен стать цадиком, чего не захотел. <...> Так что воинственным безбожником он не был, но был абсолютно убежден, что Бога нет. Его антирелигиозные взгляды были твердые, но примитивные. <...> Мы сегодня плохо представляем, как жили и мыслили тогда люди. Даже история большевизма в этом смысле интересна. Для нас в ней – одни жулики. А это неправда. Самую страшную роль сыграли вовсе не жулики. <...>

– Что Вы помните из довоенной жизни?

– Голод. В Киеве это здорово ощущалось. Люди лежали на улицах, просили хлеба. Я еще маленьким был, дети ведь всё в жизни воспринимают как данность. Умирающих людей на улицах города я тоже принимал за норму, правда, мама учила меня, что грязным быть нехорошо, и нищета меня удивляла. А отец очень переживал. Он говорил:

«Я понимаю, идея красивая (то есть – прекрасная, это он так с еврейского перевел), но люди на улицах умирают». А большинство людей в те годы старалось как-то оправдать для себя голод – мол, это – лодыри, а вообще колхозники стали жить хорошо. Нам всегда пудрили мозги. Было большое желание верить во что-то хорошее. Какая-то совершенно тупая жестокость.

Думаю, Сталин действительно хотел этих мужиков уничтожить. Это не был геноцид в том смысле, что не уничтожались специально украинцы. Но это был геноцид крестьян – за то, что крепкие, что работать на земле умеют. Вообще, мне кажется, он крестьян боялся. Для киевлян были организованы карточки, но у деревенских-то их не было. И их не пускали в Киев, они пробирались нелегально (это я уже позже узнал). Мне рассказывал очевидец, мой друг Володя Левицкий, ныне уже покойный. Сам Володя – из семьи украинских интеллигентов. Его отцу, когда начались гонения на интеллигенцию – до голода еще, посоветовали уехать в деревню. Начался мор... Кстати, Володя заикался. Я сначала не обращал на это внимание. А потом узнал от него: когда начался мор и еды не стало вовсе, отец куда-то поехал и привез мешки с едой. Они попрятали еду в какие-то укромные местечки, заперлись и из дома не выходили, а вокруг уже начались случаи людоедства. Кругом ходили люди и кричали: хліба, хліба... Страшное дело: вот если я тебе отдам хлеб, я сам умру, а не отдам – ты... Ставить людей перед таким выбором нельзя. Тогда Володя и начал заикаться: он боялся, что его украдут и съедят. Потом отцу Володи удалось добыть паспорт, он взял сына в Киев. Когда они подъехали к пригородам, в вагон вошли контролеры – у кого не было пропуска, тех выгоняли, на голод.

– В 30-е годы, в разгар репрессий, Вы были еще мальчиком. В общей атмосфере жизни ощущал ли ребенок их?

– Во-первых, меня самого преследовали. Я хоть и маленький был, но крайне неудобный, слишком искренний. Скажем, я активно боролся против мещан. Я полагал, что вокруг воцарилась атмосфера торжествующего мещанства, которое губит чистую идею коммунизма. Все казались очень неискренними. Учителя – неискренние; я – балбес, а они – неискренние.

Мы родились в большой стране, в России.
 Как механизм губами шевеля,
 Нам говорили мысли неплохие
 Неверившие в них учителя...

Вот так писалось. Казалось, бюрократы-мещане захватили власть, а вот честных коммунистов – их сажают. Так воспринималось. Я мало что знал, но в атмосфере что-то витало, я это чувствовал. Словом, меня из школы исключили. <...> Но что я хочу заметить. Странное дело – в Киеве в те годы еще оставались люди, которые в

Гражданскую воевали в Белой армии, люди из «бывших», – но я их не видел, не ощущал. Врагов социализма – настоящих, не выдуманных НКВД, как-то не было видно, этих людей я встретил лишь здесь, в эмиграции. А ведь и Ольга Анстей – дочка белого офицера – в Киеве тогда жила, и Валя Синкевич – внучка царского генерала... А мы жили – как будто никаких белых вообще никогда не существовало. У нас свои враги народа были. И это тоже – сталинская идеология... Фантастическая, придуманная жизнь, которой мы жили.

– *Это она сейчас воспринимается как надумь, или и тогда ощущались какие-то несоответствия?*

– Несоответствия были на уровне: «что-то портит идею». Но что всё вообще – фантастика, – нет, этого не чувствовали! Ведь я потом, после исключения, ходил даже правду искать – и в райком партии, и в обком. Там мне даже помогли.

– *Вы говорите, что в идею все верили. Но прошло ведь всего 20 лет после революции – только одно поколение сменилось, откуда же эта вера? Ведь еще жива память, 20 лет – это же ничто! А фанатизм! Посмотрите на старые фильмы – какой энтузиазм! – и, кажется, не совсем напускной, вот и Вы свидетельствуете, что энтузиазм был.*

– Оптимизм был, да. Понимаешь, идея революции – благо народа, – это оказалось тотальным. В такое благо верили почти все. Русский человек ведь совестлив. Конечно, старикам было с чем сравнивать – моего дядю потому и убили, что сравнивал. Он не хотел эвакуироваться из Киева, когда началась война, – не верил большевикам. До революции дядя был хороший хозяин, маклер... В политику он не лез, но хозяйственные промахи советской власти его раздражали.<...> Но большинство, и особенно молодые, верили в коммунистическую идею – и долго верили. Скажем, я... Сталина я, правда, всегда недолюбливал, он мне неприятен был чисто по-человечески. Для меня в те годы верным признаком было: если мне кто-то из лидеров симпатичен, Сталин его уберет. И тем не менее вера в идею – жила. Если кто сейчас говорит, что всё при советской власти одной краской было крашено – неправда. Конечно, если оценивать в понятиях добра и зла – то, может, так оно и есть, но я за это не берусь. Может, оно и было – всё зло. Но в это зло некоторые люди искренне верили, следовали в жизни какому-то кодексу чести...

– *И тем не менее, если ты служишь разрушительной идее, а именно такой мне представляется идея коммунизма и социализма, ты всё равно разрушаешь жизнь...*

– Да, разрушали. Но лично себе – нет, никакой выгоды и даже – жертвенность в служении идее. А потом что началось?.. Я сформулировал бы это так: самое страшное для человека – не идейность (хотя в ней созлазн), страшнее – безыдейность. И, между прочим, безыдейность – это не отсутствие идеи, безыдейность – это отсутствие идей при декретированной идейности. Вот это самое страшное.

– То, о чем Вы раньше писали: идеократия без идеи...

...эта порча – надолго. Люди привыкли лгать. Это стало их профессией. Мы же не можем сказать, что обязанностью царского чиновника была ложь – он мог быть плохим чиновником, мог ошибаться, но он не лгал от имени государства – просто не имел на то права. А при Сталине возникла *обязательная* всесторонняя ложь. В ней воспитывались дети, она становилась рабочим стилем, внедрялась в сознание. Настоящая дьявольщина.

– *Расскажите, как конкретно Вас арестовывали?*

– Понимаешь, у меня такое ощущение, что в моем аресте сыграл свою роль человек, которого я даже никогда не видел, – Петр Павленко, писатель-сталинист, нынче забытый, а в те времена – четырежды лауреат Сталинской премии. Роман с МГБ, правда, у меня уже протекал. Меня вызывали, мы беседовали – я ведь активно выступал со стихами, проявлялся – это не могло не вызвать ко мне особого интереса. В том году мне дали путевку в Дом творчества. Был у меня друг в Симферополе, хороший человек, фронтовик Саша Есин. Саша дружил с Павленко. И тот прочитал мое стихотворение:

Будем строчки нанизывать, посложнее, попроще,
Но никто нас не вызовет на Сенатскую площадь,
И какие бы взгляды вы ни старались выплескивать,
Генерал Милорадович не узнает Каховского....

По тому времени стихотворение не могло быть напечатано, но оно ходило по рукам. Павленко не был подлецом, человек он сложный, может, таким образом он просто устраивал какие-то свои дела. Удивительно, но еще в Ялте, до ареста, мне приснился сон, что меня арестовывают. Будто я где-то живу, а ко мне заходят из МГБ, а я думаю: как же так, я ведь ни в чем не виновен... Вернулся в Москву – и тут началось странное: я почувствовал некоторую изоляцию. Вот ты подходишь к приятелю поболтать, а он вдруг – ты прости, я сейчас очень занят... и второй, оказывается, занят, и третий... То есть всем, кто был вокруг меня, «намекнули» – и люди испугались. Вокруг меня образовалась пустота. Только однажды, уже незадолго до моего ареста, ко мне подошел Григорий Поженян, поэт-фронтовик, и сказал, что его и пару ребят вызывали – ты, мол, учти, вокруг тебя такое собирается... Потом меня разобрали за какую-то выдуманную провинность на партбюро – думаю, они хотели показать «там», что «приняли меру». Потом секретарь партбюро (он был красный партизан, командовал полком) невзначай сообщил мне: «Товарищ Мандель, мы за Вас боремся!» А я вообще не понимал, в чем дело.

И вот однажды, после очередного выступления, я вернулся в общежитие, лег спать. На соседней койке спал Расул Гамзатов – был он пьян и не проснулся, когда за мной пришли, проспал, так сказать, всю сцену моего ареста. Я заснул. Вдруг меня будят. Открываю глаза,

надо мной – выражаясь языком Алексея Толстого – «лазоревый полковник». «Ваша фамилия?» – Я отвечаю. – «Простите, у меня ордер на ваш арест». И протягивает мне ордер. У меня строчки перед глазами заплесали. – «Оружие есть?» – «Пулемет под кроватью». Он как закричит: «Не шутите!» На мой пулемет он обиделся; он-то в моем аресте не виноват – служба такая. Потом они долго всё осматривали – где у меня стихи... А мои стихи я не прятал, я их раздавал читать самым разным людям, у нас в комнате было 20 человек, полный бардак, держать вещи и бумаги негде... Я за них и не держался. И вот гэбэшники поехали по адресам забирать стихи.

Как я сидел в тюрьме – это я описал в своих мемуарах. Когда я вышел из заключения, у меня не осталось ненависти к следователям, хотя они и занимались страшной работой. Но они были обычные советские люди. Хотя многие советские люди увернулись от такой работы – а эти работали. Может, они даже и верили, что с врагами борются... А на самом деле они занимались фальсификацией. За всё время, что я сидел, я не видел ни одного человека, который по законам любой другой страны, любой системы мог быть арестован. Максимальная «вина» – был в плену. Главная задача следователя состояла в истолковании. Со мной сидел математик Минухин. Его страшивают: «На каких позициях Вы стояли в период с февраля 17-го по Октябрь?» – «Ни на каких, мы кончали гимназию, с девушками дружили, большевиками я не интересовался.» – «Ну, тогда запишем: я стоял на позициях меньшевизма.» Это и была литобработка. Что я быстро понял, потому как сам был литератор. И потому мне удалось разрушить их метод работы: «Ничего не знаю, ни в чем не виноват». <...>

– И сколько Вы были в ссылке?

– Вместе в тюрьмой – три года. В Сибири, Михайловский район, деревня Чумаково. И была мне эта деревня абсолютно ни за что. Да и для всех, кто в такие же деревни и лагеря был отправлен, – ни за что. Скажем, вот такой человек, как агроном Богданов. Интеллигентный человек. И спутали его с тем Богдановым, которого еще Ленин ругал за эмпириокритицизм. Главный аргумент против него – при обыске найденная газета «Правда» за 1926 год, в которой статья о Троцком. Он двадцать лет назад эту газету прочел и забыл выбросить. Вот и получил свою статью «За хранение антисоветской литературы». Со мной сидел Ваня Смородин, деревенский парень. История его такова: приехал Ваня учиться в местную столицу Белебень в техникум; как-то раз сидел он со всеми, обедал, кто-то и говорит: «А помнишь такого-то? – его посадили». И Ваня произнес: «Жалко, хороший парень». И всё. Лагерь. Кто-то сидел за то, что жил в Кишеневе и имел свой ресторан... Чудотворчество! И мы жили в этой атмосфере, в которой всё было пронизано ложью.

– А как ваша жизнь шла после Сталина?

– Мне не хочется пропускать годы ссылки, когда я жил в деревне. Я же там не представитель начальства был, а жил, как все дере-

венские. И жизнь их была открыта передо мной. Настоящая жизнь. В деревне ведь не было агентурной работы. По отношению к ссыльным – была, а деревенские просто жили. И за то, что они говорили ежедневно, за то, что думал русский народ, – его можно было весь пересажать и сослать!

– *Вроде и сослать некуда – уже в Сибири! Расскажите немножко о чумаковцах.*

– Помню такой случай. Прислали мне сто рублей. Тогда это были гигантские деньги. Зашли мы с приятелем Ваней Смородиным в сберкассу положить мою сотню – я боялся, что ее украдут. Там сидела милая девушка и два парня, просто зубоскалили. Появляемся мы – новая пожива. «Ты откуда?» – «Из Москвы». – «Где работал?» – «Не работал. Учился в Литературном институте». – «А ты про нас напиши – еще дальше поедешь».

Или – жена начальника МГБ районного, хорошая баба, кстати, простая и добрая. Пошли к ней ставить плетень (она накормить обещала) и видим: привозит ей бочку воды такой дядя Вася, конюх, она говорит: «Василий, привези еще бочку, я стирать буду». Он ей: «Погоди, я сейчас к лесничему, а потом – к тебе». А она: «Ты что – забыл, как мой Коля тебя от колхоза спас? Ну, погоди, Коля вернется – мы тебя в колхоз загоним!» И кричит она эти слова на всю площадь деревенскую... Народ просто жил – и идеологию под эту свою жизнь тоже подстраивал.

– *Раз мы затронули тему идеократии и идеологии – почему, как Вы думаете, пала система? Она же не механически распалась: Сталин умер – перестали бояться, Хрущев вышел и всё отменил.*

– А на мой взгляд, это – существенно. Потому что система была подстроена под Сталина, была во имя Сталина. И на нем держалась. А когда он умер – всё начало рассыпаться на другой же день. Вот у Наполеона была система шире его самого. Наполеона убрали – но остался «Кодекс Наполеона». А от Сталина – ничего, кроме полумных поклонников.

– *Хорошо, Наум Моисеевич, давайте вообразим, что Сталин умер на 20 лет раньше, в 30-е годы. Что, система всё равно бы распалась?*

– Понимаешь, при том, что я отрицаю большевизм от начала и до конца, говорить, что от начала и до конца организованная большевизмом система была едина – не совсем верно. Много было общих элементов, которые Сталин использовал для себя, но при нем сама обстановка жизни стала другой. И до него были убийства, террор, но оставались старые большевики, которые верили в чистоту идеи. В годы моей молодости всё уже было другим. Сталин не переродил, он *подменил* систему. Он подменил людей. Ведь если он был в чем-то великий человек, так это – в умении обращаться с собственной партией. В партии было единственное живое явление – Бухарин; Троцкий – тоже неживой. У него были и идеи, и горение, но на жизнь

реагировать он не умел. А Бухарин очень живо реагировал на жизнь, в частности, на сталинщину. Он был против коллективизации, например. Ведь чем страшна коллективизация? – Не только жертвами и разоренным хозяйством. Она страшна тем, что был создан тип руководящего работника, который понимал террор как единственный способ управления хозяйством.

<...> *О том, что Сталин имел созидательную программу развития культуры. Эта мысль, кстати, не нова, она до сих пор греет душу верным сталинистам. А Вы что думаете по этому поводу?*

– Сталин действительно интересовался литературой. Но он не просто опекал культуру, он хотел руководить ею. Власть везде и во все времена более-менее опекает искусства, но на этом основании она не должна запрещать то, что ей не по душе или не по программе. Государство вообще не должно заниматься литературой. Оно может отметить то, что, на его взгляд, совпало с государственной задачей (и что еще не является гарантом художественного качества), может наградить – но не руководить. То, как складываются сейчас в России взаимоотношения государства и искусства, в некотором смысле – лучше, чем при советской власти. Может, не самых достойных выделяют – это другое дело. Но при Сталине государство не опекало – оно *командовало* искусством. Да, Сталин действительно не хотел убивать Мандельштама – он просто не был для «вождя народов» фигурой нужной величины. Да, исполнители сталинской системы довели историю с Мандельштамом до некоего логического конца – и поэт мертв. Мелкие людишки? – Но поставил их Сталин, вышколил их Сталин! Сама система, когда можно убить/не убить поэта или просто гражданина, – порождена Сталиным. Такая вот «сложная фигура».

Сталин занимался литературой. Ленин, например, занимался только политикой, для него и Толстой был лишь «зеркалом революции», а Сталин – занимался, да еще как! Потому писателей сажали за книги именно при Сталине, а не до него. Скажем, я Бабеля не очень люблю как писателя. Но если сажать всех, кого я не люблю?.. Чувствуете?.. Нет, то была настоящая дьявольщина. Вполне многомерная дьявольщина.

– *Наум Моисеевич, но не началось ли всё с Ленина? Я даже допускаю, что он мог верить в победу мировой революции, но ведь именно он разрушил Россию. И я-то, грешным делом, думаю, что его больше всего увлекала даже не идея мировой революции, но идея власти.*

– Я так скажу: началось всё, конечно, с Ленина, он столкнул Россию в пропасть. Но все эти старые большевики верили в правильность идеи. И, конечно, для Ленина личная власть была важна, но потому, что он считал, что лучше других знает, как делать. Я думаю, у него не было потребности во *властвовании*. Ему не надо было, чтобы при его появлении все вставали. А Сталин сделал это жизненным стилем. Правительственная ложа, льготы. Я ничего не имею против правительственной ложи как таковой – но не в борьбе за равенство!

Конечно, и Ленин, и Троцкий Россию столкнули... Но неверно говорить, скажем, о Троцком, что он предал Россию, подписав Брестский мирный договор. Да он в Россию никогда и не верил! И не думал о ней! Троцкий верил только в коммунистическую идею и большевизм, а Россия здесь была ни при чем. Его предательство, так сказать, – более масштабное, а внутри своей конкретной идеи он вполне последователен.

– *Вы постоянно в своих публицистических статьях говорите: сталинизм – жив и с ним надо продолжать борьбу. Так что же именно живо?*

– Жив бездумный фанатизм. Сталин был большой специалист по массовой психологии. Пастернака, скажем, он почему не посадил? – Все говорить начнут, если посадить Пастернака, а не посадить – Пастернак, вроде, не так уж и вреден. Сталину удалось создать такую обстановку, когда искусство действительно заработало на него. О чем еще мечтать руководителю идеологического государства?! И со смертью Сталина жива не система – живы наследники системы. Для которых его установки так же идеальны, как для самого Сталина. Это особый тип людей. Мне, скажем, стыдно, что я долгие годы хорошо относился к Ленину. Но со Сталиным иначе: мне стыдно самого факта, что я жил при нем. При Сталине жить нельзя было. <...> ...нельзя себя винить, что родился именно тогда-то, а не раньше или позже. Но когда мы начинаем жить, то невольно стараемся реализовать себя в обществе, это нормально. <...> Для нас сталинщина – страшнее, чем нацизм для Германии. В нацизме позже большинство раскаялось. А в чем может раскаяться Ельцин? От себя-то он ничего не делал, делал от государства. И сыграл страшную роль. Теперь многие говорят: при Ельцине было больше демократии, значит, он был лучше. Нет, не был. Он разложил страну. Ельцин – это была чистая демагогия. <...>

– *А Горбачев?*

– Горбачев много хорошего сделал. Но он ведь в принципе плохо понимал, что делать. Хотел честного социализма... Понимаешь, для собственного нормального развития вся эта компания наших лидеров сначала должна была реабилитировать для себя коммунизм, приобрести идею, так сказать, а потом от этой идеи отказаться, перерасти ее. Это – нормальный эволюционный путь развития. Я прошел трудный внутренний путь – отказался сначала от Сталина, потом от Ленина. Понимаешь, когда под видом коммунизма подают какую-то абракадабру, должно прежде освободиться от этой абракадабры. И только потом начинаешь понимать, что есть жизнь. <...> Нет, мне страшно за Россию.

*Интервью взяла М. Адамович, специально для НЖ,
№ 240, 2005*

Наум Коржавин

Поэма греха

Мы живем, зажатые железной клятвой.
За нее на крест, и пулями чешите.
Это чтобы в мире – без России, без Латвий
Жить единым человечьим общежитьем.

В. Маяковский. «Товарищу Нетте»

...И дружеский резец
Не начертал над русской могилой
Слов несколько на языке родном.

А. Пушкин. 19 октября

Прельщались в детстве мы железной клятвой:
Жить общежитьем – без России, без Латвий.
Об этой клятве все тогда твердили.
Но мы верны ей и позднее были,
Когда – мы это тактикой считали, –
Твердить об этом, в общем, перестали.
Мы поверяли верность этой клятвой.
А нам и дела не было до Латвий!

Что значило для нас на фоне Цели,
Что Латвия живет и в самом деле,
Что ей чужды все наши упования,
Но слишком сладок миг существованья.
Вне Ордена, вне Ганзы, вне России,
Считай, за всю историю впервые.
И что ее, вкусившую начало,
Судьба исчезнуть вовсе не прельщала.

Наоборот! Как долг велит Державе,
Она искала подтвержденья в славе
И памятники ставила в столице
Тем, кто помог ей от врагов отбиться, –
Чтоб жить без нас, без дури вдохновенной,
Жить, не страшась судьбы обыкновенной,
Кады, как люди, из приличья Марсу:
Без бранной славы что за государство?
Пусть кто другой, а мы судить не можем,
Велик ли в том размах или ничтожен.
Что ведаем в своем упорстве диком
Мы о величьи? – Грех наш был великим.

Да, грех. И наш – хоть мы всегда роптали.
 Но понимали ль мы, о чем мечтали?
 Вот Латвия. Мы здесь. Мечты – не всуе.
 ...Что ж грустный Братским кладбищем брожу я?

На серых плитах – имена и даты.
 Здесь спят в строю латышские солдаты,
 Носившие в бою не наше Знамя,
 Погибшие, возможно, в схватках с нами.
 Они молчат. Я – надписи читаю.
 Здесь всё другое. Здесь – страна другая.
 Здесь занята, как встарь, сама собою,
 Она упрямо чтит своих героев.

На серых плитах – имена убитых.
 Что ж нет имен на некоторых плитах?
 Они – пусты. Их вид – предельно гладок,
 Поверхность – стёрта...

Наведен порядок

И в царстве мертвых... Спавший под плитою,
 Как оказалось, памяти не стоит.
 Он к нам до смерти относился худо,
 И как бы депортирован отсюда.

Всё это – Сталин. Все упреки – мимо!
 Но кем мы сами были? Что несли мы?
 Что отняли у всех? И что им дали?
 И кем бы стали, если бы не Сталин?
 И без него – чем, кроме дальней Цели,
 Мы сами в жизни дорожить умели?
 И как мы сами жили в эти годы,
 Когда он депортировал народы?

* * *

Что́ в этом «мы»?.. Намек ли на идею,
 С которой, чем честней мы, тем грешнее?
 Наверно, так... Но сам не знаю, прав ли:
 Кто был честней, тот был от дел отставлен...
 И всё же – мы. Все. Кто сложнее, кто проще...
 Был общим страх у нас, и грех был общим.
 «Мы» – это мы...

Пустая злая сила,

В которую судьба нас всех сплотила.
 Мы жизнь творим. Нам суд ничей не страшен.
 Что значит: «Это кладбище – не наше?»
 Оно – мемориал. И он – освоен.

Обязан каждый памятник, как воин,
Служить лишь нам. Лишь мы одни по праву
Наследники любой геройской славы.
Мы – это «мы»...

Лежит плита над мертвым.
А на плите цветок, хоть имя – стёрто...

...Знать, кто-то здесь бывает временами,
Кому плита без букв – не просто камень.
И кто глазами строгими своими
Читает вновь на ней всё то же имя,
Знакомое ему, а нам – чужое.
Кто в снах тяжелых видит нас с тобою
И ту плиту. И ненавидит – страстно.
...А кто другого ждал, тот ждал напрасно...

В его глазах всегда пустые плиты.
Жаль, от него навек, пожалуй, скрыты
Мы. Наша боль. Все взрывы нашей воли.
Проклятье века – разобщенность боли.
Плевать ему теперь на наши взрывы!..
Что делать, жизнь не слишком справедлива,
И лучше быть поосторожней с нею...
...Средь старых плит есть плиты поновее...

* * *

Взгляни на них, и мир качнется, рушась.
Латинский шрифт: «Бобровс»... «Петровс»... «Жирюшинс»...
Бобров!.. Петров!..

Так, только так вас звали.
Чужих обличей вы не надевали,
Не прятались за них на поле бранном.
Вы невиновны в начертаньи странном
Своих фамилий... Долг исполнив честно,
Не вы себе избрали это место.
Привыкнув за войну к судьбе солдатской,
Могли б вы дальше спать в могиле братской,
А спите здесь, меж этих плит немилых,
На кладбище чужом, в чужих могилах, –
Где кто-то спал до вас, нам жить мешая,
Где ваш покой смущает боль чужая,
Как будто вы виной... А вы – солдаты,
Вы ни пред кем ни в чем не виноваты.
Вселил вас силой на жилплощадь эту
Без спросу –

Член Военного Совета,

Иль кто-то равный, ведавший уделом.
И вряд ли сознавал он, что он делал.
Он только знал, что есть на то решенье,
Как в прошлом был приказ о возвышеньях
Его внезапно... И как вся карьера, –
Весь опыт жизни и основа веры.

Конечно, мать седой тут сразу б стала.
Но ведь она была всегда отсталой.
Неграмотной... И всех жалела глупо...
Ну, где ей знать, что трупы – только трупы,
А жизнь – борьба... Всё, что, спеша к вершинам,
Усвоил сын, хоть был хорошим сыном.
Еще б живых жалеть!.. А трупы – ладно! –
Пусть служат агитации наглядной.

Простите нас, лишённые покоя!
За всю планету пав на поле боя,
Лежите каждый вы в чужой могиле,
Как будто вы своих не заслужили.
И мимо вас, не подавая виду,
Пронесут люди горечь и обиду,
Глядят на вас, и тяжёлый взгляд, и всё же –
Простите нас!.. Его простите – тоже.

Простите. Не со зла он делал это.
Он просто точно знал, что Бога нету.
Кто предсказать бы мог, чем станет позже
Российских бар игривое безбожье,
И «Либертэ», и опьяненность целью...
У них был хмель, у нас всю жизнь – похмелье.
Над нами он, свой долг блюдуший строго.
...Но в чем он видел долг, служа не Богу?

Во что он верил, путаясь во взглядах?
Скорей всего, в назначенный порядок, –
Где ясно всё, где мир жесток и розов,
Где *никогда* не задают вопросов.
Или короче – в твердые начала,
В то, что его над жизнью возвышало
И открывало путь в любые дали...
Чему основы знал не он, а Сталин.

* * *

И в этом состоянии очумелом
Мы жили все. И шли к чужим пределам,

И, падая в бесславье с гребня славы,
Смотрели тупо, как горит Варшава,
Как Сталин ждет, что Гитлер уничтожит
Тех, кто и с ним не согласиться сможет.
А позже с тем же, в танках, в ночь без света
Спешили в Прагу, чтоб закрыть газеты.

И так всю жизнь. Летим, как в клубах пыли,
Топча весь мир... За что? Зачем?.. Забыли!
Но нас – несёт!.. И всё нам мало! Мало!
И гибнет всё, на чем бы жизнь стояла,
И гибнем мы, зверея, как стихия,
И лжем – чтоб думал мир, что мы – другие,
И спятил мир, обманут нашей ложью,
И, доверяясь нам, звереет тоже.

И кажется, что чорт завел машину
Внутри Земли. И бросил ключ в пучину.
И – крутит нас. Мелькают, вместе слиты,
И Пешт, и Прага, и пустые плиты,
И я, и Член Военного Совета, –
Хоть он следит, чтоб не открылось *это*,
А *что* – не знает. Ложь неся, как Знамя,
Он сам обманут. Может быть – и нами.

Кем были мы? Не всё ль равно, кем были?
Мы все черты давно переступили.
И – нет конца. Всё лжем, зовем куда-то.
И с каждым днем всё *далее* час расплаты,
И всё страшней, и возвращенья нету,
И верят нам, и – хуже топи это,
И вырваться нельзя своею силой...
Спаси, Господь!.. Прости нас и помилуй.

«Новый Журнал», № 116, 1974

ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА

Лариса Вульфина

Художник Федор Рожанковский*

ФРАНЦИЯ. 1935–1941

Продолжая рассказ о жизни Федора Рожанковского во Франции в предвоенное десятилетие, невозможно не остановиться подробнее на личности его соседа по Плесси-Робинсон – Владимира Сосинского¹. Известный прозаик и критик, участник Белого движения, В. Сосинский жил в эмиграции с 1922 года и был преданным другом М. Цветаевой и А. Ремизова². Переписка с ним занимает особое место в эпистолярном наследии художника.

Длинные многостраничные послания двух приятелей с авторскими рисунками, газетными вырезками и коллажами из журналов, а также видовые почтовые открытки со штемпелями самых разных стран и городов, позволили восполнить множество неизвестных событий и фактов в жизни как художника, так и писателя. Поэтому в ходе нашего повествования часто будут звучать слова самих авторов писем, ведь цитаты «от первого лица» вернее любого пересказа. Ценность этой корреспонденции заключается еще и в том, что в ней представлены письма как исходящие, так и ответные. В течение долгих лет дружбы В. Сосинский был счастливым обладателем целой коллекции оригинальных писем Рожанковского, которые по сути являются эпистолярными художественными произведениями – до 160 страниц «ин фолио», многие из которых украшены дивными красочными иллюстрациями³. Часть писем поступила в архив Рожанковского от Сосинского после смерти художника, другая была собрана и передана семье его внучатой племянницей Натальей Папчинской⁴.

Впервые Рожан и Сосинский встретились во Франции в 1933-м году и с тех пор были неразлучны до последних дней – даже когда их разделял океан. Спустя почти четыре десятилетия в своих воспоминаниях Сосинский расскажет о первом знакомстве с Рожаном:

«Первая моя встреча с Ф.С. Рожанковским произошла, когда мне было лет 14. Я учился в I реальном училище на Васильевском острове в Петербурге, в том самом здании, где когда-то были школьниками Гаршин и Надсон, порт-

* Продолжаем публикацию глав из новой книги Л. Вульффиной, американского исследователя истории культуры эмиграции, о Ф.С. Рожанковском (1891–1970), известном франко-американском художнике, русском эмигранте. См. НЖ, №№ 318, 319, 320, 2025.

реты которых – помню их бархатные однобортные пиджаки – висели в нашем актовом зале. Шла Первая Мировая война. Весною 1915 года для выпускного бала в нашей реальке я рисовал концертные программки, по моде тех дней, украшая их батальными сценками. Делать с натуры эти сценки я не мог. И мне приходилось, слегка меняя расположение бойцов и коверкая другие мелочи, воровать их из ура-патриотического еженедельника ‘Солнце России’. Из всех художников этого журнала меня больше всего привлекал своей мягкостью, стремительностью линии и своим радостным отношением к жизни Федор Рожанковский, печатавший в нем наброски тушью и акварелью с переднего края войны. В Париже, уже в возрасте за тридцать, мне было нелегко связать имя любимейшего художника моего отрочества с именем Ф. Рожана, которое я встретил на обложках самых нарядных для того времени книг для детей в издании ‘Пэр Кастор’: на этих книгах – и особенно на тех, что были подписаны ‘Ф. Рожан’ – воспиталось не одно поколение французов, бельгийцев, англичан и швейцарцев. Был 1933 год, печально знаменательный в мировой истории год, с которого пошла беда и национальный позор не только для одной Франции. Мы поселились тогда в новых жилых домах Ситэ-Жардэн (Город-Парк) Плесси-Робинзон. И вот только там я узнал, что именно Федор Степанович Рожанковский, идол моего отрочества, скрывался под именем Ф. Рожана у ‘Пэр Кастор’! Узнал я это очень просто: он оказался моим ближайшим соседом по домам в Плесси-Робинзон. После этой встречи – уже не в ‘Солнце России’ и не в ‘Лукоморье’, а наяву – мы прожили бок о бок целых 6 лет: мы стали не только соседями, но и большими друзьями. Он очаровал всех нас своим задором, веселым нравом, своей неистощимостью на всякие выдумки, и, главное, мы все тогда были молодцы! И хотя время было странное, полное тяжелых предчувствий, мы часто встречались на вечеринках, устраивали даже маскарады, и это, пожалуй, смахивало если не на ‘Пир во время чумы’, то на ‘Пир накануне чумы’, и при этом чумы самой страшной, коричневой⁵.

Сосинский называл Рожанковского своим лучшим зарубежным другом. Были у него еще два ближайших товарища, ставшие родными и в буквальном смысле слова – членами семьи; речь идет о Данииле Резникове и Вадиме Андрееве⁶. Все трое впервые встретились в Константинополе, а позже, в Париже, женились на дочерях бывшего лидера партии эсеров В.М. Чернова. Две из них – сестры-близнецы Наталья и Ольга – были приемными. Их мужьями стали соответственно Д. Резников и В. Андреев. Сосинский взял в жены родную дочь Чернова – Ариадну⁷.

Благодаря дружбе с семьями Черновых-Резниковых-Андреевых-Сосинских Рожанковский оказался вовлеченным в широкий парижский круг литераторов-эмигрантов. В тридцатых годах ему были уже хорошо знакомы Нина Берберова, Борис Вильде, Владимир Варшавский, Марк Слоним, Довид Кнут, Юрий Софиев, Виктор Мамченко, Гайто Газданов. На сохранившейся в альбоме художника газетной вырезке из «Последних новостей», в которой А. Бенуа называет успех Ф. Рожанковского во Франции великим, а книги с его рисунками – бесценными, оставлен размашистый чернильный автограф Николая Евреинова (еще одного соседа художника по Плесси-

Робинсон): «Горжусь своей дружбой с Рожанковским и пою ему 'славу'!»⁸

Литературная среда была тесно спаяна с художнической, к тому же многие поэты и прозаики рисовали – Борис Поплавский, Николай Татищев, Сергей Шаршун, Илья Зданевич, Алексей Ремизов, Юрий Анненков, Лев Зак. Со многими из них Рожан познакомился на вечерах объединения «Кочевья»⁹.

В 1936 году Рожан оформил обложку посмертных стихов Поплавского¹⁰. Известно, что после его трагической смерти выручка от розыгрыша картин, рисунков и эскизов его домашней коллекции, среди которых были и работы Рожанковского, помогла скорейшему изданию произведений поэта¹¹.

В парижский период Рожанковский, как и многие русские эмигранты из литературной, художнической и артистической среды, оказался в окружении масонов – к тому времени во французской столице насчитывалось не менее семи тайных русских масонских организаций. Еще в 1932 году Рожан присоединился к ложе «Северная Звезда» (*L' Etoile du Nord*).

Настоящим благом для Ф. Рожанковского стала дружба с М. Осоргиным (1878–1942)¹². Их объединяло многое – искренность, отсутствие искусственности, любовь к природе и всему живому, страсть к книгам. А главное – каждый из них до последних дней сохранял не только юношеский облик, но и молодую душу. Михаил Осоргин был не только крупнейшим писателем. По воспоминаниям современников, он был замечательным человеком, умеющим как никто активно любить людей – особенно тех, кого он считал «настоящими» или, по крайней мере, способными ими стать¹³. Посвящение Рожанковского в братство ложи «Северная Звезда», которая была создана под юрисдикцией масонской организации «Великого Востока Франции», состоялось благодаря рекомендации Осоргина.

Маловероятно, что наш герой был идейно близок к кругу тайного закрытого общества. Масонство для Рожана, скорее, было возможностью находиться среди своих – членами ложи были выдающиеся художники, писатели и поэты В. Андреев, М. Алданов, В. Сосинский, Б. Поплавский, Г. Газданов, Н. Татищев, В. Жаботинский, А. Ладинский, М. Осоргин, Н.Д. Авксентьев, художники П. Нилус и И. Билибин и многие другие. С большинством из них его свяжет многолетняя дружба.

В Париже художник был хорошо знаком и с известным масонским деятелем Ростиславом Булатовичем¹⁴. Здесь, на улице Cadet, и в частных домах они встречались каждый второй и четвертый четверг месяца, читали доклады, спорили, делились новостями, налаживали связи, оказывали друг другу помощь, устраивали ужины (что тоже было весомой составляющей в среде вечно полуголодных эмигрантов).

Не секрет, что многие «каменщики» рассматривали братство как

большую семью эмигрантов-единомышленников, как союз взаимопомощи. Для кого-то это был «клуб», где можно было развернуть свои таланты. Из письма Николая Татищева¹⁵, одного из ближайших друзей Федора Рожанковского: «<...> Эта посвятительская традиция прошлых веков, которая может быть использована на добро и на зло, и может быть никак не использована – просто испошлена. Масонство – особая страна, где свои законы времени, пространства и причинности. Ребенку там может быть 81 год, старику – 3. Становясь гражданином этой страны (как Алиса в стране чудес), люди освобождаются от этих истин, как змеи от кож»¹⁶. В составе «Северной Звезды» Рожан оставался до начала войны и в предвоенные годы неоднократно иллюстрировал книги по франкмасонству. В первый год посвящения он оформил книгу Осоргина «Свидетель истории»¹⁷. В 1935 году проиллюстрировал книгу Татьяны Осоргиной-Бакуниной¹⁸, получив в подарок от автора экземпляр с приклеенным на титульном листе локоном писательницы и автографом: «Федору Степановичу Рожанковскому, блестяще скрасившему содержание этой книжки»¹⁹.

В 1936 году в Париже вышла книга еще одного видного деятеля русского масонства Льва Гойера²⁰. Обложка «Семилепесткового логоса» также была исполнена Рожанковским²¹. Ровно через год художник оформит обложку еще одной книги М. Осоргина, посвященной теме масонства, – повести «Вольный каменщик»²².

К середине тридцатых годов Рожану были рады и в доме Ремизовых. Знакомство это состоялось опять же благодаря новым друзьям по Плесси-Робинсон – Н. Евреинову, семьям Сосинских, Андреевых и Резниковых – верных помощников Алексея Михайловича и Серафимы Павловны. Художник был даже посвящен в члены созданного Ремизовым еще в царской России знаменитого братства «Обезвельволпал» («Обезьянья Великая и Вольная Палата»). В 1937 году он стал кавалером Ордена с собственноручной подписью обезьяньего царя Асыки, стоявшего во главе «тайного» общества, от имени которого Ремизов выдавал своим друзьям обезьяньи грамоты. На врученной Рожану грамоте с завитками и усиками он собственноручно напишет: «Грамоту оправил и повесил – красива!»²³. Дальнейшая судьба этого памятного документа теряется. Известно лишь, что после отъезда Рожанковского в Америку в 1941 году кавалерская грамота осталась в брошенном доме в Медоне, когда немцы уже подступали к Парижу.

Об истории дружеских отношений с Алексеем и Серафимой Ремизовыми, завязавшихся в тридцатые годы, свидетельствуют и письма, хранящиеся в архиве Русского культурного центра в Amherst College²⁴. В 1991 году они были переданы в дар университету американским дипломатом Томасом Витни вместе с коллекцией книг и рукописей, которую он собирал более сорока лет и на базе которой был основан Центр²⁵.

Из письма Рожанковского к Ремизовым в январе 1937 года:

«Дорогой Алексей Михайлович. Дорогая Серафима Павловна. Моя вина перед Вами так велика, что и слов не найду для извинения <...> Много раз порывался быть у Вас, рассказать о M-me Gordon (Paris Soir)²⁶, принести *Аполлон* – не удалось. Уехал сюда (в Аржантьер. – Л.В.), как эти последние два года, совершенно ни к чему, кроме как к отдыху, неспособным. Этот год с книжками моими всяческие неудачи меня преследовали, не глядя на мои старания, в силу технических и других причин большая работа сведена к малым художественным результатам. Много наговорено неприятного издателью и руководителю моей работой у *Фламариона* и рад был, наконец, на лыжах в лесу и, глядя на снег, забыть всё это. У Madame Gordon в ее газетке требования такого низкого порядка и такое сюсюканье в детской странице, что ее молчок по Вашему адресу несколько не удивителен. Она хочет в будущем заняться издательством – может, будет более свободной и независимой в выборе материала. Я ее просил написать Вам и отослать, если она не думает напечатать Ваши вещи. Не знаю, сделала ли она это. Прошу меня великодушно простить. По приезду, будучи свободным от горячки, что сопутствовало работе в конце года, буду у Вас и займусь иллюстрацией мышек и, надеюсь, найдем издателя и для русских, и для французов²⁷. Примите мои искренние пожелания здоровья и удачи в новом кругловатом году:

$1+9=10, 3+7=10=20$

и простите за конец прошедшего.

Искренно уважающий и любящий Вас

Ф. Рожанковский. (5. I. 37. Argentière)»²⁸.

Письмо это было написано в Аржантьере, курортном поселке, расположенном во Французских Альпах. Рожан и Иветт впервые приехали туда на отдых зимой 1935 года. Поначалу они снимали комнату у фермерской семьи Куттэ (Paul et Céline Couttet) с дивным видом на Монблан и всего лишь за 12 франков. Рожан писал своему парижскому другу Гастону де Сент Круа:

«Пожилая пара, живут с маленькой племянницей, двумя телятами и четырьмя коровами плюс ангорская кошка. В доме пахнет молоком и тем, что еще производят те же коровы – аромат приятный, в отелях такого не встретишь. Иногда по вечерам спускаемся к хозяевам, у которых есть радио. Но прослушать до конца хотя бы одну музыкальную пьесу не удаётся – ручка настройки крутится непрерывно, ибо нет большего удовольствия для хозяина, как менять станции, страны и города: из Милана в Тулузу, из Тулузы в Берлин... ‘Все эти певцы и певицы лишь орут’ – сходятся во мнении месьё и мадам, для которых единственным приемлемым музыкальным инструментом является аккордеон. Здесь чудесно, всё очень дешево и никаких спортивных знаменитостей из модных журналов»²⁹.

Чтобы отправить письма, нужно было отправляться в Шамони (Chamonix) – городок у подножия Монблана, рядом со швейцарско-итальянской границей – там был рынок и почтовое отделение. Рожану хватало сорок минут, чтобы спуститься вниз, пролетая через еловый лес мимо деревушек с крохотными церквушками и красно-голубыми колокольнями. Под лыжами шуршал и поскрипывал снег, и ему казалось, будто некий пропеллер толкал его вперед. В такие мину-

ты он представлял себя норвежским почтальоном, спешащим с письмом в городок, затерянный в долине среди гор. На его груди к лыжному свитеру был прикреплен значок с барельефом Пушкина. Этот памятный жетон 1937 года, изготовленный для ношения в петлице в честь столетнего юбилея поэта по заказу Пушкинского комитета в Нью-Йорке, он получил по почте от приятеля Владимира Иванова.

Художник полюбил Аржантьер. Здесь он приятно бездельничал, по-настоящему отсыпался, много катался на лыжах, и через три недели с новыми силами возвращался к трудовым будням в Париже. В 1939 году на соседнем участке с Куттэ он начал строить шале (chalet) – крошечный деревянный домик в альпийском стиле, строительство которого было завершено к 1940 году.

Рожан и Иветт мечтали продолжить сложившуюся уже традицию – зимой отдыхать в Аржантьере, а так называемый бархатный сезон в конце августа-сентября (французы называют его "autige-saison") проводить на Лазурном берегу. На снимке из фотоархива парижского историка русской эмиграции Андрея Корлякова Рожан заснят в Ла Фавьере, сидящим на камне с походным рюкзаком за плечами, с неизменной курительной трубкой во рту, с легким прищуром вглядывающимся в даль³⁰.

«Я в самом русском месте этого уголка, – напишет Рожан на обратной стороне фотографии, – здесь и Саша Черный, Билибин с Щекотихиной-Потоцкой, издатель Карбасников, Врангели, Зайцевы, приезжает в гости Стеллецкий, а до него завтракали с Б. Григорьевым. Ходили гулять с Наталией Гончаровой и Михаилом Ларионовым, которые сюрпризом прибыли из Монте-Карло. Были Цетлины с семейством – Сашенька Авксеньтьева писала всё время наши сосны и предполагала, что семена занесло морем из России – уж очень они похожие. Ф. Рожанковский»³¹.

В сентябре 1935-го Рожан и Иветт снова планируют отдохнуть в Ла Фавьере. Летом была закончена работа над новой книгой – история дикой утки Плуф из серии «Альбомы папаши Бобра»³². Рожан рассчитывал на выплату аванса, но оплата задерживалась, и поездка из-за этого чуть не сорвалась. Выручил друг Рожанковского, английский рекламный агент Л. Касдэн (Leslie Cusden). Лэсли часто помогал найти Рожану заработок в Англии – это были рекламные постеры для торговых домов, сезонные афиши для железнодорожной компании Southern Railway, серия плакатов для лондонского метро³³. Благодаря подработкам Рожану, наконец, удалось уехать на море. Он едет с Иветт в Лаванду (рыбацкий поселок в департаменте Вар в километре от Ла Фавьера), прихватив с собой все материалы по следующей книге для *Фламариона*, и заранее просит Фоше прислать ему текст «Зайки Фру» (*Froux*). Проходят две недели, но ни текст, ни аванс так и не были получены. Ситуация складывалась отчаянная – даже за обед платить было нечем, и тогда пришлось снова обращаться к помощи друзей. На просьбу мгновенно откликнулся Гастон де

Сент Круа. На отправленные им по почте спасительные сто франков Рожан купил краски, бумагу и продолжил рисовать.

В марте 1936 года он начнет работать над еще одной «Азбукой», на этот раз для *Фламариона*³⁴. Вместе с Фоше они создадут увлекательную книгу-игру, которая по своей структуре будет сложнее «Букваря». По замыслу создателей «Азбуки», на основе отдельного рисунка должна была угадываться связь между начальным звуком и буквой. Каждая заглавная и рядом стоящая строчная буква сопровождалась крупным изображением животного, под которым печатными буквами было написано его название. Таким образом маленькому читателю было легче запомнить форму и звук буквы, а название животного, в котором каждая буква была отделена от стоящих рядом с ней букв, помогало ему постепенно усвоить произношение слогов. А использование специальных карточек, которые отдельно прилагались к альбому, вовлекало детей и их родителей в общие буквенные и словесные игры. Во время работы над «звериной азбукой» художник не раз посещал зоосад, чтобы наблюдать за громкими гиббонами, ловко перескакивающими с ветки на ветку высоченного дерева. Внимательно изучал он и поведение своих «домашних моделей» – прожорливого сурка, любимого кота Шемино (*Chemino*), изящных доверчивых горлиц. Все они найдут свое место в новой «Азбуке». Задачей Фоше и Рожана было создать изображения, которые бы вызвали у ребенка интерес к окружающему его миру и расширили его знания.

Работа эта одинаково увлекала и художника, и педагога, и прерывалась лишь во время волны забастовок печатников и издателей, охвативших весной 1936 года всю Францию. Одновременно продолжалось и сотрудничество Рожана с *Domino Press*.

«Забастовка во *Фламарионе* закончилась и оба моих издателя снова начали работать. Я обязан контролировать свою работу в двух разных частях Парижа, – сообщал Рожан в письме Эстер Аверилл весной 1936 года, – для ABC, которая печатается на *Porte de Clignancourt*³⁵, и *Bear and Scaf, Le Phoque* (1936) на *Porte des Lilas*³⁶. В остальном всё идет хорошо и я ожидаю первую часть Кука (*Captain Cook*). Книга для детей почти готова – где издатели?»³⁷

Отношения с Полем Фоше в то время внешне еще оставались ровными и уважительными, но причины для разногласий уже появились. Из-за постоянных недоплат и нарушений договора Рожан всё чаще и чаще оказывался в положении просящего.

«Был я в бухгалтерии по поводу гонорара. Из 10 тысяч за ‘Азбуку’ я получил в апреле 2 тыс. и за ‘Календарь’ в июле еще тысячу. То есть мне должны 8 тыс. за ‘Азбуку’ (из которых я вам верну занятую в прошлом году тысячу) и 2,5 тыс. за ‘Календарь’. Не смогли бы вы мне написать, дорогой месё Фоше, что я должен делать, чтобы получить эти деньги, – думаю всё же съездить в постоянно откладывающийся отпуск (Марокко? Тунис? Палермо?)»³⁸.

Пройдет еще несколько месяцев, и в очередном письме к Фоше художник будет вынужден снова умолять выслать ему плату за работу:

«Дорогой месьё Фоше, я снова о волнующем меня денежном вопросе. На этот раз письмо из Министерства финансов от судебного пристава, который явился ко мне описывать имущество, но нашел дверь закрытой и согласен еще немного подождать. Я благодарю вас за добрую новость (о повышении гонорара) и прошу вас выслать мне плату за январь (как в прошлый раз, телеграфом, пожалуйста!). Я обещал приставу заплатить налог до конца месяца»³⁹.

Но Фоше не спешит пересматривать принятые Рожаном условия договора. Свои аргументы он сначала излагает в письме, адресованном Шарлю Фламариону:

«Три книги, иллюстрированные им (Рожаном. – *Л.В.*) до начала работы с нами, не были растиражированы, разошлись частным образом и неизвестны широкой публике – той, с которой его познакомили наши альбомы. Львиная доля нашей рекламы как раз и направлена на то, чтобы показать в выгодном свете именно его работы.

В 1937 году мы заказали ему на ... (далее следует пробел без указания суммы. – *Л.В.*) франков сверх контракта: ‘Азбуку’, ‘Календарь’, цинки для ‘Больших и маленьких’ и ‘Панаш’.

В конце концов, в Париже есть много художников высокого класса, многие будут рады работать с нами даже за гораздо меньшую плату. Мы свой выбор сделали и не хотим ничего иного, как продолжать работать с Рожаном. Но должен же он понять, что детское издательство – это не золотые прииски и даже не рекламное агентство.

Мы не можем нарушать условия необходимого в нашем бизнесе финансового баланса. Пусть другие платят невероятные гонорары (в действительности, даже меньшие, чем предлагаем мы) за издания, которые и двух дней не проживут.

Наше же преимущество – стабильность, и мы готовы предложить ему более длительный контракт»⁴⁰.

Летом 1937 года друзья уговорили переехать Рожана с Иветт в Медон (Meudon), пригород западного Парижа, который к тому времени плотно заселили русские семьи. Жизнь здесь была тихой, комфортной и недорогой. Рожанковские поселились недалеко от знаменитой медонской обсерватории. В первый день после переезда он сообщит Алексею Ремизову:

«...Вот я на новом месте в Медоне (10 ter rue Herault Meudon 520). Кругом во все окна купы деревьев, а счастья нет моей изменчивой душе... и рисую я на цинке книжку для *Фламариона* и всё-то они запаздывают то с одним, то с другим, но всё-таки все уехали на отдых, а каков он у меня выйдет – не знаю, ведь становится поздно в природе. Я был неделю прошлую у Вас и *conscience* ка мне, к моему глубокому сожалению, сказала: уехали вчера. Я рад за Вас, но в тот момент мне так хотелось, чтоб с отъездом Вы запоздали на день. Я заказал ‘1001 ночь’, т.к. 5-го тома нет у меня. Завтра получу 6-ой.

Прислать? Напишите, пожалуйста, адрес. Будет и пятый, но с опозданием⁴¹. В тот день забегал к Евреиновым, перед которыми, как и перед Вами, виноват. Ник[олай] Ник[олаевич] мне сказал, что Вы наряду с ним обо мне прописать изволили. Я же в последнее время переезда и газет не читал, проглядел тот номер (иду в редакцию завтра). Какая же то обида, т.к. сие бы наверняка сделало то, что я бы увидел Вас перед отъездом. Но я поправлюсь, поправлюсь, обещаю Вам и Серафиме Павловне. Может, какая на мысли другая книжка у Вас есть, Алексей Михайлович, напишите, всё сделаю, чтобы достать. Три дня я плохо себя чувствовал, т.к. очень устал и израсходовался физически (библиотеку перевозил и переставлял, сбивал и порядковал...)

Мои искренние пожелания здоровья и отдыха Вам и Серафиме Павловне. Искренне любящий и уважающий Вас Ф. Рожанковский»⁴².

Обозревая французский этап творчества Рожанковского, интересно отметить еще одно направление его успешной карьеры. К середине тридцатых годов он приобрел европейскую известность не только как иллюстратор детских книг, но и как художник-оформитель эротических изданий. По заказу библиофилов Рожан выполнял так называемые книги «от руки».

Традиция издания эротической литературы с иллюстрациями существовала во Франции еще с XVIII века. В предвоенное десятилетие XX века интерес к малотиражным коллекционным книгам заметно возрос и не прекращался даже в годы войны. Книжная эротика традиционно пользовалась высоким спросом среди состоятельных клиентов. Французский актер Мишель Симон, например, обладал одной из крупнейших в мире коллекций эротических книг. То же увлечение разделяли актеры Джон Берримор и Рудольф Валентино. В Париже многие художники, в том числе эмигранты, зарабатывали этим ремеслом, обеспечивая себе достойное существование. Как правило, такие книги издавались анонимно и приносили художникам неплохой доход. Одновременно с Рожанковским в этой области работали бывший киевлянин Сергей Черевков (Tcherevkoff, S., псевдоним Serge Grés, 1899–1970); болгарский график, один из крупнейших представителей Парижской школы Жюль Паскин (Jules Pascin, 1885–1930); японско-французский художник Фуджита (Léonard Foujita, 1886–1968); французский дизайнер, прославившийся эскизами сценических костюмов для «Русского балета» Дягилева, Жорж Барбье (George Barbier, 1882–1932); знаменитый иллюстратор галантных текстов Поль Эмиль Бека (Paul-Émile Bécát, 1885–1960); акварелист и гравер Антуан Кальбе (Antoine Calbet, 1860–1944); британский писатель и книжный иллюстратор Бересфорд Иган (Beresford Egan, 1905–1984); ведущий сотрудник журнала *Vogue* Жорж Лепап (George Lerapе, 1887–1971). Но Черевков в тридцатые годы большую часть времени проводил на Таити, периодически возвращаясь, а накануне войны уехал туда навсегда. В 1930-м скончался Паскин, в 1932-м не стало Барбье. Спрос на работу уже известного в тот период Рожана значительно вырос.

Одним из постоянных его заказчиков был французский издатель «эротической» литературы Роберт Шатте (Robert Chatté, 1901–1957).

Как уже рассказывалось, первыми учителями рисунка для Рожанковского были его братья. Вероятно, еще в детстве ему привилась и вкус к эротике: уже тогда его острый мальчишеский глаз «фотографировал» чувственные, насыщенные страстью сюжеты рисунков старшего брата Сергея. Долгое время работы Сергея Рожанковского оставались неизвестными; лишь совсем недавно целая серия таких рисунков «всплыла» на одном из европейских аукционов. Сцены игривых встреч обнаженных пышнотелых нимф с козлоногими сатирами-обольстителями, возможно, впервые приоткрыли юному Федору тайны сексуальности женского тела.

Непредвиденно-непредсказуемый поворот в творческой карьере художника был сделан во Франции еще в двадцатые годы. Самым ранним из проиллюстрированных Рожанковским французских эротических произведений были «Верлибры» Раймона Радиге⁴³. Книга вышла в 1926 году ограниченным тиражом – 125 экземпляров – через три года после смерти двадцатилетнего автора⁴⁴. «Свободные стихи» французского поэта, изданные на дорогой веленовой бумаге с водяными знаками, сопровождали двадцать семь скандальных эротических иллюстраций Рожана. Акварельные рисунки художника, в которых преобладали желтые и красные тона, наполняли всё пространство солнечным светом и полностью гармонировали с озорными текстами молодого писателя, воспевающими бесстыдную юную сексуальность, спонтанно возникающую в полях, лесах, на песчаных дюнах у взморья.

Другая книга с фривольными рисунками Рожанковского, вышедшая вслед за «Верлибрами», имела благопристойное название «Учебное пособие хорошим манерам для девочек из частного пансиона»⁴⁵. Это сатиро-эротическое литературное произведение французского писателя Пьера Луи (Pierre Louÿs, 1870–1925), написанное в 1917 году и изданное посмертно в 1926-м, пародировало и критиковало современные уроки лицемерия и этикета в закрытых заведениях. Разумеется, это издание не рекомендовалось для использования в учебных целях.

Пройдет еще несколько лет, и двадцать откровенных акварельных рисунков художника дополнят историю парижского эротического кукольного театра в анонимном издании 1932 года⁴⁶. Пикантные «взрослые картинки» сопровождалась в сборнике текстами нескольких коротких пьес, которые были поставлены в период недолгого существования театра в парижском квартале Батиньоль в 1860-х годах.

Одной из самых известных работ Рожана в области иллюстрации для взрослых стала «Весенняя идиллия»⁴⁷ – серия из тридцати литографий, вручную раскрашенных им цветными карандашами. В интимном романе без слов, где чувственные и откровенные рисунки рассказывали историю знакомства и любовных отношений мужчины и женщины в Париже – на улице, в метро, на заднем сиденье автомо-

бия, в гостиничном номере, – наиболее полно раскрылся поразительный эротический талант художника Рожанковского. Не случайно, по мнению библиофилов, этот редкий альбом считается одним из самых красивых эротических портфолио XX века⁴⁸.

Еще через два года коллекции любителей и знатоков литературы «не для посторонних глаз» пополнились сборником стихов французского поэта Луи Прота (Protat, Louis, 1819–1881) «Экзамен Флоры на получение диплома путаны»⁴⁹. Текст в этой книге сопровождали четырнадцать довольно вольных эротических композиций, исполненных Рожанковским в технике пошуара⁵⁰.

В 1937 году издательство *Éditions de la Belle Étoile* обратилось к художнику с предложением проиллюстрировать памятник французской интимной поэзии – «Галантные песни» Пьера-Жана де Беранже⁵¹. Шестнадцать превосходных «взрослых» акварелей детского художника (звучит как оксюморон!) стали настоящим украшением этого раритетного издания.

Ко второй половине тридцатых годов относится и серия эскизов и акварелей, на которых в невинных и одновременно эротичных позах художнику позирует юная балерина по имени Настенька. Сестра Татьяна, получив письмо из Парижа с фотографией этой девочки, деликатно поинтересуется у брата: «Феденька, не слишком ли она молода?». Но опасения сестры были напрасными. Юные подростковые модели на грани детства и взросления интересовали художника исключительно своей чистотой и абсолютной неприкасаемостью⁵².

Любопытно, что Анастасия Минакова (впоследствии – Анастасия Григ (Anastasia Chassay Grieg, 1923–1987) в 1950-х годах тоже стала книжным иллюстратором⁵³. Настя Минакова родилась в 1923 году в Норвегии, куда сразу после революции в России переехали ее родители. С четырех лет она начала учиться балету, танцевала в Норвежской опере и в середине тридцатых годов была отправлена во Францию на личную стипендию норвежской королевы. В Париже А. Минакова участвовала в балетных антрепризах с Л. Мясным и С. Лифарем, одновременно занимаясь живописью в школе Андре Лота на Монпарнасе. С началом войны она вернулась в Норвегию, но вскоре из-за участия в движении Сопротивления была депортирована в Германию. В 1944 году чудом ей удалось бежать из лагеря Равенсбрюк в Швейцарию и с этого момента ее жизнь начинает всё больше походить на приключенческий роман (этому посвящена статья Л. Волгина «Анастасия» в газете «Русская мысль». 17.08.78). Она подолгу жила в разных странах, вернулась к балету и основала первую балетную школу в Йоханнесбурге (Южная Африка). Затем снова приехала во Францию и даже сотрудничала какое-то время с Анри Матиссом. С 1953 года Анастасия успешно выставляла свои произведения и иллюстрировала книги. Во время Алжирской войны за независимость она отправилась в Северную Африку в качестве сестры милосердия, а позже работала стюардессой на Ближнем Востоке и одновременно продолжала зани-

маться творчеством – создавала иконы, ткала ковры в восточном стиле, изготавливала и расписывала изделия из майолики, экспериментировала в самых разных техниках изобразительного искусства – живопись, рисунок, офорт. С 1967 года Анастасия жила в Лондоне, создавая хронике движения хиппи в цикле черно-белых рисунков из жизни «детей цветов». Возможно, Рожанковскому доводилось встречаться со своей бывшей моделью в 1960-х годах во Франции, но сведений об этом ни в его корреспонденции, ни в фотоархиве не обнаружено.

К великому сожалению, все эротические рисунки Рожанковского остались во Франции. Уезжая в Америку, художник не решился взять их с собой, опасаясь неприятностей на границе пуританской в те годы Америки. За год до этого (в 1940 году) американские власти сожгли около двух десятков откровенных ню австралийского художника Линдси Нормана (Lindsay Norman Alfred William; 1879–1969), рассматривая их как порнографию.

Со второй половины тридцатых годов разногласия между Рожаном и *Фламарионом* перерастут в масштабное противостояние. В 1936 году после прихода к власти правительства Народного Фронта был принят пакет законов, в результате которых за три последующих года средняя зарплата парижан (мужчин) выросла на 60%. Однако доход Рожана оставался прежним. Не секрет, что французские издатели активно использовали трудное, а иногда и вовсе безвыходное положение художников-эмигрантов. Рожан же категорически отказывался мириться с тем, что гонорары были занижены, авансы задерживались, не проводилась своевременно индексация. В переписке с издателями он всё чаще поднимает вопрос индексации гонорара, размер которой он оценивает в 20 %, что, по его мнению, соответствует повышению гонораров художникам, трудившимся в области рекламы.

Восстановить ясность и последовательность событий последних лет пребывания Федора Рожанковского во Франции во многом помогла переписка художника с Полем Фоше, предоставленная архивом в Мезаке⁵⁴. Благодаря же сохранившейся корреспонденции Рожанковского в фонде Осоргина в архиве города Нантера появилась возможность собрать воедино отдельные эпизоды его предотъездного периода и оценить помощь и участие М. Осоргина в отправке художника за океан⁵⁵.

Первым, кто инициировал переезд Рожана в Америку, был французский художник, писатель и издатель Жорж Дюпле (1895–1985). Еще в 1919 году он эмигрировал в США, но продолжал часто приезжать во Францию. В 1926 году он женился в Париже на американке (Lily W. Wheeler, 1905–1997), а в 1928-м был участником Осеннего салона. В Америке он иллюстрировал детские книги и в 1935 году возглавил Гильдию художников и писателей (*Artist's and Writers Guild*), входившую в состав издательства *Western Publishing Company*. Талантливого детского художника Дюпле заметил еще в

Париже, сразу после выхода «Даниэля Буна». С тех пор он продолжал внимательно следить за карьерой Рожанковского. Жоржу Дюпле принадлежит идея создания американской серии книжечек маленького формата (*Little Golden Books*), которые детям было удобно держать в руках. Каждая книга этой серии состояла из 42 страниц, 28 из которых были напечатаны в двух цветах, а остальные 14 – в четырех. Благодаря удобному размеру, увлекательным сюжетам и ярким иллюстрациям эти книги мгновенно стали бестселлерами. Первый тираж в 50000 экземпляров был распродан в 1940 году всего лишь за несколько месяцев. Дюпле, безусловно, был очень заинтересован в привлечении уже известного тогда как в Европе, так и Америке художника к совместной работе в Нью-Йорке.

С просьбой содействовать отъезду Рожана в США обратился в начале 1940 года к своему издателю Иосифу Ривкину и Михаилу Осоргин⁵⁶. Писатель ясно осознал нависшую угрозу – над ним и над его другом. С установлением немецкого оккупационного порядка началось жестокое преследование французских масонов. Масонские ложи были распущены, их имущество конфисковывалось, около тысячи участников масонства были вывезены в концентрационные лагеря. Из масонских библиотек и архивов изымались книги и документы. Рожанковский, как эмигрант из Восточной Европы и как иллюстратор масонской литературы, в любой момент мог стать жертвой нацистских репрессий.

С тех пор, поскольку Иосиф Ривкин был одновременно агентом Жоржа Дюпле, связь между Нью-Йорком и Аржантьером происходила по цепочке – Дюпле-Ривкин-Осоргин-Рожанковский. Положительный ответ, который вскоре был получен от Ривкина, еще больше укрепил готовность Рожана, измученного усугубляющимися отношениями с издательством, «сниматься с якоря»:

«Я оставляю *Флам[марион]* в покое <...> Патрон не принимает так близко к сердцу мой отъезд. Хочу написать самому Charles'у Flam, минуя Лион, где сидит его племянник, который в контакте с Фоше. Рад буду бесконечно заплатить деньгами, а не работой, да и нет сил найти те настроения, нужные в этой работе, зная, кому их делаешь. Ведь они метят на те %, кои работа моя им приносит, на повторение тиража, а не на ту номинальную стоимость, которая мне выплачивается»⁵⁷.

Весной 1940 года при встрече с Шарлем Фламарионом Рожан озвучивает свои окончательные «минимальные расценки», на которых он настаивал. В тот же день он ставит в известность об этом и Поля Фоше:

«...Что касается оплаты, требования мои Вам известны: 2400 ежемесячно (2000 на руки и 400, т.е. 20% в счёт погашения долга). Со всех сданных работ удерживать 20% и не более (в этом году я вынужден платить 30% подоходного налога). <...> На днях мой друг Langelaa⁵⁸ предложил мне работу

по рекламе, которую я смогу окончить до отъезда. Он же заверил меня, что будут и другие заказы. Но от всего этого я откажусь, если возобновится контракт с Фламом. Вы легко можете себе представить, какие я несу убытки, работа исключительно на Вас. Содержание последней части моего выступления я мог бы зачитать для Вас вслух. Да, я отказываюсь подписывать контракт на год, два, три, и обязуюсь выполнять работу на сумму 150 тыс. [франков] (за вычетом 30 тыс. т.е. 20% в уплату долга), ибо само понятие срока работ потеряло свой обычный смысл – так я объяснил ему свое требование»⁵⁹.

В ответ на эти требования издатели дали понять Рожану, что ни одна из серий *Фламариона* не предусматривает выплаты роялти по авторским правам. Оставляя за собой исключительные права на любое иностранное издание своих альбомов, дирекция *Фламариона* жестко ответила художнику – его участие в создании каких бы то ни было детских книг во Франции, кроме их собственных, категорически запрещено. Надеюсь, что *Фламарион* обеспечит ему хотя бы ежемесячные переводы (что уже, по мнению Рожана, было бы достаточно для его спокойной работы), он принимает любезное предложение семейства Фоше переехать к ним из Медона к Форженев⁶⁰.

«Тут нас ничто не держит, напротив. Чувствую себя вымотанным, отношения с рекламщиками очень натянутые. Мои рисунки для воды Перье [Pegier] поедут на юг на смотрины тамошнего директора. Хотя всё уже было ими принято. Так что я сейчас кончаю последний и после этого – свободен. Материалы и книги собраны, два одеяла, немного одежды, (кошка!), и мы можем ехать»⁶¹.

С началом немецкой оккупации Франции (14 июня 1940 года) парижане массово перебирались на юг, в свободную зону, оттуда многие бежали в Марсель, чтобы потом уплыть в Америку. Из-за транспортного коллапса Рожан и Иветт были вынуждены преодолеть весь путь в Форженев на велосипедах. Покинули Париж и Осоргины. Они поселились в маленьком городке Шабри (Chabris) у реки Шер, оказавшемся за чертой оккупации.

В августе того же года Рожан с ними списался:

«...Я с женой всё тут же (Форженев. – Л.В.). Связь с *Фламарионом* не устанавливается, с другой стороны, я кое-что сделал для *Père Castor*'а. Деньги иссякли, но мы питаемся, очевидно, в счет будущих благ. Работал в сенокос и увлекался этой работой (не люблю собирать бобы). Кроме того, начал писать с натуры и рад был посему катаклизмам, т.к. давно не было такого длинного периода, посвященного почти целиком настоящей работе без заказа. Кое-чем доволен. Напишите, что думаете делать? Меня тянет в Париж в покинутую фатеру, хочется приготовить написанное и, может, выставить. От Ривкина было одно письмо (два месяца тому назад). Я ответил, но ничего не получил от него в ответ – вольнка, мало располагающая к работе. Он писал комплименты касательно того, что получил. Говорил, что, мол, агент уверен в продаже, что издатель смущен трудностями репродукции, что я должен буду упростить ее, уменьшив количество красок, что аме-

риканские художники для каждой краски делают особо рисунок, на что я очень ругнул американскую беспомощность со всей их мощно развитой техникой и сказал, что мои вещи готовы к репродукции таковыми, какими были посланы, и я ни за какие коврижки не стану их переделывать. Спрашивал – сколько книг я мог бы сделать в год? Я ответил анекдотом про батюшку, которого спросили – сколько он может водки выпить (на что тот батюшка позадавал массу вопросов: из какой посуды, по какому случаю, с какой закуской и т.д., а в конце заявил ‘да сколько угодно!’) <...> Сейчас пишу третий детский портрет, но для друзей, поэтому без оплаты⁶². Сие не без надежды получить в один прекрасный день платное предложение (какое как будто намечается: серия охотничьих сюжетов). Для местного мясника сделал пейзажик. Жена у него мясо для кошек наших породистых покупает. Местная aubergiste*ка* устроит фестиваль за рисунок, на коем ее корчма фигурирует (меню по моему выбору – думаю о фарширов[анной] курице). Мы тут питаемся больше овощами, ну а я плохой вегетарианец <...> Вечерами за столом после ужина сотрапезники часто вспоминают разные удивительные блюда, парижские рестораны, китайскую кухню... Краски, привезенные из Парижа, кончатся, остается китайская тушь и плохая бумага – сие тоже меня выпихивает отсюда. Наш домишко в Argentière был выбран солдатами клубом. Ко сему замок взломали и неизвестно, что сташено там из вещей бывших. Если бы не нарушенная связь с Парижем, мог бы отправиться в Аржантьер и работать там⁶³.

Как Ваша квартира в Париже?⁶⁴ Есть ли вести от Александра Петровича Прокопенко?⁶⁵ Целую Вашу ручку и жму руку Михаила Андреевича. Примите лучшие мои пожелания. Ф. Рожанковский⁶⁶.

Во время оккупации французское правительство покинуло Париж, городом управляли немецкие военные власти, и возвращение в столицу гражданских лиц, особенно иностранцев, стало невозможным. Для Рожанковского, как и его соотечественников, уехавших на юг, круг замкнулся. Тогда Фоше обратился к руководству *Фламариона* с просьбой продолжить работу в свободной зоне, однако получил совсем иное предложение – возобновить работу в Париже. Узнав об этом, Рожан стал еще более склоняться к поездке в Америку. «...Тяжело говорить прямо с Фоше... приютили меня... на отъезд мой, пожалуй, посмотрят косо. Ну да это выяснится, надеюсь, полюбовно...», – писал он Осоргину из Форженев⁶⁷. Через месяц он, наконец, объявил о своем решении Фоше и Лиде:

«...Было достаточно трудно заявить об отъезде, но пробурчав о тех чувствах, что сталкиваются во мне, принимая эдакие решения, в ответ не получил ожидаемых упреков и вообще заметил со стороны супругов дружеское отношение... Ну, я принялся за разные работы (иллюстративные), которые хотелось кончить ввиду возможной дороги. Одна из них декоративная – красил комнату старого дома. Комнатка очень стильная (XVIII в.), в окно вид на мельницу (она еще не развалилась, потому что из камня сделана), выкрасил ее в вялый розовый цвет и занялся писанием трех панно, что врамленны над дверями»⁶⁸.

* трактирщица, владелица гостиницы (*фр.*)

Будущий отъезд вызывал лавину хлопот – нужно было каким-то немислимым образом вытянуть из Парижа вещи и переправить их в Форженев, заплатить часть долгов, продлить нансеновский паспорт. Приходилось много работать, чтобы не быть должником и в отношении Фоше. В октябре был закончен альбом для раскрашивания и сказка Андерсена «Гадкий утенок», которую Фоше захотел издать независимо от *Фламариона*. «...Я по уши в работе для *Flammarion*'а – надо как-то обеспечить жену на первое время, а дальше, если не прервется связь, буду высылать оттуда. Будь иным наше времячко, было бы путешествие удовольствием, а сейчас едешь и не знаешь, сможешь ли встретиться...» – пишет он в ноябре Осоргиным из Форженев⁶⁹.

«...Благодарю, Михаил Андреевич, Вас за присылку денег. Купили мы дров и печку топим, а то я, сидя и напялив на себя кучу одежды, рисовал в условиях мало способствующих работе. От сего мои пальцы, в юности отможенные, стали пухнуть, зудеть и просто болеть. Очень хочется поехать в Аржантьер на Рождество, устроить там жену, побывать у нотариуса, чтоб утвердить ее как собственницу домика, и затем, ежели выгорит с визой, ехать оттуда в Марсель <...> Это всё время съели книжки и моя коллекция акварелей мало пополнилась. Я, будучи в Нью-Йорке, рассчитываю устроить выставку и продать из написанного немало⁷⁰. Жаль, что не могу взять интересных вещей из того, что имею в Париже. Жена попытается мне выслать <...> Сделал две сказки – одну Гримма (Бременские музыканты) и Золушку Перро. Последняя пользуется большим успехом здесь. Вышла она милой книжечкой. И небанальной.»⁷¹

Тем временем переписка с Нью-Йорком продолжалась, хотя и шла медленно и с перебойми. К концу ноября 1940 года был назван предполагаемый годовой заработок – четыре тысячи долларов – «при условии упорства и прилежания» со стороны художника, и был подготовлен четырехлетний контракт, согласно которому 25% прибыли со всего, что должен будет создавать Ф. Рожанковский в Америке, получал И. Ривкин⁷². Предвидя уже неизбежный отъезд, Рожан, наконец, решился на крупный разговор с Фоше, который завершился категорическим ультиматумом «папаши Бобра» – *Фламарион* наложит на Рожана эмбарго, если он не оплатит сумму в 20000 франков. Это было неприятным ударом для художника. О своей задолженности он знал; однако, по расчетам Рожана она должна была быть покрыта его работами⁷³. В письме к Осоргину он признался:

«...Разговор мне много крови попортил, т.к. пришлось разочароваться во всяческих уверениях в дружбе, и выясняется истинная подоплека наших 'relations'. Я вовсе не был наивным и смотрел на союз с *Flam[marion]* как на сделку коммерческую. Я был страдательной стороной и вот я ускальзываю из-под опеки Père Castor-а. Я не подписал фактически контракта, он не может, посему, располагать моей свободой, и он обвинил меня морально за отказ подписать контракт теперь, который, мол, был заключен на словах

перед моим отъездом из Парижа. Из всего явствует – мой отъезд бьет по его карману и он зол на меня.

Памятуя его слова (сладкие), я рассчитывал, что он как главный виновный в происхождении этого долга (это он, из года в год был грешен против пункта нашего договора (обязывавшего его давать мне тексты не позже месяца марта), создал балласт (может быть, с умыслом), на который, как на последнюю возможность задержать меня здесь, он надеялся. Сейчас, после разговора, выясняется, что его роль – не защита моих интересов (как он уверял меня все время) перед *Flam[marion]*, а очень крепкий союз его с *Flam[marion]*. Против меня...»⁷⁴.

С тех пор противостояние между художником и издателями в союзе с Фоше набирало новые обороты. Рожан отказался подписывать контракт, известив *Фламмарион* о том, что хотел бы заключить соглашение о погашении его долга и готовности продолжать с ними сотрудничество из Нью-Йорка.

Поль Фоше спешит сообщить в докладной записке Шарлю Фламмариону: «...У меня на руках выполненная [им] работа на 15 тыс. франков, которая списывается с его общего долга. Несмотря на неприятный осадок от его поведения, считаю разумным поручить ему создание других иллюстраций (которые он, в принципе, должен сделать в Аржантьере еще до отъезда), чтобы серия получилась как можно более полной...»⁷⁵.

К этому времени Рожан уже переедет из Форженев в Аржантьер и продолжит работать в ожидании нансеновского паспорта и получения испанской и португальской виз, поскольку трансатлантический рейс должен был следовать транзитом через эти страны. В последние дни уходящего 1940 года он напишет Осоргиным уже из Аржантьера:

«...Рад бесконечно быть здесь. Снег по горло. Лыжи не украдены. Домишко на месте. Пропало не бог весть что. Жена оплакивает одеяла. Я – палки для лыж (стальные). Сохранилось – греч[невая] каша в жестяной коробке! <...> Завтра еду в Chamônix подать прошение. Боюсь, что потребуют как в Лиможе визу американскую, без чего откажут в продлении (вернее, в возобновлении) моего нансенов[ского] паспорта. Буду настаивать.

<...> Что меня очень ободрило (сюда мы выехали с небольшими деньгами) – по приезде сюда письмо жены моего знакомого (сам он в плену). Его 2 книжки (Легенды Новой Каледонии) она устроила у Stock'a и просит прислать 8 рисунков⁷⁶. Я их сработал сейчас же по приезде и вчера послал первые 6. Буду ждать денег. Не глядя на трудности всякие, рад этой связи с парижским издательством⁷⁷. Сотрудничать с *Флам[марионом]* не хочу после всего, что произошло...»⁷⁸.

«...Ясно, что придется из кожи лезть (далее неразборчиво) – как только долги заплачу, моему сотрудничеству с ним (Фоше. – Л.В.) и с *Флам[марион]* конец, совесть не позволит, а живот заставлю молчать – буду игрушки делать, писать портреты детей и крестьян – там видно будет», –

– продолжит он в следующем письме:

«Написал в *Paris-soir*, напоминая о себе. Может быть, ответят. Мы еще не у себя в домике (Рожан и Иветт временно снова живут у Куттэ. – Л.В.), но скоро переберемся <...> Приобрели плиту (маленькую) и печку (еще меньше). Комнатушки такие маленькие наверху, что две обогреваются маленькой этой печкой с легкостью и очень скоро. Пахнет это сосной и напоминает мне (неразборчиво), север родной и много хорошего. Последние два дня построил 2 кровати и наделал полок для книг и документов (кои привез из Парижа для работы в Forgeneuve). Буду думать о детской книжке, вернее – об ее иллюстрациях, т.к. уверен, что в один прекрасный день у Вас родится ее тема и тогда я смогу быть полезным. Если бы тема книги была реальной, то я бы, может, и надумал что-нибудь, но в области фантазии и феерии я вряд ли могу быть создателем (интерпретатором – да). Я хоть и обладаю даром в известной степени романтизировать или поэтизировать реальные образы (жаль, что не могу Вам с Татьяной Алексеевной раскрыть своего плоского ящика, в котором лежат мои работы за это лето и осень, и устроить выставки), а то бы доказал. Я их тут просматривал и вижу, что если за что и есть благодарить Фоше, так это именно за то, что он мне не давал обещанных работ и таким образом дал мне возможность поработать для себя. Некий M-г Robert, будучи в Forgeneuve, был у меня и по поводу моих работ много говорил со мной⁷⁹.

Мне были чрезвычайно интересны его замечания, его критика, да и вообще его взгляды на живопись. Сам он работал как переводчик в издательстве NRF, писал кроме сего полицейские романы и занимался живописью. В Париже знает все и всех, и на горизонте форженевском был единств[енным] интересным гостем. Предполагалось приглашение его в качестве секретаря к Фоше, да сие не состоялось, и они холодно расстались. Теперь могу легко объяснить сие, т.к. Фоше стал мне ясен после нашего разговорчика...»⁸⁰.

Так прошел еще один месяц непрерывной работы, благодаря чему долг постепенно таял, но отношения с Фоше и издателями не улучшались.

«Месьё, – обращается Рожанковский в феврале 1941 года к Арману Фламариону, – в третий раз меня уведомляют о состоянии моего счёта, и каждый раз указанные суммы противоречат одна другой и принимают угрожающий вид арифметической прогрессии (Поль Фоше мне пишет: ‘Я уже вообще ничего не понимаю’ и советует обратиться к Вам, Месьё). Наиболее соответствует моим собственным записям лишь первое уведомление, полученное от г-на Шарля Фламариона в мае 40-го года. Я не привожу цифр, поскольку Вы, по словам г-на Фоше, не в курсе моего дела.

А посему я прошу Вас, Месьё, предоставить мне официальную выписку о состоянии моего дебитного счета, начиная с 1936/37 (первая задержка текстов для коллекции ‘Папаша Бобра’) и по настоящее время, дабы изучить её и сравнить с моими подсчётами.

Как только ситуация между нами окончательно прояснится, надеюсь предоставить Вам мои предложения по погашению этого долга. Желание урегулировать счета никоим образом не связано с моими планами отъезда в США, ибо если отъезд состоится, я не буду там связан контрактом, запрещающим мне сотрудничество с европейским издательством, и таким образом смогу выполнить все мои обязательства [перед вами].

Вынужден заметить, что если сегодня я и в долгу перед Вашим изда-

тельством, то причина этой ситуации, по большей части, кроется в задержке предоставления мне исходных текстов. Так, во время моего полугодового пребывания в Форженёв, текст для иллюстраций я получил лишь за шесть недель до отъезда, и тем не менее смог выполнить работу на 19 тыс. франков...»⁸¹

В середине февраля 1941 года Рожанковский, наконец, получил нансеновский паспорт и так называемую *visa de sorti* (выездную визу). Теперь он торопится не только закрыть все долги перед издательством, но и оставить как можно больше рисунков Иветт, чтобы после его отъезда она могла продать их при необходимости в Париже.

Время от времени он собирает и отправляет посылки Осоргиным, вырезает для них деревянные ложки, пишет зимний пейзаж на память о себе.

Получив из Нью-Йорка известие о том, что билет уже куплен и ехать предстоит через Марсель, «где всё дорого и негде остановиться», также узнав неожиданные подробности недавно заключенного контракта с Ривкиным, Рожан спешит поделиться с ними своими опасениями:

«...Ривкин заключил контракт на 4 года вместо 2-ух. Это против моих намерений и сего надо будет избежать. С новыми условиями (авторепродукция на камне) это приближается к условиям Флам, от которых я рад был избавиться здесь. Если Р[ивкин] думает (и он думает об этом) главным образом о рекламной работе, как более выгодной – надо было подумать и о времени, которое при новых условиях будет съедено работой (кропотливой) перенесения моих книжек на камень или цинк <...> Я работаю – иллюстрирую ‘Давида Гольдера’ для одного знакомого библиофила – это обеспечение, которое хочу оставить жене. Будучи в Париже, она сможет вручить по назначению эту работу (насилую себя, т.к. тема меня мало трогает)»⁸².

Измученный бесконечными волнениями и туманными ожиданиями, он пишет вдогонку:

«...Не будь здесь перед домом ручейка, японского садика, разбивкой которого я занимаюсь сейчас с остервенением, дров, кои пилить надо, пейзажа Вашего (для него мне нужна специальная погода и освещение – почему и двигается он медленно), и всего другого приятного для души – я бы, вероятно, стал неврастеником, кричал бы по ночам, потерял бы аппетит и т.д.»⁸³.

И вот, наконец, 13 мая 1941 года в Лионе Рожан получил долгожданную американскую визу. Ривкин торопил его поспешить, уверяя, что поездка в Америку – единственный способ спасти жизнь. Однако художник не собирался уезжать надолго и рассматривал свой отъезд как вынужденный и временный – дожидаться окончания войны и подзаработать денег. Из письма Осоргину еще за полгода до получения визы: «...Я тут с женой, она меня провожает, я с ней прощаюсь, но не спасая свою шкурку любимую, а еду подработать... хорошо бы с кошельком вернуться в Аржантьер...»⁸⁴.

Рожан всей душой привязался к домику в горах, с гордостью и нежностью он рассказывал о своем архитектурном проекте в письмах друзьям. В дом к ним часто навевались дети, среди них была девочка по имени Альберта, внучка соседского фермера Куттэ, потерявшая в раннем возрасте своих родителей. В 2014 году она поделилась своими воспоминаниями с Беатрис Михельсен (*Béatrice Michielsen*), французской исследовательницей творчества Рожана. В свои 85 лет Альберта всё еще хорошо помнила «маленькую пухлую женщину» по имени Иветт, и Рожана, дарившего ей рисунки с белками и обезьянками. «Он всегда рисовал, – рассказала внучка Куттэ – листы бумаги с изображениями животных в доме лежали повсюду.» Маленькой девочке на всю жизнь запомнилось и то, как в голодный 1941 год Рожанковские всегда угощали ее чем-нибудь вкусеньким.

Однако Рожану не пришлось долго жить в их новом уютном шале. Оказавшись в Новом Свете, он сильно скучал по своей альпийской «избушке» и не раз потом воспроизводил любимый горный уголок и его деревенских жителей в разных детских изданиях⁸⁵.

В начале лета Рожанковский покинул любимый Аржантьер и дорогу его сердцу Францию, отбыв из Марселя в испанский портовый город Кадис (*Cadiz*), откуда должен был отправиться следующим рейсом до конечного пункта назначения – Нью-Йорка. Тогда он и не предполагал, сколько времени займет этот долгий и изнурительный путь, как и не догадывался, что в Париж он вернется теперь не раньше, чем через десять лет – к тому времени у него будет новая семья: русская жена и маленькая дочь. Жизнь прошлая была отрезана.

(продолжение следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

Автор приносит благодарность за помощь в процессе работы над текстом и предоставление материалов семейного архива Татьяне Федоровне Рожанковской-Коли, а также выражает большую признательность сотрудникам французских архивов, чьи фонды задействованы в настоящей публикации: Франку Вейрону (*Franck Veyron, responsable du département des archives de La contemporaine, head of the archives department in La contemporaine Nanterre, France*); Роксане Штеркман (*Roxana Sterckman, directrice de la médiathèque du Père Castor à Meuzac, France, manager of the Père Castor media library in Meuzac, France*); Надежде Спивак (*Amherst Center for Russian Culture, USA, MA*). Отдельное спасибо за помощь Беатрис Михельсен (*Béatrice Michielsen*); за переводы с французского – Максиму Макарову.

1. Сосинский Владимир Брониславович (наст. Владимир-Бронислав-Рейнгольд Брониславович Сосинский-Семихат. 1900–1987), писатель, мемуарист. В годы Гражданской войны гимназистом ушел в Белую армию, в 1920 г. эвакуировался с ней в Константинополь из Крыма. В эмиграции жил в Болгарии, Германии, Франции. В начале Второй мировой войны служил в

Иностранном Легионе, попал в плен, затем, освободившись, принимал участие в Движении Сопротивления. После войны принял советское гражданство, работал в ООН, в 1960 г. переехал в СССР. Скончался в Москве.

2. История о публичной пощечине и несостоявшейся дуэли между поэтом Ю.Терапиано и В. Сосинским, считавшим своим долгом защитить литературную честь Марины Цветаевой, не раз была рассказана на киноэкране и в литературе. После смерти писателя в Москве вышла книга его мемуарных рассказов и очерков, подготовленная сыновьями – Алексеем и Сергеем Сосинскими (Сосинский, Владимир. *Рассказы и публицистика*. – М.: Рос. архив, 2020).

3. При формате *in folio* размер страницы равен половине размера традиционного типографского листа. Рожанковский любил писать длинные письма на бумаге такого формата – чтобы всегда оставалось достаточно места для нового рисунка.

4. Папчинская Наталья Александровна, внучка старшей сестры Рожанковского, Александры Папчинской, родилась в 1937 году в Ленинграде, музейный работник, похоронена там же, точная дата смерти не установлена. Из письма Н. Папчинской к сестре Ф. Рожанковского (Т. Романовской). 29.03.80: «Сосинский отдал сначала часть писем Нине (Вдове художника. – Л.В.), остальная была на руках у друзей, а может и у Чуковского, но теперь они все у меня»).

5. Сосинский, В. «Встречи с Рожанковским». М.: *Детская литература*, № 5. 1972. С. 77-78.

6. Резников Даниил Георгиевич (1904–1970), поэт, журналист, в эмиграции с начала 1920-х годов; Андреев Вадим Леонидович (1902–1976), поэт, прозаик, старший сын писателя Леонида Андреева. В эмиграции с октября 1917 года. Участник Сопротивления.

7. Вместе с Андреевым еще в Берлине (1923–1924) Сосинский входил в литературную группу «Четыре плюс один» (четыре поэта – Анна Присманова, Вадим Андреев, Семен Либерман, Георгий Венус и один прозаик – Владимир Сосинский). Об этом В. Андреев позже расскажет в автобиографической повести («История одного путешествия», 1966). Вскоре все четверо (кроме Г. Венуса) переехали в Париж. В рядах Сопротивления они работали на оккупированном острове Олерон в Бискайском заливе. Книга «Герои Олерона», 1965, с дарственной надписью В. Сосинского (одного из трех авторов) бережно хранится в семейном архиве Ф. Рожанковского. После войны почти одновременно с Сосинским Андреев получит советский паспорт – которым не воспользуется («не хочется с ним умирать» – так, по свидетельству Н. И. Кривошеина, скажет он ему в Женеве вскоре после высылки А. Солженицына. См.: Кривошеин, Н. «Последний репатриант». *Новый Журнал*. 2009. № 254. С. 343).

8. Бенуа, А. «Художественные письма». *Последние новости*. 5 янв., 1935. С.2.

9. «Кочевье» – объединение молодых литераторов, созданное в Париже в 1928 году под руководством М.Л. Слонима.

10. Поплавский, Б.Ю. *Снежный час: Стихи 1931–1935*. Париж: *Cooperative Etoile*, 1936.

11. Об этом факте упоминается в книге: Поплавский, Б.Ю. *Неизданное: Дневники, статьи, стихи, письма*. Сост. и коммент. А. Богословского и Е. Менегальдо. М.: *Христианское издательство*, 1996. С. 417.

12. Осоргин Михаил Андреевич (1878, Пермь – 1942, Шабри), русский писатель, был выслан из России в 1922 году на «Философском пароходе».

13. Гурвич, Г.Д. «Михаил Андреевич Осоргин. Памяти друга». *Новый Журнал*. 1943. № 4. С. 358.
14. Булатович Ростислав Федорович (1906–1945), член Совета ложи «Гамаюн» в Париже в 1934–1935 годах.
15. Татищев Николай Дмитриевич (1896–1985), поэт, прозаик, мемуарист, друг и душеприказчик писателя Бориса Поплавского.
16. Из письма Николая Татищева к Дине Шрайбман (сестре художницы Иды Карской), возлюбленной Бориса Поплавского, которая впоследствии стала женой Татищева. Цит. по: Вишневецкий, Анатолий. *Перехваченные письма: Роман-коллаж*. М.: ОГИ, 2008. С. 254–255. Дружба Ф. Рожанковского с Н. Татищевым началась еще в 1920-х годах и не прерываясь в течение всей жизни художника. В 1937 году он стал крестным отцом Бориса, младшего сына Татищева, а в годы войны помогал Николаю Дмитриевичу, оставшемуся после смерти жены с двумя маленькими сыновьями, пережить голод, регулярно отправляя продуктовые посылки из Америки во Францию. Старший сын Татищева Степан (1935–1985), атташе по культуре посольства Франции в СССР, участвовал в передаче рукописей А.И. Солженицына на Запад.
17. Осоргин, М. *Свидетель истории*. Роман. Обл. работы худ. Ф. Рожанковского. Париж: *Pascal*, 1932.
18. Бакунина Татьяна Алексеевна (по мужу Осоргина, 1904–1995), историк мASONства, жена писателя М. Осоргина.
19. Бакунина, Т.А. *Знаменитые русские мASONы*. Париж: *Свеча*. 1935.
20. Гойер Лев Викторович (1875–1939). Бывший министр финансов правительства А.В. Колчака (август–ноябрь 1919 г.). С 1926 года жил в Париже.
21. Гойер, Л.В. «Семилепестковый лотос. Тибет – Корея – Монголия – Япония – Китай – Индокитай – Индия». Париж: *Возрождение*, 1936.
22. Осоргин, М. *Вольный каменщик*. Париж: *Наши труд*, 1937.
23. Письмо Ф. Рожанковского к А. Ремизову от 25 октября 1937. Архив А. Ремизова и С. Ремизовой-Довгелло. Amherst Center for Russian Culture. Box 2. Folder 7. P. 40.
24. Amherst College, университет в штате Массачусетс, США.
25. Thomas P. Whitney (1917–2007), американский дипломат, журналист, писатель, переводчик. Президент корпорации «Нового Журнала». Впервые перевел на английский язык романы А.И. Солженицына «В круге первом» и «Архипелаг Гулаг». Т. Витни приятельствовал с семьей Рожанковских на протяжении долгих лет.
26. Элен Гордон-Лазарева (Helen Gordon-Lazareff, 1913–1988), французская журналистка русского происхождения, жена медиамагната Пьера Лазарева, главного редактора вечерней парижской газеты *Paris-Soir*, отвечала в те годы в газете за детскую рубрику. В 1945 году основала журнал о моде *Elle*.
27. Ф. Рожанковский помогал А. Ремизову договориться с Э. Гордон-Лазаревой опубликовать сказку писателя о Мышке-морщинке, сопроводив ее своими иллюстрациями. Сказка была напечатана в 1938 году (Париж: *Paris-Soir*; 4 июня 1938. С. 6).
28. Письмо Ф. Рожанковского к А. и С. Ремизовым. 5 января 1937. Архив А.Ремизова и С. Ремизовой-Довгелло. Amherst Center for Russian Culture. Box 2. Folder 7. P. 37.
29. Цитируется по: Макаров, М. *Русский холм. La Favière (1920–1960). История русской колонии на юге Франции в воспоминаниях, дневниках и письмах*. Т. II. 2024. Второе издание (дополненное). Письмо Рожанковского к Г. де Сент-Круа. Аржантьер. 29 января 1935. С. 477. Перевод М. Макарова.

30. Фотография воспроизведена в книге: Корляков, А. *Русская культура в изгнании. 1917–1947*. Париж: Имка-Пресс, 2012. С. 318.
31. Саши Черного не стало 5 августа 1932 г., т.е. с большой долей вероятности можно предположить, что снимок был сделан в августе-сентябре 1931 года.
32. *Plouf canard sauvage du Père Castor*. Paris: Flammarion. 1935.
33. Некоторые из сохранившихся постеров Ф. Рожанковского хранятся сегодня в Музее Виктории и Альберта и в Музее Транспорта (Лондон), а также в Музее Транспорта в Йорке.
34. *ABC du Père Castor*. Paris: Flammarion. 1936.
35. Порт де Клиньанкур – станция парижского метро в XVIII округе.
36. Порт-де-Лиля – окраина Парижа. Далее речь идет о трех новых альбомах серии Père Castor, изданных в 1936 году с иллюстрациями Рожана: «Азбука» (*ABC du Père Castor*), «Бурый медведь Буррю» (*Bourru l'ours brun*) и «Тюлень Скаф» (*Scaf le Phoque*).
37. Письмо Ф. Рожанковского к Эстер Аверилл из Плесси Робинсон в Нью-Йорк. 14 апреля 1936. Цит. по: Phaedrus, *An International Annual of Children's Literature Research* V. II, 1985. Feodor Rojankowsky – Averill Correspondence. P.1. Vermont, Northlight Studio Press. Идея с созданием «Путешествий капитана Кука» так и не была реализована.
38. Из письма Ф. Рожанковского к П. Фоше. Плесси Робинсон. 22 сентября 1936. 1J446. Archives Maison du Père Castor, Meuzac, France. Перевод М.Макарова.
39. Из письма Ф. Рожанковского к П. Фоше. Аржантьер. 28 января 1937. 1J446. Archives Maison du Père Castor, Meuzac, France. Перевод М. Макарова.
40. Письмо П. Фоше к Ш. Фламариону. 4 марта 1937 года. 1J446. Archives Maison du Père Castor, Meuzac, France. Перевод М. Макарова.
41. См.: *Книга тысячи и одной ночи*. (М.-Л.: Academia, 1929–1939), в восьми томах с переводами Михаила Салье и иллюстрациями Николая Ушина, за которые петербургский художник получил Золотую медаль на Всемирной выставке 1937 года в Париже.
42. Письмо Ф. Рожанковского к А. Ремизову. 26.8.1937. Медон. Архив А.Ремизова и С. Ремизовой-Довгелло. Amherst Center for Russian Culture. Box 2. Folder 7. P. 48-49.
43. Raymond Radiguet, 1903-1923, французский писатель-модернист, автор романа «Дьявол во плоти» и нескольких сборников стихов. Ученик Ж. Кокто, приятель Э. Сати, С. Дягилева, П. Пикассо, М. Жакоба.
44. Radiguet, Raymond. *Vers libres*. Paris: Champigny, au Panier Fleuri, 1926.
45. Louÿs, Pierre. *Manuel de civilité pour les petites filles* or *Young Girl's Handbook of Good Manners*. Paris: Simon Kra, 1926.
46. Le Théâtre érotique de la rue de la Santé. Paris. [анонимное издательство], 1932.
47. *Idylle printanière*. Paris: Henri Pasquinelli, 1933.
48. Роскошное факсимильное издание «Весенней идиллии», напечатанное в Лондоне в 1993 г., сегодня также можно отнести к библиофильским раритетам.
49. Protat, Louis. *Examen de Flora, à l'effet d'obtenir son diplôme de putain*. Paris, 1935.
50. Пошуар – способ создания произведений при помощи трафаретных форм, через которые художником вручную наносилась краска. Во Франции подобная техника использовалась для эксклюзивных малотиражных изданий.

51. Béranger, J. *Chansons galantes*. Paris: Editions de la Belle Etoile, 1937.
52. Еще одной юной моделью Рожанковского была дочь его соседки по Плесси Робинсон – Ruth Sandemann. Она часто приходила в мастерскую художника, брала у него уроки рисования, сопровождала на пленэрах, иногда позировала. Семья Сандеманн в 1941 году переехала в США и Рут сохранила дружбу с художником до конца его жизни.
53. Об этом упоминается и в книге о Ф. Рожанковском американских исследователей Ирвинга и Полли Аллен, но фамилия девочки указана там не совсем верно – Anastasia (Nastenka) Minsekova.
54. Archives Maison du Père Castor, Meuzac, France.
55. Collections La Contemporaine, Fonds Ossorguine, Nanterre. France.
56. Иосиф Александрович Ривкин (Josef Riwkin, 1909, Одесса, – 1965, Париж), переводчик, журналист, редактор. В 1915 году вместе с семьей он переехал из Белоруссии в Швецию, в 1932–1935 гг. руководил издательством «Спектр» и был редактором одноименного модернистского интеллектуального журнала в Стокгольме. Вместе с женой (Эстер Петерсон) был переводчиком множества рассказов советских авторов, в т.ч. книги Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», а также романов М. Осоргина на шведский язык. С 1939 года И. Ривкин и Э. Петерсон жили в США.
57. Ф. Рожанковский к М. Осоргину. 16.02.1940. Аржантьер. Collections La Contemporaine, Fonds Ossorguine, F Δ res 841/4/12, BDIC – Nanterre (Bibliothèque de documentation internationale contemporaine)
58. Жорж Ланжелан (George Langelaan, 1908–1972), французский и британский писатель-фантаст. Автор дважды экранизированного научно-фантастического романа «Муха» (*The Fly*). Вероятно, знакомство Рожанковского с Ланжеланом началось еще во времена *Lecram Press*, где неоднократно печатались его книги.
59. Ф. Рожанковский к П. Фоше. 2 мая 1940. Медон. Archives Maison du Père Castor, 1J446. Meuzac, France. Перевод М. Макарова.
60. Forgeneuve – местечко недалеко от Лиможа. Там в своем доме Фоше организовал школу для парижских детей-беженцев.
61. Ф. Рожанковский к П. Фоше. 16 мая 1940. Медон. Archives Maison du Père Castor, 1J446. Meuzac, France. Перевод М. Макарова.
62. Когда Рожан и Иветт впервые нашли убежище у Фоше в Форженеве, их поселили под крышей, где художник смог устроить что-то вроде студии в маленькой комнатке. По просьбе Фоше Рожанковский во время пребывания в Форженеве написал портреты его детей – Колетт, Жана Поля и Франсуа, а также их кузена Даниэля.
63. Выехать из оккупированной зоны в свободную было чрезвычайно трудно, требовались специальные разрешения, которые выдавались крайне редко.
64. Через полгода Осоргины узнают, что их парижская квартира разграблена, а книги и архив вывезены. Во время оккупации они сильно бедствовали. Писатель жил на крошечные гонорары от «Нового русского слова». «Конечно, необходимо устроить в Нью-Йорке литературное дело; в Европе больше нет ни газет, ни журналов, ни издательств для русских. Эта счастливая полоса кончилась. Я живу вашей нью-йоркской газетой (НРС. – Л.В.), платящей мне гроши, но печатающей обильно, да шведскими изданиями моих книг. Пишу сейчас детские книжки, которые иллюстрирует Рожанковский; он скоро уедет к вам.» (Письмо М.А. Осоргина к В.М. Зензинову. 17 января 1941. Цит. по: Глушанок, Г. «М.А. Осоргин». *Новый Журнал*. 2012. № 268. С. 224); Издание детских книг, о которых М. Осоргин пишет в письме, так и не состоялось.

65. А.П. Прокопенко (1886–1954), поэт, писатель, врач-офтальмолог. Родился в Харькове, после революции жил в Париже. Коллекционер и знаток искусства.
66. Ф. Рожанковский к Т. Осоргиной. 18 августа 1940. Форженев. Collections La Contemporaine, Fonds Ossorguine, F Δ res 841/4/12, BDIC – Nanterre.
67. Ф. Рожанковский к М. Осоргину. 22 сентября 1940. Форженев. Collections La Contemporaine, Fonds Ossorguine, F Δ res 841/4/12. BDIC – Nanterre.
68. Ф. Рожанковский к М. Осоргину. Октябрь 1940. Форженев. Collections La Contemporaine, Fonds Ossorguine, F Δ res 841/4/12. BDIC – Nanterre.
69. Ф. Рожанковский к М. Осоргину. 09.11.1940. Форженев. Collections La Contemporaine, Fonds Ossorguine, F Δ res 841/4/12. BDIC – Nanterre.
70. Для будущей выставки в Нью-Йорке Рожанковский планировал перевезти через океан около двадцати больших акварелей. Для этого у местного столяра им был заказан специальный ящик.
71. Ф. Рожанковский к М. Осоргину. 26.11.1940. Форженев. Collections La Contemporaine, Fonds Ossorguine, F Δ res 841/4/12, BDIC – Nanterre.
72. Об этом Ф. Рожанковский сообщает в письме к М. Осоргину от 30.11.1940 из Форженева. Collections La Contemporaine, Fonds Ossorguine, F Δ res 841/4/12 2 ff, BDIC – Nanterre.
73. Дальнейшая переписка это подтверждает – свой долг Рожанковский значительно уменьшил исполненными и оставленными у Арманда Фламариона работами.
74. Ф. Рожанковский к М. Осоргину. Форженев. 09.12.1940. Collections La Contemporaine, Fonds Ossorguine, F Δ res 841/4/12, BDIC – Nanterre.
75. П. Фоше к Ш. Фламариону. 15.12.1940. Докладная записка № 27. Форженев. Archives Maison du Père Castor, 1J446. Meuzac, FRANCE. Перевод М. Макарова.
76. Речь идет о французском писателе Jean Mariotti (1901–1975) и его жене Людмиле Каржинской. Жан Мариотти родился в Каледонии, в 23 года приехал в Париж и с 1929 года печатался в «Фламарионе». В 1940 году на линии Мажино он попал в плен и был заключен в немецкий лагерь Фаллингбостеле (Fallingbostel). В 1942 году Мариотти был освобожден. В 1943-м участвовал в Сопротивлении.
77. Stock Delamain et Boutelleau – парижское издательство, для которого Рожанковский иллюстрировал книги в 1941 году. Одна из них: Mariotti, Jean. *Les contes de Poindi*. Paris: Stock. 1941.
78. Ф. Рожанковский к М. Осоргину. 29. 12. 1940. Аржантьер. Collections La Contemporaine, Fonds Ossorguine, F Δ res 841/4/12, BDIC – Nanterre. Письмо это начиналось с милого черно-белого рисунка тушью – изображения рождественской елки в уютном доме у окна с видом на заснеженные горные вершины.
79. Robert O. Saber (настоящее имя Milton K. Ozaki, 1913-1989), американский писатель японского происхождения, автор множества популярных детективных романов середины 20-го века, написанных как под своим настоящим именем, так и под псевдонимом Роберт О. Сэйбер.
80. Ф. Рожанковский к М. Осоргину. 10. 01. 1941. Аржантьер. Collections La Contemporaine, Fonds Ossorguine, F Δ res 841/4/12, BDIC – Nanterre.
81. Ф. Рожанковский к А. Фламариону. 8 февраля 1941. Archives Maison du Père Castor, 1J446. Meuzac, FRANCE. Перевод М. Макарова.
82. «David Golder» (1929) – первый роман Ирен Немировски (Ирины Немировской), французской писательницы еврейского происхождения.

Родилась в 1903 году в Киеве; с 1919 года семья Немировских жила во Франции. Писательница погибла в Освенциме в 1942 году. Из письма Ф. Рожанковского к М. Осоргину. 8 апреля 1941 года. Аржантьер. Collections La Contemporaine, Fonds Ossorguine, F Δ res 841/4/12, BDIC – Nanterre.

83. Ф. Рожанковский к М. Осоргину. 11 апреля 1941 года. Аржантьер. Collections La Contemporaine, Fonds Ossorguine, F Δ res 841/4/12, BDIC – Nanterre.

84. Ф. Рожанковский к М. Осоргину. 17. X. 1940 года. Аржантьер. Collections La Contemporaine, Fonds Ossorguine, F Δ res 841/4/12, BDIC – Nanterre.

85. Это горное местечко можно увидеть в одной из последних книг серии Père Castor с иллюстрациями Рожана: *Cigalou*. Paris: Flammarion. 1939, а также в американских изданиях *The Tall Book of Nursery Tales*. Harper and Row. 1944 и *All Alone*. Viking Press. 1953. Об этом говорится и в книге Ирвинга и Полли Аллен (Allen, Irving, Allen, Polly and Rojankovsky-Koly, Tatiana. *Feodor Rojankovsky: The Children's Books and Other Illustration Art*. Wood Stork Press. С. 61.

Людмила Пружанская

Эльза Триоле. Между Буниным и Цветаевой

Памяти моего отца,
историка Белого дела Г.З. Иоффе

«Скажу ли я черное, скажу ли я белое, здесь всегда будут видеть только красное»¹, – с горькой иронией заметила французская писательница Эльза Триоле в 1948 г., засомневавшись, нужно ли ей публиковать очередной роман² под собственным именем. К тому времени уже шла холодная война. А ведь еще совсем недавно, 3 июля 1945-го, Триоле – как автора антифашистского произведения *Le premier accroc coûté deux cents francs*³ («За порчу сукна – штраф 200 франков») торжественно награждали в Париже Гонкуровской премией. Тогда эта 47-летняя миниатюрная женщина, магический взгляд которой был воспет поэтом Луи Арагоном в его стихах *Les Yeux d'Elsa* («Глаза Эльзы»), стала первой в истории писательницей, заслужившей высшую литературную награду Французской республики. Если добавить, что Триоле была «не галльских кровей» и к тому же родилась и выросла в России, то такое событие стало сенсацией. Но... «неисповедимы пути Господни!», как писала в письмах сестре Лиле Брик сама Эльза Юрьевна.

Именно под таким именем – Элла (Эльза) Юрьевна Каган – она появилась на свет 12 сентября 1896 г. в центре Москвы, в районе Маросейски, по адресу Петроверигский переулок, дом Егорова, кв. 47. Позже лирические воспоминания об этом месте будут не раз появляться на страницах ее французских романов и повестей.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Вне всякого сомнения, в истории Русского Зарубежья Эльза Триоле представляет «un cas à part» («особый случай»). Летом 1918 г., еще до массового исхода (Элле Каган было тогда 22 года) она уехала из охваченной революцией России в Европу вслед за своим будущим мужем, военным атташе французской дипмиссии Андре Триоле*. Лишь двадцать лет спустя, в 1938 году, благодаря своему второму браку – с Луи Арагоном, талантливым поэтом, ставшим впоследствии

* О нем и обстоятельствах ее отъезда см. Пружанская, Людмила. «Триоле по отчеству Петрович». Журнал «Слово/Word», № 127, 2025.

знаковой фигурой европейской литературы XX века, – она получила французское гражданство. При этом сохранила от первого замужества звучную фамилию, теперь увековеченную в названии улиц, учебных заведений и библиотек десятков французских городов (есть, кстати, улица Эльзы Триоле и в Монреале, в Канаде). Дома, где она жила, ныне украшены мемориальными досками, а в 2021 году к ее 125-летию Почта Франции выпустила памятную марку: на ней Триоле в расцвете своей красоты (фото было сделано в 1939 году) изображена с большим розовым цветком на груди. Но всё это – уже в наше, новейшее время, когда земной путь писательницы давно завершен. Она скончалась от сердечного приступа 16 июня 1970 г. в возрасте 73 лет.

А в эмиграции, после скорого расставания в 1921 году с Андре Триоле, прежде чем найти себя, ей пришлось многое испробовать и испытать, в том числе заняться изготовлением ювелирных украшений. «Она низала бусы. Много нас тогда низало бусы. Это, пожалуй, было несколько выгоднее, чем вышивать крестом», – позже будет вспоминать Эльзу Нина Берберова⁴. В Париже Триоле предстояло многое пережить, передумать. По своей натуре она всегда была склонна к рефлексии и с раннего детства вела дневники, фрагменты которых ныне опубликованы в переводе на французский⁵.

Уже к середине 1920-х, разуверившись в возможности обрести личное счастье, Триоле стала всё больше думать о возвращении в Россию. При этом ей казалось, что осуществить «путь домой» можно только через родную русскую словесность: она-то любила ее больше всего в жизни! В Париже Триоле напишет по-русски три повести. О чем? О том, что бередило ее душу: о жизни вне дома, среди экзотики, в которой она оказалась волею судьбы – «На Таити» (1925), о своем родном московском детстве – «Земляничка» (1926) и о долгом одиночестве и давящей на сердце неприютности – «Защитный цвет» (1928). Виктор Шкловский еще раньше познакомил Эльзу с Максимом Горьким, и эти ее три повести выйдут в нэпмановской Москве, в которой тогда вовсю кипела литературная жизнь (Булгаков, Бабель, Есенин, Маяковский, Олеша, Пастернак, Тынянов и др.). Впрочем, на столь уникальном, блистательном фоне (позже круг этих писателей Валентин Катаев назовет «алмазным венцом») исповедально-ностальгическая проза одинокой эмигрантки не могла иметь особых шансов на успех.

Кто знает, как бы сложилась дальнейшая судьба Эльзы Триоле, если бы не ее «роковая» встреча 6 ноября 1928 г. с красивым поэтом-сюрреалистом Луи Арагоном в баре парижского ресторана «La Coupole» (при участии ее приятеля, русского эмигранта Владимира Познера). В самом скором времени она поселится у Арагона в его маленькой студии без удобств на ул. дю Шато. А осенью 1930 г. уже «повезет» его в Советскую Россию. Повод – самый что ни на есть подходящий: Международный съезд писателей в Харькове.

Для романтического Арагона поездка в СССР представлялась открытием «нового мира», для Триоле – возможностью обретения утраченной родной среды. Осмелимся допустить, что именно этот личный (а не идеологический!) мотив прежде всего лежал в основе *modus operandi* будущей писательницы. Конечно, восстановление связей с «совдепией», как называли ленинско-сталинскую Россию в белой эмиграции, не могло быть ни понято, ни принято ее радикально настроенными представителями. Однако, в отличие от Арагона, вступившего во Французскую коммунистическую партию еще до знакомства с Эльзой (в ту пору многие сюрреалисты, в том числе ближайший друг Арагона поэт Андре Бретон, «флиртовали» с левой идеей), сама Триоле навсегда останется беспартийной. С юности замороженная образом и поэзией Маяковского, творчеству которого будет верна до конца своих дней, она примкнет к когорте «попутчиков», *les compagnons de route*, – так во Франции назовут представителей левой творческой интеллигенции. Не стремясь к официальному лидерству в этом движении, Эльза Триоле сыграет в нем существенную, а возможно, и ведущую роль.

В 1939 г. она опубликует в парижском издательстве *Éditions sociales internationales* большой биографический очерк с громким названием «Maïakovski, poète russe» («Маяковский – русский поэт»), который, как и ее первый французский роман *Bonjour Thérèse* («Добрый вечер, Тереза»), с началом немецкой оккупации Франции попадет под цензурный запрет режима Виши. Антигитлеровская позиция Триоле не оставляет сомнений: как и Арагон, она вступит в ряды *La Résistance*, суровые и опасные будни которого позже опишет в своих книгах.

С приходом долгожданной победы в мае 1945 года Триоле стали переводить на русский язык и публиковать как в толстых журналах, так и отдельными изданиями. Наличие семейных (сестра Лиля Брик) и дружеских связей в московских литературных кругах сыграли немалую роль в том, что Триоле заняла особое место в процессе послевоенного пересечения двух культур – которые, однако, в скором времени вновь окажутся под идеологическим давлением с обеих сторон. Отдавая себе в этом полный отчет, писательница, как могла, старалась держаться «поверх барьеров».

Начав на французском издательском рынке с переводов произведений Гоголя и пьес Чехова (об Антоне Павловиче она позже напишет отдельную книжку), Триоле также опубликует по-французски повесть Виктора Шкловского «Капитан Федотов», посвященную художнику Павлу Андреевичу Федотову. Знакомство французского читателя с богатой русской культурой станет ее миссией, от которой будет неотделима ее личная жизнь. Их с Арагоном загородный дом *Le Moulin de Villeneuve* в 60 км от Парижа (ныне это государственный литературный музей), обставленный Триоле с присущим ей изысканным вкусом, по свидетельству друзей, соратников и гостей из

СССР, отличало присутствие «русского духа». Стены кабинета Эльзы Юрьевны, заставленного полками с русскими книгами, украшали семейные фотографии, иконы и рисунки эпохи войны 1812 года. На кухне стоял самовар, из которого разливали чай, к нему подавали тульские пряники, сушки и конфеты из московских посылок.

Ее полтора десятка романов опубликуют лучшие парижские («Деноэль», «Галлимар», «Робер Лаффон») и женеvские («Скира») издательства, а сама она, несмотря на свой так и не выветрившийся за долгие годы русский акцент, станет признанной фигурой культурного бомонда. Со стороны казалось: у этой русской эмигрантки – блистательная карьера и завидная судьба.

ИВАН БУНИН: «ДОРОГАЯ ЭЛЬЗА ЮРЬЕВНА...»

Может быть, именно поэтому к Эльзе Триоле и обратился живший во Франции лауреат Нобелевской премии Иван Алексеевич Бунин. Осенью 1945 года Бунину сообщили, что в советском «Гослитиздате» обсуждается идея публикации сборника его рассказов. Писатель, конечно, был очень взволнован. Как к этому подойти, Бунин не очень знал. Он был хорошо знаком с Триоле, и та сразу согласилась ему посодействовать – навести справки. 4 декабря 1945 г. она напишет «деловое письмо» Лиле Брик: «Позвони, пожалуйста, Аплетину*, скажи ему в ответ на его телеграмму, что я говорила с Буниным по телефону и направила его к Михайлову**, он хочет знать условия, т.к. как раз собирался подписывать договор с кем-то здесь. Надеюсь, там они разобрались. Пока что сборник существует только в рукописи, а потому я его послать не могу, это целиком в руках Бунина»⁶.

Но этим деловая связь «Триоле–Бунин» не исчерпалась. Всего несколько месяцев спустя, в марте 1946 года, Триоле получит от Ивана Алексеевича письмо с вопросом о возможности публикации в популярной левой газете *Les Lettres françaises* (в которой активно сотрудничали Арагон и Триоле) одного из его рассказов, переведенных на французский язык бретонским писателем Жарлом Приелем⁷). Бунин обращался к Триоле по имени-отчеству, тщательно соблюдая при этом дореволюционную орфографию:

«Дорогая Эльза Юрьевна, простите мне мою безсовестность – еще раз (и, поверьте, последний!) беспокою не только Вас, но и г. Арагона покорнейшей просьбой – будьте добры посмотреть прилагаемую рукопись: нельзя ли ее напечатать в *Lettres Françaises* (где, как мне сказали, г. Арагон – один из руководителей)? Мы с г. Jarl Priel люди бедные и хотели бы что-нибудь заработать. Если рассказ не подходит, будьте добры поберечь его у себя: за ним,

* Михаил Яковлевич Аплетин (1885–1981), литературный критик, заместитель председателя Иностранной комиссии Союза писателей СССР.

** Борис Данилович Михайлов (1895–1955), с 1944 г. – представитель Совинформбюро в Париже.

если позволите, заедет, когда прикажете, А.В. Бахрах. Целую Вашу руку и покорнейше прошу передать г. Арагону мой сердечный привет.

Ваш Ив. Бунин,
15 марта 1946 г.»

К сожалению, обе попытки опубликовать Бунина – как в «Гослитиздате», так и в *Les Lettres françaises* – не увенчались успехом. Константин Симонов, встречавшийся с Буниным летом 1946 г. в Париже, объяснит отказ «Гослитиздата» от публикации сборника тем, что писатель сделал «заявление враждебного нам характера»⁸. Можно вполне допустить, что и бунинский рассказ в *Les Lettres françaises* не был опубликован по тем же идеологическим причинам. К тому же влияние Триоле в этой газете тогда было ограничено, а административной власти, как и у Арагона⁹, у нее не было никакой.

Однако, похоже, что по-человечески Триоле и Бунин симпатизировали друг другу: Триоле содействовала ему в Москве (то же подтвердил в одном из своих писем и сам Бунин¹⁰), и, думается, именно доброе отношение Эльзы Юрьевны позволило Ивану Алексеевичу обратиться к ней с просьбой о публикации его рассказа на французском языке. Наверное, оба были огорчены этой двойной неудачей, и немногим более двадцати лет спустя (к тому моменту Бунина уже не будет в живых) Триоле, храня в памяти встречи и беседы с ним, сочтет важным процитировать в своем знаковом тексте – «Предисловии к тоске по родине» – тот сакраментальный вопрос, который ей задал «напрямую» великий русский писатель. Вопрос И.А. Бунина звучал следующим образом: «Как вы могли бросить, предать ваш язык?» И она даст свой честный, откровенный ответ.

ЦВЕТАЕВА. «ОНА ПОЭТ НАСТОЯЩИЙ»

Как Триоле пришла к переводам Цветаевой? Долгое время имя Марины Цветаевой французам было практически не известно. С детства прекрасно владея языком ее любимых героев – Наполеона Бонапарта и актрисы Сары Бернар, Цветаева прожила во Франции четырнадцать лет, однако внимания парижской прессы она, кажется, так и не привлекла (чего нельзя было сказать о ее муже Сергее Эфроне – в связи с именем Игнатия Рейсса, убитого в 1937 году). Триоле была давно знакома с Цветаевой, а у себя дома хранила ее автограф с посвящением Маяковскому.

В октябре 1961 г. Эльза получает от Лили Брик литературный альманах «Тарусские страницы» (Калуга, 1961). В нем, наряду с повестью Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!», стихами Наума Коржавина, большим очерком Константина Паустовского об Иване Бунине, прозой Владимира Максимова, Надежды Мандельштам и др., были опубликованы рассказ Цветаевой «Кирилловны» и большая подборка ее стихов (многие из них были написаны во Франции).

3-7 ноября 1961 г. Эльза пишет Лиле: «Спасибо <...> за 'Тарусские

страницы'. Замечательные стихи Цветаевой, яростные, отчаянные...» – и добавляет: «В жизни она была другой»¹¹.

В письме от 15 апреля 1962 г.:

«Перевела из Цветаевой четыре стихотворения. Хоть она тебе и не по душе¹², Лиличка, она поэт настоящий – тяжелый, невыносимый и со своим, даже не голосом, а криком. Отзвуки, скажем, Володи, скажем, Пастернака... есть, но и есть свое, изнутри и из таланта идущее»¹³.

Незадолго до этого у Триоле родилась идея «Антологии русской поэзии», которая, похоже, вызывает интерес в Париже. Эльза Юрьевна глубоко погружается в тему. При этом ей, конечно, требуются первоисточники. Как всегда, она обращается с просьбой к верным ей Лиле и ее мужу Василию Катаняну:

«В библиотечке мне нужны, не хватает: Ломоносов, Кантемир, Тредиаковский, Фонвизин, Вас. Майков, Крылов, Богданович, Карамзин, Батюшков, Рылеев, Вяземский <...> У меня никаких обязательств, ни договоров. Я сначала хочу пощупать, какие возможности. Надо найти людей. Таких, которые могли бы сделать подстрочники для французских поэтов и даже посидеть с ними, объяснить... Поэтов, знающих русский и французский языки, можно сказать, – нету, и даже людей, знающих в достаточной мере поэзию, чтобы сказать – такой-то размер, и то трудно найти... <...> Если сдвину с места, начну, то, может, потом само покатится, так бывает»¹⁴.

Спустя без малого год – очередная просьба: «Не хватает Саши Черного, Северянина, Гумилева, Панкратова, Андрея Белого, Бальмонта. Может быть, что-нибудь найдете? Почти все остальные поэты оказались у меня либо в книжной лавке»¹⁵.

И вот результат: в 1965 г. в парижском левом издательстве *Seghers*, как указано на титульном листе – под руководством составителя Эльзы Триоле, выходит двуязычная антология «Русская поэзия» с предисловием давнего друга Эльзы, выдающегося Романа Якобсона. В итоге в антологии собраны стихи 94 (!) русских поэтов, среди которых – Ломоносов, Державин, Жуковский, Баратынский, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Некрасов, Анненский, Блок, Хлебников, Ахматова, Гумилев, Северянин, Маяковский и, конечно, Цветаева. Помимо Триоле над антологией работали еще восемь французских переводчиков (среди них – Луи Арагон). Но Цветаеву Триоле оставила себе: слишком она ей дорога! В результате в антологии впервые были опубликованы ее четыре стихотворения: «Писала я на аспидной доске» (1920), «Маяковскому» (1921), «Тоска по Родине» и «Сад» (1934).

В тот же период другое издательство – *Gallimard* – решает создать серию «Современные русские поэты». И Триоле, со своей стороны, предлагает подготовить выпуск отдельного сборника стихов Цветаевой. Идея принята!

22 августа 1966 г. Эльза пишет Лиле:

«2-ой том – Цветаева. Буду переводить ее – я. И мне нужны ее стихи. Кое-что у меня есть, кое-что я найду в Globe, здешней русской книжной лавке, но у Зильберштейна будто бы имеются все ее стихи. Библиографии не существует, и многое может выпасть просто по моему незнанию. Просьба №2 – спросить у Зильберштейна про стихи Цветаевой»¹⁶.

3 февраля 1967 г. она рапортует: «Перевожу Цветаеву. Как получается, неизвестно. Может быть, совсем не получается»¹⁷.

В результате в октябре 1968 г. тиражом в две тысячи экземпляров выходит первая во Франции книга «*Marina Tsvetaeva*», которая открывается краткой автобиографией, написанной самой Мариной Ивановной в 1939–1940 годах. В сборнике опубликованы 34 стихотворения – на русском и французском языках. Триоле расположила стихи Цветаевой в хронологическом порядке, так, чтобы дать читателю возможность почувствовать и понять личность поэтессы в ее становлении, развитии, расцвете, отчаянии. Открывается сборник лирическими стихами «Из цикла ‘Подруга’» (1915) – «Заповедей не блюла» и «Я знаю правду – все прежние правды – прочь...», а в заключении – политическим «Взяли» (написанным 9 мая 1939 г. в ответ на немецкую аннексию Судетской области в Чехии). И, конечно, в этом сборнике особое место занимают написанные в парижской эмиграции в 1930-х годах «Дом», «О, неподатливый русский язык!» и «Тоска по родине».

12 октября 1968 г. Триоле пишет Лиле и Василию Катаняну:

«Дорогие! Вот наконец переводы Цветаевой <...> Пожалуйста, передайте Цветаеву 1) Маргарите Алигер 2) дочери Цветаевой (она мне прислала автобиографию Цветаевой через Маргариту 3) Вам самим. Могу прислать еще несколько экземпляров с кем-нибудь, но немного, т.к. тираж ограниченный»¹⁸.

В письме 5-7 июля 1969 г. Триоле скромно упоминает: о переводах Цветаевой «понемножку пишут, везде очень похвально»¹⁹.

При этом в СССР литературный мир, кажется, не обратил особого внимания ни на этот сборник, ни на вклад Эльзы Юрьевны в продвижение русской поэзии на Западе. Причиной возникшего «охлаждения» (до этого ее произведения активно переводили) стала их с Арагоном критика на страницах *Les Lettres françaises* ввода советских танков в Прагу летом 1968 г. и статья Триоле «Случай Сахарова» в поддержку академика А.Д. Сахарова и его правозащитной деятельности. В результате последнюю повесть Триоле *Le rossignol se tait à l'aube* («Соловей умолкает на рассвете», 1969), в которой писательница подводит жизненный итог перед своим близким уходом, в СССР обошли молчанием. Впрочем, Триоле этот текст уже и не предлагала – догадывалась, что опубликовать не будут.

«Я ПИШУ ПО-ФРАНЦУЗСКИ, НО Я – РУССКАЯ»

В октябре 1966 г. Триоле написала очерк «*Préface au mal du pays*»

(«Предисловие к тоске по родине»). Вкратце история «Предисловия» такова. В начале 1960-х годов Триоле и Арагон задумали публикацию совместного многотомного издания под названием *Œuvres romanesques croisées* («Перекрестное собрание сочинений»). Предполагалось, что каждый том будет содержать их произведения с обновленным авторским предисловием и последующими комментариями. К оформлению были привлечены художники – современники и друзья Арагона и Триоле – Анри Матисс, Макс Эрнст, Александр Тышлер. Очерком «Предисловие к тоске по родине» Триоле предварила переиздание своего романа *Le rendez-vous des étrangers* («Незванные гости»)²⁰, отмеченного в 1957 г. «Премией Братства» организаций борьбы против расизма, антисемитизма и в защиту мира. В «Перекрестном собрании...» очерк был опубликован в 1-й части 27-го тома.

В своем «Предисловии», датированном 1966 годом, Триоле не побоялась поднять «острые» вопросы: о родине и чужбине, о драме человека, волею судьбы оказавшегося «между», о положении писателя-эмигранта. В 1970-х годах Александр Солженицын выразит эту проблематику образно: «Угодило зернышко промеж двух жерновов». Обладающая зорким взглядом, известная своей требовательностью к себе и другим, чуждая всякого прекраснотушия (в этом, кстати, она была схожа и с Буниным, и с Цветаевой), Триоле объединила в своем «Предисловии» этих двух больших русских писателей: в названии «Предисловия» слышится знаменитая цветаевская строка: «Тоска по родине! Давно разоблаченная морока!», а в самом тексте Триоле прямо цитирует обращенный к ней вопрос Ивана Алексеевича:

«Как, как Вы могли бросить, предать ваш язык?» – Как? Стиснув зубы, рвя на себе волосы..., убеждая себя, что живя буднями Франции, осознавая исключительность своей судьбы и пользуясь в качестве материала окружающей действительностью, к которой я имею непосредственное отношение, я должна писать по-французски для французов. Посмотрите на Жюльена Грина, Набокова, Бекетта, Труайя – ограничимся лишь нашими современниками, – сдастся мне, что если бы они не покинули свою родину, они бы писали на родном языке. А если Пушкин и писал по-французски, прожив всю жизнь в России, это потому что французский язык был языком общения дворянства и, кстати говоря, пушкинские французские стихи не служат подтверждением его гениальности: язык, который не погружен в страну, на котором она говорит, жалок, в нем нет жизненных соков. Мне не довелось задать вопрос Труайя или Набокову: ощущают ли они себя первый – французом, второй – американцем, потому пишут по-французски или по-английски? <...> Что касается меня, я пишу по-французски, но я – русская. Я русская, пишущая по-французски. Если бы я осталась в России, я бы продолжала писать по-русски, и тот факт, что я говорю по-французски, не вынудил бы меня писать на этом языке».

На «Предисловие к тоске по родине» сразу обратили внимание французские исследователи, заинтересованные, в первую очередь, изучением феномена двуязычия Триоле: многие цитировали прямой бунинский вопрос («Как Вы могли бросить, предать..?») и ее столь же

честный ответ («стиснув зубы, рвя на себе волосы...»). Но также сенсацией стало ее признание в том, что вопреки своему более чем полувековому опыту жизни во Франции и впечатляющему вкладу во французскую литературу, Триоле осознавала себя русским человеком, а к концу жизни, возможно, ощутила это с особой остротой. В этом смысле она оказалась абсолютно родственна и Ивану Бунину, и Марине Цветаевой. Может быть, именно этими сокровенными мотивами она была движима, когда сразу после войны пыталась помочь обездоленному Бунину или когда в 1960-е годы начала продвигать стихи Марины Цветаевой, став во Франции ее первым переводчиком и публикатором.

Впрочем, такое личное, шокирующее французов признание вполне укладывалось в образ Триоле, воссозданный в воспоминаниях Константина Симонова, близко знавшего Эльзу Юрьевну по совместной работе (в конце 1950-х годов они выступили соавторами сценария кинофильма «Нормандия-Неман», 1960). Говоря о Триоле, Симонов, в частности, отмечал: «...она была максималисткой», «...острых углов она не огибала, наоборот, всю жизнь ушибалась об них и ходила в синяках»²¹.

Сознавая свой близкий уход (последние два года мучительные недуги всё больше одолевали ее хрупкую плоть), она писала 30 мая 1968 г. сестре: «Я теперь убеждена, что право только сердце и что надо следовать только его побуждениям, и никаких других соображений. Оно умнее рассудка»²². В своих последних французских публикациях²³, не стремясь никому «угодить», Триоле будет с особой силой подчеркивать свою нерасторжимую связь с русской словесностью, русским стихосложением. Казалось, ей напоследок хотелось четко обозначить свои духовные корни. Впрочем, французы отнеслись к этому с пониманием и глубоким уважением, поставив имя Эльзы Триоле в разряд важнейших писателей XX века.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Цит. по Marcou, Lili. (1994). *Elsa Triolet. Les Yeux et la Mémoire*. Plon, P. 285. Это высказывание было сделано в связи с публикацией романа *Les fantômes armés*. La Bibliothèque française, 1947.
2. Речь шла о романе *Les fantômes armés* («Вооруженные призраки»), 1947.
3. Éd. Denoël, 1944.
4. Берберова, Нина. *Курсив мой*. М.: АСТ, 2010, С. 279.
5. Triolet, Elsa. *Écrits intimes, 1912–1970*. P., Éd. Stock, 1998.
6. Брик, Лиля и Триоле, Эльза. (2000). *Неизданная переписка 1921–1970*. М.: Эллис Лак. С. 119.
7. См. факсимиле: Юрий Панков. «Первая отечественная выставка, посвященная Бунину». <https://www.pravda.ru/culture/1054120-bunin/>. Это письмо экспонировалось в 2010 г. в Гос. литературном музее на выставке «Чаша жизни», приуроченной к 140-летию И.А. Бунина; также см. сайт: Русско-французские документы и архивы. <http://adafrance.ru/?p=6828>. Jarl Priel – псевдоним французского писателя Шарля Жозефа Тренеля (1885–1965),

переводчика произведений Гоголя, Достоевского, Гончарова, Набокова, Мережковского и др.

8. См. примечание В. Катаняна в «Неизданной переписке Лили Брик и Эльзы Триоле». Указ. изд. С. 121.

9. Луи Арагон занял пост главреда «Les Lettres françaises» в 1953 году.

10. Бунин, И.А. (1973). *Литературное наследство*. Т. 84 в 2-х книгах. М.: «Наука», Кн.1. С. 625-627; Кн. 2. С. 516-517.

11. Эльза Триоле была знакома с Мариной Цветаевой по Берлину, куда приехала в 1922 году. Там, в частности в кафе «Landgraf», собирались русские писатели А. Толстой, А. Белый, Б. Пильняк, В. Ходасевич, С. Есенин и др.

12. В письме от 24 ноября 1961 г. Лиля Брик весьма пренебрежительно высказалась о творчестве Цветаевой. Впрочем, в отличие от французского издания *Lili Brik et Elsa Triolet* (Paris, 2000), это письмо (С. 923) в российском издании опубликовано не было.

13. Из переписки Брик-Триоле. Письмо Триоле от 15 апреля 1962 г. Ук. Издание. С. 365.

14. Из переписки Брик-Триоле. Письмо Триоле от 18/19-22 мая 1961 г., Ук. Изд. С. 328.

15. Из переписки Брик-Триоле. Письмо Триоле от 11 февраля 1962 г., Ук. Изд. С. 358.

16. Из переписки Брик-Триоле. Письмо Триоле от 22 августа 1966 г., Ук. Изд. С. 492.

17. Из переписки Брик-Триоле. Письмо Триоле от 3 февраля 1967 г., Ук. Изд. С. 502.

18. Из переписки Брик-Триоле. Письмо Триоле от 12 октября 1968 г., Ук. Изд. С. 577.

19. Из переписки Брик-Триоле. Письмо Триоле от 5-7 июля 1969 г., Ук. Изд. С. 614.

20. Роман «Незванные гости» (*Le rendez-vous des étrangers*) был опубликован московским «Издательством иностранной литературы» в 1958 г. в авторизованном переводе Т.В. Кашириной-Ивановой.

21. Константин Симонов «Нормандия-Неман», 1970. Впервые опубликовано: *Литературная Россия*, 2 марта 1973.

22. Из переписки Брик-Триоле. См. письмо Триоле от 30 мая 1968. С. 554.

23. Триоле, Э. «Откуда взялись соловьи?» [Triolet, Elsa. “Mais d’où viennent les rossignols?”]. In: *Lettres françaises*, № 1326. Paris, 18 mars 1970.

Михаил Эпштейн

Рассудок против разума, или Грабли и зеркало в самопознании ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Есть загадка – или проклятие, которое преследует историю последних полутора веков. Почему российская интеллигенция на заре XX в. азартно вливалась в ряды эсеров и социал-демократов, призывала к насилию, оправдывала политический террор? И почему уже в XXI в. значительная часть западных интеллектуалов оправдывает массовые беспорядки, вандализм, превращение цветущих городов в территории третьего мира, в города-призраки, с заколоченными витринами и толпами бродяг и бандитов? А во внешней политике поддерживает террористические движения, направленные против тех ценностей свободы, демократии, веротерпимости, прав личности, которые Запад исторически больше всего лелеял. Что это за склад ума: начитанность, интеллектуализм, рациональность – и вместе с тем очевидная ненависть к рациональному, стремление перевернуть все ценности, возвысить насилие, варварство?

Часто это объясняется иррационализмом массовых движений и их подстрекателей. Об этом писали французский философ и публицист Жюльен Бенда в «Предательстве интеллектуалов» и американский философ Эрик Хоффер в книге «Истинно верующий: Мысли о природе массовых движений»¹. Позволю себе не согласиться с тезисом об иррациональности. Конечно, вряд ли можно ожидать рациональности от уличных толп, крушащих магазины и поджигающих полицейские участки. Но научный, академический, университетский Запад в основном руководствуется рациональными мотивами.

ДВЕ ФОРМЫ РАЦИОНАЛЬНОСТИ

Рациональность существует в двух формах, или на двух ступенях, различаемых Кантом и особенно ясно Гегелем: *рассудок* (*Verstand*) и *разум* (*Vernunft*). Рассудок – аналитический ум, разум – синтетический. Рассудок упорядочивает, структурирует внешний материал, заданный чувственностью, т. е. способностью восприятия. Рассудок действует внутри заданной системы координат, т. е. «закрытой» рациональности: расчленяет, схематизирует, каталогизирует, оперирует готовыми категориями и бинарными оппозициями: прогрессив-

ное/реакционное, угнетатель/угнетенный, свой/чужой... Согласно Канту, «всякое наше знание начинается с чувств, переходит затем к *рассудку* и заканчивается в *разуме*, выше которого нет в нас ничего для обработки материала созерцаний и для подведения его под высшее единство мышления»². Разум идет дальше рассудка, охватывает живую игру противоречий и видит в них не помеху, а источник развития, постигает целое, а не только части. По Гегелю, это саморазвивающийся, диалектический разум, находящийся в понятиях и их антитезах не застывшую догму, но источник самодвижения, открытый в бесконечность мыслимого. Рассудок действует по известным правилам и стремится к «правильному», «корректному», предполагая его единственность и исключая альтернативы; разум движется к истине, вмещающей себя и отклонения от правил, богатство жизни и свободу духа.

Собственно, уже у Платона можно найти представление об «узкой» форме ума, который отлично служит определенным, практическим целям. «Разве вы никогда не замечали, как узкий ум вспыхивает в пронизательном взоре умного негодяя – как он нетерпелив, как ясно его мелкая душа видит путь к достижению своей цели? Он – противоположность слепому, но его острое зрение вынуждено служить злу, и он вреден в той же степени, что и умен»³. Рассудок, или «узкий ум», сам по себе, конечно, не дает оснований для морализации и отождествления со злом – у него могут быть вполне благие цели и помыслы. Но то, что выделяет этот тип узкого ума, есть именно ограниченность практической целью и умение подбирать средства для ее достижения.

Между рассудком и разумом лежит некая грань – творческое «я». Всё, что до этого «я», – рассудок; всё, что после него, – разум. Задача разума – воссоединить то, что расчленил рассудок. В слове «разум» тоже содержится приставка «раз», означающая расчлененность, но здесь она указывает уже не на итог, которым «рассудок» заканчивает свою деятельность, а на предпосылку, с которым «раз-ум» начинает свою.

Сам язык подсказывает разницу. Рассудок – от корня «суд», а не «ум». Он *рас-*членяет и *суд-*ит, потому он и *рас-суд-*ок. Разум стремится постигнуть целое. По словам Пушкина, «разум неистощим в соображении понятий, как язык неистощим в соединении слов». Сходным образом различал смысл этих двух понятий В. Даль в своем Словаре, в статье «Ум»: «в тесн. знач. ум или смысл, *рассудок*, есть прикладная, обиходная часть способности этой (*ratio*, *Verstand*), низшая степень, а высшая, отвлечённая: разум (*intellectus*, *Vernunft*)».

Рассудок – точка отправления, разум – точка прибытия. Сократ в своем изречении: «Я знаю, что ничего не знаю» – дважды использует понятие «знать», которое в первом случае относится к разуму, а во втором к рассудку. Своим разумом человек знает, что одним лишь рассудком он ничего не может знать. В том, что сознание сознает

свою ограниченность, оно выступает дважды: как сознание-субъект (разум) и сознание-объект (рассудок). Таким образом, сознание само в себе содержит условия саморазвития: сознающее и познаваемое.

Один бегун на марафонскую дистанцию как-то заметил, что если бы он хоть на миг ощутил себя в своем теле, он тут же упал бы на землю в полном изнеможении. Если он продолжает бежать, то каким-то другим, более сильным и не ощущающим себя телом, которое поддерживает его до конца пути. Точно так же и мы доходим до сути вещей каким-то вторым разумом, который появляется у нас только тогда, когда первый разум – рассудок – совсем изменяет нам и готов рухнуть в бездну непонимания.

Рассуждение и разумение – один и тот же процесс, только на двух стадиях: от внешней, ощущаемой цельности вещи – к элементам ее структуры, к множественным значениям; и далее от этих элементов – к еще более глубокой смысловой цельности, какую вещь определяет во всем замысле мироздания. Рассудок выводит вещь из ее единичности, а разум приводит вещь к единому. К целому может устремляться только ум, сознающий свои границы и именно поэтому способный их переступать. Вот почему, согласно Паскалю, разум ни в чем не проявляется так, как в сознании своей ограниченности.

ИДЕОЛОГИЯ И КУЛЬТ ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТИ. ИДЕНТИЗМ И НАЧЕКИЗМ

Та рациональность, которая преобладает у значительной части интеллектуалов, – это первая ее форма, рассудок. Голая рассудочность поражает в учениях Маркса и Ленина и проявляется в идеологической предвзятости, абсолютной нетерпимости к свободной мысли, к малейшим отклонениям от партийной линии. Эта же нетерпимость пронизывает учения политической корректности – о том, как (не) следует думать, писать и говорить. Запретов гораздо больше. Рассудочность склонна к ограничению всего живого, спонтанного, растущего и проявляется в тотальной подозрительности ко всем произведениям литературы и философии («герменевтика подозрения»). Они рассматриваются как скрывающие свои подлинные цели, а именно – защиту интересов того или иного класса, гендера, социальной или этнической группы. Рассудок всюду ищет следы идеологии, и сама по себе идеология есть одно из воплощений рассудка как низшей, статичной формы рациональности. Выстраивается некий порядок идей, категориальная схема, во главе с интересами передового класса или нации, которым должны подчиняться все «люди доброй воли», «носители прогресса». Во главу угла ставится вопрос о власти, превосходстве, господстве, поскольку это самое наглядное проявление простейшей схемы: *кто кого?*

Личности сводятся к групповой идентичности, что нивелирует

различие между ними. Еще полвека назад видный апологет прогрессизма, кумир молодежи, писательница и философ Сьюзен Зонтаг поставила убийственный диагноз: «Белая раса – это раковая опухоль человеческой истории; белая раса и она одна – ее идеологии и изобретения, – уничтожают автономные цивилизации, где бы она ни распространялась, что нарушает экологическое равновесие планеты и угрожает сейчас самому существованию жизни»⁴. Эта идея стала одной из доминант современной левой идеологии, надежно прижившись в академической и журналистской среде. На гуманитарных факультетах, конечно, учат выявлять сложности и оттенки текста, но стратегическая цель тактических уловок остается неизменной: уличить автора, если он принадлежал к «доминирующему» дискурсу, и возвеличить того, кто принадлежал к «угнетенному».

Идентизм (identism) – это идеология идентичности, когда человек всецело идентифицирует себя и других с определенной группой: класс, нация, раса, религия, гендер, сексуальная ориентация, политическая партия, этническая традиция и пр. Идентизм проявляется особенно наглядно там, где его, по сути, должно быть меньше всего: в интеллектуальной деятельности, в художественном творчестве, в личной и профессиональной этике, когда индивиды зацикливаются на саморепрезентации групповых идентичностей. *Идентиста* не интересует ничто, кроме идентичности, и даже науку или литературу он готов обсуждать прежде всего как область решающего вклада своих «согруппников», соплеменников. На новом этапе возрождается *трайбализм* – племенное представление о верховенстве своей группы, класса, этноса, его приоритетной роли в прошлом и настоящем, при враждебности и подозрительности к другим группам и к общечеловеческим ценностям («общечеловеческое», или «абстрактный гуманизм», вызывает наибольшее подозрение).

Такое мировоззрение, суженное до идентичности, раньше именовалось *мультикультурализмом* (multiculturalism), но это название, как оказалось, не вполне точно отражает суть идентизма, или политики идентичности. Мультикультурализм, по своим исходным намерениям, был толерантен, признавал множественность и разнообразие культур. Идентизм не столько проповедует «мульти», множественность, сколько нацелен на утверждение собственной групповой *сверхценности*. «Культурность» этой идеологии тоже вызывает сомнения, поскольку культура здесь далека от творчества и служит лишь средством выражения всё той же самотождественной физической или социальной идентичности.

Рядом с идентизмом стоит *начекизм*. Так можно перевести сверхпопулярное в американском политическом дискурсе понятие «woke» (от англ. wake – будить, проснуться, быть начеку) – сознательность радикально левого толка, сверхбдительное отношение к любым отступлениям от политической корректности. *Woke people* – это *начекисты*, те, которые всегда начеку, бдят, готовы обличить, отменить,

разрушить общественный статус и карьеру любого, кто посмеет отклониться от набора прогрессистских идеологем. Начекисты – воинственные блюстители политкорректности, которые осуществляют функцию политического или морального контроля за неблагоденными, вплоть до доноительства и публичной травли. *Начекистов* нельзя назвать прямыми наследниками советских *чекистов*, но их объединяет бдительность в отношении врагов единственно правильного мировоззрения, основанного на идеях классовой или этнической идентичности. В обществе укрепляется атмосфера подозрительности и нетерпимости, а соответственно – и так называемая *cancel culture*, «культура отмены» или «культура запрета». Правильнее было бы: *политика отмены*, поскольку именно культура при этом приносится в жертву политике. Кто бдит, тот и отменяет. Каковы бы ни были твои заслуги перед обществом, наукой, бизнесом, культурой, спортом – за любую неосторожно высказанную мысль, недостаточно «прогрессивное» словечко можно поплатиться репутацией, карьерой, всем жизненным итогом. Даже бывший президент Барак Обама, кумир прогрессистов, еще в 2019 г. с насмешкой отозвался о начекистах (*woke*): «Для некоторых молодых людей в социальных сетях, по моему ощущению, путь к переменам заключается в том, чтобы как можно более предвзято относиться к другим людям. Если я пишу в твиттере или хэштеге о том, что вы сделали что-то неправильно или использовали неправильный глагол, то я могу сидеть сложа руки и чувствовать себя в полном порядке: ‘Все видели, что я начеку? Я бросил тебе вызов!’»⁵ Один из недавних примеров начекизма – то, как трансгендерное сообщество «отменило» Джоан Роулинг, посмевшую утверждать, что биологический пол – не фикция и что «люди, имеющие менструации», называются «женщинами».

Рассудок, как первая ступень рациональности, еще близок к сенсуальному опыту как орудие его классификации, категоризации, систематизации. Поэтому рассудок чаще всего подозрителен ко всему, что находится за пределами материального, осязаемого. Он признает только «материю, данную нам в ощущениях» (Ленин), и утверждает, что эта же материальность лежит в основе всего идеального и духовного. Ни Маркс, ни Ленин со Сталиным, ни политкорректные идеологи, надзиратели мысли, не способны понять и оценить ничего живого, радующего, трогающего, личностного, прихотливого, фантазийного, поэтического, опровергающего их схемы или просто выходящего за рамки «нужного» и «прогрессивного».

Представим себе рассудочного человека, будь то Маркс или Ленин, Базаров у Тургенева или Лида Волчанинова у Чехова (образ современной политкорректности). Ему не объяснить, что есть вещи, которые и не снились мудрецам. Для них Гамлет – безвольный интеллигент, слабак. Для них поэтическое – это в лучшем случае хорошо зарифмованная идеология. Эти люди лишены шестых чувств, о которых писал Н. Гумилев:

...Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?

...Так век за веком – скоро ли, Господь? –
Под скальпелем природы и искусства,
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

(«Шестое чувство»)

У рассудочных этот орган еще не сформировался, а он и есть разум – высшая форма рациональности, способная постигать духовное в человеке и в мироздании, способная к саморефлексии, полная собственных эмоций, страстей, вдохновения. Разум может мыслить немислимое, углубляться в таинственную природу бытия, небытия и сверхбытия, тогда как рассудок фетишизирует собственные категории, наделяя их статусом идолов: идолы прогресса и реакции, идолы левых и правых.

РАССУДОК И РЕЛИГИЯ

Рассудочность не тождественна атеизму, она может господствовать и в религиозном мировоззрении. Но если рассудок склоняется к религии, то воспринимает ее как систему догм, законов, правил богослужения и благочестия. Рассудочным людям импонирует доктринальная и ритуальная сторона религии, четко регулируемая канонами и уставом. Религиозная рассудочность многообразна, одно из ее проявлений – превознесение закона над благодатью, вера в то, что есть безусловная причинно-следственная связь между всеми событиями духовного мира и что Бог, следуя раз навсегда заведенному правилу, всегда вознаграждает праведника и карает злодея. Собственно, библейская Книга Иова – об этом столкновении *верующего разума*, пытающегося постичь глубинный замысел Бога, и *верующего рассудка*, предлагающего каноническое объяснение мукам праведника. Оказывается, что «теологически корректные» друзья Иова неправы в глазах самого Бога, а прав Иов – хотя бы в том, что не говорит о Боге как о ком-то известном, чей закон неизменен, а хочет говорить с самим Богом.

Круг людей, оперирующих готовыми понятиями и хорошо знающих, как их «корректно» употреблять, но не способных к живому мышлению, выведен в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго». Сам Юрий Живаго, врач, поэт, мыслитель, одинок в обществе своих рассудительных друзей – это реминисценция того же противостояния творческого разума и благовоспитанного рассудка, что и в Книге Иова.

Гордон и Дудоров принадлежали к хорошему профессорскому кругу. Они проводили жизнь среди хороших книг, хороших мыслителей, хороших композиторов, хорошей, всегда, вчера и сегодня хорошей, и только хорошей музыки, и они не знали, что бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы. Гордон и Дудоров не знали, что даже упреки, которыми они осыпали Живаго, внушались им не чувством преданности другу и желанием повлиять на него, а только неумением свободно думать и управлять по своей воле разговором. <...> Ему насквозь были ясны пружины их пафоса, шаткость их участия, механизм их рассуждений. Однако не мог же он сказать им: «Дорогие друзья, о как безнадежно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших любимых имен и авторитетов».

Самое общее разграничение мировоззрений обычно приводится по линии «религия – атеизм», «вера – неверие». Но столь же существенно другое различие: «разум – рассудок». У людей рассудочного типа, принадлежат ли они Церкви или партии, исповедующей атеизм, чтят ли они Библию или «Капитал», есть множество точек пересечения. У рассудка есть пафос, но нет саморефлексии. Есть последовательность, но нет глубины. Верующие они или, чаще, неверующие, но людям рассудка чуждо всё поэтическое, мистическое, фантазийное. Они не чувствуют иронии бытия, шуток и подковырок истории. Они живут схемами, которые подкрепляются силой эмоций, сверхположительных и сверхотрицательных.

РАССУДОК И ЭТИКА

Еще одна область, где легко утверждается рассудочность, – это этика, вступающая в союз с идеологией. Разбивать всех людей на классы, категории, идентичности и морально судить-рядить всех и каждого на основе принадлежности к этим разрядам – характерная установка рассудка. Уже начиная с 1970–1980-х гг. этика в некоторых западных обществах становится всё более ригористичной и авторитарной и начинает занимать то место, которое раньше принадлежало религии, политике или юстиции с их суровыми требованиями и запретами. При многих корпорациях и учреждениях, в профессиональных организациях возникают «этические центры», предназначенные следить за поведением сотрудников и разрешать конфликты, неподсудные юстиции. И хотя этика призвана на роль общественного законодателя именно для того, чтобы смягчать правовые нормы, усиливать внутренние факторы поведения, признавая многообразие личностей и свободу выбора, на практике она стала превращаться в полицию нравов, тем более жесткую, что действует изнутри. Каждый становится сам себе цензором и ревизором. Происходит всё более строгая институционализация морали, в частности, в образовательных учреждениях. «Воспитание есть возведенное в принцип стремление к нравственному деспотизму», – писал Лев Толстой в начале 1860-х гг. в статье «Воспитание и образование»⁶. Самое страшное, что может

произойти с этикой, – ее восхождение во власть. *Этиктатура*. Если раньше от диктата идеологии или религии можно было искать убежища в свободе совести, то теперь властная функция закрепляется за самой совестью. Нет ничего аморальнее, чем институционализация морали. *Моралистическое государство* может быть даже опаснее, чем теократия.

Пользуясь благородным псевдонимом «этика», идеология создает более удобные предпосылки для своего внедрения в общественное сознание. Есть простое, арифметическое правило, позволяющее отличить этику от идеологии. Этика обращается к внутреннему человеку, скрытому в глубине отдельной личности: к совести, самосознанию, чувству вины, способности прощения и раскаяния. Идеология обращается к массам, коллективам, и совесть подменяется – нет, даже не законом и правом, а моралистическим самосудом, остракизмом, политикой отмены. Там, где человеческая уникальность переходит в множественность коллектива, там кончается этика и начинается идеология. Это минус-этика, вычитающая из человека то, что делает его независимой, самооценной личностью. Нет ни малейшего сомнения, что люди всех социальных, этнических идентичностей, как врожденных, так и приобретенных, должны быть равны перед законом и заслуживают уважения как личности. Но сводить личность к «представительству» того или иного этноса, класса, гендера – это требование не разума, а рассудка.

Рассудочная этика требует от человека мыслимого и немислимого совершенства: ни единого слова или жеста, которые можно истолковать как двусмысленные. А поскольку двусмысленность определяется мерой обидчивости окружающих – к их числу в наш век массовых коммуникаций можно отнести почти всё население Земли, – то обиженным и обидчикам потенциально нет числа. Причем требование полного совершенства распространяется, как правило, не на себя, а только на других, что приводит к росту злобы, ненависти, обиды, то есть ведет в социальный ад.

РАССУДОЧНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Основной прием рассудочного мышления – редукция. Сложное свести к простому, высокий уровень организации – к низкому. Та же операция производится и среди верующих – это называется догматизм, ритуализм, выполнение формальных процедур, которые якобы сами по себе свидетельствуют о вере и ведут к спасению. На евангельском языке эта редукция веры к внешнему благочестию, обрядопоклонству называется фарисейством.

Вообще *идолы разума*, описанные Ф. Бэконом, – это и есть святилище рассудка. Идолы идей, понятий, верных и всепобеждающих учений. Единица рассудочного мышления – *дидактика*, операциональная единица, подобная инструкции. Всё можно расставить по

полочкам, распределить по категориям. Свойства абстрагируются от живых личностей и превращаются в самодовлеющие сущности, бинарно противопоставленные друг другу. Рассудок оперирует оппозициями «прогрессивное-реакционное», «пролетариат-буржуазия», «гомо-гетеро», «белое-черное» – в полном соответствии с определением рассудка как нормативно-схематической рациональности. Если оппозиция – основная модель отношений между социальными группами, то каждый человек неизбежно должен идентифицироваться с одной из этих групп. Если смысл истории лежит в противостоянии (борьбе, антагонизме) эксплуатируемых и эксплуататоров или Севера и Юга, или Востока и Запада, или метрополий и колоний, тогда участие в истории возможно только через самоидентификацию с одной из этих групп.

Рассудочность легко впадает в догматику, и тогда мысль подменяется пафосом и лозунгом. Теории сводятся к начальным аксиомам, которые уже как бы не нуждаются в проверке и доказательстве, поскольку «всем известны». Почти каждая статья Ленина содержит тезис: только дураку и невежде неизвестна эта азбучная истина марксизма. Из «Материализма и эмпириокритицизма» (1909): «...только чувственное существует; нет другого бытия, кроме материального бытия. Вот эти азбучные истины, успевшие войти в учебники, и позабыли наши махисты»⁷. И дальше идет пересказ этой истины в бесконечных вариациях, без малейшей попытки осознать, подвергнуть рефлексии то, что уже всем известно. Такой мыслитель превращается в идеологического попа или попугая, который без умолку твердит трескучие тирады: *страдающий народ, угнетенные слои, прибавочная стоимость, кровавое самодержавие, материя первична*. Вообще, рассудочность, вопреки установке на «научность», чревата одержимостью: мысль подчиняется простым схемам, которые приобретают абсолютную власть, оцепеняют ум и отменяют здравый смысл. Как заметила Агата Кристи, «неопровержимая логика характерна только для маньяков».

ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ И РАССУДОЧНОСТЬ. ВРАГИ И ПРЕДАТЕЛИ РАЦИОНАЛЬНОСТИ

Возвращаясь к природе массовых движений, описанных в «Предательстве интеллектуалов» Ж. Бенда и в «Истинно верующем» Э. Хоффера, нельзя отрицать, что некоторые из них опирались на иррациональное мировоззрение. Фашизм, нацизм, российское евразийство и «рашизм», вообще все движения, основанные на культе расы, крови, почвы, национального духа – глубоко иррациональны. Они противопоставляют рационализму «западной», или «белой», или «неарийской», «еврейской», «капиталистической» цивилизации – патетику жизненного инстинкта, воли расы, голоса крови, духа почвы и т. д. Массовые движения XX–XXI вв., которые по традиции име-

нуются крайне правыми, или фундаменталистскими, включая неофашистские движения в России и Европе, действующие от имени «Арктогеи», «Нордического духа» или «Великой Традиции», укореняются, как правило, в иррационализме, в целенаправленном мифотворчестве, призванном формировать волю нации.

Но есть и другие массовые движения, как правило, радикально левого толка. По контрасту с правыми они опираются на рациональность, но крайне поверхностного, рассудочного типа. Почему рассудок тяготеет к социализму? Потому что сам социализм – вообще любое плановое, централизованное устройство общества и хозяйства – по сути, рассудочен. Рассудок не допускает, что жизнь и человек несовершенны, и стремится удалить всё, что такому совершенству препятствует, – всё случайное, всё исключительное, всё не прямое и неправильное, а значит – всё живое. Для рассудка несносен широкий разброс возможностей, он хочет сузить мир до нормы, до идеала. Рассудок тяготеет к коллективизму – социалистическому или корпоративному, государству-диктатуре или государству-Церкви, потому что не доверяет личности и свободе.

Таким образом, следует различать *врагов* и *предателей* рациональности. Фашизм или мистический национализм – враги, но не предатели разума, поскольку они изначально бросают ему вызов. А радикально левые – это именно *рационал-предатели*, поскольку они предают разум как высшую форму рациональности, упорно следуя диктату идеологии. В истории порой случается, что носители научно-технического и социально-экономического прогресса предают этот прогресс. *Рационал-предатели* – ученые, политики, руководители корпораций, менеджеры, бизнесмены, профессора, журналисты, компьютерщики – поклонники и подстрекатели политического радикализма, ресентимента, вандализма, классового или этнического возмездия. Это люди рационального склада, профессионалы интеллектуального труда, зараженные и заражающие других идеологией «правильного», «прогрессивного» насилия, отрицания рациональных ценностей и устоев цивилизации. Опираясь на низшую форму рациональности, *рассудок*, они предают высшую его форму – *разум*.

ГРАБЛИ И ЗЕРКАЛО

Есть два классических способа самопознания. Первый – это грабли: наступить на них и получить рукояткой по лбу. Так жизнь разрушает самоуверенность рассудка, разрушает самую стройную схему. Зеркало способно показать границы рассудка, не унижая его, – дает шанс на самокоррекцию до катастрофы.

Разум открыт диалогу с неизвестным, терпим к неясному и способен удерживать противоположности, не сводя их немедленно к схеме «победитель получает всё». Разум всматривается в себя, рефлексит о себе, познает свои границы и заранее предусматривает

парадоксальные последствия своих действий. Паскаль писал: «Высшее проявление разума – признать, что есть бесконечное множество вещей, его превосходящих. Без такого признания он просто слаб. Если естественные вещи его превосходят, что сказать о вещах сверхъестественных?»⁸ Орудие разума – зеркало, в котором он созерцает собственные границы.

Собственно, еще авторы сборника «Вехи», самые глубокие русские мыслители начала XX в.⁹, призывали интеллигенцию скинуть иго рассудка и внять более глубокому голосу созидательного разума, признающего тайны жизни и опасности социального утопизма и инженерии. Николай Бердяев замечает, что «нелюбовь к объективному разуму одинаково можно найти и в нашем 'правом' лагере, и в нашем 'левом' лагере», т. е. и в черной сотне, и в красном авангарде. Сергей Булгаков критикует тот тип рассудочного интеллигента, для которого «история является, чаще всего, материалом для применения теоретических схем, господствующих в данное время в умах» – таков «воспитанный на отвлеченных схемах просветительства интеллигент»¹⁰.

В то время как русские мыслители предостерегали от рационалистического утопизма, на Западе возникла параллельная критика. В том же 1909 году, что и «Вехи», вышла книга Г. К. Честертона «Ортодоксия», где он выступает в защиту разума и христианских ценностей против рассудочных, абстрактно рационалистических, а потому и противоразумных идей социализма, материализма и атеизма: «...мы можем оценить современные теории, проверяя, не вынуждают ли они человека потерять разум». Честертон сетует, что «разум ослаблен рационализмом», поскольку «рационализм пытается пересечь океан и ограничить его. В результате – истощение ума, сродни физическому истощению»¹¹.

Преобладающая часть интеллигенции в России продолжала верить в революционные схемы – и пала жертвой собственной логики, того переворота, который сама и подготовила. Остается проверить, не пойдет ли Запад в XXI в. тем же путем интеллектуального, а затем и социально-политического саморазрушения. Рассудок упрямо идет вперед, следуя непреложной догматике, и в результате получает сильнейший, порой смертельный удар, наступая на грабли. Таковы последствия многих самых последовательных и радикальных действий рассудка, когда он отворачивается от зеркала разума.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Benda, J. (1927). *La Trahison des Clercs*. Paris: Grasset; Hoffer, E. (1951). *The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements*. New York: Harper & Brothers.
2. Кант, И. (1964). *Критика чистого разума*. Соч. в 6 т. Т. 3. М.: Академия наук СССР. Институт философии. С. 340.

3. Платон. *Государство*. Кн. VII. Альтернативный перевод: «Разве ты не замечал у тех, кого называют хотя и дурными людьми, но умными, как пронизательна их душонка и как они насквозь видят то, что им надо? Значит, зрение у них неплохое, но оно вынуждено служить их порочности, и, чем острее они видят, тем больше совершают зла». <https://plato.today/TEXTS/PLATO/state7.htm>
4. «The white race is the cancer of human history...» Sontag, Susan. «What's Happening to America? (A Symposium)». (1967). *Partisan Review*. 34 (1): 57-58.
5. <https://www.nytimes.com/2019/10/31/us/politics/obama-woke-cancel-culture.html>
6. <http://www.ruscadet.ru/education/edsystem/lnt-vosp&obraz.htm>
7. <https://www.politpros.com/library/13/37/>
8. Паскаль, Б. *Мысли*, 267. https://imwerden.de/pdf/paskal_mysli_perevod_ginzburg_1995_text.pdf
9. *Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции*. (1909) М. <http://www.vchi.net/vchi/>
10. Булгаков, С. *Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной природе русской интеллигенции)*. https://azbyka.ru/otechnik/Sergij_Bulgakov/geroizm-i-podvizhnichestvo/
11. Честертон, Г. К. (2003) *Ортодоксия*. Гл. 2. «Сумасшедший». М. С. 22-43. (Chesterton, G. K. (1909) *Orthodoxy*. Chapter 2. "The Maniac". London). <http://chesterton.ru/orthodoxy/chapter02.html>

Гари Сол Морсон

Мизантропология зла

Существует особая область размышлений о человеке – там, где антропология и этика смыкаются в исследовании предельного: предательства, жестокости, наслаждения чужим страданием. Это не просто изучение культуры или биологии человека – это, если угодно, «темная антропология», наука о человеке как носителе зла. Alicia Chudo дала ей название *мизантропология*. В отличие от теодицеи, которая спрашивает, почему Бог допускает зло, мизантропология задает прямой вопрос: что в человеке делает его способным не просто совершать зло, но и радоваться ему, оправдывать его, прославлять его?

«ТЕПЕРЬ ВЫ ГОТОВЫ ПОНЯТЬ ДОСТОЕВСКОГО»

Несколько месяцев назад Джон Подгорец, главный редактор журнала *Commentary*, был поражен сходством между одним эпизодом из «Братьев Карамазовых» и убийством Ариэля Бибаса, четырех лет, и его девятимесячного брата Кфира Бибаса. Этих детей, взятых в заложники боевиками ХАМАС, задушили, а их тела недавно вернули Израилю. В подкасте *Commentary* Подгорец процитировал первое из страшных свидетельств Ивана Карамазова о насилии над детьми:

Говорят иногда о «зверской» жестокости, но это великая несправедливость и обида зверю: зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так художественно, так искусно жесток... Эти турки... получали удовольствие, муча детей... перед глазами их матери. Делать это перед глазами матери составляло главную радость. Вот картинка, которая меня весьма заинтересовала. Представьте: грудной младенец в руках дрожащей матери, вокруг – вторгшиеся турки. Они придумали забавную шутку: гладят младенца, смеются, чтобы он тоже засмеялся, и... В этот момент турок наставляет пистолет в четырех дюймах от лица ребенка. Мальчик радостно смеется, тянет ручку к пистолету – и вдруг «художник» спускает курок, разрывая ему голову... Художественно, не правда ли?

Гари Сол Морсон – американский литературный критик, славист. Известен своими работами о Льве Толстом, Федоре Достоевском, Михаиле Бахтине. Г.-С. Морсон – Lawrence B. Dumas Professor of the Arts and Humanities, Northwestern University. Он много лет возглавлял кафедру славянских языков и литературы в University of Pennsylvania. Его последняя книга: (2003) *Wonder Confronts Certainty: Russian Writers on the Timeless Questions and Why Their Answers Matter* («Удивление против уверенности: русские писатели о вечных вопросах – и почему их ответы важны»), Harvard University Press.

Были ли дети Бибасов задушены на глазах у матери? Мы не знаем: ХАМАС вернул и ее тело – или то, что назвали ее телом, но оказалось телом другого человека. Когда Подгорец предложил мне написать статью, сопоставив вымышленное убийство ребенка у Достоевского и реальное – у ХАМАС, я вдруг вспомнил случай, который полвека назад потряс меня до основания.

Когда я учился в Йеле, я несколько дней не мог спать после того, как прочел широко разошедшийся в прессе репортаж об ужасающем убийстве. На протяжении трех месяцев шестнадцатилетняя Сильвия Лайкенс подвергалась пыткам со стороны своей опекуниши, ее детей и подростков по соседству. Ее нашли истощенной от голода и обезвоживания, с открытыми язвами по всему телу и сотнями ожогов от сигарет. Ее подвергали сексуальным пыткам и унижениям. Ей ломали ногти, загибая их назад. На ее коже вырезали слова. Прокурор назвал это преступление «самым дьявольским делом, когда-либо представившим перед судом».

Особенно меня поразила фраза: девочка в конце концов «потеряла волю к жизни». Я никогда раньше не задумывался о возможности такой утраты. Я был потрясен и тем, что окружающие воспринимали случившееся как нечто из разряда: *бывает же такое...* Наконец, я рассказал об этом моему преподавателю русской литературы, покойному Майклу Хольквисту. Он сказал: «Вы открыли для себя зло» – он имел в виду не абстрактное знание о том, что зло существует, а душевный переворот, после которого ты уже никогда не останешься прежним. И добавил: «Теперь вы готовы понять Достоевского».

Меня особенно поразило, что одна из соседок подозревала, что Сильвию Лайкенс избивают, но не заявила об этом. Я вспомнил, как в 1964 году Китти Дженевезе была убита на улице Нью-Йорка на глазах у нескольких соседей, которые не захотели вмешаться и даже не позвонили в полицию. В «Преступлении и наказании» Раскольникову снится, что он в детстве стал свидетелем того, как пьяные мужики забивают клячу до смерти – ради забавы. Отец подталкивает мальчика: «Не смотри!» – а Солженицын, откликаясь на этот вечный совет «не оглядываться в прошлое», пишет: *не смотреть – это уже начало гибели человека*.

Смерть Сильвии Лайкенс я вспомнил 7 октября 2023 года. Иван Карамазов описывал образованных и культурных родителей, тайно пытавших свою дочь, – но ХАМАС пошел дальше. Они творили свои злодеяния на публике, снимая их и транслируя как высшие *моральные* подвиги. Вспомним восторженный тон молодого человека, который позвонил родителям, чтобы похвастаться:

«Откройте мой WhatsApp, и вы увидите всех убитых. Смотрите, сколько я убил своими руками! Ваш сын убил евреев!.. Папа, я говорю с тобой с телефона еврейки. Я убил ее и убил ее мужа. Десять человек – моими собственными руками! Папа, десять – моими руками! Их кровь на моих руках – позови

маму...» – «О, сын мой, да благословит тебя Бог!» – «Клянусь, десять моими руками... Папа, зайди в WhatsApp, я хочу сделать прямой эфир... Мама, твой сын – герой, убивай, убивай, убивай!»

«Их кровь на моих руках – позови маму». Всего через несколько часов после этой резни 34 студенческие организации Гарварда выпустили заявление, безоговорочно поддерживающее действия ХАМАС – задолго до какого-либо ответа Израиля. Когда ХАМАС вернул тела задушенных детей Бибас, это сделали с размахом, как на празднике. Родители приводили своих детей на парад в честь убийства младенцев.

Даже Гитлер и Сталин не поступали так. Они скрывали свои преступления. Нацисты издевались над еврейскими жертвами, уверяя, что никто никогда не узнает о случившемся. Сталин с помощью репортера *New York Times* Уолтера Дюранти сумел скрыть массовый голод, вызванный коллективизацией и приведший к гибели миллионов «кулаков» (то есть крестьян). За эти публикации Дюранти получил Пулитцеровскую премию. В 2003 году Пулитцеровский комитет отказался ее отзывать, заявив, что «нет ясных и убедительных доказательств умышленного обмана», хотя единственным источником для этих публикаций Дюранти был сам Сталин. Таков ли должен быть стандарт?

Если гарвардские студенты и их наставники могут приветствовать пытки ХАМАС, то есть ли вообще такое преступление, которого они бы не одобрили, если бы оно было совершено «правильными» людьми против «неправильных» врагов? Этот же вопрос я задавал себе десятилетия назад, услышав, как профессор одобрительно сказал: «Вот как Сталин ликвидировал кулаков!»

Хотите понять зло? Это вопрос, на который нужно ответить. Всегда найдутся головорезы, готовые убивать, но они добиваются массового успеха только тогда, когда другие оправдывают их или аплодируют им.

МИЗАНТРОПОЛОГИЯ

«Вопрос о зле» обычно относят к области теологии, теодицеи. Но, повторю, перекладывать вину на Бога – значит попросту уходить от ответственности. Зло совершают и приветствуют люди. Следовательно, этот вопрос принадлежит не только богословию, но и антропологии – или, точнее, мизантропологии.

Когда Достоевского отправили в каторгу, в «мертвый дом», он понял, что его прежнее представление о зле было безнадежно наивным. Как и многие до него и после, он думал, что преступления совершаются из-за плохих социальных условий, недостатка образования или, в худшем случае, ради личной выгоды. Зачем еще красть или убивать? В таком понимании зло выглядит поверхностным: измените социальную среду, улучшите образование – и оно почти исчезнет. Люди, якобы, в основе своей добры, или, по крайней мере,

нравственно нейтральны – чистая доска, на которой общество лишь пишет свои ценности. Но это ложь.

Иван Карамазов спрашивает: «Вопрос ведь в том, от дурных ли качеств людей это происходит, или уж оттого, что такова их натура». То есть, насколько глубоко уходит корень зла? Иван отвечает: до самого дна. Зло – сущностно, оно встроено в саму человеческую природу. Не в этом ли смысл догмата о первородном грехе? Достоевский с Иваном соглашается – но добавляет: столь же глубоко в нас заложен и потенциал добра. Он всегда присутствует, даже если его сила слабее тяги ко злу.

О глубине этой тяги свидетельствует хотя бы то, что мы все – без исключения – зачарованно вглядываемся в проявления зла. В старых дорожных сводках это называли «задержкой из-за зевак»: водители сбавляли скорость, чтобы поглазеть на чудовищную аварию на обочине. В школах журналистики до сих пор учат древней формуле: «Если есть кровь – это пойдет в заголовок». В «Преступлении и наказании», когда умирающего Мармеладова приносят домой, все жильцы сбегаются, чтобы поглядеть на его окровавленное тело и на отчаянную реакцию жены, Катерины Ивановны: «...комната наполнилась так, что яблоку упасть было негде». Она в ярости: «Хоть бы умереть-то дали спокойно!.. – что за спектакль нашли! С папиросами!.. В шляпах войдите еще!.. И то в шляпе один...» – а на самом деле так оно и есть, им нужно *зрелище*. Между приступами чахоточного кашля она кричит: «К мертвому телу хоть уважение имейте!» – и можно представить, как это слышит сам Мармеладов, который еще жив. Повествователь поясняет:

...жильцы, один за другим, протеснились обратно к двери с тем странным внутренним ощущением довольства, которое всегда замечается, даже в самых близких людях, при внезапном несчастье с их ближним, и от которого не избавлен ни один человек, без исключения, несмотря даже на самое искреннее чувство сожаления и участия.

В «Бесах», описывая пожар в кульминационной сцене, автор говорит, что зрелище пожара вызывает у людей некое

сотрясение мозга и как бы вызов к его собственным разрушительным инстинктам, которые, увы! таятся во всякой душе, даже в душе самого смиренного и семейного титулярного советника... Это мрачное ощущение почти всегда упоительно... Разумеется, тот же любитель ночного огня бросится и сам в огонь спасать погоревшего ребенка или старуху; но ведь это уже совсем другая статья.

И читатель, конечно, тоже заморожен – Достоевский на это и рассчитывает. Он *учит* через романские, художественно индуцированные «сотрясения мозга».

В Сибири он понял: мы совершаем преступления не только из жадности, зависти, гнева или ненависти – но и *ради самого их совершения*. Более того, жадность или злость могут быть лишь удобным

оправданием для тех, кто не хочет признать, что зло имеет собственную, самостоятельную привлекательность. В «Записках из мёртвого дома» он описывает преступников, для которых жестокость – это и есть *вся цель*, а совершение злодеяния вызывает нечто вроде опьянения или бреда. Это как зуд, который нужно почесать: они наслаждаются ужасом, который пробуждают в себе, и наслаждаются страхом и отвращением своих жертв *ради этих чувств*.

Точно так же имеющие возможность подвергать заключенных самым чудовищным наказаниям, могут наслаждаться чувством абсолютной беспомощности, ужаса и унижения своих жертв. Достоевский описывает конвоира, который, разыграв из себя «добряка», потом с особой жестокостью усиливает наказание. Высшая радость для него – видеть, как другой человек, созданный «по образу и подобию» Божьему, как и он сам, в страхе и унижении умоляет о пощаде, лишенный последней капли достоинства, пока он, надсмотрщик, кричит: «Я твой царь, я твой Бог!»

АЛИБИ

Да, в каждом из нас есть этот микроб жестокости, но лишь немногие по-настоящему упиваются чужой болью. Описав невообразимые пытки, которым советские следователи подвергали своих жертв, добиваясь признаний, в которые не верил никто, Солженицын задается вопросом: *как же им удавалось заставить людей это делать?*

Чтобы ответить, он предлагает для начала отбросить наивные литературные стереотипы зла и злодеев. У Диккенса, Шиллера или Шекспира злодеи изображены «в самых черных красках» и даже кажутся «балаганными, неловкими для современного восприятия». Они неправдоподобны потому, что

отлично сознают себя злодеями и душу свою – черной. Так и рассуждают: не могу жить, если не делаю зла. Дай-ка я натравлю отца на брата! Дай-ка упьюсь страданиями жертвы!.. Нет, так не бывает! Чтобы делать зло, человек должен прежде осознать его как добро или как осмысленное закономерное действие. Такова, к счастью, природа человека, что он должен искать оправдание своим действиям.

У Макбета, говорит Солженицын, «слабы были оправдания – и загрызла его совесть», «Десятком трупов обрывалась фантазия и душевные силы шекспировских злодеев» в отличие от миллионов жертв Ленина или Сталина. Причина проста: мотивы шекспировских убийц личные, а не ради построения земного рая. «Потому что не было у них идеологии»:

Идеология же – вот что дает злу долгожданное оправдание и наделяет злодея твердостью и решимостью. Это та «социальная теория», которая заставляет видеть свое злодеяние как благо, а не зло, так что на него не обру-

шатся проклятия, а, наоборот, будут воздавать хвалу и почести. Идеология! – это она дает искомые оправдания злодейству и нужную долгу твердость злодею. Та общественная теория, которая помогает ему перед собой и перед другими обелять свои поступки, и слышать не укоры, не проклятья, а хвалы и почет... Благодаря идеологии досталось XX веку испытать злодейство миллионное.

Михаил Бахтин объяснял: идеология приостанавливает личный моральный суд. Человек перестает действовать как индивидуум и начинает действовать «от лица». Он уверяет себя: *это не я совершаю поступок, это Партия (или История, или Прогресс) действует через меня*. В романе Солженицына «В круге первом» Клара, потрясенная массовыми убийствами невинных, слышит от Голованова:

– Нет, – мягко, но уверенно объяснил он, – не «что хотят, то и делают». Кто это – «делает»? Кто это – «хочет»? История... Чем на большем материале развертывается какое-нибудь историческое событие, тем, конечно, больше вероятность отдельных частных ошибок – судебных ли, тактических, идеологических, экономических... главное – убедиться, что процесс этот неизбежен и нужен.

И Клара этим ответом удовлетворена. Такое мышление создает то, что Бахтин называл «алиби» для любого поступка. Человек говорит себе: *это не я, я лишь инструмент; ответственность лежит на ком-то другом*. Но это – ложь.

«Нет никакого алиби», – настаивает Бахтин.

И в самом центре морального существования лежит факт, что каждый из нас живет, всегда и везде, в состоянии *безалибийности*. Мы обязаны *ставить подпись* – то есть брать на себя ответственность – за свои действия.

МУНДИР

Безусловно, идеология отчасти объясняет, как люди могли радостно приветствовать голодную смерть миллионов «кулаков» или, в наши дни призывать к повторению того, что сделал Гитлер с евреями. Я помню, как университетские преподаватели восхищенно одобряли «Культурную революцию» Мао, ласково называя его просто «Председатель», так же как другого вождя – Фидель. Но я не думаю, что большинство сторонников коммунистических преступлений – тогда или теперь – двигались только идеологией.

Думаю, куда важнее то, что Достоевский называл «мундиром», или влиянием «готовых идей». В 1948 году искусствовед Гарольд Розенберг остроумно назвал американских интеллектуалов «стадом независимых умов». Даже без больших идеологических систем интеллектуалы нередко пасутся стадом. И лишь *после* того, как они собрались в это стадо, они подбирают и соответствующую «идеологию» – часто не веря в нее по-настоящему.

Солженицын вспоминает, как в лагере сказал сокамернику Борису Гаммерову, что, конечно же, коллективная молитва президента Рузвельта – ханжество. Гаммеров вспыхнул и потребовал объяснить, почему он отказывает Рузвельту в искренней вере в Бога.

Я мог ему ответить очень уверенными фразами, но уверенность моя в тюрьмах уже шатнулась, а главное: живет в нас отдельно от убеждений какое-то чистое чувство, и оно мне осветило, что это я сейчас не убеждение свое проговорил, а это в меня со стороны вложено.

Как же человек принимает взгляды, «со стороны вложенные», привитые извне, не удосужившись их обдумать? Достоевский наблюдал, как молодые люди надевали радикальные теории «как мундир» лишь потому, что их носили те, кем они восхищались. В «Преступлении и наказании» Разумихин говорит, что его не раздражают ошибочные идеи как таковые:

...Вздор! Я люблю, когда врут! Вранье есть единственная человеческая привилегия перед всеми организмами. Соврешь – до правды дойдешь! Потому я и человек, что вру... а мы и соврать-то своим умом не умеем!.. Ты мне ври, да ври по-своему, и я тебя тогда поцелую. Соврать по-своему – ведь это почти лучше, чем правда по одному по-чужому; в первом случае ты человек, а во втором ты только что птица!

Радость повторять чужие слова – не в этом ли секрет того, почему профессора так охотно подписывают коллективные письма? В июле 2020 года сотни преподавателей Принстона подписали письмо президенту и администрации университета с длинным списком требований. Среди них – создать комитет *исключительно из преподавателей*, который контролировал бы расследования и наказывал бы за «расистские» действия, высказывания, исследования и публикации. Что считать «расистским» – определял бы сам этот комитет, а затем вносил бы эти определения в общий свод правил.

Действительно ли эти профессора хотели, чтобы некий безымянный комитет по неясным стандартам контролировал их научную работу? На это Джошуа Кац, профессор факультета классических языков, отвечает, что нашел четыре причины, по которым они подписали письмо:

1) Они верят в каждое слово. Полагаю, это справедливо для немногих, включая, по-видимому, тех преподавателей, которые были первоначальными авторами письма.

2) Они подписали, не читая. Обычно я в это не поверил бы, но мне известна схожая петиция, не в Принстоне, которую людей просили подписать – и они это сделали! – не зная, под чем ставят свое имя.

3) Они почувствовали давление коллег и подписали. Это вполне правдоподобно.

4) Они согласны с некоторыми требованиями и считали правиль-

ным выступить в качестве «союзников» и увеличить количество подписей, хотя сами не согласны со многим.

Почему человек ставит подпись, не читая текста? Может быть, как старшеклассник, подражающий «крутым», профессор подписывает просто потому, что «нужные люди» подписали? Содержание в таком случае неважно. Конечно, и боязнь показаться «чужим» может толкнуть на слепую поддержку. Четвертая группа, по Катцу, самая многочисленная – кто прямо подписывает то, во что не верит, исходя из высшего принципа: *следовать за своими союзниками*.

И чтобы не показалось, что я издеваюсь исключительно над американскими профессорами, упомяну историю, которую в Британии знают, а в США – почти нет. За несколько десятилетий тысячи несовершеннолетних англичанок, в основном из рабочего класса, подвергались систематическим изнасилованиям, избиениям, пыткам и даже убийствам. Это происходило в десятках городов. В Ротерхэме, например, официальное расследование 2014 года установило: только там было около 1400 жертв. В 2006 году 12-летняя девочка пришла в полицию, заявив, что ее изнасиловал мужчина по имени Али. Дежурный сказал: «Приходи, когда протрезвеешь». На выходе ее подхватили двое мужчин, изнасиловали в машине вместе с третьим и выбросили на улицу. Ее подобрал прохожий, отвел к себе, снова изнасиловал, дал денег на автобус – и по пути домой ее увезли в дом, где изнасиловали еще пятеро.

Подобное произошло и в Манчестере: Виктория Аголия в 15 лет умерла от передозировки героина, после долгих лет изнасилований. В Телфорде Али Мехмуд насиловал Люси Лоу с 12 лет, а затем сжег ее, беременную, заживо вместе с матерью и инвалидом-сестрой.

Полиция, соцслужбы и местные власти годами отказывались расследовать подобные преступления. Лишь немногие дела дошли до суда. Причина? Насильники были обычно пакистанцами и бенгальцами, и «просвещенный народ» хотел «сохранять «добрые межобщинные отношения». Многие боялись, что их назовут расистами или исламофобами (хотя ислам, разумеется, не оправдывает подобного) – и в действительности, тех, кто говорил, именно так и называли. Пресса преступно покрывала эти факты годами. Пока Лейбористская партия доминировала в городских советах и среди депутатов, они делали всё возможное, чтобы скрыть эти преступления. Консерватор Борис Джонсон заявил, что расследование – пустая трата денег, которую он вульгарно описал словом *spaffed*. Я невольно вспомнил размышления Альберта Шпеера о том, как целое общество, включая его самого, сознательно «не знало». Но если ты *сознательно* не знаешь, то ответственность – твоя. Некоторые политики боялись, что огласка сыграет на руку оппонентам. В Америке это – обычная логика партий. Но стоит спросить: есть ли вообще что-то, что они не станут скрывать или оправдывать ради политической выгоды?

В 2024 году правительство Риши Сунака, наконец, создало комиссию, выяснившую, что преступления *не прекращались*. То есть мы имеем дело с целым обществом, которое повело себя так же, как те профессора из Принстона, только их действия были намного ужаснее, чем «предварительная цензура», одобренная профессурой Принстона.

ПАКЕТ

Верили ли люди, что это нормально – насильствовать и убивать несовершеннолетних девочек, раз они «белые» и из рабочего класса? Я не могу себе представить, что таких было с горстку. Нет, они *надели мундир* – и делали то, что делали все, лишь бы не выделяться. Я знаю, они не просто боялись прослыть расистами. Нет, на кону были они сами, их самоощущение как *благомыслящих людей*, принятых в круг других *правильных людей*.

Самое опасное начинается там, где взгляды принимаются «пакетом». В моем опыте «пакетное мышление» чрезвычайно распространено. Оно объясняет, как – зная, что человек думает по одному-двум вопросам, – можно почти безошибочно предсказать его позицию по десяткам других. Скажи мне, что ты думаешь об оружейном контроле – и я уже знаю, как ты относишься к абортам на поздних сроках.

У брата Анны Карениной, Стивы Облонского, целый комплект «либеральных» взглядов, принятых в его кругу.

И, несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика, собственно, не интересовали его, он твердо держался тех взглядов на все эти предметы, каких держалось большинство и его газета, и изменял их, только когда большинство изменяло их, или, лучше сказать, не изменял их, а они сами в нем незаметно изменялись.

Стива исповедует «либеральные» взгляды *по всем* вопросам, не удосуживаясь рассматривать аргументы «за» и «против» в каждом конкретном случае. Единственный выбор, который он сделал, – присоединиться ли к либералам или к кому-то еще. После этого всё остальное последовало автоматически.

Толстой объясняет это так:

[Стива] не избирал ни направления, ни взглядов, а эти направления и взгляды сами приходили к нему, точно так же, как он не выбирал формы шляпы или сюртука, а брал те, которые носят. А иметь взгляды ему, жившему в известном обществе, при потребности некоторой деятельности мысли, развивающейся обыкновенно в лета зрелости, было так же необходимо, как иметь шляпу.

Когда позиции либералов менялись, он менялся вместе с ними, всегда соглашаясь с новыми формулировками. Совпадение было бы

крайне маловероятным, если бы он по-настоящему взвешивал доводы. Потому Толстой и говорит: «не изменял их [взгляды], а *они сами в нем незаметно изменялись*». Личное решение отсутствовало.

Для Достоевского именно так и объясняется, как порядочные люди приходят к одобрению чудовищного. В «Бесах» на собрании революционеров один из родственников хозяина, случайно заглянувший, слышит, как кто-то говорит о революции, которая потребует «сто миллионов голов». «Я, признаюсь, более принадлежу к решению гуманному, – проговорил майор. – Но так как уж все, то и я со всеми.» Это – самая холодящая строка в романе.

В романах Солженицына о преддверии революции полковник Воротынцев оказывается на собрании кадетов, российской либеральной партии. Все говорят «правильные» вещи, которые все и так разделяют. Казалось бы, зачем встречаться, если единственная цель – еще раз услышать то, что известно каждому? Но им нужно *усилить уверенность в собственной правоте*. И вдруг Воротынцев ловит себя на том, что высказывает позиции, в которые не верит. Он спрашивает себя: *что всегда заставляет подстраиваться под общий тон? почему под воздействием общей атмосферы он лжет, влият, предает свои убеждения? почему он так слаб?* И это ведь не трус: как полковник он вставал против генералов, он рисковал жизнью в боях.

Оказывается, есть два вида мужества. «Мужество на войне и мужество мысли – это два разных мужества», – сказала Светлана Алексиевич. В фантастическом романе Булгакова «Мастер и Маргарита», где пересказывается история Иешуа и Понтия Пилата, Пилат тоже спрашивает себя: почему у него хватало храбрости в бою, но не хватило ее, чтобы пойти против Синедриона и спасти узника? Ответ прост: в бою ты действуешь вместе с другими, на кону только твоя жизнь. А чтобы бросить вызов господствующему мнению и пойти против группы, к которой принадлежишь, нужно действовать в одиночку, рискуя остаться *совсем* один. Здесь на кону уже твоя личность, твое внутреннее «я».

Героиня «Доктора Живаго» Пастернака так видит «корень всего зла»: «Главной бедою, корнем будущего зла была утрата веры в цену собственного мнения». И сегодня независимые мыслители нередко оказываются в тюрьме плененных умов. Точнее, *самоплененных*, потому что главная сила, удерживающая этих узников, – их собственная трусость.

Перевод с английского – М. Эпштейн

БИБЛИОГРАФИЯ

Надежда Ажгихина, Катрина ванден Хювел. «Мы всё-таки верим». М., «Серебряные нити», 2025.

Этот объемный труд, над которым работали не только авторы – Надежда Ажгихина и Катрина ванден Хювел, но и издатель Геннадий Бордюгов, и переводчики, стал, по сути, двойным портретом выдающихся людей своего времени – американского историка Стивена Коэна и российского журналиста Юрия Щекочихина. Книга вышла по-русски и по-английски под одной обложкой. Название же ее перекликается с названием другой книги – «Я надеюсь», автором которой была Раиса Максимовна Горбачева.

Кажется, что во времена, когда российско-американские отношения скатились на самый низкий уровень даже по меркам холодной войны, совершенно неуместно вспоминать о том, какие надежды и ожидания связывали народы бывшего Советского Союза и США в конце 1980-х – начале 1990-х. Но по мере того, как вчитываешься в текст – беседы Катрины и Надежды, их воспоминания о мужьях – о С. Коэне и Ю. Щекочихине, – начинаешь понимать, как актуальна эта книга. Авторы напоминают нам, что в так называемых «проклятых 1990-х» всё было не так уж и плохо, а стремление к межнациональному диалогу подкреплялось успешной практикой.

И всё же прежде, чем обсуждать достоинства и недостатки книги, следует напомнить, кем были Стивен Коэн и Юрий Щекочихин. С первым мне довелось познакомиться лично еще в далеком 1988 году, когда он прилетел в Москву в качестве эксперта-комментатора американской телекомпании CBS во время визита в Москву президента США Рональда Рейгана. Уже тогда я знал, что Коэн – автор биографии Николая Бухарина (книга была издана специальным тиражом для советской номенклатуры) и что советские газеты называют его «пакостник из Нью-Йорка». И вот Стив собственной персоной шел мне навстречу по коридору гостиницы «Россия», которой тоже уже не существует. Я сделал с ним интервью, оно вышло в газете «Московский комсомолец» под заголовком «Кто Вы, мистер Коэн?». С тех пор мы иногда перезванивались или просто виделись на разных встречах, где он появлялся со своей обаятельнейшей супругой, журналистом Катриной ванден Хювел. Стивен Коэн в анализе событий искал альтернативу реальному ходу истории. Он задавался вопросами: что было бы, если Бухарин стал бы во главе советского государства, а Сталин не уничтожил бы его? Что было бы, если Ельцин политически не прикончил бы Горбачева (которого, кстати, Стив беззаветно ценил), а перестройка увенчалась бы успехом? Он жестко критиковал политику администрации Билла Клинтона по отношению к России, что отразилось в его очередной книге «Провал крестового похода США против России», вышедшей в конце 1990-х годов. Многие в

американском экспертном сообществе не любили Стивена Козна, многие не соглашались с ним; многие, в том числе и в России, отвернулись от него после того, как он принял российский орден из рук главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Сходство Юрия Щекочихина со Стивом Козном обнаруживалось, прежде всего, в их характерах: Юрий так же шел против мейнстрима, бросал вызов сложившемуся общественному мнению и разоблачал тех, кто стремился обтупять свои грязные делишки, прикрываясь высокими должностями и погонами. Широкую известность Щекочихин получил после статьи «Лев прыгнул», вышедшей в «Литературной газете» в 1988 году, в которой впервые открыто говорилось о существовании в СССР организованной преступности (материал был построен на беседе с высокопоставленным офицером МВД Александром Гуровым, позднее ставшим начальником Шестого главного управления МВД СССР по борьбе с организованной преступностью, коррупцией и наркобизнесом). Щекочихину отомстили за этот материал: он погиб при весьма подозрительных обстоятельствах, пополнив гигантский список убитых журналистов, поплатившихся жизнью за свою профессиональную деятельность. Я не был близко знаком с Щекочихиным, хотя мы пересекались, а однажды я оказался в одной с ним компании в гостях у Александра Сабова, знаменитого журналиста-международника из «Литературной газеты». «Юра с гитарой у друзей – этот образ сохранили в памяти многие, кто знал его и любил», – пишет Надежда Ажгихина. «Со Стивеном Козном и Кагриной ванден Хювел у них (У Надежды и Юрия. – П. Ч.) сложились особые отношения с первого дня знакомства. Тема сталинских репрессий и альтернативного взгляда на возможности социалистического проекта Юре всегда была интересна. Конечно, важна была и личная симпатия, ощущение душевной и духовной близости...», – отмечает российская публицистка. Наиболее верно скажет о Щекочихине Григорий Явлинский в статье, также опубликованной в книге: «Он считал, что самое главное – это то, что останется. А останется то, что напишешь». Избрание Щекочихина в депутаты Государственной думы от партии «Яблоко» открывало ему большие возможности, но и создавало большие риски.

А начиналось всё так... Никогда не забуду, как в 1988 году на балюстраде факультета журналистики МГУ стояла молодая американка в ушанке, ломала черный хлеб и жадно поедала его кусками. По понятным причинам никто не мог пройти мимо такого увлекательного зрелища и не посмотреть на это чудо, порожденное перестройкой Горбачева. Американцы увлекались Россией и поехали к нам за новыми возможностями, которые открывала гласность и реформы. Им нравилось всё, а больше всего – время новых шансов. И вкус бородинского хлеба казался им вкусом свободы.

В 1989 году я пришел на работу в ТАСС и попал в редакцию, которая, в том числе, освещала и работу Союза советских обществ дружбы, размещавшихся тогда в так называемом Доме дружбы.

Начальница, видя мою неумную энергию, решила подрядить меня изучить, как формируются группы участниц женского движения Москва–Чатокуа для поездки в США. (Было такое в начале перестройки, как и движение Семипалатинск–Невада, как и участие молодых людей из Дании в движении «Следующая остановка – Советский Союз». Помню и то, как активистки из клуба Zonta пригласили молодых журналистов из Москвы приехать в Данию в 1992 году, куда я не мог попасть ни по каким официальным каналам и, в конце концов, оказался в такой группе, побывав в стране сказок.) С советской стороны интерес к Америке и к поездкам туда казался огромным. Каково же было удивление, когда мы узнали, что в списках тех, кто отправляется строить мосты Москва–Чатокуа и устанавливать прямые контакты с американцами, в основном, дочери и жены руководящих работников КГБ и ЦК КПСС!..

В своей книге Надежда Ажгихина и Катрина ванден Хювел вспоминают, как произошла трансформация советско-американских контактов «по благу» в общение реальных представителей гражданского общества, которое начало формироваться еще в последние годы существования СССР и складывалось в новой России, вступившей на путь демократии.

Именно этому посвящен раздел книги «О феминизме и женском движении», где Катрина ванден Хювел описывает работу Первого (1991) и Второго (1992) независимых женских форумов в подмосковной Дубне. Авторы вспоминают, что весной 1991 года в Нью-Йорке состоялась первая конференция женщин-писательниц России и Америки «Гласность в двух культурах». В ней участвовали основательницы группы «Новые амазонки» писательницы и общественные деятели Светлана Василенко, Лариса Ванеева, Валерия Нарбикова, а также писательница Зоя Богуславская и критик Наталья Иванова. В книге опубликованы два послания американских и российских женщин, призывающих к миру. «Как американки и русские, мы понимаем важность снижения напряжения между нашими странами. Мы предлагаем более реалистический и мудрый подход, нежели подготовка к вооруженному конфликту, который может повлечь неопишущую ядерную войну». Под обращениями стоят, среди многих прочих, подписи Надежды Ажгихиной и Катрины ванден Хювел.

Немалое место в книге отводится Михаилу Сергеевичу Горбачеву и той роли, которую он сыграл в окончании холодной войны, в прекращении советско-американского противостояния и гонки вооружений. Вопреки установившейся в современной России моде на проклятия в адрес Горбачева, авторы книги вспоминают его как общественного лидера, подарившего россиянам шанс на свободу.

Однако есть в тексте и некоторые неточности, которые стоит назвать. Например, в воспоминаниях Роя Медведева о Стивене Коэне говорится, что тот познакомился с Горбачевым только после отставки последнего. Это не так. Катрина ванден Хювел вспоминает, что зна-

комство произошло в 1987 году, когда Горбачев приехал в Вашингтон с официальным визитом и устроил прием для представителей прогрессивной американской интеллигенции. «Когда Стив пришел, уже через несколько минут к нему подошел помощник Горбачева и сказал, что Генеральный секретарь хочет поговорить с ним. И вот подходит Михаил Сергеевич и спрашивает Стива – решив, видимо, что автор книги ‘Бухарин и большевистская революция’ должен быть маститым ученым солидного возраста: ‘Это правда вы написали, или это был ваш отец? Где ваш отец?’ Он не подумал, что такой молодой ученый может написать важную и серьезную книгу. Мне это нравится: ‘Где ваш отец?’ – Стив был так счастлив...» – вспоминает Катрина и добавляет: «Михаил Горбачев часто говорил Стиву о том, какое глубокое влияние оказали на него труды Стива, особенно его биография Бухарина».

Перепечатанный в книге текст соболезнования Катрине ванден Хювел от Михаила Горбачева по случаю кончины Стивена Коэна демонстрирует, насколько искренним был советский лидер в своем отношении к американскому историку. «В Перестройку и все следующие годы я чувствовал ваше понимание и неизменную поддержку», – писал М.С. Горбачев.

В книге много интересных фотографий, запечатлевших Стивена Коэна с Горбачевым, сделанных в неформальной обстановке. Среди иллюстраций – фотография Горбачева работы фотожурналиста Юрия Феклистова: глубоко задумавшийся одинокий человек... Публикуется в книге и портрет Юрия Щекочихина работы Бориса Жutowского (к сожалению, нет портрета Стивена Коэна работы того же фотохудожника). Сейчас, когда уже нет на свете ни Стивена Коэна, ни Бориса Жutowского, этот портрет украсил бы книгу. И мне, конечно, жаль, что на странице 59 под фотографией Стива и Катрины нет подписи и даты – эту фотографию сделал я сам во время приема в резиденции посла США Спасо-Хаусе, – в то время я работал в пресс-службе посольства США в Москве.

Наиболее точную оценку наследию Стивена Коэна дает Геннадий Бордюгов, который, в частности, пишет: «Творческое наследие Коэна фокусируется в трех измерениях. Ретроспективно – о прошлом, или о трагически сорванной перестройке по Бухарину. Синхронно – о горбачевском эксперименте и его фатальном завершении. Пророчески – о дне сегодняшнем, когда очередная ‘объективная целесообразность’, ‘ситуативная неизбежность’ и ‘очевидная безвыходность’ грозят растоптать хрупкую и слабую, но вполне реальную альтернативу разгорающемуся пламени новой холодной войны». (Статья перепечатана в настоящем сборнике из «Новой газеты» за 21 сентября 2020 года.)

Издатель трудов Стивена Коэна на русском языке Геннадий Бордюгов пишет, что Коэн изучал «нашу историю по-человечески». «Историю, которая на всем своем протяжении – от древних славян до современной России – испытывала явный дефицит человечности.»

Значительный раздел в книге посвящен средствам массовой информации и той роли, которую они играли, играют и призваны сыграть в налаживании диалога между Россией и США. Катрина ван ден Хювел – главный редактор уникального независимого американского журнала *The Nation*, который представляет собой серьезную альтернативу известным американским СМИ, проявляет естественную озабоченность тем, что образы двух стран сегодня оказываются искаженными. Надежда Ажгихина, которая на протяжении многих лет, еще с середины 1980-х, занималась изучением проблем журналистики, анализирует процесс примитивизации подходов современной прессы к сложным проблемам глобального мира. Она приходит к выводу: «Проблема номер один – выход из информационного пузыря». – «Из персонального информационного пузыря, созданного интернет-фильтрами», – уточняет Катрина.

The New York Times больше не является тем мощным стражем общественных интересов, каким была эта газета раньше, считает Катрина ван ден Хювел и делает вывод: только репортаж, а не мнение, может приводить к изменениям. «Мы рискуем столкнуться с немыслимым, если не будем пытаться делать невозможное», – продолжает она мысль Надежды Ажгихиной. Катрина обращает внимание на так называемые «нишевые» проекты в журналистике. «Было бы разумно обратить внимание на радио, и в смысле развития медиа, и в политическом, и в культурном отношении», – говорит американская публицистка. Вообще, раздел книги, посвященный роли и месту СМИ, можно считать наиболее глубоким и содержательным. Когда-то поэт Евгений Евтушенко написал стихотворение о Стивене Коэне, где упомянул и Катрину ван ден Хювел, назвав ее «одной из политических диковин».

Интереснейшим разделом книги можно считать тот, где Катрина и Надежда рассказывают об истории своих семей. Для каждого человека, интересующегося США, весьма полезно и любопытно узнать подробности биографии Катрины ван ден Хювел, поведенные ею самой. На моей памяти это первый рассказ Катрины о своей семье, опубликованный по-русски.

Во время президентства Джимми Картера Уильям Дж. ван ден Хювел был заместителем постоянного представителя США при ООН (ранее, в администрации президента Джона Кеннеди, служил помощником Генерального прокурора США Роберта Кеннеди). Впоследствии он стал основателем Института Франклина и Элеоноры Рузвельт и инвестиционным банкиром. «Мой отец был классическим примером мальчика из бедной семьи, который пробился своим умом, – пишет Катрина ван ден Хювел. – Он выдвигался на выборах в Конгресс против республиканца Джона Линдси, проиграл, но в итоге очень сблизился с кланом Кеннеди. Как человек, близкий к Белому дому, он был вовлечен в разрешение Кубинского кризиса, пусть косвенно. Россия была ему небезразлична. Он несколько раз приезжал в Советский

Союз»; «Он был очень заинтересован в том, чтобы между Россией и США установились хорошие отношения, чтобы были гарантии таких отношений, поэтому, как и Стив, он был одним из участников Американского комитета за американо-российское согласие... Сегодня, как и Стив, он был бы в ужасе от происходящего.»

Весьма увлекательно Катрина рассказывает о своем знакомстве со Стивом и о том, как развивались их отношения. «То, что мы со Стивом тогда делали вместе, сегодня было бы невозможным. Мы приехали в Россию в 1980 году, и он сказал семье Бухарина и Тане Баевой, что я его французский переводчик.» Начало 1980-х было временем, когда за книги могли вышвырнуть из страны, напоминает Катрина.

В диалоге с Катриной Надежда Ажгихина описывает свою семью, детство и молодость, свое происхождение и первое соприкосновение с Америкой. «Моя бабушка была одной из первых юных пионеров, потом комсомолкой, а после института получила назначение на шахту – главным геологом. Каждую неделю она спускалась под землю и проходила там километры, чтобы определить верное направление залегания угольных пластов. Это было опасно. Несколько раз впереди или позади нее случались обвалы породы... Бабушка, на мой взгляд, была настоящей феминисткой, настоящим лидером.» «Мой отец и дед, сколько я себя помню, слушали ‘вражеские голоса’ по радиоприемнику и всё услышанное обсуждали, спорили... Я с детства помню имена Киссинджера, Кеннеди, Джонсона... Помню журнал ‘Америка’ на русском языке», – вспоминает Надежда Ажгихина. Следует уточнить, что на протяжении многих лет Н. Ажгихина много писала о нравственных и этических проблемах современной журналистики. Ее статьи хорошо помнят те, кто в доперестроечные годы читал журнал «Журналист», а в перестройку – «Огонёк».

Вывод, который напрашивается после прочтения этой книги, может показаться банальным, но в нынешних условиях он совершенно необходим: когда Россия и Соединенные Штаты ведут диалог и помогают друг другу, миру становится лучше и спокойнее. Да и Россия становится лучше. Так было во времена американской помощи голодающим детям Поволжья; так было, когда американцы строили Магнитогорск и Горьковский автомобильный завод, когда работали по лендлизу для Советского Союза; так было во время разрядки, когда космонавты и астронавты участвовали в проекте «Союз–Апполон», и в 1990-е годы, когда Агентство международного развития США финансировало строительство домов для военнослужащих, уходивших из Прибалтики... Когда успешно развивался диалог между этими странами, миру жилось спокойнее. Авторы книги уповают на то, что всё еще может измениться к лучшему.

Петр Черёмушкин

Книжная полка Юлии Баландиной

Lesley Chamberlain. The Mozhaisk Road. Russian Heart of Darkness (Лесли Чемберлен. «Можайская дорога. Русское сердце тьмы»). London: Austin Macauley Publishers Ltd. 2025. – 412 p.

It was written I should be loyal to the nightmare of my choice.

Joseph Conrad

We thought Russian suffering could teach humanity to the whole world.

Lesley Chamberlain

Более полувека Россия была и остается для Лесли Чемберлен пространством притяжения и интеллектуального поиска – журналистского, философского, культурологического. Солидный академический бэкграунд в области изучения немецкой философии и русской литературы, подкрепленный опытом работы в качестве журналиста, позволили ей сформировать свой уникальный взгляд на природу общественно-политических процессов в России. Наблюдения и размышления автора нашли отражение в серии книг, различных по жанру, но наполненных общей искренней любовью к русской культуре, сочувствием и тревогой за судьбу страны и ее людей. Роман «Можайская дорога. Русское сердце тьмы», о котором пойдет речь ниже, завершает российский цикл ее творчества.

Повествование ведется от лица Джелс, приехавшей на стажировку в московский офис агентства *London Global News*, принадлежащего ее отцу. Ей двадцать шесть; у нее за плечами университет с фокусом на изучение русского языка и литературы и практика в Вильнюсе, в активе – желание понять загадочную русскую душу и надежда найти ответы на свои мировоззренческие вопросы. Еще находясь в Лондоне, она прочитала статью Говарда Уайлда, журналиста LGN, о признаках приближения новой русской революции и хочет увидеть всё своими глазами. На дворе 1978 год – разгар холодной войны, противостояние идеологических и экономических моделей развития. Джелс придерживается гуманистических идеалов равенства и справедливости и искренне надеется увидеть их воплощение там, где они провозглашены основой государственного строя. В ее мировоззренческом поиске есть доля противостояния отцу-капиталисту, чьими привилегиями она продолжает время от времени пользоваться, несмотря на декларируемую независимость.

Говард Уайлд, к которому Джелс приставлена в качестве ассистентки, воспринимает ее скорее как досадную помеху, избалованную дочь босса, имеющую роскошь тратить время на поиски себя вместо того, чтобы зарабатывать деньги на оплату счетов. Джелс отчаянно пытается завоевать его расположение, ведь для нее Говард – проводник в настоящую русскую действительность (любопытно, что автор почти нигде не определяет ее как советскую, а именно русскую).

С самого начала герои оказываются свидетелями политической акции, получившей, благодаря Говарду и другим иностранным журналистам, аккредитованным в Москве, международную огласку. Информатор Говарда, профессор Александр Разумовский, активный борец с карательной психиатрией, созывает своих сторонников на митинг, посвященный памяти декабристов. Протестующие собираются у памятника Пушкину; Джелс они кажутся исполнителями рождественских песен, словно предвещающими новую эру человеческих отношений. Группа диссидентов надеется привлечь внимание западной общественности к ситуации с правосудием и нарушением прав человека в стране, декларирующей продвижение к коммунизму семимильными шагами. Разумеется, митинг продолжается всего несколько минут; вскоре участников заталкивают в машины и вывозят на окраину города до дальнейших распоряжений.

Так выглядит завязка романа. Что же касается действующих лиц, то они распределены в романе по трем группам: иностранные журналисты, оппозиционеры и некий Прогрессивный Союз (Progress Group), возглавляемый высокопоставленным чиновником Владимиром Корсаковым. Журналисты, несмотря на различные идеологические платформы, имеют общие цели – освещение событий, прорыв информационной блокады. Внутренние связи между ними держатся на профессиональных, романтических и социальных взаимодействиях. Представители британского пула с интересом и тайной надеждой наблюдают за экспериментом по построению государства «нового типа». По мнению автора, такая мотивация объясняется тем, что Англия исчерпала воодушевление, порожденное индустриальной революцией, и нуждалась в новом стимуле, способном вновь объединить общество и нацию. Американец Артур Циммерман – сексист, хорошо знает свою работу, но демонстративно игнорирует профессиональные вопросы Джелс, перенаправляя ее к своей жене обсуждать бытовые мелочи. Его супруга, Гарриет Циммерман, транслирует государственную идеологию, утверждая, что коммунизм есть однозначное и безусловное зло и делится с Джелс опытом проживания иностранца в России. Полли, работающая на прокоммунистическую итальянскую газету *L'Unita*, искренне считает, что коммунизм достижим, нужно только быть честным и последовательным в достижении целей; ее настораживают нарушения прав в Советском Союзе, но из идеологической солидарности она не акцентирует на этом внимания. Между Говардом, Полли и Джелс автор намечает любовный треугольник, но лишь контуром, ровно настолько, чтобы держать интригу, не смещая фокус с главных задач героев: карьера, становление личности, самоопределение.

Среди оппозиционеров, кроме опытного и последовательного борца за права человека профессора Разумовского, следует выделить принципиального и решительно настроенного студента Марлинского. Его образ резко контрастирует с сомневающейся во всем Джелс и становится символом надежды на обновление России.

Группа Разумовского отражает идеологию диссидентского движения: они любят Россию, но считают, что «в процессе электрификации всей страны произошло замыкание и страна погрузилась во мрак». Позволю себе сделать здесь некоторое отступление относительно приведенной метафоры. В романе Лесли Чемберлен описывает историю «спасения» картины художника Мундта «Коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны», поразившую Джелс своей глубиной и множественными контекстуальными трактовками. «Картина представляла собой многослойную рельефную поверхность, густую, черную, маслянистую, из-за под которой пробивался свет; ярким, мощным, властным огнем он разливался под черным покровом ночи, – передает автор впечатления героини. – Ее можно было трактовать и как декларированную Лениным электрификацию, и как пожар, распространяющийся в результате короткого замыкания.» Эпизод блестяще обыгран и с литературной точки зрения. Лесли Чемберлен предлагает широкую перспективу его прочтения: на первом уровне она подчеркивает не только талант художника, но и его изобретательность в донесении посылки в подцензурном государстве. Далее следует еще один подтекст: неужели рождение таланта должно быть сопряжено с насилием и запретами, разве свобода не есть необходимое и достаточное условие для его появления и раскрытия? Наконец, автор использует этот эпизод для того, чтобы обозначить ментальную разницу героев. «Я думаю, хорошо, что Мундт уехал. Здесь бы он не выжил», – говорит американка Гэрриет. «Но Гэрриет, если все порядочные, честные, талантливые люди покинут эту страну, что от нее останется?» – вопрошает Джелс. «Эта страна умрет, и мы победим в холодной войне», – спокойно отвечает рациональная, патриотически настроенная Гэрриет. «Да, но мне не хотелось бы, чтобы эта страна умерла, мне бы хотелось, чтобы она выздоровела», – оппонирует Джелс. Какое ясное и точное разграничение ожиданий, столкновение рациональности и гуманизма! И какая блестящая отсылка к современности, к различному видению перспектив современной России.

Третий блок персонажей – Прогрессивный Союз Корсакова, он представляет собой разношерстную группу ситуативных партнеров – *номклатов (nomklat)* – понимающих, что страна находится в концептуальном тупике. Каждый из них в отдельности недоволен затянувшимся правлением старцев, но все вместе они не имеют единого и четкого плана по изменению ситуации. Более того, имея доступ к государственным ресурсам, *номклаты* заинтересованы не столько в изменении системы, сколько в закреплении за собой рычагов власти. На словах они декларируют любовь к России, но к народу относятся презрительно, не видя в нем потенциала для развития. Джелс изумляет абсолютное отсутствие стыда в заимствовании латинского термина *nomenclatura*, символизирующего коррупцию в позднеримской империи; позднее она обнаруживает отсутствие стыда и в других

сферах жизни номенклатуры. В представлении Джелс фигура Корсакова воплощает собой государственную структуру, виновную в уничтожении живого зерна социализма. Журналистский азарт гонит ее на поиски лица, ответственного за извращение благородной идеи равенства и справедливости.

Помещая своих героев в далекий 1978, Лесли Чемберлен выстраивает множественные временные пересечения, соединяя прошлое и настоящее России. Так, участники митинга видят в месте и времени встречи исторический символизм: конституция, на принятии которой настаивали декабристы полтора столетия назад (а к моменту издания романа – и все два!), – остается лишь формальностью, а демократическая форма правления, также входившая в число их требований, существует только на бумаге. Равным образом автор перебрасывает мостик и в будущее, в котором конституция как будто бы существует, но при необходимости переписывается в угоду главе государства, стремящегося удержать власть. Автор подкрепляет переключку времен пассажем о языке: в какой-то момент митингующие ловят себя на том, что, стремясь дистанцироваться от своих политических оппонентов, узурпировавших право распоряжаться их жизнями, мыслями и устремлениями, они говорят между собой на латыни. «Они отняли у нас наш русский язык», – с горечью замечает один из героев. Но сегодняшний читатель легко увидит прямую отсылку к настоящему, к началу полномасштабной войны в Украине, которая привела к «культуре отмены», ассоциации русского языка с языком войны и диктатуры, а также появлению абсурдных законодательных инициатив путинского режима, предлагающих запретить использование русского языка за пределами России. Вместе с тем Лесли Чемберлен демонстрирует тонкую работу с подтекстами: «Leave the door open so we can breathe <...> Let us breathe!» – требует Наташа, жена профессора Разумовского. Прямой смысл тесно переплетен с фигуральным, нехватка воздуха символизирует отсутствие свободы, закрытая дверь – железный занавес. И тут же, чтобы вернуть читателя в настоящее, крик Джелс, обращенный к Говарду: «Но что ты, что *мы* (представители западного общества) теперь предпримем?» – «Напишем рапорты, опубликуем в газетах», – отвечает Говард. – «И как мир отреагирует?» – «Выразит озабоченность.» В том далеком крике Джелс слышится и отчаяние юной Лесли Чемберлен, которая несомненно является ее прототипом, и сегодняшняя боль автора за несостоятельность международных институтов, призванных служить высоким целям защиты человеческого достоинства.

Плотность исторических итераций такова, что порой возникает вопрос: не остановилось ли время? Или временная спираль лишь закручивается всё плотнее и плотнее, повышая ставки и усиливая напряжение в системе? История противостояния двух систем полна открытых угроз, тайных сговоров, подковерных интриг и прямых подкупов, где способ решения проблемы одной стороной со време-

нем обращался против нее самой. Сегодня холодная война трансформировалась в гибридную, но она никогда не прекращалась, была лишь иллюзия перемирия.

Лесли Чемберлен не случайно помещает усадьбу Корсакова, которая является одновременно и штаб-квартирой Прогрессивного Союза, на Можайском шоссе. Западный форпост Московского княжества в далеком прошлом, Можайский тракт всегда был амбивалентным символом для России. С одной стороны, это был путь культурного, идейного, технологического обмена, а с другой – источник угрозы, откуда приходили войны и вторжения. Можайская дорога (тракт) есть часть культурно-исторического архетипа, и автор использует ее образ в метафорическом контексте: «Что есть эта страна сегодня, и в чем должно состоять наше понимание ее?» – спрашивает Джелс сама себя. И тут же отвечает: «На пути из Фив в Дельфы, из древности в современность («On the road from Thebes to Delphi? On The Mozhaisk Road»)), соотнося тем самым Можайскую дорогу с инструментом национального самопознания, дорогой, на которой Россия сталкивается с вопросами о собственных ценностях, целях и направлениях развития.

В романе можно выделить несколько ключевых сюжетобразующих моментов – публикация материалов Разумовского о *психушках*, провалившаяся попытка завербовать Марлинского в члены Прогрессивного Союза и показательный суд над ним, – но в целом повествование нельзя назвать динамичным – автор сосредоточен на мыслях и переживаниях героев, философских диалогах, в которых раскрывается характер персонажей и их мировоззрение.

Текст разворачивается не спеша, словно течет рекой по гладкой равнине (к слову сказать, одна из книг Лесли Чемберлен, посвященная России, называется «Волга, Волга. Путешествие по великой русской реке», 1995). Из подмеченных тут и там мелочей складывается мозаичная, часто окрашенная сатирическими замечаниями картина жизни если не страны, то ее столицы, а также времени, словно застывшем на огромных просторах замороженного континента, где люди кутаются в темные бесформенные одежды, чтобы защитить себя не то от холода, не то от пренебрежения со стороны государства. Здесь отсутствие товаров в магазинах маскируется пирамидами однотипных консервных банок, фигурно расставленных на пустых полках; разговоры с иностранцами не приветствуются (привет от «иноагентов» путинской России), достижения западной науки замалчиваются, а память и идентичность – стираются. Так, например, Борис Марлинский, вспоминая свою встречу с научным руководителем, размышляет: «На двери не было ничего, кроме номера 52. Продуктовый магазин № 84, профессор № 52. Таков наш мир: никакой личной идентичности. Мы не граждане. Мы – автоматы в белых халатах, пациенты и заключенные под нашими потрепанными одеждами». Анонимность и белые халаты пациентов психиатрической клиники – еще один пример двойного кода автора. Он отсылает не только к методам давления и контроля со

стороны государства, воплощенным в практике принудительной психиатрии, но и к ответным стратегиям граждан, приспособляющихся к навязанным правилам игры. В добровольном уходе в тень, отказе от имени, существовании под номером проявляется попытка психологической самозащиты, стремление сохранить хотя бы осколки собственной идентичности и оградить внутренний мир от внешнего вторжения.

Лесли Чемберлен – мастер деталей, образных сравнений и ироничных наблюдений. Ее Москва глазами иностранца открывается читателю с неожиданного ракурса и всё, чем гордилась столица в эпоху развитого социализма, становится вдруг зловещим или карикатурно-смешным. Так, железный лифт напоминают Джелс движущуюся клетку тюремной камеры («представьте, они помещают вас внутрь, и вы двигаетесь всю жизнь с первого этажа на пятый и обратно с миской каши и стаканом чая, просовываемых сквозь прутья»), расположение Центрального Детского мира рядом с подвалами Лубянки кажется ей извращенным издевательством («это их чувство юмора, Джелс»), а гигантомания в строительстве воспринимается ею как компенсация за подавленную индивидуальность («Another giant in a world of individuals forced to be pygmies»). Унылое однообразие людей в одинаковых одеждах грубого покроя, лиц, лишенных радости, маленькие фиаты («которые они называли ‘жигулями’»), создававшие своим редким мельканием иллюзию наличия частного транспорта, дома картофельного цвета... – перечисляет автор приметы страны. Дома картофельного цвета! Что может быть банальнее картофеля? И это – про предмет гордости каждого москвича и всего советского народа – сталинскую архитектуру!

Хочется привести и несколько цитат, которые слишком хороши, чтобы оставить без внимания изящный, полный иронии стиль автора: «...как торжественно он произнес ‘да’ по-русски! Как четвертая нота Пятой симфонии Бетховена» (*...how solemn he made Russian for yes sound! Like the fourth note of Beethoven's Fifth Symphony*); «...отечественные автомобили и грузовики ездили на самом дешевом бензине, и весь город вонял так, как будто Бог подчеркивал, что это топливо из ада» (*...domestic cars and lorries ran on the cheapest possible petrol and the whole city stank as if God were underlining this was the fuel of hell*); «Она взяла фляжку – самый популярный вклад маоистского режима в экономику стагнирующей России 1970-х годов» (*She took a flask – the most popular contribution of Mao's China to the economy of stagnant 1970s Russia*); «Мимо прошла женщина с крошечной собачкой на поводке, со спичечными ножками-палочками. Аристократ среди собак... Почему бы не купить себе аристократа на четырех лапах, если вы больше не можете иметь аристократа на двух»? (*A woman passed with a tiny dog on a lead, with matchstick legs. Canine aristocrats... Why not buy yourself an aristocrat on four legs if you can no longer have them on two?*).

Двухуровневое присутствие автора в тексте – в образе главной

героини и в образе нарратора – наполняет его внутренней перспективой. Эмоциональная, чувственная, обремененная утопическими иллюзиями о справедливом мироустройстве, Джелс сталкивается с реальными фактами жестокости и абсурдности жизни в обществе «развитого социализма» (в романе много концептуальных переключек с произведениями Джозефа Конрада). Книга в определенном смысле является романом взросления, освобождением от иллюзий: если на момент появления в Москве Джелс хотя и насторожена, но полна надежд, то по мере развития сюжета ее внутренний голос переформулирует задачу от абстрактно-бесформенного «я хочу понять эту страну» до скованного ужасом, почти безнадежного «что удерживает этих людей вместе?» Джелс уверена – их держит вместе идея, вера в возможность построения справедливого общества, и как любая идея, она мотивирует сильнее, чем материальные блага. В свою очередь рассказчик, подбрасывая те или иные эпизоды для размышлений, задается вопросом: любой ли ценой должна быть достигнута цель? Унижение человеческого достоинства, невозможность открытой дискуссии по проблемным вопросам, угрозы и изощренная месть оппонентам – неизбежные ли это этапы построения «справедливого общества»? Замечу, сегодня все эти вопросы остаются по-прежнему актуальными и не только на постсоветском пространстве.

Эмоциональным ключом к пониманию времени служит многократная апелляция к музыкальному символу эпохи – *All You Need Is Love*, провозгласившего любовь простым и универсальным способом решения всех проблем. Герои много говорят о любви к России, но каждый из них понимает ее по-своему. Одни используют словосочетание в качестве пароля, чтобы попасть в круг *номенклатов*, другие считают проявлением подлинного патриотизма честный взгляд на действительность, критический анализ ошибок и желание способствовать духовному и нравственному оздоровлению общества. Судьба оппозиционера в России – в центре внимания автора. Дилемма времен брежневского застоя эхом откликается в современной России: покинуть страну, чтобы сохранить свободу и творческую независимость или остаться, лишившись гражданских прав, но сохранив внутреннюю честность и моральную сопричастность судьбе своего народа. И – возможно ли изменить судьбу страны, находясь за ее пределами?

Этот вопрос далеко не абстрактен для студента Марлинского, восходящей звезды оппозиции, которого за участие в митинге выгоняют из университета накануне защиты диссертации. «Свобода – это пространство, в котором человек определяет себя через обязательства и действия. – обращается Борис Марлинский к матери в присутствии иностранных журналистов. – Здесь нам не дают этого пространства». Родители Марлинского полностью поддерживают сына, но сколько людей находятся в заложниках «поколенческого» шантажа, когда каждое поколение отказывается от борьбы, боясь причинить вред детям или родителям?! Это была и есть система, основанная на самовос-

производящемся страхе. Марлинский принимает решение отстаивать свое право на свободу, это и есть его действие: академическое будущее перечеркнуто, совет старшего товарища Разумовского уехать решительно отвергнут, великодушное предложение Корсакова стать частью номенклатуры яростно отменено (ведь «став частью системы, ты не сможешь с нею бороться»).

Но номенклатура не прощает подобного к себе отношения. Марлинского ждет не просто суд. Советское правосудие – самое справедливое в мире – находит изощренный способ заставить несостоявшегося героя испытывать чувство вины. Его другу, Алеше Герасимову, выносят существенно более тяжелый приговор за моральную поддержку товарища, одновременно распространяя слухи о возможном сотрудничестве Марлинского со следствием. Это кульминационный момент нарратива и момент окончательного расставания с иллюзиями для Джелс. Со свойственной ей ироничностью и сарказмом Чемберлен так характеризует состояние героини в этот момент: «У Джелс был талант разрушать собственное счастье. Она выбрала для этого правильную страну. Что касается России, то она приняла вызов: ‘Тебе нужно страдание? Я доведу тебя до края пропасти’».

Среди героев второго плана следует отдельно упомянуть профессора Балабина – типичного конформиста, недовольного системой, но не имеющего достаточно крепкого внутреннего стержня, чтобы отстаивать свои убеждения; вице-президента Академии наук Наумова, живущего воспоминаниями о своих заграничных командировках, рассуждающего об искусстве, полагая, что именно это и делает его интеллигентом; а также несколько женских персонажей, на которых стоит остановиться чуть подробнее.

Один из них – Ирина Корсакова, урожденная Бове, дочь выдающегося специалиста в области истории искусства, получившего признание и уважение в западном научном сообществе. Красивая, умная и воспитанная в традициях европейской культуры, она некоторое время жила и работала во Франции, где познакомилась с Владимиром Корсаковым. Ради карьеры мужа Ирина была вынуждена вернуться на родину, где у нее постепенно накапливались разочарование и чувство отчуждения. Дом на Можайском шоссе – ее наследство от отца, получившего усадьбу в дополнение к многочисленным медалям и наградам, которыми его отметило советское правительство. К моменту начала повествования Ирина уже испытывает к Корсакову глубокое отвращение, а суд над Марлинским становится для нее последней каплей: она понимает, что именно ее муж стоит за несправедливым приговором. В день суда Ирина вместе с сыном отправляется по Можайскому тракту к границе – этот путь становится своеобразной репетицией ее будущего бегства из страны, символическим жестом протеста и попыткой обрести утраченные свободу и достоинство.

Ее подруга Галя Оболенская – член группы сопротивления Разумовского. Ее переводы Диккенса – канонические, но она понима-

ет, что с их помощью изменить систему невозможно. Это благодаря ее смелости и настойчивости статья Разумовского о *психушках* появляется на страницах Новосибирского журнала социологии. Образ Гали Оболенской вмещает в себя судьбы сотен диссидентов, рисковавших своей свободой ради того, чтобы правда, запрещенная на территории страны, всё же доходила до читателя.

В предисловии к роману автор пишет: «Люди в этой истории настоящие. Пожалуйста, помните об этом». Это не только и не столько литературный прием автора. Герои ее романа настоящие в том смысле, что отражают судьбы реальных людей, их взгляды и мысли, историю их борьбы за свободу самовыражения; они имеют множество прямых и собирательных прототипов. Смысловой посыл Лесли Чемберлен состоит в апелляции к базовым принципам гуманизма: путь к цели не должен разрушать человеческие судьбы. «Дорога тоже настоящая, – продолжает автор, – и конца ей нет.» И здесь не только обращение к современному состоянию России, где Можайский тракт, воспринимаемый испокон веков как путь, по которому в Россию приходит экзистенциальная угроза с Запада, становится дорогой, по которой лучшие люди бегут *на* Запад, отчаявшись найти в ней возможности для личностной самореализации. В понимании автора бесконечность Можайской дороги – *and it just goes on and on* – есть ментальное состояние страны, еще в девятнадцатом веке подменившей лозунг «свобода, равенство, братство» на «православие, самодержавие, народность». «Запад всегда с надеждой смотрел на Россию, – пишет Чемберлен в комментариях к своей предыдущей книги о Сергее Уварове *Ministry of Darkness*, – потому что видел в ней возможность слома системы». Для прогрессивного Запада появившийся в результате Октябрьской революции Советский Союз не имел ничего общего с царской Россией, которую он оставил позади. По той же причине предполагалось, что постсоветская Россия станет новой страной в 1991 году. Запад купился на уловку советских идеологов, записавших «православие» и «самодержавие» в атрибуты мрачного прошлого. Между тем, в России ничего не изменилось по существу. «Православие» – буквально «правильное вероисповедание» было заменено на марксизм-ленинизм, «самодержавие» на Генерального секретаря ЦК КПСС, а «народность» отныне равнялась партийности. Трюк сработал и вводил в заблуждение весь мир почти 75 лет. А в 1991 году все повторилось и с Россией, и с Западом. «And it just goes on and on», – предостережение Лесли Чемберлен нынешнему поколению западных аналитиков, с надеждой смотрящих на возможные перемены в стране.

Юлия Баландина

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:

Patrons: Russian Nobility Association in America;

Benefactors: Mrs. Larisa Vulfina & Mr. Yan Vulfin; Eli & Ludmila Flam Living Trust;

Sponsors: Mr. Vitaliy Pavlyuk; Mrs Vera Torchilin & Mr. Vladimir Torchilin; Mr. Charles Allen; Mr. Alexandr Neratoff; American-Russian Aid Association "Otrada";

Fellows: The Tcherepnine Foundation Inc.;

Friends: Mr.&Mrs. G. Cheron; Ms. Liza Kantor, Ms. R. Nuzhdenko.

The complete list of Fellows&Friends see at: <http://newreviewinc.com/fundraising-2022>

It requires the support of loyal friends for year 2026:

Patron – \$ 5,000 and up

Benefactor – \$ 2,000 and up

Sponsor – \$ 1,000 and up

Fellow – \$ 500 and up

Friend – \$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity». Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible in the USA.

Checks must be made payable to

THE NEW REVIEW
1216 Broadway, 2nd floor
New York, NY 10001

Additional information: https://newreviewinc.com/podpiska_subscription

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Андрей Красильников – 111024 Москва, а/я 61

Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421

Израиль: Марина Кособок-Полонски: Polonskybooks@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» в 2025 году можно купить:

Polonsky Books: Haifa, Huri Street, 2, Migdal ha Nevi'im, Israel;

+972 55 968 24 16

Kvartira Books: 731 Washington Ave., Brooklyn, NY 11238, USA;

<https://kvartirabooks.org/>

На сайте журнала через PayPal (страница: Подписка)

Вы можете оформить подписку на журнал, в том числе электронную.

Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (Подписка)

Вся информация об авторах НЖ на сайте The New Review Inc.

<https://newreviewinc.com>

e-mail: newreview@msn.com newreviewinc@gmail.com

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION 2025

1. Publication title – The New Review Inc. /The New Review
2. Publication No. – 596680
3. Filing date – [as published]
4. Issue frequency – Quarterly
5. Number of issues published annually – 4
6. Annual subscription price – \$ 85.00
7. Complete mailing address of known office of publication – 1216 Broadway Floor 2, New York, NY 10001-4482
8. Complete mailing address of headquarters or general business office of the publishers 1216 Broadway Floor 2, New York, NY 10001 – 4482
9. Names and complete address of publisher, editor, managing editor:
 Publisher – The New Review Inc., 1216 Broadway Floor 2, New York, NY 10001-4482
 Editor/Managing Editor: Marina Adamovich, 1216 Broadway Fl.2, New York, NY 10001- 4482
10. Owner – The New Review Inc., 1216 Broadway Floor 2, New York, NY 10001
11. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 % or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities – None
12. Tax status (For completion by nonprofit organization authorized to mail at nonprofit rates). The purpose, function, nonprofit status of this organization and the exempt status for federal income tax purposes: Has not changed during preceding 12 months
- 13 –14. Issue date for circulation data: The New Review; September issue (09/30/2025)
13. Extent and nature of circulation

	Average # copies each issue during preceding 12 months	#Copies of Single Issue Published Nearest of Filing Date
a/ Total number of copies	400	400
b/ Paid circulation (by mail and outside)		
(1) Mailed Outside County Paid Subscriptions Stated on PS Form 3541 (incl. paid distribution above nominal rate, advertiser's proof copies, and exchange copies)	95	108
(2) Mailed In-County Paid Subscriptions Stated on PS Form 3541	11	10
(3) Paid Distribution Outside the Mails (Incl. Sales Through Dealers and Carriers, Street Vendors, Counter Sales, and Other Paid Distribution Outside USPS)	128	125
(4) Paid Distribution by Other Classes of Mail Through the USPS (e.g. First-Class Mail)	65	57
c/ Total Paid Distribution (Sum of 15b (1, 2, 3, 4)	299	300
d/ Free or Nominal Rate Distribution (by mail and outside)		
(1) Free or Nominal Rate Outside County Copies included on PS Form 3541	0	0
(2) Free or Nominal Rate In-County Copies included on PS Form 3541	0	0
(3) Free or Nominal Rate Copies Mailed at Other Classes (USPS /e.g. First-Class Mail)	33	32
(4) Free or Nominal Rate Distribution Outside the Mail (Carriers or other means)	15	14
e/ Total Free or Nominal Rate Distribution (Sum of 15d (1, 2, 3, 4)	48	46
f/ Total Distribution (Sum of 15c and 15e)	347	346
g/ Copies not Distributed	53	54
h/ Total (Sum of 15f and 15g)	400	400
i/ Percent Paid ((15c / 15f) times 100)	86.17%	86.71%
16. Total circulation of electronic copies		
a/ Paid Electronic Copies	51	45
b/ Total Paid Print Copies (15C+Paid Electronic)	350	345
c/ Total Print Distribution (15F+Paid Electronic)	398	391
d/ Percent Paid (Print+Electronic Copies)	87%	88%

I Certify that 50% of all distributed copies (Electronic and Print) are paid above a nominal price: **Yes.**

17. Publication of Statement of Ownership

If the publication is a general publication, publication of this statement is required. Will be printed in the 12/25/2025 issue of this publication: **Yes.**

Signature/Title of Editor, Publisher, Business Manager, Owner – Marina Adamovich, Editor /
 Business manager **10/12/2025 14:28:33 PM**

Новый Журнал THE NEW REVIEW

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ на 2026

Подписная цена (4 книги, включая пересылку):
для университетов и организаций
в США – \$ 160.00, за границу – \$ 220.00
(10% скидка для подписных агентств)

Индивидуальная подписка
(4 книги, включая пересылку):
в США – \$ 85.00, за границу – \$ 130.00

Цена отдельного номера – \$ 16.00
дополнительно за пересылку:
в США – \$ 7.00, за границу – \$ 37.00

E-access на год – \$ 185.00

Комбинированная подписка на год
(E-access и 4 журнала)
в США – \$ 320.00
за границу – \$ 360.00
(10% скидка для подписных агентств)

Все подробности о подписке на сайте
www.newreviewinc.com (Подписка)

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ:
The New Review
1216 Broadway, 2nd floor, New York, NY 10001

Телефон редакции: (212) 353-1478
www.newreviewinc.com
newreview@msn.com
newreviewinc@gmail.com
